

## **ПРЕСТИЖ И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ ПРОФЕССИИ** (В СОВАТ. С В. Б. МОИНЫМ)

Проводимые в нашей стране исследования престижа направлены не только на анализ его сущности и механизмов престижного отношения к объектам культуры, но и на решение вполне конкретных задач социального планирования и управления. Исследователи исходят из предположения, что изучение престижа профессии в нашем обществе позволяет более эффективно управлять профессиональным самоопределением молодежи [1], регулировать и прогнозировать перемещения работников в сфере общественного производства [2], планировать подготовку кадров для народного хозяйства [3].

Несмотря на определенное сходство посылок, посредством которых в нашей научной литературе обосновывается практическое значение исследований престижа, толкование данного понятия неоднозначно. Престиж трактуется как отражение в общественном мнении общественного авторитета [4], как «избирательное отношение общественной группы или индивида к определенным материальным и духовным благам» [5], как степень уважения к тем или иным профессиям [6] и т. д. В соответствии с избранной трактовкой различным образом интерпретируется и полученная в результате социологических исследований информация о престиже, хотя эмпирические показатели, используемые в различных исследованиях для получения этой информации, отличаются друг от друга весьма незначительно.

Актуальность затронутой нами темы, с одной стороны, и неоднозначность трактовки понятия престижа — с другой, обуславливают необходимость дальнейшего исследования этой важнейшей социологической категории, выявления особенностей престижа как специфического феномена общественного сознания. Последнее, собственно, и есть основная задача данной статьи.

В наших исследованиях [7] мы не стремились получить данные о престижности тех или иных объектов, а пытались найти специфические черты общественного сознания, обуславливающие престижное отношение к действительности, и на этой основе определить правомерность той или иной интерпретации результатов эмпирического

изучения престижа и возможности практического использования этих результатов.

Рассматривая престиж как явление общественного сознания, мы исходим из того, что он имеет ценностно-нормативную природу; назначение престижа — субординировать объекты, оценить их в соответствии с уже принятой шкалой ценностей. Такое понимание престижа предполагает соответствующую интерпретацию самих ценностей, которые понимаются нами как специфическое отражение в сознании человека значимости тех или иных явлений. Специфика ценностных представлений связана с необходимостью разграничения ценного и полезного, с признанием того, что ценностные представления — это, главным образом, идеалы общественной, а на этой основе и личной деятельности [8].

Ценностно-нормативной природой престижа объясняется тот факт, что престижное отношение не является ориентацией личности на объекты сами по себе в соответствии с осознанием степени их значимости, их большей или меньшей способности удовлетворять потребности. Престиж характеризует в определенном смысле опосредованное отношение к объектам культуры, выражая представления индивида об «эталонной» группе. Последней приписываются различные одобряемые и желаемые качества: хорошие условия жизни, интересное времяпрепровождение, увлекательные виды деятельности, «идеальный» образ жизни и т. д.

Престиж занятий, способов проведения досуга является, таким образом, выражением представлений о различных эталонных качествах, набор которых обусловлен конкретно-историческими и социально-экономическими факторами.

В антагонистическом классовом обществе роль эталонных играют прежде всего качества, характеризующие социальное положение: доход, власть над людьми, уровень потребления и др. Иначе говоря, решающее значение здесь имеет так называемый статусный престиж. Не случайно в западной социологической литературе, опирающейся на идеалистическую трактовку проблемы, престиж рассматривается преимущественно как аналог социального положения, а за основание, дифференцирующее профессии по престижу, принимается величина дохода, получаемого представителями различных профессиональных групп [9]. Обнаруживаемая в эмпирических исследованиях тесная связь между престижем и величиной дохода [10] используется буржуазными социологами для обоснования правомерности исполь-

зования престижа в качестве индикатора социального положения представителей различных профессиональных групп. В соответствии с этим исследования престижа профессии, например в США, связаны главным образом с изучением социальной структуры общества.

Более того, в западной социологической литературе имеет место отождествление престижа занятий с реальным социальным положением, что, естественно, ведет к неверной трактовке социальной структуры общества. «Статусный престиж» лежит в основе характерного для капиталистического общества «статусного присвоения культуры» [11].

Абсолютизация ценностно-нормативного аспекта исследования, свойственная буржуазной социологии, обуславливает не только отождествление престижа занятий и социального положения, но приводит к преувеличению значения престижного механизма в регулировании человеческой деятельности. Анализируя американские исследования в области социолингвистики, А. Д. Швейцер отмечает, что весьма распространенная там ссылка на престиж лишь следствие того, что ученые не могут дать объяснения изучаемым явлениям [12].

Возвращаясь к вопросу о природе престижа как явления общественного сознания, отметим, что его особенности наиболее ясно обнаруживаются при сопоставлении престижа и привлекательности профессий [13]. Остановимся на этом более подробно. Привлекательная профессия — это желаемая профессия, та, которая нравится индивиду. Считается, что оценки привлекательности в отличие от оценок престижа носят более личный характер и строятся с учетом объективных и субъективных обстоятельств, которые характеризуют группу людей и их оценки собственных способностей [14]. Разграничение престижа и привлекательности свидетельствует о признании специфичности престижного отношения, при котором представления о значимости тех или иных свойств и особенностей профессии опосредуются общепринятыми эталонами и стереотипами общественного сознания. Последние оказывают влияние и на привлекательность профессий. Однако привлекательность прежде всего обусловлена непосредственной значимостью для респондентов тех или иных особенностей профессии. Разграничивая «престиж» и «привлекательность» как категории, в которых те или иные явления выражены как бы в «чистом виде» и зафиксированы наиболее существенные их стороны, мы отдаем себе отчет в том, что в реальной жизни эти стороны находятся в тесной взаимосвязи.

Качественные различия престижа и привлекательности профессий прослеживаются не только на философско-теоретическом уровне. При соответствующем методическом обеспечении сравнительного исследования можно получить численные результаты, подтверждающие фактическое существование таких различий.

Задача предпринятого исследования состояла в выявлении специфики престижного отношения как особого механизма общественного сознания. В качестве объекта исследования были выбраны группы респондентов, существенно различающиеся по своему жизненному и производственному опыту, а именно: школьники и рабочие промышленных предприятий [15].

На стадии проектирования были выдвинуты следующие предположения относительно возможных результатов.

Во-первых, расхождения между шкалой престижа и шкалой привлекательности профессий будут тем больше, чем больше жизненный и производственный опыт респондентов.

Во-вторых, оценки престижа профессий должны в меньшей степени, чем оценки их привлекательности, зависеть от выбора профессий школьниками и профессиональной принадлежности рабочих.

В-третьих, характеристики престижных профессий в большей степени будут соответствовать социально одобренным ценностям и идеалам, чем характеристики привлекательных профессий.

В-четвертых, представления о привлекательности профессий должны в большей степени, чем представления о престиже профессий, быть связаны с фактическим поведением респондентов.

Объективные факторы, определяющие престиж и привлекательность профессий, мы выявляли на основе связи различных характеристик исследуемых профессий со шкалами престижа и привлекательности [16].

На подготовительной стадии исследования была собрана относительно полная информация, характеризующая особенности различных профессиональных групп [17], включающая социально-демографические параметры (пол, уровень образования, семейное положение, стаж работы, возраст и др.), показатели содержания труда (величина заработной платы, уровень квалификации, количество и структура выполняемых функций, объем требуемых знаний и навыков), показатели трудовой деятельности работников (текучесть кадров, темпы квалификационного роста, выполнение норм выработки, качество работы, участие в рационализаторстве и изобрета-

тельстве) и, наконец, субъективные характеристики (удовлетворенность профессией, предприятием, содержанием труда, различными элементами рабочей ситуации). Всего учитывалось 55 различных показателей.

Применявшиеся в исследовании процедуры измерения престижа основывались на технике последовательного выбора. Для выявления и оценки престижа рабочих профессий (из числа всех имеющихся на заводе) респондентов просили назвать три наиболее и три наименее популярные. При выявлении привлекательности профессий им предлагалось назвать ту, которая «нравится больше других», и ту, которая «особенно не нравится».

В группе школьников также использовалась техника последовательного выбора, однако опрос производился на основе предлагаемого интервьюером списка, включавшего 13 наиболее известных профессий.

При определении места той или иной профессии на шкале престижа необходимо исключить влияние профессиональной принадлежности респондента, поскольку можно допустить, что опрашиваемые склонны давать завышенную оценку престижа своей настоящей или будущей профессии [18]. Для устранения влияния этого фактора при определении престижа и привлекательности профессий учитывалась профессиональная ориентация или профессиональная принадлежность респондента. Делалось это следующим образом: рассчитывались три показателя престижа (и соответственно привлекательности) каждой профессии: «общий», который определялся на основе оценок всей совокупности опрошенных; «внешний» — в нем не учитывались оценки данной профессии лицами, которые фактически ее имеют или намерены иметь после окончания школы; и «внутренний», который строился только на основе оценок «своих» профессий. «Внешний» показатель служил главным аналитическим признаком.

Кроме того, при исследовании группы школьников нами были выделены две формы представлений о привлекательности профессий, условно названные «реальной» и «идеальной» привлекательностью. «Реальная» привлекательность осознается субъектом, который исходит из конкретных возможностей реализации выбора, в том числе из оценки собственных способностей. «Идеальная» привлекательность, напротив, определяется интересами, склонностями субъекта, общей направленностью ценностных ориентации в области выбора профессии. При определении «реальной» привлекательности про-

фессии школьника просили назвать ту профессию, которую он хочет приобрести после окончания школы, а для выявления «идеальной» привлекательности — ту, которая наиболее соответствует его желаниям и интересам. Таким образом, «идеальная» привлекательность занимает промежуточное положение между престижем и «реальной» привлекательностью профессии.

Во всех известных нам исследованиях обнаружена весьма тесная связь между шкалами престижа и привлекательности профессий [19]. Объясняется это, по-видимому, двумя обстоятельствами: во-первых, скрытым влиянием профессиональных намерений (или профессиональной принадлежности) респондентов; во-вторых, тем, что объектом исследования, как правило, являлась молодежь, у которой привлекательность профессий (так же, как и их выбор) в значительной степени определена стереотипами общественного сознания. Кроме того, остаются неизученными особенности восприятия терминов, использующихся в документах сбора первичной информации: «популярность», «престиж», «привлекательность» и др. Неадекватная интерпретация этих понятий в обыденном сознании может стать одной из причин тесной связи престижности и привлекательности.

В нашем исследовании также выявлена зависимость между шкалами «общего» престижа и «общей» привлекательности профессий (у школьников коэффициент ранговой корреляции Спирмена  $\rho = 0,86$ , у рабочих  $\rho = 0,71$ ). Однако при устранении влияния профессий рабочих и профессиональных намерений школьников и сопоставлении показателей «внешнего» престижа и «внешней» привлекательности статистически значимой связи обнаружено не было. В то же время различия наблюдаются в оценках, на основе которых строились «общие» шкалы. Так, оценки престижа и привлекательности одних и тех же профессий совпадают лишь у половины школьников, причем степень этого совпадения значительно колеблется при оценке разных профессий (от 15 до 77 %).

Расхождения между оценками престижа и привлекательности профессий зависят от профессиональной принадлежности рабочих и профессиональных ориентаций школьников. Как и предполагалось, профессиональная принадлежность (ориентация на получение данной профессии) оказывает более сильное влияние на оценки привлекательности, чем на оценки престижа, а расхождение «престижа» и «привлекательности» у школьников больше, чем у рабочих (см. табл. 1).

**Оценка опрошенными престижа и привлекательности профессий, которые они имеют (рабочие) или намерены приобрести (школьники), %**

Группа респондентов	Количество опрошенных, назвавших свою профессию (либо профессию, которую они намерены приобрести) наиболее	
	престижной	привлекательной
Рабочие (N=2710)	46	58
Школьники (N=603)	50	69

О более сильном влиянии профессиональной принадлежности (намерений) на оценки привлекательности профессий свидетельствует и тот факт, что между шкалами «внутренней» и «внешней» привлекательности наблюдается более тесная связь, чем между шкалами «внутреннего» и «внешнего» престижа (в первом случае величина коэффициента ранговой корреляции Кендэла  $\tau_r$  равна 0,73, во втором — 0,45).

Как уже отмечалось, существенное влияние профессиональной принадлежности респондентов (их профессиональных намерений) на оценки престижа было обнаружено многими советскими и зарубежными специалистами. Однако этот факт либо совсем не объяснялся, либо объяснение сводилось к ссылке на «общую склонность людей переоценивать свои профессиональные позиции» [20]. Данные нашего исследования позволяют сделать предположение, что более высокие оценки престижа собственной профессии выступают в виде своеобразного компенсаторного механизма, способствующего самоутверждению личности. При этом прослеживается следующая тенденция: чем менее квалифицирован и содержателен труд по данной профессии, тем больше среди лиц, владеющих этой профессией или намеревающихся ее приобрести, тех, кто относит ее к наиболее престижным. Так, например, среди школьников, избравших профессии сельского механизатора и работника сферы обслуживания, назвали их наиболее престижными соответственно 80 и 71 % опрошенных, тогда как среди избравших профессии учителя и научного работника аналогичные показатели составили 33 и 8 %.

Однако существует предел, за которым престиж перестает выполнять свои компенсаторные функции: престиж малоквалифицированных профессий оценивается очень низко и взрослыми, имеющими их, и школьниками, намеренными приобрести их после окончания школы.

Различие престижа и привлекательности выражается также в том, что они в разной степени зависят от фактических возможностей выбора профессий. В качестве показателей возможностей выбора нами были использованы самооценка успеваемости школьников (см. табл. 2) и данные о социальном положении их родителей (см. табл. 3).

Таблица 2

**Зависимость оценок престижа и привлекательности профессий, требующих высшего и среднего образования, от успеваемости школьников, %**

Успеваемость школьников	Количество опрошенных, считающих профессию престижной	Количество опрошенных, считающих профессию привлекательной	
		«идеально»	«реально»
Отличная	92	88	91
Хорошая	73	63	59
Удовлетворительная	44	31	24

Таблица 3

**Зависимость оценок престижа и привлекательности профессий, требующих высшего и среднего специального образования, от социального происхождения школьников, %**

Социальное происхождение школьников	Количество опрошенных, считающих профессию престижной	Количество опрошенных, считающих профессию привлекательной	
		«идеально»	«реально»
Дети специалистов	75	75	72
Дети рабочих, колхозников, служащих-неспециалистов	65	51	45

Данные табл. 2 свидетельствуют о том, что возможности выбора профессии, определяемые успеваемостью, больше влияют на оценку «реальной» привлекательности профессии и фактические профессиональные намерения школьника, чем на «идеальную» привлекательность и престиж профессий. Этот факт вполне согласуется с высказанными предположениями о специфике оценок престижа профессий. Вместе с тем зависимость оценок престижа от возможностей получения профессии остается весьма существенной, что



подтверждает наши предположения о том, что оценки престижа в «чистом» виде не существуют, что влияние социально одобренных ценностей и идеалов, выступающих в качестве основного критерия этих оценок, в значительной степени корректируется потребностями личности и диапазоном ее возможностей.

Аналогичные выводы можно сделать и сопоставляя оценки престижа и привлекательности профессий, высказанные школьниками, родители которых имеют разное социальное положение. В зависимости от уровня образования, профессии, занимаемой должности отца мы объединили школьников в две группы. Одну группу составили дети специалистов: врачей, учителей, агрономов, зоотехников, инженеров и т. д.; вторую — дети рабочих, колхозников, служащих-неспециалистов. Распределение опрошенных, назвавших наиболее престижными (или привлекательными) профессии, для овладения которыми требуется получение среднего специального или высшего образования, по двум указанным группам (см. табл. 3) позволяет сделать вывод о более сильном влиянии социального происхождения на оценку «реальной» привлекательности. Таким образом, престижность как стереотип общественного сознания менее зависит от социальной принадлежности родителей, чем фактический выбор профессии, который определяется имеющимися возможностями.

Особо важное значение для определения специфики престижа и привлекательности имеет выявление объективных особенностей выбираемых профессий.

Шкала престижа оказалась связанной с 15 из 55 исследуемых параметров профессиональных групп (величина  $\tau_{\beta}$  значима при  $\alpha = 0,05$ ), а именно: с уровнем образования, удовлетворенностью специальностью и содержанием труда, долей рабочих высокой квалификации, средним квалификационным разрядом, удовлетворенностью возможностями профессионального роста и с другими показателями.

Существенное влияние на престиж оказывают не только объективные особенности оцениваемых профессий, но и субъективное отношение к труду представителей этих профессий. Более того, шкала престижа в значительно большей степени связана с показателями субъективного отношения к труду, чем с объективными показателями содержания труда.

Почти все характеристики профессиональных групп (и объективные и субъективные), с которыми связана шкала престижа, так или иначе отражают содержание труда либо отношение к нему работника.

Это позволяет сделать вывод, что в качестве основания престижа профессий (особенно рабочих) в нашем обществе выступает прежде всего содержание труда. Этот вывод подтверждается и данными, полученными в результате анализа матрицы ранговой корреляции (по  $\tau_{\beta}$ ) исследуемых признаков. В отдельный «таксон» выделились «внешний» престиж, удовлетворенность специальностью, удовлетворенность содержанием труда (интересная, разнообразная работа), ориентация на повышение квалификации. Взаимосвязь этих признаков оказалась теснее, чем их связь с другими признаками, входящими в матрицу.

Шкала привлекательности профессий связана не только с показателями содержания труда, но и с оценками условий труда: ритмичность работы, тяжесть труда, удовлетворенность заработком. Теснее всего она коррелирует с оценками ритмичности работы ( $\tau_{\beta} = 0,87$ ) и тяжести труда ( $\tau_{\beta} = 0,81$ ) и в наименьшей степени — с удовлетворенностью профессией, содержанием труда ( $\tau_{\beta}$  соответственно равна 0,54 и 0,53). Из всех исследуемых объективных показателей содержания труда привлекательность наиболее тесно связана со средним квалификационным разрядом оцениваемых профессий ( $\tau_{\beta} = 0,65$ ). Однако и эта зависимость в значительной степени обусловлена скрытым влиянием условий труда: при устранении влияния оценок тяжести труда величина коэффициента Кендэлла между привлекательностью и уровнем квалификации уменьшается ( $\tau_{\beta} = 0,35$ ).

Таким образом, между объективными факторами престижа и привлекательности имеются существенные различия: в качестве основания престижа профессий выступает содержание труда, а привлекательность профессий в значительной степени определяется его условиями.

Кроме того, по данным нашего исследования, престиж не связан с фактическим поведением работников (текучестью кадров, стажем работы по специальности, дефицитом профессий), тогда как привлекательность оказывает на реальное поведение заметное влияние: чем она выше, тем, как правило, стабильнее профессиональная группа (в ней выше средний стаж работы по специальности, ниже текучесть, меньше трудностей возникает при подборе кадров).

Анализ эмпирического материала подтверждает высказанное нами предположение о ценностной природе престижа, а также о том, что привлекательность в большей степени, чем престиж, связана с личными предпочтениями и потребностями респондентов. Эталонным качеством, лежащим в основе престижа профессий, является содер-

жательная, интересная работа. Различного рода исследования субъективного фактора трудовой деятельности свидетельствуют о том, что содержание труда в сознании трудящихся, как правило, стоит на первом месте. Однако в субординации потребностей содержание работы не всегда главенствует, ибо между ценностными представлениями и потребностями возможно значительное рассогласование. Следовательно, результаты изучения престижа профессий свидетельствуют о правомерности относительно узкой трактовки ценностей, о необходимости разграничения ценностных представлений и потребностей.

Полученные данные о природе престижа и привлекательности, и в частности отсутствие тесной связи между престижем и фактическим поведением, дают возможность сделать ряд выводов, имеющих практическое значение. С нашей точки зрения, результаты исследования ставят под сомнение возможность прямого использования информации о престиже в практике управления формированием и распределением трудовых ресурсов. Имевшие место предложения по использованию указанной информации в практике управления так или иначе основывались на предположениях о сильном влиянии престижа на привлекательность профессии и фактическое поведение работников, с одной стороны, и о возможности сознательного воздействия на сам престиж — с другой. Между тем данные нашего исследования не подтвердили первого предположения. Что же касается возможностей формирования престижа, то они, как правило, связываются с воздействием средств массовой информации и требуют самостоятельного изучения. Укажем только, что такое предположение вполне правомерно, ибо роль средств пропаганды в формировании ценностных представлений и стереотипов общественного сознания действительно велика. Однако те немногие отечественные исследования, которые посвящены данному вопросу, не вскрывают механизма указанного воздействия. Проблема возможностей целенаправленного формирования престижа нуждается в более глубокой разработке.

1. *Титма М. Х.* Выбор профессии как социальная проблема. М., 1975. С. 143.

2. *Рывкина Р. В.* К изучению социально-психологических аспектов трудовой мобильности // Методические проблемы социологического исследования трудовых ресурсов. Новосибирск, 1974. С. 98–101.

3. *Шубкин В. Н.* Начало пути // Новый мир. 1976. № 2. С. 209.

4. *Комаров В. Д.* К проблеме авторитета в социологической теории // Вестн. Ленингр. ун-та. 1967. Вып. 2. № 11.

5. *Солотарева О.* Престиж и привлекательность профессии у поступающих в вузы ЭССР // «Социально-профессиональная ориентация молодёжи». Тарту, 1973. С. 251.
6. См. *Тутма М. Х.* Указ. соч. С. 68.
7. Исследования проводились социологической лабораторией Одесского гос. университета под руководством И. М. Поповой.
8. *Нарский И. С.* Диалектическое противоречие и логика познания. М., 1968. С. 214.
9. *Hall R. N.* Occupation and Social Structure. N. Y., 1969. P. 268.
10. *Reiss A. J.* Occupations and Social Status. N. Y., 1961. P. 84.
11. *Басин Г. Я., Краснов В. М.* Статусное присвоение культуры как регулятор социального общения при капитализме // Вопросы философии. 1969. № 10.
12. *Швейцер А. Д.* Вопросы социологии языка в современной американской лингвистике. Л., 1971. С. 66.
13. *Водзинская В. В.* О социальной обусловленности выбора профессии // Социальные проблемы труда и производства. Москва — Варшава, 1969; *Сарапата А.* Исследование иерархии престижа профессиональных занятий в Польше // Проблемы развития социальной структуры общества в Советском Союзе и Польше. М., 1976; *Тутма М. Х.* Указ. соч. и др.
14. *Рывкина Р. В.* Указ. соч. С. 102.
15. Методом формализованного интервью опрошены 603 учащихся 8-х и 10-х классов одного из сельских районов Одесской области, а также 2700 рабочих двух судоремонтных предприятий г. Одессы. Вопрос о репрезентативности данных нами не рассматривается, поскольку исследование носило методический характер.
16. Величина связи шкал престижа и привлекательности с характеристиками оцениваемых по престижу и привлекательности профессий определялась при помощи коэффициентов ранговой корреляции. Мотивы, которые выдвигаются респондентами для объяснения своего отношения к профессии, на наш взгляд, не могут считаться достаточным основанием для определения факторов престижа и привлекательности.
17. Для сбора этой информации был проведен анализ заводской документации, различных форм статистической отчетности, тарифно-квалификационного справочника, опрос экспертов и рабочих исследуемых предприятий.
18. *Тутма М. Х.* Указ. соч. С. 102, 135; Проблемы народонаселения трудовых ресурсов. Вып. IV. Минск, 1975. С. 68.
19. *Солотарева О.* Указ. соч., с. 255; Проблемы профориентации и профотбора. Киев, 1974. С. 165; *Тутма М. Х.* Указ. соч. С. 139.
20. *Hall R. N.* Occupation and Social Structure. N. Y., 1969. P. 274.
21. *Корбут А. В.* Профессии в материалах средств массовой информации // Социологические проблемы общественного мнения и средств массовой информации. М. 1976.

## ПРОБЛЕМА ВЗАЄМОЗВ'ЯЗКУ СВІДОМОСТІ І ДІЇ

Завдання посилення активного, свідомого начала у процесі комуністичного будівництва актуалізує розробку проблем, пов'язаних з визначенням об'єктивних соціально-практичних та культурно-історичних, а також суб'єктивних, зокрема ціннісно-мотиваційних, детермінант цілепокладальної людської діяльності. Центральне місце серед них посідає проблема взаємозв'язку свідомості і дії, яка у працях філософів, соціологів, психологів, істориків культури фіксується насамперед як невідповідність змісту свідомості змістові вчинків, тобто практичній реалізації осмислених намірів. Так, наприклад, у дослідженнях з психології та соціології вона постає як питання про зв'язок мотиву і поведінки, ціннісних орієнтацій і діяльності особи: у літературі з моральної проблематики — про зв'язок спонуки і вчинку.

Специфічне бачення проблеми взаємозв'язку свідомості і дії, зумовлене предметом і завданням вивчення, логіко-категоріальним апаратом кожної науки, цілком зрозуміло, накладає відбиток на розуміння тих регулятивних механізмів, що опосередковують даний зв'язок. Це або призводить до редукції проблеми свідомості — дії до специфічних рівнів її вияву (під час пояснення механізмів опосередкування вона «розчиняється» в загальних міркуваннях і підмінюється іншими рівнями аналізу природи свідомості і дії), або ж спричинює її деструкцію в цілому — неможливість поставити її взагалі. Зазначена «альтернатива» показує, що для того, щоб виявити і теоретично осмислити суперечність, що лежить в основі зазначеної проблеми, потрібна постановка її в філософському плані. Вирішальна роль тут належить діалектико-матеріалістичній методології дослідження природних і суспільних явищ. На наш погляд, саме в рамках діалектико-матеріалістичного підходу має бути сформульована проблема співвідношення свідомості і дії, яка набуває статусу методологічної проблеми. Такий її статус спричинюється тим, що те чи те розв'язання проблеми свідомості — дії визначає певне трактування суспільних явищ, зумовлює вибір методів та прийомів дослідження соціальної дійсності і, отже, виступає як своєрідний метод пізнання і основа прийняття рішень. Діалектико-матеріалістична методологія пізнання соціальних явищ виводить розгляд наукових проблем із суто

гносеологічної площини у широке соціокультурне поле їх бачення. Тут рельєфніше виявляється і практичне значення названої проблеми, зокрема у плані вивчення закономірностей освоєння особою суспільно-історичного досвіду, процесів її морального, політичного, загалом соціального формування.

Яке актуальне завдання осмислення проблеми свідомості і дії з діалектико-матеріалістичних позицій, показують також ті методологічні труднощі, що виникають в різних галузях соціально-гуманітарного знання. Для сучасної буржуазної філософії воші взагалі виявляються нерозв'язними. Той чи той спосіб фіксації й інтерпретації проблеми свідомості і дії нерозривно пов'язаний з певним розумінням природи соціальної реальності і визначенням методів її пізнання. Так, наприклад, фактичне ототожнення свідомості і дії приводить представників феноменології до висновку, що власне соціальна реальність, яка становить предмет соціологічного дослідження,— це суб'єктивні уявлення індивідів, які діють у суспільстві. Визнання активності людської свідомості обертається у феноменологів ототожненням об'єктивної логіки соціального і логіки суспільної й індивідуальної свідомості<sup>1</sup>. Виступаючи проти позитивістської натуралізації людської дії, феноменологи вважають основним завданням соціології проникнення у суб'єктивний зміст людської діяльності. «Соціальний світ з погляду феноменологічної соціології,— пише Д. Уолш,— це взятий на віру інтерсуб'єктивний світ буденних значень, що конституюють соціально стандартизовані і стандартизуючі експектації, через які індивіди осмислюють цей світ»<sup>2</sup>.

У цьому трактуванні соціальної реальності виявляється нерозуміння об'єктивних, матеріальних передумов цілепокладальної діяльності, що призводить до відриву свідомості індивідів від їх реального суспільного буття. Ототожнення свідомості і дії по суті зводить закономірності функціонування соціальних інститутів до мотиваційної сфери життєдіяльності людини, «об'єктивні» параметри існування якої окреслюються суб'єктивно-ідеалістично інтерпретованим світом значень.

Як бачимо, розв'язання проблеми свідомості — дії залежить від розуміння сутності суспільно-історичного процесу, природи соціального знання і набуває принципового характеру в ідеологічній боротьбі.

Враховуючи теоретичну і практичну значущість досліджуваної проблеми, з одного боку, фіксацію тих чи тих її аспектів на різних рівнях

<sup>1</sup> Новые направления в социологической теории. М.: Прогресс, 1978.

<sup>2</sup> Цит. за: Там же, с. 123.

і в різних формах природничо-наукового і соціально-гуманітарного пізнання — з другого, можна спробувати сформулювати а) проблему взаємозв'язку свідомості і дії в більш загальній формі, на рівні методологічних проблем; б) здійснити аналіз категорій, які використовуються для її осмислення; в) дати теоретичне пояснення суперечності, яка лежить в основі її виникнення.

Діалектико-матеріалістичний підхід до розв'язання проблеми свідомості — дії передбачає звернення до праць основоположників марксизму-ленінізму, де вона розглядається в загальнометодологічному плані. Її осмислення нерозривно пов'язане з матеріалістичним розумінням історії, потреб та інтересів особи, положеннями про відносну самостійність свідомості.

Проблема співвідношення свідомості і дії фактично була порушена вже в ранніх творах К. Маркса і Ф. Енгельса, де звернена увага на те, що потрібно строго розрізняти «ідеї комунізму» і «дійсну комуністичну дію», «зброю критики» і «критику зброєю». Думка про розрізнення продуктів свідомості і їх фактичного усвідомлення простежується також у праці «Святе сімейство». К. Маркс і Ф. Енгельс, критикуючи погляди младогегелянців, зазначали, що ті не розрізняють реального статусу ідей і їх ідеального відображення в головах емпірично діючих індивідів: «В критичній історії... мова йде не про діючі маси, не про емпіричну дію і не про емпіричний інтерес цієї дії, а, навпаки, тільки про «ідею», що перебуває «в них»...»<sup>1</sup>.

У радянській філософській літературі на такі висловлювання основоположників марксизму посилаються для того, щоб підкреслити необхідність розрізняти духовні і практичні види діяльності, зміни, що відбуваються у сфері свідомості, і практичні зміни в матеріальному і суспільному бутті, в об'єктивних умовах існування і реальній поведінці індивідів<sup>2</sup>.

На наш погляд, треба загострити увагу і на тих аспектах, в яких, по-перше, розрізненню свідомості і реальної поведінки, хоча остання здійснюється за участю свідомості, надається принципове значення, по-друге, підкреслюється необхідність розрізнення емпіричної дії і емпіричного інтересу цієї дії, з одного боку, і її ідеологічного вираження, ідеї дії — з другого.

Важливо також те, що у «Німецькій ідеології» К. Маркс і Ф. Енгельс відзначали, що «перетворення історії у всесвітню історію не

<sup>1</sup> Маркс К., Енгельс Ф. Святе сімейство // Твори. Т. 2. С. 86.

<sup>2</sup> Див.: наприклад: Буева Л. П. Человек: деятельность и общение. М.: Мысль, 1978. С. 84.

якась абстрактна дія «самосвідомості», світового духа або ще якого-небудь метафізичного привида, а є цілком матеріальне, емпірично встановлюване діло, таке діло, доказом якому служить кожний індивід, який він є в житті...»<sup>1</sup>. Підкреслимо, що у цій праці К. Маркс і Ф. Енгельс відрізняють уявлення, фрази та ілюзії не тільки від того, що робиться «насправді», але й від «дійсного інтересу дії». Аналогічні міркування є й у «Вісімнадцятому брюмера Луї Бонапарта», де К. Маркс, аналізуючи революційні події 1848–1851 рр. у Франції, відзначає відмінність дійсної природи та інтересу діяльності і способу їх самоусвідомлення індивідом чи класом. Зазначене питання порушується у «Німецькій ідеології» у зв'язку зі з'ясуванням сутності ідеології, специфіки відображення соціальної реальності в ідеологічних формах свідомості — правових, релігійних, художніх, філософських ідей і уявленнях. Тут специфіка ідеологічного відображення дійсності аналізується у зв'язку з самосвідомістю суспільства, а факт невідповідності реальної діяльності і її усвідомлення фіксується як на рівні індивідуальної, так і на рівні суспільної свідомості. Остання обставина не завжди дістає теоретичну форму вираження, хоча у буденній свідомості проглядається досить чітко. У «Німецькій ідеології» основоположники марксизму, критикуючи історіографію свого часу, підкреслювали, що в повсякденному житті люди завжди розрізняють реальну життєдіяльність і її відображення в голові індивідів, тим часом як історіографія «ще не дійшла до цього банального пізнання. Вона вірить на слово кожній добі, що б та не говорила і не уявляла про себе»<sup>2</sup>.

Важливе методологічне значення для розуміння проблеми взаємозв'язку свідомості і дії має лєнінське положення про те, що в суспільно-політичній сфері значення дій оцінюється не за намірами, а за результатами. Останні і мають бути ключем до розуміння як суб'єктів суспільно-політичної дії, так і її смислу. «Не розуміючи діл, не можна зрозуміти і людей інакше, як... зовнішньо. Тобто можна зрозуміти психологію того чи іншого учасника боротьби, але не смисл боротьби, не значення її партійне і політичне»<sup>3</sup>. Пріоритет дії в розумінні сутності природно-історичного процесу обстоювався В. І. Леніним у полеміці з народниками. Саме суспільну дію В. І. Ленін вважав «соціальним фактом». Робити висновки про реальні «по-

<sup>1</sup> Маркс К., Енгельс Ф. Німецька ідеологія // Твори. Т. 3. С. 42–43.

<sup>2</sup> Там же, с. 46.

<sup>3</sup> Ленін В. І. О. М. Горькому // Повне збір. творів. Т. 47. С. 213.



мисли і почуття» реальних осіб, писав він, можна лише на основі дій цих осіб<sup>1</sup>.

У літературі це лєнінське положення тлумачиться інколи надто широко і розглядається як вказівка на «спосіб виявлення змісту духовного світу особи». При цьому передбачається, що «духовний світ» людини можна цілком показати на основі пізнання її практичної діяльності<sup>2</sup>. Насправді, гадаємо, тут йдеться про визнання того факту, що внутрішній (духовний) світ особи містить в собі різні типи спонук: «реальні», які найбільше пов'язані з практичними діями («реальними особами»), і спонуки, які протистоять у певних відношеннях реальним. На основі знань про практичні дії можна робити висновки саме про «реальні помисли і почуття» (а не про духовний світ взагалі). На наш погляд, це те саме, що і «дійсний інтерес», «емпіричний інтерес дії», які К. Маркс і Ф. Енгельс відрізняють від «ідеї дії», від того, як виявляється цей інтерес у свідомості індивіда і самосвідомості суспільства.

Принципи аналізу основоположниками марксизму-лєнінізму соціальної реальності, діяльності реальних суб'єктів суспільно-історичного процесу як носіїв певних форм суспільної свідомості дають можливість у загальному плані поставити проблему свідомості і дії і теоретично осмислити її. До категорій, що застосовуються для її осмислення, належать насамперед категорії потреб і інтересів, зміст яких детермінується змістом практичної діяльності і суспільних відносин. Звернення до цих категорій важливе тому, що потреби і інтереси визначають зміст діяльності суб'єктів. Пріоритет дії, що його обстоює марксизм, не має нічого спільного з біхевіористським її тлумаченням, оскільки дія, і як зовнішнє, з погляду марксистів, зумовлюється також внутрішніми особисто визначеними мотивами, що опосередковують вплив соціального середовища на поведінку.

Розуміння проблеми свідомості і дії потребує, на нашу думку, з'ясування зв'язку потреб і інтересів із свідомістю і самосвідомістю особи та суспільства. Цей взаємозв'язок, як відомо, завжди має конкретно-історичний характер і визначається особливостями суспільно-економічної формації, соціально-класовою структурою суспільства, змістом суспільних потреб і інтересів, які переломлюються крізь свідомість і самосвідомість суб'єктів діяльності.

---

<sup>1</sup> Ленін В. І. Економічний зміст народництва і критика його в книзі П. Струве // Повне збір. творів. Т. 1. С. 394.

<sup>2</sup> Крутов Н. Н. Мораль в действии. М.: Политиздат, 1977. С. 17.

Звернемося до різних галузей знання з метою постановки проблеми свідомості — дії в її реальній формі і теоретичного її осмислення на основі сучасних наукових даних.

У теорії моралі в цьому плані становлять інтерес питання, пов'язані з моральною оцінкою поведінки. «Для моральної оцінки людини, яка зробила вчинок,— пише О. Ф. Шишкін, — урахування особистих спонук відіграє більшу роль, ніж у всіх інших оцінках, хоча і тут про самі спонуки ми здебільшого можемо сказати щось певне тільки на підставі вчинку, тобто об'єктивного факту»<sup>1</sup>. У наведеному висловленні, по-перше, констатується той факт, що моральна оцінка індивідуальних вчинків передбачає врахування змісту особистих спонук. По-друге, міститься думка про те, що про самі спонуки можна робити висновки головним чином на підставі вчинку, реальної поведінки. Такий погляд дуже поширений в літературі з етики. Однак, як відзначає О. Г. Дробницький, така постановка питання спричиняє зведення одного до одного зовсім різнорідних явищ, які включаються до моральності (дій, вчинків, сукупної поведінки, мотивів, прагнень, відносин, морального мислення, моральної мови та ін.). «У моралі справді є щось таке, що нібито дозволяє зводити одно до одного: явища одного роду немовбито охоплюють собою, вбирають і виражають через себе явища іншого порядку... Але це відбувається саме тому,— підкреслює О. Г. Дробницький,— що явища одного плану слугують формою виявлення і втілення або, навпаки, глибинною детермінантою і сутністю другого»<sup>2</sup>.

Гадаємо, що розрізнення названих явищ у дослідженні моральної свідомості потребує насамперед чіткої експлікації терміна «внутрішня спонuka» і визначення його предметного змісту. Це дає можливість конкретизувати розуміння зв'язку внутрішнього світу особи з її поведінкою і водночас виявити специфіку моральної оцінки її об'єкта. Отже, питання про те, чи можна поведінку розглядати як форму виявлення або втілення внутрішньої спонуки (або про те, чи є остання глибинною детермінантою поведінки), потребує дальшого дослідження.

У літературі, присвяченій конкретним соціологічним дослідженням проблем морального виховання, визначається необхідність розрізнення моральної свідомості і моральної поведінки. Згідно з цим

---

<sup>1</sup> Шишкін А. Ф. Человеческая природа и нравственность. М.: Мысль, 1979. С. 264.

<sup>2</sup> Дробницький О. Г. Понятие морали. М.: Наука, 1974. С. 231.

формулюються і завдання конкретного, емпіричного дослідження: з'ясувати ступінь відповідності а) моральних норм і принципів суспільства реальній поведінці людей, б) засвоєних особою моральних норм — її реальній поведінці<sup>1</sup>. Водночас підкреслюється, що для практики конкретних соціологічних досліджень морального виховання таке розрізнення внутрішньої і зовнішньої структур моралі є необхідним і можливим<sup>2</sup>.

Проблема співвідношення свідомості і дії порушується і в дослідженнях з історії суспільної думки, у літературознавстві. У літературознавстві, коли аналізується документальна література, звертається увага на суперечність «емпіричного буття» особи і її самосвідомості, суперечність, що виявляється в автобіографічних текстах, листах, мемуарах тощо<sup>3</sup>.

Ще конкретніше проблема «свідомість — дія» ставиться в різного роду наукових дослідженнях, кожне з яких дає можливість виявити її специфічні аспекти.

У правовій науці розрізнення реальних дій і свідомості лежить в основі розуміння предмета теорії права і практики правового регулювання. Предметом теорії права і правового регулювання виступає не всяка людська активність, а лише та, що виявляється у формі реальних дій.

У кримінології методологічне положення про необхідність розрізнення свідомості і реальних дій конкретизується як визнання «соціальної розузгодженості» дії злочинця і його усвідомлюваних спонук. Цілком правомірно розв'язання даної проблеми пов'язується з практичними завданнями прогнозування і профілактики злочинності<sup>4</sup>.

Проблема «свідомість — дія» порушується і в психологічній науці. Не претендуючи на повне висвітлення цього питання, спинимось тільки на тих працях, в яких вона формулюється найбільш визначено. Велике місце їй приділяє польський дослідник К. Обуховський в своїй книжці «Психологія потягів людини». Аналізуючи структуру захисного мотиву, він звертає увагу на суперечність між метою, вербалізованою в мотиві, і програмною, реалізація якої має сприяти досягненню цієї мети. Розрізняючи усвідомлену мету, програму дій (їх

---

<sup>1</sup> Соколов В. М. Проблема нравственного воспитания как объект социологического исследования // Социологические исследования. 1978. № 1. С. 49.

<sup>2</sup> Там же.

<sup>3</sup> Гинзбург Л. О. О психологической прозе. Ленинград, 1977. С. 54.

<sup>4</sup> Вопросы борьбы с преступностью. М. : Юрид. лит., 1977. Вып. 26. С. 10.

напрям) і результат дій (наслідок їх реалізації в певних умовах), дослідник підкреслює, що напрям дій «може бути міцно пов'язаний з метою дії і може не мати з нею нічого спільного». Більше того, усвідомлення мети, до якої приводить реальна програма дій, змусила б змінити цю програму, на що людина, як правило, не може погодитися<sup>1</sup>.

Тут, гадаємо, становить інтерес не лише вичленення різних елементів внутрішньої спонуки (усвідомленої мети і реальної програми дій), але й зазначення «невипадковості розузгодженості» їхнього змісту. Незбіг усвідомленої мети і реальної спрямованості дії К. Обуховський пояснює специфікою функціонування механізмів культури, зокрема регулятивною роллю, що її відіграють цінності.

Усвідомлення мети, пише він, відбувається на основі цінностей, «які визнаються суспільством позитивними з погляду культури, що формує дану особу»<sup>2</sup>.

Такі аспекти проблеми «свідомість — дія» досліджено відомим радянським психологом О. М. Леонтьєвим. Розрізняючи «особистісний смисл» і «значення» на основі того, що «на відміну від буття суспільства, буття індивіда не є «самопромовистим», тобто індивід не має власної мови, вироблюваних ним самим значень, він вважає, що основна суперечність, що породжує невідповідність між «сміслом» і «значенням», зумовлюється специфікою усвідомлення індивідом дійсності. На думку О. М. Леонтьєва, воно відбувається тільки через засвоєння ним іззовні «готових значень — знань, понять, поглядів, що він їх набуває у спілкуванні в тих чи тих формах індивідуальної і масової комунікації. Це і створює можливість внесення в його свідомість, нав'язування йому спотворених або фантастичних уявлень і ідей, у тому числі й таких, які не мають жодного ґрунту в його реальному, практичному життєвому досвіді»<sup>3</sup>.

У прикладній соціології, зокрема соціології праці, фактично у рамках цієї проблеми аналізуються питання про задоволеність роботою, об'єктивні показники праці, про реалізацію ціннісних орієнтацій у сфері трудової діяльності, про реальну і потенційну плинність, про можливість прогнозувати поведінку в сфері трудової діяльності та ін.

У більш загальній постановці ця проблема розглядається в дослідницькому проекті «Особа і її ціннісні орієнтації», де спеціально ви-

---

<sup>1</sup> Обуховский К. Психология влечений человека. М.: Прогресс, 1972. С. 36, 38.

<sup>2</sup> Там же.

<sup>3</sup> Леонтьев А. Н. Деятельность, сознание, личность. М.: Политиздат, 1975. С. 154.

сувається завдання виявити співвідношення між ціннісними орієнтаціями і спостережуваною поведінкою<sup>1</sup>.

Відзначимо, що у прикладній соціології проблема «свідомість — дія» вийшла далеко за межі проблеми «усвідомлений намір — фактична поведінка». Вона вбирає і питання про співвідношення ціннісних уявлень і діяльності, мотивів і реальної поведінки, оцінок дійсності і практичного ставлення до неї.

Прикладні соціологічні дослідження дають великий емпіричний матеріал, який свідчить про те, що між змістом свідомості і змістом дій є складна залежність. Так, наприклад, задоволеність працею, що виступає водночас як свідомо орієнтація на трудову діяльність, не завжди адекватно реалізується в об'єктивних показниках праці: потенційна плинність (свідома орієнтація на працю на даному підприємстві) не узгоджується з реальною плинністю (поведінковим актом — залишенням підприємства). Було з'ясовано також, що практична орієнтація на ті чи ті умови трудової діяльності, яка виявляється в конкретних поведінкових актах, не відповідає усвідомленим оцінкам даних умов, а ціннісні уявлення і мотиви поведінки можуть не відповідати змістові потреб і стимулів трудової діяльності<sup>2</sup>.

Конкретно-соціологічні дослідження дали можливість виявити, що функціональні і демографічні характеристики працівників, які свідчать про їх інтереси і потреби, більшою мірою пов'язані з їхньою реальною поведінкою, ніж зміст ціннісних уявлень і мотивів поведінки (хоча останні є безпосередньою детермінантою дії). Результати факторного аналізу різних ознак, що характеризують трудову діяльність, показали, що суб'єктивні характеристики (усвідомлені орієнтації і оцінки) утворюють відносно «замкнену» групу у сфері свідомості і можуть бути повністю не об'єктивовані у фактичній поведінці.

У рамках цих досліджень постало також питання про те, що не варто відокремлювати вербальну поведінку у відносно самостійну галузь, і відповідно до цього — питання про словесну інформацію як джерело даних про об'єктивні фактори трудової діяльності<sup>3</sup>.

---

<sup>1</sup> Личность и ее ценностные ориентации: Информ. бюл. ИКСИ АН СССР, № 25 (40), вып. 1. — М., 1968.

<sup>2</sup> Попова И. М. Стимулирование трудовой деятельности как способ управления. Киев: Наук. думка, 1976.

<sup>3</sup> Моин В. Б. Словесная информация как источник данных о субъективных факторах трудовой деятельности. Минск, 1978.

Отже, розглядувана проблема формулюється у багатьох галузях знання специфічною, властивою їм мовою і по-своєму усвідомлюється на різних рівнях соціального аналізу — соціально-філософському і конкретно-прикладному. При цьому той чи той спосіб постановки проблеми «свідомість — дія», підхід до її розв'язання є немовби загальною передпосилкою для спрямування пошуку в соціальному пізнанні. Водночас ця обставина актуалізує розгляд названої проблеми у загальнофілософському плані. Конкретні соціально-гуманітарні дослідження дають змогу зафіксувати факти, що лежать в основі формулювання проблеми у відносно точному, кількісному вираженні. Їх правильне теоретичне осмислення можливе на основі методології діалектичного і історичного матеріалізму.

Одним із перших кроків у цьому напрямі має бути чітка експлікація використовуваних у теоретичному аналізі понять і передусім поняття «дія». На наш погляд, «дію» можна визначити як те, що відбувається в дійсності, як спостережувану фактичну, реальну поведінку. Тут у поняття «дія» вкладається інший смисл, відмінний від прийнятого авторами, які спеціально аналізують його. Не розглядаючи змісту поняття «дія» взагалі, спинимося на трактуванні «соціальної дії», під якою розуміється дія людини. Остання тлумачиться як конкретний акт локалізованої у просторі і часі діяльності<sup>1</sup>, а сама діяльність — як будь-який вид людської активності. Таке трактування діяльності вельми поширене в нашій літературі. Відповідно до нього поряд з «практичними діями» виділяються і «дії розумові» (ідеальні, пізнавальні, духовні та ін.), дії у сфері ідей, духовного життя (критика, пропаганда, агітація тощо)<sup>2</sup>.

Природно, що у такій широкій інтерпретації поняття «дія» не може бути застосоване в аналізі розглядуваної проблеми. На наш погляд, термін «дія» в даному разі доцільніше використовувати для позначення поняття, однопорядкового з «дійсним», «реальним» і протиставного свідомості — «ідеальному», «ідеї».

Іноді «реальна», «фактична» дія позначається терміном «поведінка». Під останньою розуміється зовнішньо спостережувана система дій (вчинків), у якій реалізуються внутрішні спонуки людини. Тут поняття поведінки вужче за обсягом, ніж категорія діяльності, через те що остання може мати як реально-, так і морально-перетворюю-

<sup>1</sup> Категории социальной диалектики. Минск, 1978. С. 71.

<sup>2</sup> Там же, с. 79—80.

вальний характер, а тому бути приступною для зовнішнього спостереження<sup>1</sup>.

За такого вживання понять саме «поведінка» може бути використана для описання проблеми «свідомість — дія». Однак і в розумінні поведінки є розбіжності. Наприклад, у праксеології діяльність характеризується як «свідомо спрямована на досягнення якоїсь мети поведінка»<sup>2</sup>. Діяльність — це свідомо, або «довільна», поведінка, за якої суб'єкт здійснює вибір. Я. Щепанський визначає дію через поведінку: це такі види поведінки, «що є умисним, свідомим комплексом вчинків»<sup>3</sup>.

Отже, короткий огляд літератури, в якій так чи так фіксується або намічається підхід до проблеми «свідомість — дія», свідчить про те, що потрібна чітка експлікація використовуваної для її описання термінології. На наш погляд, термін «дія» є найдоцільнішим для позначення реальної, безпосередньо спостережуваної (зовнішньої), фактичної, «дійсної» поведінки у предметній діяльності. Тут мається на увазі, що ця поведінка є свідомою. Свідомість же потрібно розглядати ширше, ніж психічне відображення дійсності людиною, а саме: як усвідомлення дійсності (її усвідомлене відображення), що зароджується в процесі предметно-практичної перетворювальної діяльності, і не як одиничний акт, а як певну протяжність, що визначає «логіку» вчинків.

Експлікація даних термінів дає можливість також уточнити формулювання проблеми, поставити її в більш загальному вигляді: хоча свідомість є безпосередньою детермінантою дії, між її змістом і змістом дії може існувати невідповідність, суперечність. Ступінь такої невідповідності має конкретно-історичний характер і визначається соціально-економічними і соціально-культурними факторами (загальними і частковими), які виявляються в процесі конкретно-соціологічних досліджень.

Вище ми вже звертали увагу на те, що ключем до розуміння проблеми «свідомість — дія» є марксистська концепція потреб та інтересів, в якій вони розглядаються в їх соціально-практичній зумовленості, а також у співвідношенні свідомості і самосвідомості особи і суспільства. У цьому плані становлять інтерес висунуте К. Обуховським положення про різні елементи внутрішньої спонуки і регуля-

<sup>1</sup> Социальная психология. М.: Политиздат, 1975.

<sup>2</sup> Зеленовский Я. Организация трудового коллектива. М.: Прогресс, 1971. С. 91.

<sup>3</sup> Щепанский Я. Элементарные понятия социологии. М.: Прогресс, 1962. С. 85.

тивної функції цінностей і положення О. М. Леонтьєва про невідповідність смислів і значень, про конкретно-історичний характер цієї невідповідності.

Дослідження факторів, що визначають незбіг намірів і реальної поведінки, потребує як урахування практичних умов, реалізації ціннісних орієнтацій, так і вивчення їхньої природи (ступеня сталості, характеру взаємовідношення різних рівнів внутрішньої регуляції — потреб, інтересів і цінностей, ідеалів). Під час пояснення «розузгодженості» зазначених рівнів регуляції доцільно, на наш погляд, розрізнити те знання, яке людина набуває безпосередньо із свого життєвого досвіду (предметно-практичної діяльності і спілкування), і те, яке вона дістає через засвоєння значень різних знаково-семіотичних систем, що опосередковують процеси діяльності і спілкування. Відмінність двох видів людського досвіду зумовлює розрізнення змісту потреб-інтересів, з одного боку, цінностей-ідеалів і мотивів — з другого. Зміст потреб-інтересів більшою мірою відповідає матеріальним умовам життєдіяльності особи і змістові її реальної поведінки, предметно-практичної діяльності, ніж зміст ціннісних уявлень і мотивів поведінки. Останні визначаються також культурним контекстом функціонування суспільних значень і символів. Ця розбіжність змісту потреб-інтересів і змісту ціннісно-сміслових утворень пояснює факт відносної самостійності, певної «замкненості» свідомості щодо реальної поведінки, яка виявляється конкретно-соціологічними дослідженнями. Поглиблене розуміння проблеми свідомості — дії передбачає вивчення соціально-культурних і ціннісно-сміслових формоутворень свідомості. Їхній зміст визначається специфікою ціннісного відношення людини до дійсності, за якою остання постає у своїй значущості для людини, що й дає змогу, на наш погляд, виявити і схарактеризувати соціальну сутність свідомості, зокрема вплив на неї почуття соціальної відповідальності.

Розуміння природи свідомості і її зв'язку з дією міцно пов'язане зі з'ясуванням ролі самосвідомості в осягненні дійсності, а також виявленням зв'язку мови із самосвідомістю. Тут значний інтерес становить погляд, згідно з яким самосвідомість є не особливий рівень свідомості або її окремий компонент, а невід'ємна сторона її, неодмінна умова усвідомлення дійсності, всякого свідомого акту<sup>1</sup>. Самосвідомість завжди пов'язана з виділенням в собі «іншого», з оцінкою себе

<sup>1</sup> Черносвитов Е. М. Самосознание и структура сознания // Философские науки. 1974. № 4.



відповідно до прийнятих у суспільстві значень, фіксованих у мові, із прагненням до самореалізації і самоутвердження. Тому всякий свідомий акт становить єдність знання і переживання і здійснюється через мову. Внутрішньо він детермінований ціннісно-сміисловою стороною свідомості, зумовлений самосвідомістю, що певним чином трансформує цінності суспільства, значення, прийняті у тій чи тій культурі.

На цю обставину потрібно зважувати в соціологічних дослідженнях, зокрема здобуваючи первинну інформацію у процесі опитування. Однак характер висновків, які випливають із визнання даної обставини, залежить від методологічних настанов дослідження. Так, у феноменологічному напрямі буржуазної соціології намагаються досягти об'єктивності соціологічного знання з допомогою вироблення процедур верифікації, перевірки і обґрунтування мовних конструктів, у яких соціально закріплений світ культурних значень. Звідси і випливають і специфічна інтерпретація соціальної дійсності, і визначення методів її пізнання. З точки зору феноменологічної соціології, соціальна дія формується і самореалізується у соціальному світі через значення. «Оскільки життєвий світ складається з таких значень, соціологія, що прагне досягти організованого знання соціальної реальності, повинна враховувати і аналізувати значення, з яких виникають соціальні дії»<sup>1</sup>.

Вивчення прийнятих у суспільстві значень справді конче потрібне, тому що без цього не можна зрозуміти природи духовної діяльності суспільства і особи, змісту суспільної і індивідуальної свідомості, природи ідеального. Однак, з погляду марксистсько-ленінської методології, соціологічні дослідження не зводяться до верифікації цих значень, їхнє завдання полягає насамперед у вивченні реальної поведінки особи у суспільному середовищі, яка визначається певною предметно-практичною діяльністю суспільства.

Особлива роль у пізнанні механізмів зв'язку свідомості і дії належить конкретно-соціологічним дослідженням, бо ступінь відповідності ціннісних уявлень суспільства його потребам і інтересам, більша чи менша узгодженість свідомих і неусвідомлених спонук особи визначаються не тільки конкретно-історичними, соціально-економічними, соціокультурними обставинами, а й безпосередньо специфічними регіональними, демографічними, соціально-психологічними та іншими факторами.

---

<sup>1</sup> Новые направления в социологической теории. С. 242.

## **ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА КАК СОЦИАЛЬНАЯ ЦЕННОСТЬ** (В СОВАВТОРСТВЕ С В. Б. МОИНЫМ)

На современном этапе развития советского общества эффективность общественного производства во многом определяется состоянием организации труда и действенностью материального стимулирования. Совершенствование системы материального вознаграждения является не только экономической, но и социальной проблемой. Будучи главным элементом социалистических распределительных отношений, именно оплата труда определяет уровень благосостояния и структуру потребления.

Этим, однако, характеристика зарплаты как социальной ценности не исчерпывается. Главное в изучении проблемы — учет нравственной стороны трудовой деятельности вообще и оплаты труда в частности. Распространенная в литературе точка зрения, что нравственные аспекты труда ограничены осознанием его общественной полезности, проявлением интереса к содержанию выполняемой работы, не вполне правомерна. Далеко не всегда оправдано и традиционное разделение стимулов труда на материальные и моральные. В социалистическом обществе зарплата выполняет и те, и другие функции. Представление о ее справедливости служит не только средством самоутверждения личности, но и выступает важнейшим фактором, обуславливающим воздействие социалистических распределительных отношений на производство, фактором, обеспечивающим включение зарплаты в сферу общественных идеалов [2]. Мы предприняли попытку исследовать зарплату именно в этом контексте с ориентацией на решение в общем-то одного вопроса: в чем заключается ее «неутилитарное» значение, как выглядит она в ценностных представлениях трудящихся.

Не случайно для характеристики социально-экономических явлений используется категория «справедливость». При этом неизбежная социальная дифференциация, связанная с оплатой труда при социализме, вовсе не должна рассматриваться как антитеза равенству. Нарушения социалистического принципа равенства вытекают прежде всего из возможности получения нетрудовых доходов, из имеющего

место скрытого перераспределения [3]. Вот почему к числу важнейших задач укрепления не только материальных, но и нравственных основ социалистического образа жизни следует отнести перекрытие всех источников нетрудовых доходов, повсеместное обеспечение справедливой оценки «трудового вклада каждого» [1].

В нашей стране проведены репрезентативные социологические исследования, результаты которых позволяют достаточно надежно определить, какое место в системе ценностей личности занимает материальное вознаграждение за труд. Хотя определение места заработной платы среди других жизненных ценностей в значительной степени связано с демографическими и социальными характеристиками респондентов и зависит также от условий опроса, предлагаемых в вопроснике «закрытый» и т. д., обобщенный вывод представляется небезосновательным: «...в течение ряда лет различные по месту проведения, объему и категориям опрашиваемых социологические исследования ценностных ориентаций приходят к одним и тем же результатам. На первое место среди всех жизненных ценностей люди ставят работу, которая удовлетворяла бы их потребности в творчестве («интересная работа»), на второе место — повышение своего образования, на третье и четвертое места — материальную обеспеченность» [4].

Бесспорно, разнообразие процедур измерения ценностных представлений, различия в наборах предлагаемых респонденту ценностей, отсутствие в исследованиях четкого разграничения «материального вознаграждения» и «материальной обеспеченности» существенно затрудняют сопоставление данных о месте оплаты труда в системе ценностей. Однако имеющаяся информация, в том числе полученная нами в результате обследований на ряде промышленных предприятий страны, свидетельствует: практически везде заработная плата в системе ценностей (вне зависимости от того, относятся они к сфере трудовой деятельности или к общим жизненным ориентациям) находится значительно ниже, чем, например, служение обществу, интересная работа и т. п.

Какие же выводы следуют из подобных данных? Можно ли на их основании говорить, что труд уже превратился в первую жизненную потребность, что потребность в зарплате по сравнению с потребностью в интересной, содержательной работе отходит на задний план? Можно ли, имея в виду методологический аспект, опираясь на вербально выраженные в ситуации опроса суждения, оценки, мотивы, судить о реальных потребностях?

На наш взгляд, существенный недостаток большинства исследований ценностей труда как раз и состоит в том, что в них нечетко разграничиваются ценности и потребности, а вербальные суждения, мотивы, оценки, несмотря на многочисленные оговорки «методологического характера», на практике часто интерпретируются как вполне адекватные потребностям работников. Это, естественно, приводит к неправильным теоретическим и практическим выводам, в частности о превращении труда в первую жизненную потребность у большинства советских людей, к недооценке стимулирующей роли заработной платы в условиях социалистического общества [5].

Чтобы интерпретация полученной в ходе социологических исследований словесной информации о месте зарплаты среди ценностей труда была корректной, необходимо выявление реальных критериев, обуславливающих ответы респондентов. Можно предположить, что высказывания работников (независимо от применяемых процедур измерения — прямых или косвенных), использование ими «зарботка» в качестве мотива поведения (например, при увольнении, в выборе профессий и т. д.), в значительной степени зависят от сложившихся в обществе ценностных представлений об «идеальном», социально одобренном отношении к деньгам. В таком случае эти ответы не могут рассматриваться, как адекватное выражение потребностей трудящихся в заработной плате. Следовательно, собранная в процессе социологических исследований информация не является достаточным основанием для выводов, что труд стал первой жизненной потребностью для данного количества опрошенных, а материальное вознаграждение играет значительно меньшую стимулирующую роль по сравнению, скажем, с содержанием труда.

Согласно результатам проведенных нами исследований<sup>1</sup>, подобная информация свидетельствует прежде всего о ценностных представлениях работников об «идеальном», нормативном, желательном с точки зрения общества отношении к заработной плате. На эмпирическом обосновании этого положения мы и сосредоточим в дальнейшем своё внимание.

---

<sup>1</sup> Исследования проведены на ряде промышленных предприятий Минморфлота (общее количество обследуемых 4500 человек), а также в Красноокнянском районе Одесской области (320 человек), в 1975—1982 гг. Число обследуемых в каждой выборке указано в тексте и таблицах. Данные удовлетворяют требованиям репрезентативности и надежности.

Анализ данных опроса осуществлялся путем сравнения, во-первых, значимости зарплаты в ситуации объяснения собственного поведения других и, во-вторых, «негативных» (увольнения, отказ работать по смежной профессии и т. п.) и «позитивных» (престиж, привлекательность профессии) ситуаций. Изучались также высказывания респондентов о значении зарплаты при выборе места работы, сопоставлялись их ответы о средней величине зарплаты с фактическими данными, полученными в бухгалтерии.

Важное значение для изучения ценностных представлений относительно зарплаты имеет прежде всего анализ мотивации. Под мотивацией в данном случае мы подразумеваем процесс формулирования мотивов-суждений, при помощи которых работник объясняет свое поведение либо поведение других в сфере трудовой деятельности. Сущность подобной трактовки заключается в соотношении ситуации, подлежащей объяснению, с теми или иными ценностями или нормами.

Ценностные представления о значимости различных сторон трудовой деятельности определяют для субъекта выбор, во-первых, социально возможных мотивов-суждений (т. е. мотивов, которые позволяют ему сформулировать понятную и правдоподобную для него и его социального окружения версию поведения); во-вторых, социально одобренных мотивов-суждений, используя которые можно обосновать свое поведение как соответствующее принятым в обществе эталонам, идеалам и, следовательно, рассчитывать на социальное признание. Вместе с тем сами ценности-нормы в мотивах-суждениях, как правило, не фиксируются, а выступают в виде очевидных, само собой разумеющихся истин.

Один из способов декодирования мотивов-суждений, т. е. выявления тех ценностных представлений, которые влияют на объяснения респондента, заключается, по нашему мнению, в анализе того, как меняются высказывания в зависимости от следующих факторов: а) типа мотивации (объяснение поведения других — дадим ему условное наименование «приписывание», объяснение своего поведения назовем «рационализацией»); б) валентности объясняемой ситуации («положительная» — с точки зрения социально одобренных ценностей, идеалов, либо «отрицательная»<sup>1</sup>); и, наконец, в) характера объясняемой ситуации (реальная или прожективная). Интерпретация

---

<sup>1</sup> Например, в условиях дефицита рабочей силы увольнение работника и миграция из сельской местности явно отрицательно оцениваются и со стороны руководства, и средствами массовой информации, и в общественном мнении.

поведения существенно зависит от перечисленных факторов. Например, мотивы-суждения, высказанные при объяснении собственного поведения, в гораздо большей степени отвечают социально одобренным ценностям, чем мотивы, высказыванию при «приписывании». Так, по нашим данным, обосновывая привлекательность тех или иных профессий для себя («рационализация») на «интересную, содержательную работу» сослались 94 % опрошенных, а объясняя привлекательность этих же профессий для других («приписывание»), — только 36 %.

При рационализации «отрицательной» ситуации усиливаются защитные функции мотивации и увеличивается значимость «безличных» мотивов, объясняющих поступок внешними причинами («семейные обстоятельства», «перемена места жительства» и т. п.), тогда как при интерпретации «положительной» ситуации растет удельный вес «благородных» мотивов, соответствующих социально одобренным ценностям, идеалам, что позволяет рассчитывать на социальное признание. В прожективной «положительной» ситуации существенную роль играют престижные моменты, стремление к самоутверждению, социальному одобрению. Респондент выбирает такие мотивы-суждения, которые характеризуют его как личность, действующую в соответствии с принятыми в обществе нормами, при этом «благородные» мотивы приобретают большую значимость, чем в реальной ситуации. Когда же опрашиваемый объясняет поступки, которые считаются негативными, то защитные функции мотивации сильнее проявляются в реальной ситуации (например, непосредственно при увольнении), чем при ретроспективной оценке. Иными словами, вероятность оправдания работником своего поведения «неблагоприятными» мотивами в первом случае значительно ниже, чем во втором.

В основе личностных механизмов, определяющих перечисленные особенности мотивации, в том числе и представлений о заработной плате, лежит одна из важнейших социогенных потребностей человека — в социальном одобрении, стремление представить себя в своих ответах как личность, соответствующую социальным идеалам<sup>1</sup>.

Какие же ценностные представления влияют на суждения респондентов о значении зарплаты? Во-первых, обнаружено, что роль данного мотива существенно повышается в ситуации «приписывания»

---

<sup>1</sup> Речь идет не только о нормах, функционирующих на уровне общества в целом, но и в рамках отдельных социальных общностей, точнее, референтных групп и так называемых «мы»-представлений.

по сравнению с «рационализацией» (табл. 1). Во-вторых, значимость зарплаты выше при объяснении ретроспективной «отрицательной» ситуации, чем реальной. И наконец, обратная зависимость наблюдается при рационализации «положительной» прожективной ситуации. Значимость данного мотива здесь ниже, чем при объяснении положительной реальной ситуации (см. табл. 2).

Таблица 1

**Количество указавших заработную плату при объяснении поведения в зависимости от типа мотивации**

Объясняемая ситуация	Тип мотивации				Различие между типами мотиваций*
	Рационализация		Приписывание		
	%	Абс.	%	Абс.	
<i>Отрицательная</i> <i>Увольнение</i> По данным обследования работников "Черномортехфлота"	27	714	65	450	38
По данным обследования работников Ильичевского судоремонтного завода	34	342	86	2300	52
<i>Миграция из сельской местности</i> По данным обследования жителей Красноокнянского района Одесской области	4	320	39	320	35
<i>Положительная</i> <i>Привлекательность профессий</i> По данным обследования работников Ильичевского судоремонтного завода и Одесского судоремонтного завода	9	2300	29	410	20
По данным обследования ИТР 14 судоремонтных предприятий	7	1007	17	1007	10

\* Различия статистически значимы с доверительной вероятностью  $P \geq 0,99$ .

Приведенные данные позволяют сделать следующий вывод: большинство работников относят зарплату к числу мотивов, не вполне соответствующих социально признанным ценностям. Видимо, в сознании людей прочно укоренилось мнение, будто, обосновывая свои поступки, гораздо с большей степенью вероятности можно рассчитывать на одобрение окружающих, если не использовать этого мотива.

**Количество указавших заработную плату в зависимости от характера  
объясняемой ситуации**

Валентность ситуации	Характер объясняемой ситуации				Различие по характеру объясняемой ситуации
	Реальная		Прожективная		
	%	Абс.	%	Абс.	
<i>Отрицательная</i> <i>Увольнение</i> По данным обследования работников "Черномортехфлота"	27	71	34	43	10
По данным обследования работников "Дунайводстроя"	14	249	18	147	4
<i>Положительная</i> <i>Привлекательность профессий</i> По данным обследования ИТР 14 судоремонтных заводов	13	1004	8	1004	5

Поэтому его значимость при объяснении собственного поведения существенно ниже, чем при объяснении поведении других. Об этом же свидетельствуют и различия реальной и ретроспективной ситуации по данному параметру. Еще один аргумент — различие в оценках роли зарплаты при выборе места работы — выявлен в реальной и прожективной ситуациях (см. таблицу 3).

В прожективной ситуации (как бы очищенной от влияния конкретных условий) на первый план зачастую выступают престижные моменты. Естественно, в этих случаях предпочтение отдается более «возвышенным» социально одобренным ценностям.

Аналогичный вывод можно сделать и на основании сопоставления суждений респондентов о роли зарплаты, выявленных при помощи личных и безличных вопросов. Здесь также действуют «защитные» механизмы, сказывается влияние стремления к социальному одобрению. По данным исследования инженерно-технических работников 14 промышленных предприятий страны (N = 1007), в ответах на личные вопросы заработная плата упоминается гораздо чаще, чем



**Зависимость оценок\* роли зарплаты при выборе места работы  
от ситуации оценивания**

Исследуемая группа	Ситуация оценивания		Разница между реальной и прожективной ситуацией
	Реальная	Прожективная	
Линейные руководители 24 предприятий (N=890)	24	-22	46
ИТР функциональных служб управления 14 предприятий (N=1007)	39	-03	42

\* Оценки определялись на четырехчленной шкале. Индекс значимости той или иной ценности нормирован от -1 («никакого значения») до +1 («очень большое значение»).

в «безличной» ситуации<sup>1</sup>. В первом случае зарплату отметили лишь 7 % опрошенных (6 место в перечне 12 ценностей), во втором — уже 17 % (второе место).

Эта информация вполне согласуется с приведенными выше фактами о различии значимости мотива при «приписывании» и «рационализации». Таким образом, есть все основания утверждать: в представлениях людей стремление к хорошим заработкам вовсе не относится к числу одобряемых ценностей.

Еще один факт, на который хотелось бы обратить внимание. Высказывания работников о роли зарплаты в системе ценностей носят весьма неустойчивый характер. Примерно каждый пятый респондент, отвечая на вопросы анкеты (как реальные, так и прожективные), давал противоречивые оценки значения зарплаты в трудовой деятельности. Такая же картина выявлена и при использовании различных процедур оценивания: последовательного выбора наиболее значимых ценностей из предложенного списка и оценки каждой из них при помощи четырехчленной порядковой шкалы. Именно ценностные представления о роли зарплаты сильнее всего дифференцировали исследуемую совокупность. Об этом свидетельствуют величины энтропии (Е) и коэффициента качественной вариации (К), приближающиеся к своему

<sup>1</sup> Респонденту предлагали перечень 12 основных ценностей, связанных с работой («повышать уровень профессиональных знаний», «приносить пользу обществу», «хорошо зарабатывать» и т. д. и просили вначале назвать ту из них, которая оказала самое сильное влияние на выбор профессиональной деятельности самим опрошенным, а затем указать ту, которая, по его мнению, имеет наибольшее значение в целом для ИТР.

максимуму (см. табл. 4). Отсюда вытекает вывод о неопределенности, противоречивости, неустойчивости ценностных представлений об идеальном, социально одобренном отношении к зарплате.

Таблица 4

**Ценностные ориентации ИТР промышленных предприятий в сфере трудовой деятельности**

Ценностные ориентации на:	Линейные руководители (N=890)			ИТР функциональных служб управления (N=860)			
	I*	% противоречивых ответов	E**	I	% противоречивых ответов	E**	K***
Служение обществу	0,69	6	0,50	0,40	2	0,53	72
Содержание труда	0,54	10	0,61	0,37	6	0,60	81
Самовыражение	0,42	4	0,54	—	—	—	—
Самостоятельность	—	—	—	0,36	4	0,51	71
Использование профессиональных знаний	—	—	—	0,30	8	0,57	78
Профессиональный рост	—	—	—	0,31	5	0,53	73
Творческую работу	0,26	14	0,71	0,24	9	0,67	89
Признание	—	—	—	0,20	5	0,62	86
Заработную плату	0,13	22	0,74	0,17	12	0,69	91
Продвижение по службе	-0,22	12	0,68	-0,30	10	0,65	87
Руководство	0,01	10	0,73	-0,39	7	0,64	87

\*I — индекс, характеризующий интенсивность ценностных ориентаций, нормирован от +1 (очень сильная ориентация) до -1 (ориентация отсутствует).

\*\*E — энтропия.

\*\*\*K — коэффициент качественной вариации.

Для изучения рассматриваемой проблемы представляет интерес и анализ ответов респондентов на вопрос о величине их зарплаты. Информацию о среднемесечном заработке мы собирали двумя способами: а) при помощи формализованного интервью и анкетного опроса на отдельных выборках выявлялись средние размеры зарплаты и премий (с учетом известных вычетов), полученных каждым из респондентов, и б) на основе данных бухгалтерии определялись средние

размеры зарплаты и премий, начисленных в платежных ведомостях к «выдаче» за предшествующие опросу шесть месяцев<sup>1</sup>. В том и другом случаях использовалась десятичная интервальная шкала (до 80 руб. ...свыше 240 руб.) с интервалом в 20 руб.

В среднем лишь 25 % опрошенных правильно назвали размеры своих заработков. Большинство же либо завысили, либо занизили фактические цифры. Для того чтобы определить направленность расхождений между величинами ФЗ и НЗ, вычислялся индекс:  $I = n_1 - n_2 / n_1 + n_2$ , где  $n_1$  — количество респондентов, у которых НЗ превышает ФЗ,  $n_2$  — число респондентов, у которых НЗ ниже ФЗ. Индекс принимает значения +1, когда у всех респондентов исследуемой группы НЗ выше ФЗ, и -1 в том случае, если у всех представителей данной группы НЗ ниже ФЗ.

Сопоставление НЗ и ФЗ во всех перечисленных подвыборках выявило следующие тенденции.

Во-первых, чем выше размеры зарплаты, тем чаще респонденты её занижают и, напротив, чем меньше этот показатель, тем больше склонность его завышать (см. табл. 5). Этот вывод подтверждается и данными о среднем заработке работников, которые завышали или занижали его в своих ответах (см. табл. 6). Во-вторых, четко прослеживается стремление к «усреднению» заработков, своеобразному «подтягиванию» их величины к некоторой общей средней. Те, кто получают зарплату выше средней, в большей степени склонны

Таблица 5

**Средний заработок работников, завышающих и занижающих его при опросе, руб.**

Соотношения ФЗ и НЗ	Подвыборки			
	Рабочие основного производства крупного промышленного предприятия	Рабочие основного производства, увольняющиеся с того же предприятия	Линейные руководители — мастера, старшие мастера, начальники цехов	ИТР функциональных служб управления
Завышали размеры ФЗ	111	109	155	140
Занижали размеры ФЗ	225	136	203	205

<sup>1</sup> Далее заработки, информация о которых получена первым способом, обозначены буквами НЗ — «называемые заработки», а вторым — ФЗ — «фактические заработки».

Таблица 6

**Зависимость расхождений между указанным респондентом и фактическим заработком от величины последнего**

Фактическая заработная плата	Подвыборки			
	Рабочие основного производства крупного промышленного предприятия	Рабочие основного производства, увольняющиеся с того же предприятия	Линейные руководители-мастера, старшие мастера, начальники цехов	ИТР функциональных служб управления
80 руб.	1.00	1.00		
81–100	1.00	.57		
101–120	1.00	.62		1.00
121–140	.33	–.01	1.00	.63
141–160	–.04	–.38	.33	–.12
161–180	–.33	–1.00	–.43	–.64
181–200			–.69	–.94
201–220			–.75	–.80
Свыше 220 руб.			–1.00	–.91
В целом по подвыборке	.65	.15	–.46	–.49

занижать ее, а те, у кого она ниже, в своих ответах явно завышают цифры. Об этой закономерности свидетельствует и тот факт, что во всех подвыборках вариационный размах ФЗ в три-четыре раза выше, чем НЗ. В-третьих, обнаруженные тенденции прослеживаются на всех подвыборках вне зависимости от пола, возраста, образования, социально-профессиональных характеристик. Отклонения в той или иной группе обусловлены главным образом средними размерами ФЗ, а также ситуацией опроса.

Какие общие выводы можно сделать на основании приведенных данных? Прежде всего, очевидно, что люди имеют весьма смутные и противоречивые представления о социально одобренном отношении к заработной плате. С одной стороны, низкая зарплата рассматривается негативно, как показатель недобросовестного выполнения работы или низкой квалификации. Поэтому у человека, получающего меньше, чем представители той же социально-профессиональной группы, в среднем меньше вероятность сохранить высокую самооценку и получить социальное признание. Указанное обстоятель-

ство, на наш взгляд, в значительной степени объясняет стремление респондентов с низкими зарплатами завышать размеры последних в своих ответах.

С другой стороны, на уровне обиденного сознания довольно широко распространено мнение, согласно которому высокие зарплаты могут свидетельствовать о качестве, ориентации работника исключительно на материальное благополучие, что расходится с моралью социалистического общества. Возможно, даже занижение фактических величин связано с представлением, что зарплата не всегда начисляется в соответствии с трудовым вкладом. Примечательный факт: чем выше размеры зарплаты, тем сильнее у респондентов проявляется тенденция к ее занижению.

Важная роль, которую играет зарплата как средство реализации социалистического принципа распределения «от каждого по способностям — каждому по труду», то значение, которое она имеет как один из главных стимулов социально-экономического развития, не осознаются пока достаточно полно и четко. Между тем существенный фактор повышения эффективности труда работника на конкретном участке производства — понимание не только утилитарной значимости зарплаты, но и её высокой нравственной ценности, справедливости и адекватности трудового вклада.

Тот факт, что в системе ценностных представлений трудящихся социалистического общества зарплата не занимает должного места — тревожный симптом. Он свидетельствует об определённых недостатках воспитательной работы среди трудящихся, а также о необходимости дальнейшего совершенствования системы оплаты труда.

### *Литература*

1. Материалы XXVI съезда КПСС. М.: Политиздат, 1981. С. 59.
2. Здравомыслов А. Г. Нравственная ценность труда при социализме. М.: Знание, 1981. С. 21–23.
3. Здравомыслов А. Г. Социальная сфера — актуальные проблемы. — Коммунист. 1981. № 16. С. 57.
4. Соколов В. М. Конкретно-социологические исследования эффективности нравственного воспитания // Вопросы партийного руководства нравственным воспитанием: По материалам Всесоюзной научно-практической конференции в Баку (25–27 апреля 1979 г.). М., 1980.
5. Попова И. М. Стимулирование трудовой деятельности как способ управления. М.: Наука, 1976. С. 170–177.

## ОТ СОЦИАЛЬНОГО ЗНАНИЯ К СОЦИАЛЬНОЙ ИНЖЕНЕРИИ

**Постановка проблемы.** Казалось бы, социология смело вторгается в социальную практику, делается ее неотъемлемым компонентом. Социологические исследования стали признаком «хорошего тона», ссылки на них украшают официальные доклады и отчеты, фигурируют в деловых бумагах. Однако, как правило, «социологическая самодеятельность», развертывающаяся все более широким фронтом, не только не приносит пользы, но зачастую и вредит социальной практике и социологической науке. Разумеется, я вовсе не ратую за то, чтобы глушить инициативу и творчество. Стремление внести вклад в социальные преобразования, опираясь на «чудодейственные» возможности социологии, вполне понятно. Но мириться с ситуацией, когда за дело берутся демагоги и невежды, не обладающие специальными знаниями, не владеющие методами, посредством которых эти знания должны добываться, недопустимо.

С моей точки зрения, наша социологическая наука далеко не всегда способна оказать действенную помощь практике не только вследствие известной теоретической слабости. Недостаточная компетентность и, стало быть, невысокая эффективность социального управления во многом объясняется тем, что в основе социальной практики лежит преимущественно повседневный опыт. В этой связи самого пристального внимания заслуживает вопрос о социальной инженерии и социальных технологиях. Вопрос этот отнюдь не отвлеченно-теоретический. В последнее время осуществлены конкретные меры по созданию предпосылок для развития социально-инженерной деятельности. В частности, принято постановление «Об улучшении организации социологической работы в отраслях народного хозяйства» и утверждено «Типовое положение о службе социального развития предприятия, организации, министерства» [2]. Думается, за этим первым шагом последуют другие.

Говоря о перспективах социально-инженерной деятельности, необходимо подчеркнуть: не только наука способствует развитию инженерии и технологии, но и наоборот, инженерная практика и повсе-

местное применение новейших технологий в значительной степени двигают вперед саму науку [3; 4, с. 117; 5, с. 121]. Накопленный опыт, который подтверждает данную взаимозависимость, вселяет надежду на то, что широкое распространение социально-инженерной деятельности и социальных технологий станет важным фактором дальнейшего совершенствования общественных дисциплин.

Какой вид знания может трансформироваться в социально-инженерную деятельность и социальные технологии и каким образом? Каков характер связи этой деятельности с обыденным, гуманитарным, философским, социально-политическим знанием, нравственными идеями? Как социальная инженерия связана с другими видами социальной практики? Совместима ли социальная инженерия с гуманистическим мировоззрением?

**Инженерная деятельность и социальная инженерия.** Отрицательное отношение к социальной инженерии в советском обществоведении 60–70-х годов было следствием неприятия позитивистски ориентированной «социологии малых дел», чрезмерно афишировавшей свою социально-политическую и философскую нейтральность. Несомненно, термин «социальная инженерия» несет значительную идеологическую нагрузку. Об этом свидетельствуют и страстный протест Р. Миллса против социотехнической манипуляции человеком, и попытка К. Поппера противопоставить социальную инженерию «политическому мессионизму» и «холизму», и альтернативы позитивизму, выдвинутые Т. Адорно и Ю. Хабермасом, и полемика Ф. Знанецкого со сторонниками натурализма и сциентизма, и выступления феноменологов против «традиционной социологии».

Правомерен вопрос: а есть ли необходимость ратовать за доброе имя социальной инженерии, целесообразно ли признание ее статуса в рамках марксистского мировоззрения? Утвердительный ответ вытекает, на мой взгляд, из сути самого понятия «инженерная деятельность», выражающего объективные процессы эволюции общества и человеческой деятельности, взаимоотношение науки и практики на определенном конкретно-историческом этапе. Для успешного управления социальными процессами, повышения практической эффективности общественной науки важно не только уяснить наиболее существенные характеристики инженерной деятельности, но и «удержать» их, углубить и переосмыслить.

Прежде всего отметим, что большинство авторов рассматривают инженерию как деятельность по применению научных знаний

с целью создания искусственных, технических объектов, материальных ценностей (см., например, [6–9]). Согласно более широкой трактовке, под инженерно-техническим трудом понимается особый вид высококвалифицированного труда, направленного на создание и преобразование при помощи инженерных методов и средств технических, технологических, экономических, организационных и социальных систем и процессов [13]. В других определениях вообще не содержится указания на вещественно-предметный результат инженерной деятельности.

На мой взгляд, наиболее важными в инженерной деятельности являются три момента: 1) регулярное применение научных знаний; 2) специальная, профессиональная подготовка; 3) осуществление связи науки и производства. Исходя из этого, под социально-инженерной деятельностью следует понимать такой вид профессиональной социально-практической деятельности, который означает трансформацию знания в решения и программы по управлению общественным производством. Последнее, в свою очередь, нужно трактовать широко, как воспроизводство человеческой деятельности.

Некоторые разъяснения, касающиеся инженерной деятельности вообще и инженерного стиля мышления в частности, целесообразно использовать и для более полной характеристики социально-инженерной деятельности. Это, например, указания на единство в инженерном стиле мышления не только теоретического и практического, но и понятийного и образного, на необходимость решать многие производственные задачи в оперативные сроки [10], предложения отличать инженерную деятельность, предполагающую регулярное применение научных знаний, от технической, основанной в большей степени «на опыте, практических навыках, догадках» [7].

Расширение понятия «инженерная деятельность», признание того, что она влияет на общественные процессы, вполне правомерно. Даже приверженцы «узкой» трактовки считают подобное толкование результатом исторически сложившегося разделения труда. Выделяя различные этапы в развитии инженерной практики, авторы обращают внимание, что на каждом этапе она существенно меняла свой облик. Так, в начале XX в. появилось проектирование (сейчас оно оформляется в особый вид деятельности, отличной как от научной, так и от инженерной [11]), в дальнейшем — систематическая деятельность, связанная со сложными «человеко-машинными системами», и, наконец, социотехническая, которая выходит за пределы научно-



инженерного производства и распространяется на многие сферы социальной практики [6, с. 10]. Подчеркивается также, что вследствие быстрой дифференциации инженерной деятельности ее определение становится затруднительным [6, с. 344].

Приведенные выше характеристики позволяют лучше понять суть социальной инженерии. При этом следует учитывать, что, с одной стороны, она, в отличие от «социологической самостоятельности», предполагает изменение социальных объектов на основе не повседневного житейского опыта, а знаний, полученных в результате специализированной подготовки, с другой же — в отличие от научной деятельности, носит непосредственно-практический, оперативный характер. Оперативная социологическая работа, например, отнюдь не идентична социологическому исследованию [12].

Важный вывод вытекает из преимущественно профессионального характера инженерной деятельности, а именно: необходимо готовить социологов не только общего профиля, но и социологов-инженеров, способных решать социально-инженерные задачи, возникающие в процессе социальной практики.

**Социальная инженерия и социальная технология.** Практическая направленность инженерной деятельности диктует необходимость обращения к понятию «социальная технология». Прежде всего уместно напомнить, что технология — это активное отношение человека не только к природе, но и к общественным условиям жизни.

Настаивая на «технологичности» социальной деятельности [13], необходимо выделить наиболее существенные характеристики, которые должны быть «удержаны» и углублены. Уже с древних времен технология означала искусство, мастерство, умение [14]. Будучи «мостом от идей к реальности», она, подобно инженерной деятельности, видоизменяется на различных этапах общественного развития.

Главные черты современной технологии — массовость, строгая воспроизводимость результатов, канонизация принципов, стандартизация рецептуры [4, с. 116–117]. Итак, характеристики технологии, которые должны быть «удержаны» для достижения «технологичности» нашей социальной деятельности, — это практическое умение, массовость и «стандартизация рецептуры», обеспечивающая повсеместность и воспроизводимость результатов.

Социологи-практики испытывают острую потребность в таких социальных технологиях, которые базируются на стандартных методах и дают возможность получать сопоставимые результаты. Отсут-

стве подобных технологий справедливо считается главной причиной нежизнеспособности многих социологических подразделений, недостаточной практической отдачи социологической науки.

«Проработка» социальных механизмов, учет факторов, образующих сферу компетенции социологов, должны стать необходимым условием принятия любого управленческого решения. В противном случае не удастся избежать стагнации общественной науки, преодолеть медлительность в деле создания упомянутых технологий. Что же касается социальной практики, то она сможет дать импульс научной мысли лишь при широком распространении социально-инженерной деятельности, включающей корректировку научно обоснованных социальных технологий. Подчеркнем при этом, что речь идет не о латании дыр и исправлении отдельных ситуаций, а о масштабных социальных мероприятиях, осуществляемых профессионалами.

**Наука и социальная инженерия.** Среди советских специалистов нет единой точки зрения относительно критериев научности. Даже истинность некоторые авторы трактуют не в качестве имманентной характеристики науки, а только как методологический регулятив [15, 16]. Здесь нет нужды вдаваться в споры. Остановлюсь лишь на одном аспекте обсуждаемых проблем, непосредственно связанном с критикой сциентизма и социальной инженерии: тот факт, что критерии научности формировались преимущественно под влиянием естественных дисциплин, вряд ли следует считать препятствием для их использования в изучении общественных явлений.

Стремление к истине (и поиски средств ее достижения) как методологический регулятив, ставший внутренним импульсом развития научного знания преимущественно под воздействием естественно-научных исследований, используется и для оценки общественных взглядов. Характеризуя экономические представления (обусловленность которых социально-классовыми, «внешними» по отношению к знанию интересами, несомненна), К. Маркс подчеркивал значимость именно внутренних критериев научности «...человека, — писал он, — стремящегося приспособить науку к такой точке зрения, которая почерпнута не из самой науки (как бы последняя ни ошибалась), а извне, к такой точке зрения, которая продиктована чуждыми науке, внешними для нее интересами, — такого человека я называю «низким»» [1]. По мере конституирования науки в специализированную деятельность (и специализированное знание, для достижения кото-

рого используются специфические средства познания) роль внешних факторов только тогда существенна, когда они преобразовываются во внутринаучную проблему. Забывая о том, что «самые злободневные социальные вопросы могут оказать влияние на развитие науки лишь в том случае, если внутри научного знания может быть обнаружена ее собственная задача, в каком-то смысле эквивалентная социальной проблеме» [17], мы умаляем тем самым значимость для общественнонаучных критериев.

Предпосылки для социально-инженерной деятельности создаются благодаря общественно-научному знанию, которому присущи опытная адаптируемость<sup>1</sup>, использование количественных методов анализа, различных средств измерения. Соответственно, научное познание общественных явлений, результаты которого могли бы реализоваться в социально-инженерной деятельности, требует развития прикладных социальных исследований, предполагающих эмпирическое изучение объекта. Повышение действенности прикладной социальной науки и, в частности, социологии зависит не только от корректности применения эмпирических методов, но и от теоретического анализа, позволяющего вырабатывать эффективные практические рекомендации. При этом необходимо помнить, что «собственно исследовательская деятельность начинается отнюдь не со сбора и анализа фактов, а с видения социальных проблем, стоящих как бы «за фактами» [18], и что «чем богаче и глубже исследование, тем более действительно оно в практическом плане» [19].

**Социальная инженерия и различные виды внеаучного знания.** В работах последних лет предпринята попытка определить специфику особого вида целенаправленного познания общественных явлений — так называемого гуманитарного знания [см. 20–22]. Для его обозначения используются и другие термины: «гуманитарно-философское мышление» [23], «гуманитарные науки» [24] и т. п. Авторы указывают на такие признаки, которые свидетельствуют об отграничении данного типа знания не только от естественнонаучного, но и от общественно-научного — этическая наполненность, диалогичность, полисемичность фактов, неоднозначность истины, мотивационно-смысловое понимание и т. д.

---

<sup>1</sup> Специалисты справедливо указывают, что эту черту нельзя считать общенаучным критерием. Однако, как свидетельствует история взаимодействия науки и производства, инженерная деятельность функционирует именно на основе опытно-адаптируемого научного познания.

В этой связи уместно обратить внимание на чрезвычайно важное обстоятельство, мешающее понять существо вопроса. Я имею в виду стремление отрицать принципиальное отличие определенного способа познания (за ним целесообразно закрепить термин «гуманитарный») от другого, исторически сложившегося как «научный». В этом стремлении по сути дела просматривается та же посылка, из которой исходит сциентизм: самый совершенный способ познания — научный, а познавательная ценность всех остальных определяется степенью их «похожести» на науку. Отсюда — попытки «подтянуть» и другие способы до уровня науки, доказать, что по существу различия между ними нет.

Конечно, неточность и «нестрогость» гуманитарного знания (если оценивать его в соответствии с научными критериями) несколько не свидетельствуют о «второсортности». По этому поводу весьма остроумно высказался известный естествоиспытатель, лауреат Нобелевской премии Р. Фейнман: «когда какую-то вещь называют не наукой, это не означает, что с нею что-то неладно: просто не наука она, и все» [25].

Познавательные дисциплины, традиционно использующие специфические способы осмысления общественных явлений, — история, литературоведение, культурология, лингвистика, юриспруденция и т. д. в настоящее время вполне успешно применяют и научные методы исследования. Моделью подлинно гуманитарного знания можно считать искусство, моделью науки (ее предельным вариантом) — естественнонаучное, точнее физическое и математическое знание<sup>1</sup>.

Такие виды вненаучного знания, как гуманитарное, художественное, философское, нравственные идеи несут в себе определенные ценностные установки, имеют важное воспитательное значение. Вот почему они связаны с социально-инженерной деятельностью не только опосредованно (через науку, зависящую от социокультурного контекста), но и непосредственно, поскольку, как и всякая социально-практическая деятельность, она осуществляется личностью, руководствующейся определенными общественными идеалами и нормами поведения.

**Трансформация знаний в социально-инженерную деятельность. Связь с другими видами социальной практики.** Преимущества социально-

---

<sup>1</sup> Заметим, что это не исключает необходимости учитывать особенности применения общенаучных методов при изучении общественных явлений, в частности, специфики использования социальными науками методов измерения.

инженерной деятельности по сравнению с повседневной социальной практикой обусловлены спецификой научного знания, которое позволяет дать количественную характеристику анализируемого объекта, выяснить степень проявления того или иного качества при помощи методов измерения. Вместе с тем посредничество науки между социальными потребностями, трансформирующимися во внутринаучную проблему, и социально-инженерной деятельностью сопровождается трудностями, связанными с тем, что результаты научного знания необходимо «перевести» на язык практических рекомендаций.

Главные функции социально-прикладного, в частности, социологического исследования — информационно-диагностическая и прогностическая. Социолог-исследователь прежде всего определяет наиболее оптимальный путь решения практических проблем, обосновывает правомерность и целесообразность использования тех или иных показателей и нормативов социальной деятельности, изучает опыт их внедрения. Однако переход к практическим рекомендациям, преобразование вначале информации в социальные показатели и нормативы, а тех, в свою очередь, — в управленческие решения предполагает применение особых логических процедур и методик, требует специальной «технологической» подготовки социолога. Суть проблемы состоит в том, что «информация и решения имеют качественно различающиеся логико-семантические структуры, более того, не совпадают и их непосредственные цели» [26].

Трудности подобного рода — цена, которую приходится платить оторвавшейся от «практических» обыденных представлений социальной инженерии за обоснованность, научную точность и строгость своих акций.

Тот факт, что социологи еще слабо владеют правилами трансформации полученных результатов в практические рекомендации, методами преобразования данных в социальные показатели и нормативы, обуславливает недостаточную эффективность социологических исследований. С другой стороны, «социологическая самодеятельность» не отличается и «практичностью», поскольку информация здесь не только не преобразована в программы деятельности, но и никак не интерпретирована. Обычно это набор выраженных в процентах данных, неизвестно о чем свидетельствующих и к чему обязывающих.

Эффективное использование результатов прикладных социологических исследований в социально-инженерной практике предполагает развитие социального проектирования, создание

научно-проектных социологических подразделений. Проектная деятельность, как уже отмечалось, выделяется сейчас в относительно самостоятельную сферу. Однако это обстоятельство ни в коей мере не свидетельствует о том, что наука отдаляется от практики. То же можно сказать о социальном проектировании: расширение его масштабов будет означать действительное проникновение социальной науки в практику.

Естественно-технические науки наряду с академическими подразделениями обладают и сетью научно-проектных организаций. Социологи же пока лишь мечтают о них и надеются, что в системе единой социологической службы, которую предстоит создать, проектные подразделения будут предусмотрены.

Проводимый после XXVII съезда КПСС курс, направленный на деловое и конкретное решение возникающих социальных проблем, — благоприятная почва для развития социально-инженерной деятельности. Но готовы ли обществоведы к созданию необходимых научных предпосылок? Скорее всего, нет. Более того, тот негативный смысл, который мы зачастую вкладываем в понятие «социальная инженерия», — хотим мы того или не хотим — оправдывает инерцию мышления, нежелание овладевать специфическими методами, обеспечивающими конкретное и научно обоснованное изучение реальных общественных явлений и процессов.

Порочной следует признать также тенденцию все большего распространения «социологической самодеятельности», граничащей с верхоглядством, поверхностностью, дилетантизмом, а подчас и просто шарлатанством. Ясно, однако, и то, что расширение масштабов социально-инженерной деятельности невозможно без обеспечения надлежащих условий: подготовки специалистов, создания социально-проектных подразделений, преодоления амбиций должностных лиц, которые считают, что им «все известно без всяких исследований».

И, наконец, о гуманистичности социально-инженерной деятельности. Трудно согласиться с тем, что принятие решений, изменяющих подчас судьбы сотен и тысяч людей, лишь на основе интуиции или учета «общих закономерностей», благих пожеланий, — более гуманная акция, чем осуществление мероприятий (естественно, обусловленных определенными социальными приоритетами), которым предшествует исследование конкретных механизмов и зависимостей, строгий расчет и измерение, составляющие основу любой инженерной деятельности.

## *Литература*

1. Маркс К. Теории прибавочной стоимости // Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 26. Ч. II. С. 125.
2. Социол. исслед. 1986. № 3. С. 88.
3. Социально-философские и методологические проблемы современной инженерной деятельности и проектирования (Материалы «Круглого стола») // Вопр. философии. 1986. № 5. С. 73.
4. Дорфман В. Ф. О научных основах развития технологии // Вопр. философии. 1985. № 5.
5. Горохов В. Г. Проблемы построения современной технологической теории // Вопр. философии. 1980. № 12. С. 121.
6. Кугель С. А., Никандров О. М. Молодые инженеры. Социологические проблемы инженерной деятельности. М.: Мысль, 1971.
7. Горохов В. Г. Философско-методологические исследования инженерной деятельности // Философские науки. 1982. № 6. С. 77.
8. Шаповалов Е. А. Общество и инженер. Философско-социологические проблемы инженерной деятельности. Л.: Изд-во ЛГУ. 1984. С. 17.
9. Мангутов И. С. Управление предприятием и инженер. Л.: Изд-во ЛГУ. 1977. С. 150.
10. Боровков С. Н. О специфике инженерного стиля мышления. Диалектика и актуальные проблемы теории познания. Материалы регионального семинара (сентябрь, 1982 г.). Севастополь, 1982. С. 63.
11. Сидоренко В. Ф. Генезис проектной культуры // Вопр. философии. 1984. № 10. С. 87; Розин В. М. Проектирование как объект философско-методологического исследования // Вопр. философии. 1984. № 10. С. 100.
12. Моин В. В., Попова И. М. Проблемы и перспективы организации социологической работы на предприятиях отрасли // Вопр. судостроения. Серия «Научная организация труда». Вып. 56. 1985. С. 9.
13. Афанасьев В. Г. Социальная информация и управление обществом. М.: Политиздат, 1975; Афанасьев В. Г. Общество; системность, познание и управление. М.: Политиздат. 1981; Марков М. Технология и эффективность социального управления. М.: Прогресс, 1982; Стефанов Н. Общественные науки и социальная технология. М.: Прогресс, 1976.
14. Иконникова Г. И. О понятии социальной технологии // Философские науки. 1984. № 5. С. 23.
15. Козин А. В. Научность: эталоны, идеалы, критерии. М.: Изд-во МГУ, 1985. С. 29.
16. Ильин В. В. Понятие науки: содержание и границы (К проблеме гносеологической целостности науки) // Вопр. философии. 1983. № 3. С. 70.
17. Грязнов Б. С. Логика, рациональность, творчество. М.: Наука, 1982. С. 210.
18. Батыгин Г. С. Обоснование интерпретационных схем // Социол. исслед. 1984. № 2. С. 22.

19. Харчев А. Г. Предмет и структура социологической науки // Социол. исслед. 1981. № 2. С. 67.
20. Проблемы методологии. Социально-гуманитарное познание и особенности его методологии. М., 1984.
21. Гуманитарные науки в контексте социалистической культуры. Новосибирск, 1984.
22. Ильин В. В. О специфике гуманитарного знания // Вопр. философии. 1985. № 7.
23. Бахтин М. М. Эстетика словесного творчества. М.: Искусство, 1973. С. 28.
24. Лихачев Д. С. Прошлое — будущему. Л.: Наука, 1985. С. 7.
25. Фейнман Р. и др. Фейнмановские лекции по физике. Вып. 1. М.: Мир, 1967. С. 58.
26. Батыгин Г. С. Обоснование практических рекомендаций в прикладной социологии // Социол. исслед. 1982. № 4. С. 59.



## **СОЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ В ОБЫДЕННОМ СОЗНАНИИ**

### **Постановка проблемы. Характеристика исходных данных**

Социально-экономические и политические преобразования, которые предполагается осуществить в стране, возможны при наличии определенных предпосылок, среди которых важное место занимает состояние сознания основной массы населения.

В последнее время в научном обиходе охотно используется термин (заимствованный у французских историков-медиевистов) «народный менталитет» — важная составляющая культуры, целостное образование, содержание и структуру которого необходимо изучать.

Реконструируя повседневное, реально функционирующее сознание, не опредмеченное в трактатах, в литературных и философских произведениях, историки обращают внимание на то, что неотъемлемой частью обыденной модели мира, т. е. тем, что «задает императивы и формирует идеалы, которыми руководствуются члены общества», являются «концепции богатства и труда» [1, с. 225].

Представления, которые складываются в связи с трудом и его многообразными условиями, а также в связи с «богатством» (материальным благосостоянием), а в общей форме — представления, выражающие область присвоения человеком материальных средств и условий своего воспроизводства, будем называть социальными представлениями.

Термин «социальные представления» (трактуемый, однако, в более широком смысле: как обозначающий социально-детерминированные обыденные представления) в последние годы широко используется в социальной психологии. Популярность данного термина связана с именем французского социального психолога С. Московиси. В ряде работ С. Московиси и его коллег [2] характеризуется природа обыденных представлений, их социальные функции (познавательная, адаптационная, опосредования поведения), раскрываются механизмы «объективации» предмета представления, включающей ряд этапов, в частности, персонификацию явлений.

Характеризуя социальные представления в узком смысле, как выражение социальной сферы общества, и рассматривая их как пред-

ставления обыденного сознания, необходимо, разумеется, учитывать чрезвычайно интересные и глубокие соображения социальных психологов относительно природы обыденных представлений (особенно когнитивистской и интеракционистской ориентаций).

Особое значение имеют понимание механизмов перевода реального бытия в идеальное образование, обусловленность последнего самосознанием, неразрывно связанным с ценностными представлениями и порождающим относительную самостоятельность сознания [3]. Социологические исследования дают возможность зафиксировать данное явление и демонстрируют его интерпретационные возможности.

Роль самосознания в формировании социальных представлений раскрыта в исторических исследованиях. Как отмечает, например, А. Б. Ковельман, изучавший частную переписку (Египет времен римского владычества), рефлексия в «массовом сознании по поводу труда и богатства неразрывно связана с растущим самосознанием средних и бедных слоев общества — социальных общностей, являющихся субъектами — носителями социальных представлений» [4, с. 120].

Не останавливаясь на всех выявленных и зафиксированных в исторических исследованиях связях и опосредствованиях (некоторые, несомненно, преходящи, другие способны функционировать и в современном обществе), обратим внимание на чрезвычайно важное обстоятельство, которое можно рассматривать и как определенный методологический принцип изучения социальных представлений: несмотря на близость обыденных представлений к «реальному бытию», к жизненно-практической деятельности, все они (включая представления, выступающие как рефлексия основополагающих условий человеческой жизнедеятельности) являются сложными идеальными образованиями, не сводимыми к «реальному бытию», к социально-экономическим обстоятельствам. (Хотя последние, несомненно, выступают как существенный момент «порождающих структур»). В исторических исследованиях показана также значимость «ментальной почвы» для порождения тех или иных обыденных представлений, для формирования, в частности, социальной напряженности, которая может и не коррелировать непосредственно с объективными социальными процессами [5, с. 43].

Все это следует учитывать, осуществляя социологический анализ результатов изучения социальных представлений. Фиксируя последние в соответствии с теми или иными задачами, руководствуясь за-

частую теми или иными практическими целями (дать информацию о мнении населения, преобладающих настроениях и др.), необходимо углублять наше понимание природы обыденных социальных представлений; характера их связи с различными объективными и субъективными характеристиками, их сложного взаимодействия. Именно эта «двойственность», связанная с решением и ряда теоретических задач, и с характеристикой конкретного материала, полученного в условиях отдельного региона в определенный период времени, отличает и данную статью.

Анализируя результаты трех исследований, проведенных в г. Одессе и Одесской области в 1989 и в 1990 гг.<sup>1</sup>, попытаемся ответить на следующие вопросы:

Как связаны социальные представления с объективными и, в частности, базисными для них (характеризующими социальный статус) признаками?

В какой степени социальные представления имеют массовый характер, относятся к «массовому» сознанию?

Какое место занимают социальные представления в структуре сознания, как связаны они с другими его компонентами (политическими представлениями, настроениями, представлениями о справедливости, оценками состояния социальной справедливости)?

Первичная информация была получена в мае—сентябре 1989 г. (М 1), в декабре 1989 г. (М 2) и в апреле 1990 г. (М 3). М 1 — опрос проведен на 20 предприятиях Одессы, относящихся к различным отраслям народного хозяйства. Опрошено 909 человек. Выборка трехступенчатая, квотная. Контролируемые признаки: отрасль народного хозяйства, пол, возраст. Расчетная величина средней ошибки репрезентативности — 2,4 %. М 2 и М 3 — опросы населения по месту жительства. Выборка четырехступенчатая, случайная. Контролируемые признаки: пол, возраст, место жительства (крупный город, города области и поселки городского типа, село). Общее число опрошенных 1,5 тыс. человек. Ошибка репрезентативности не превышает 2 %.

---

<sup>1</sup> Анализ информации осуществлялся в связи с выполнением исследовательской работы в рамках общеакадемической программы «Человек, наука, общество» (подпрограмма «Человек в перестройке общественных отношений и институтов обновляющегося социализма»). В разработке программы, проведении опросов и анализе информации принимали участие: канд. филос. наук В. Б. Моин (ответственный исполнитель), канд. филос. наук М. Б. Кунявский, канд. экон. наук Г. П. Бессокирная, а также О. Р. Лычковская, А. А. Панков, Н. И. Тимофеева, С. Е. Любомудров.

Отметим, что социальные представления фиксировались нами как вербальное выражение обыденного сознания, что характеризует их, по существу, как проявление общественного мнения [6, с. 164].

Анализировались и интерпретировались социальные представления как компоненты обыденной картины мира, как элементы обыденного, повседневного сознания, понимаемого как «реально функционирующее обычное сознание» действительных индивидов, обеспечивающее их целеполагание в повседневной практической деятельности [7, с. 36].

Основное предположение, которое подвергалось проверке и которое сформировалось, с одной стороны, в результате знакомства с литературой и с данными других исследований, с другой — на основании данных, полученных в наших предыдущих опросах: социальные представления являются компонентами целостной системы представлений, которая характеризуется относительной самостоятельностью, известной «замкнутостью», определенной независимостью от объективных «базисных» характеристик.

Совокупность представлений обладает структурой, в которой различные представления занимают то или иное место (центральное, периферийное), выступают в качестве «ведомых» (зависимых) или «ведущих» (от которых зависят другие). При этом классическая иерархическая модель «место в системе общественного разделения труда — социальные представления — политические представления» может и не реализоваться, а интегрирующую либо опосредующую роль могут играть самые различные представления. Какие именно, и предстояло выяснить. Поисковый характер носила задача определить место в системе общих (абстрактных) ценностных представлений и ценностей относительно конкретных (инструментальных), выступающих в качестве ориентиров практических действий.

В нашем исследовании фиксировались социальные представления, характеризующие общественные идеалы, определенные ценности: ориентация на различные принципы распределения; суждения, выражающие отношение к разным формам собственности, понимание справедливости, оценки состояния социальной справедливости в обществе. Ориентации на основные принципы распределения фиксировались: 1) как представления о справедливом обществе (М 1) и 2) как первоочередные задачи социальной политики (М 2 и М 3). Отношение к собственности определялось на основании ответов: на об-

щие вопросы, имитирующие референдум (М 2), и о первоочередных задачах социальной политики (М 3).

Выделялись следующие ориентации на основные принципы распределения: а) «уравнительность» (исключающую «в идеале» существенные различия в благосостоянии людей); б) пропорционально трудовому вкладу (допускающие наличие существенных различий); в) гарантированный минимум (представление минимума благосостояния независимо от трудового вклада). Особо выделялась ориентация на признание необходимости создать разные условия и возможности для реализации способностей (распределение условий).

Политические ориентации характеризовались отношением респондентов к 6-й статье Конституции, к созданию новых политических партий, а также к тому, чтобы узаконить право на забастовку. На основании первых двух (частных) ориентаций строилась обобщенная шкала политических ориентаций, крайние позиции которой трактовались как проявления «радикализма» и «консерватизма»<sup>1</sup>. «Политические взгляды» — оценки, которые давали различным сторонам политической жизни («Кому принадлежит власть?», «Смогут ли Советы решать актуальные проблемы?», «Кто наиболее последовательный сторонник перестройки?» и др.).

К общим социальным представлениям относились мнения: о ликвидации монополии государства на средства производства, об узаконении частной (индивидуальной) собственности, о предоставлении равных прав и возможностей для развития всех форм собственности. Фиксировались частные социальные представления (следует ли устанавливать «потолок» заработной платы, проводить денежную реформу для «изъятия излишков денег»). Ответы на эти вопросы уточняли позицию респондентов в отношении различных принципов распределения.

Ответы на вопросы: «Справедливо ли использование наемного труда на частных и кооперативных предприятиях?», «Развитие какой формы собственности сыграет решающую роль в насыщении рынка товарами и услугами?» конкретизировали представление населения об отношении к собственности. Ответы на вопрос о наиболее эффек-

---

<sup>1</sup> Политический радикализм означал: отмену 6-й статьи, признание новых политических партий, законности права на забастовку; радикализм социальный — признание целесообразности преобразования форм собственности: ликвидацию монополии государства на средства производства, узаконение частной (индивидуальной) собственности, равные права и возможности всех форм собственности).

тивных путей борьбы с несправедливостью конкретизировали общие представления о справедливости.

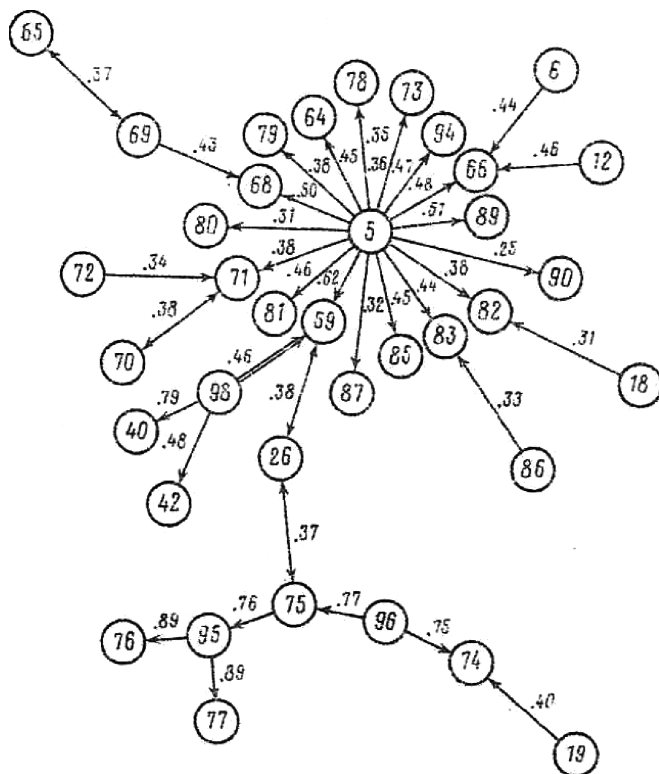
Анализ социальных представлений предполагал характеристику их связи не только с объективными признаками (демографическими, социально-профессиональными, уровнем благосостояния и др.), но и с различными компонентами сознания: настроениями (удовлетворенность жизнью, уверенность в завтрашнем дне, ожидания лучшего и др.), а также с политическими ориентациями.

### **Социальные представления и объективные характеристики**

Сопоставление социальных преобразований с объективными характеристиками (демографическими, образованием, местом жительства, социально-профессиональной принадлежностью респондентов и пр.) позволяет сделать вывод: объективные характеристики в большей степени тяготеют друг к другу, чем к социальным представлениям. Даже такие, казалось бы, «базисные» для социальных представлений характеристики, как уровень жизни и условия труда, не связаны «напрямую» с ориентациями на принципы распределения и с представлениями о собственности. Социальные представления в большей степени связаны с другими представлениями, чем с объективными, «базисными» характеристиками. Данное обстоятельство можно рассматривать как подтверждение вывода об относительной самостоятельности, некоторой «замкнутости» сознания, что было обнаружено нами ранее [8, с. 96–97].

Главное же, на что следует обратить внимание, объективные характеристики при построении графа связи (на основе коэффициента информационной зависимости  $K_{\Delta}$ ) образуют отдельные плеяды, связь которых с социальными представлениями опосредована различными субъективными характеристиками (40, 42, 98, 59) (см. рисунок).

Подробный анализ связи социальных представлений с основными условиями жизнедеятельности, осуществленный Г. П. Бессокирной и Н. И. Тимофеевой, позволил установить следующее: из всех условий жизнедеятельности наиболее значимые для социальных представлений факторы — местожительство (тип поселения: г. Одесса, другие города и поселки городского типа, сельская местность) и сфера занятости. Показатели уровня жизни (величина реального дохода, наличие дополнительных денежных доходов, жилищные условия,



Структура взаимозависимости различных характеристик и социальных представлений населения Одесской области (в предвыборной ситуации). Частичный орграф-«дерево» с максимальной длиной дуг (M 2; N = 982; K<sub>Δ</sub>)

состояние здоровья) не меняют существенно ориентацию на принципы распределения и отношение к формам собственности.

Хотя есть, разумеется, особенности влияния различных условий жизнедеятельности на социальные представления, и порой весьма любопытные. Так, например, ориентация на радикальные преобразования собственности более определенно выражена у лиц, имеющих дополнительные денежные доходы.

Что касается связи социальных представлений с типом поселения, то наиболее радикальные взгляды на преобразование собственности обнаружили у жителей крупных городов. Индексы по разным массивам колеблются от 43 до 75 (индексы нормированы

от –100 до +100). Высказывая суждения о «предоставлении равных прав разным формам собственности», жители городов области и поселков городского типа оказались более радикальны, чем сельские жители (индексы соответственно равны 47 и 27), а вот «узаконить частную собственность» хотело бы большее число жителей в сельской местности, чем в городах области (значение индексов соответственно 29 и 19).

### **Проблема массовости (массовизации) социальных представлений**

Выясняя вопрос о массовости социальных представлений, мы исходили из понимания массового сознания как такого типа сознания, которое образуется на пересечении групповых сознаний и определено процессами массовизации в современных обществах. Массовость общественного сознания вообще, социальных представлений в частности, обусловлена не только воздействием средств массовой информации. Она — результат, прежде всего, унификации разнообразных условий жизнедеятельности в сфере производства, потребления, политики, досуга и т. д. Именно это порождает сходство мнений, идей, оценок, убеждений, которые в значительной степени не являются в настоящее время специфичными для традиционно выделяемых социальных групп [6, с. 171–205].

При этом мы учитывали два обстоятельства:

Массовость сознания в современных условиях не является «изначальной данностью» для социолога. Она устанавливается лишь в результате исследования;

В настоящее время действуют одновременно две противоположные тенденции: массовизация, унификация социальных представлений и их дифференциация.

Второе обстоятельство в качестве гипотезы было сформулировано М. Б. Кунявским, изучавшим проблему массовизации социальных представлений и избравшим средством ее анализа сопоставление показателей межгрупповой дифференциации и внутригрупповой вариативности социальных представлений.

В результате анализа он пришел к следующему выводу: существуют две основные зоны социально-психологической напряженности, характеризующие спецификой социальных представлений:

а) между рядовыми гражданами и руководством (преимущественно партийно-государственным аппаратом);



б) между потребителями товаров (услуг) и работниками сферы обслуживания и торговли.

Так, например, значения индексов, характеризующих отношение к ликвидации монополии государства на средства производства, к легализации частной (индивидуальной) собственности, в группе «руководителей» и работников сферы обслуживания и торговли значительно ниже, чем среди рабочих, и почти в 2 раза ниже, чем среди специалистов (ИТР и гуманитариев) и учащихся.

Особенности социальной детерминации основных социальных представлений могут подсказать и направления поисков объективного критерия (разумеется, в конкретных условиях) выделения социального статуса. Как известно, на пути решения данной проблемы множество трудностей, а «персонажей» социального мира наша общественная наука склонна подменять призраками [см. 9]. Однако нелишне заметить: сегодня, в условиях жесточайшего дефицита социальный статус — это не столько место в системе производства, сколько место в системе распределения, доступность для тех или иных групп благ и услуг. Хотя, разумеется, эти соображения требуют более серьезной проверки и доказательств.

### **Место социальных представлений в структуре сознания**

Опираясь на заключение об относительной самостоятельности сознания, попробуем ответить на вопрос о месте социальных представлений в этой замкнутой сфере, о характере взаимоотношений последних.

Прежде всего, обращает на себя внимание тесная корреляция социальных представлений друг с другом. И взаимосвязь различных ориентаций на принципы распределения, и их зависимость от отношений к преобразованию собственности является, как правило, тесной (о чем свидетельствуют коэффициент Крамера,  $K$  и Кендалла,  $\tau_B$ ). Если же характеризовать связь социальных представлений с такими компонентами сознания, как информированность о нарушениях социальной справедливости, оценках ее состояния, настроениями и политическими ориентациями и взглядами, то наиболее тесная связь имела место между последними и социальными представлениями.

Оценки же социальной справедливости в меньшей степени находились в информационной зависимости (по  $K_{\Delta}$ ) от социальных пред-

ставлений и в большей — от настроений (удовлетворенность жизнью и уверенность в завтрашнем дне) и от когнитивных особенностей респондентов (на М 1, где таковые фиксировались).

Сопоставление социальных представлений с различными политическими ориентациями (обобщенной и частными) дает возможность сделать следующие выводы.

Социальный радикализм выражен в значительно большей степени, чем радикализм политический (если иметь в виду отношение к преобразованиям форм собственности и изменениям политического характера). В первом случае максимальное значение индекса равно 67 (индекс, характеризующий отношение к предоставлению равных прав и возможностей для развития разных форм собственности). Во втором случае (мнения о преобразованиях политического характера) максимальное значение индекса равно 19 (отношение к 6-й статье Конституции). Отметим, что наиболее значим разрыв между социальным и политическим радикализмом у жителей села. Это, в частности, обуславливает и специфику социально-политических представлений сельских жителей по сравнению с аналогичными представлениями одесситов. Если различия во взглядах той и другой категории населения на преобразования в социальной сфере составляют 10–15 %, то различия в политических ориентациях на порядок выше (в 2–3 раза). В наименьшей степени политический радикализм выражен в отношении к созданию новых политических партий: значение индекса здесь наименьшее (10). Индекс мнений по данному вопросу у жителей села принимает отрицательное значение (–26).

Политические ориентации в большей степени связаны с отношением к собственности, чем с ориентациями на различные принципы распределения. В первом случае  $\tau_{\beta}$  принимает значение от 0,33 (обобщенная политическая ориентация с оценкой ликвидации монополии государства на средства производства) до 0,16 (отношение к праву на забастовки с мнением о предоставлении равных прав и возможностей для разных форм собственности). Во втором случае (связь с ориентацией на принципы распределения)  $\tau_{\beta}$  принимает значения от 0,14 (отношение к созданию новых политических партий с обобщенной ориентацией на принципы распределения) до –0,12 (обобщенная политическая ориентация с ориентацией на уравнительность). Очень слабой является связь политических ориентаций с ориентацией на гарантированный минимум.

Анализ связи социальных представлений с представлениями политическими дает возможность уточнить место и тех, и других в структуре сознания, их роль в отношении к другим его компонентам.

Именно политические представления в настоящее время занимают особое место в структуре сознания и могут выступать в качестве опосредующего звена (своеобразного модератора) между совокупностью субъективных характеристик и характеристиками «базисными», объективными.

Например, на основании отношения к новым политическим партиям (75 на рисунке) с большей вероятностью можно судить об ориентации на принципы распределения (76, 95, 77), чем, зная содержание последней, делать вывод о политических ориентациях и взглядах. Мнение о том, «кому принадлежит власть» (5 на рисунке), с большей вероятностью позволяет предположить, каково отношение к разным формам собственности (70, 71, 72), чем представления о собственности (казалось бы, «основополагающие» в структуре сознания) позволяют судить об отношении к власти. Лишь при отсутствии вышеуказанных вопросов, ответы на которые характеризуют ту или иную политическую ориентацию, представление о собственности «подтягивается» к ориентациям на принципы распределения, а то и другое оказывается «рядом» с таким «базисным» признаком, как принадлежность к социально-профессиональной группе.

Особо следует остановиться на одном из фиксируемых признаков: «кому реально принадлежит власть» (5 на рис.). Неоднократно в наших<sup>1</sup> и в других исследованиях он оказывался на центральном месте, выступая в качестве своеобразного ядра в совокупности различных представлений. Среди «ведомых» (находящихся в информационной зависимости) по отношению к данному признаку — не только «участие в митингах и манифестациях», оценки общественных настроений, различных (старых и новых) органов власти и эмиграционные настроения, но и представления о собственности.

Политические представления имплицитно обуславливают структуру совокупности представлений, влияют на характер связи (прямой, опосредованной) социальных представлений с объективными характеристиками.

Средние коэффициенты  $K_{\Delta}$  (по массиву в целом), свидетельствующие об информационной зависимости всех других признаков: от

---

<sup>1</sup> Например, в прессовых опросах, проведенных нами в 1988–1989 гг.

политических характеристик («кому принадлежит власть») и обобщенной политической ориентации («радикалы — консерваторы»), соответственно равны 0,36 и 0,22. Для других признаков она характеризуется следующими значениями: отношение к собственности — от 0,14 до 0,16, ориентации на принципы распределения — от 0,13 до 0,17, настроение — удовлетворенность в жизни, уверенность в завтрашнем дне — от 0,14 до 0,18. Выявление данной их роли можно рассматривать как частный случай выявления имплицитных представлений вообще. Эта задача была поставлена в программе нашего исследования. В более общем виде она формулируется в работах Н. И. Козловой [7, с.39; 11, с. 86–87]. Решение этой проблемы, разумеется, не сводится к тем операциям, которые мы использовали для определения имплицитной роли политических представлений. Однако этот способ (построение ориентированного графа связей) фиксирования, не лежащий на поверхности структуры сознания, можно рассматривать и как частный случай решения более общей задачи, предполагающей использование и других подходов: культурологического, глубинного интервьюирования и др.

Выяснение взаимоотношения социальных и политических представлений дает возможность убедиться в следующем: сфера сознания — некоторое целостное образование, которое характеризуется спецификой, требующей конкретного изучения. Во всяком случае, объяснение структуры сознания, взаимодействия ее различных компонентов не может быть ориентировано на те или иные стереотипы.

### **Абстрактные и конкретные представления**

Выскажем соображения относительно взаимоотношения идей различной степени абстрактности. Можно рассматривать эту задачу и как проблему взаимоотношения различных ценностей: обобщенных, абстрактных и относительно-конкретных, инструментальных. Следует отметить, что к ценностной проблематике охотнее относят проблемы «общих», «обобщенных» представлений (например, труд вообще, человеческое существование). Хотя ценностями называют и представления конкретные (например, о значимости условий труда), а ценности труда делят на конкретные и общие [11].

Однако в нашем случае речь идет о взаимоотношении абстрактных ценностей-идеалов и относительно конкретных инструментальных ценностей, в большей степени связанных с практической деятель-

ностью. Прежде всего целесообразно сравнить фиксируемые различным способом уравнивательные представления. Оказалось, что «уравнивательность» имеет меньшее значение на уровне идеала, абстрактных представлений, чем на уровне более конкретных, инструментальных представлений. Действительно, если сравнить положительную (ответившие «за») и отрицательную (ответившие «нет») позиции на шкале ориентации «уравнивательность», то при более абстрактной постановке вопроса («Какое общество справедливо?») отношение первых ко вторым 1:1 (М 1). Когда же «уравнивательность» выступает «первоочередной задачей социальной политики», отношение «уравнивателей» («за») и «антиуравнивателей» («нет») становится 2:1 (М 2 и М 3).

Если учесть, что база для уравнивательных ориентации сформировалась ранее, а в настоящее время уравнивательные ценности постепенно теряют свое значение (об этом свидетельствует и динамика уравнивательных представлений), то изменение абстрактных ценностей происходит быстрее, чем изменение конкретных, инструментальных.

Аналогичное заключение следует из анализа представлений, характеризующих отношение к различным формам собственности: поддержка радикальных преобразований собственности выражена в большей степени при абстрактной постановке вопроса («Если бы был референдум, то развитие какой формы собственности вы поддержали бы?»). При ответе на более конкретный, инструментальный вопрос («Развитие какой формы собственности насытит рынок товарами и услугами?») больше выборов у государственной и колхозной форм собственности.

Связь между абстрактными и конкретными (инструментальными) представлениями всё же есть. Индексы «радикализма» в отношении к формам собственности выше у тех, кто надеется на положительную роль в насыщении товарами благодаря развитию новых форм собственности: кооперативной, акционерной, индивидуальной (табл. 1).

Интересно, что ведущую (в информационном смысле) роль играют «инструментальные представления» (по отношению к общим, абстрактным представлениям). Граф связей (построенный по  $K_{\Delta}$ ) позволяет убедиться в том, что инструментальные представления (26 на рис.) опосредуют и распределительные ориентации (76, 77 и 95), и общие оценки собственности (70, 71, 72). При этом представления о собственности у тех, кто надеется на собственность государственную и колхозную, наиболее разнородны (коэффициент каче-

ственной вариации — ККВ от 0,86 до 0,97); у тех, кто рассчитывает на собственность индивидуальную и акционерную, представления наиболее однородны (ККВ с 0,63 до 0,30).

Таблица 1

**Связь общих представлений о собственности с мнением об эффективности ее разных форм (индексы М 2)**

«Развитие какой формы собственности сыграет решающую роль в насыщении рынка товарами и услугами?»	Мнения о собственности					
	узаконить индивидуальную собственность		ликвидировать монополию государства		равные права и возможности для разных форм собственности	
	J*	ККВ	J*	ККВ	J*	ККВ
Государственной	5	0,99	–24	0,95	39	0,86
Колхозной	23	0,95	4	0,96	52	0,78
Трудовых коллективов	45	0,84	22	0,96	72	0,54
Кооперативной	57	0,60	32	0,92	79	0,42
Акционерной	62	0,53	54	0,63	84	0,3
Индивидуальной	77	0,49	55	0,77	75	0,44
	34	0,88	16	0,98	67	0,60

Возвращаясь к характеру изменения различных ценностей (абстрактных и инструментальных), укажем, что большая мобильность абстрактных идеалов, по сравнению с конкретными, инструментальными представлениями, не вполне обычна и, казалось бы, противоречит характерному для истории пути развития: изменяется сама действительность, возникают новые потребности, меняются связанные с ними конкретные представления, мотивы поведения, которые приспособляются к старым идеалам и ценностям, продолжающим «царствовать, но не править». Но не свидетельствует ли перевернутость представлений о «перевернутости» самой нашей действительности? Активное словесное творчество, культивирование «нового мышления», всевозможное идеологическое новаторство не сопровождаются реальными преобразованиями, не базируются на тех практических действиях, которые только и могли бы породить новые инструментальные ценности.

В этой связи сошлемся и на данные, полученные в результате анализа политических представлений. Непопулярность «развития демократии» как эффективного средства борьбы против несправедливости (М1–11 %, М 3–19 %) сочетается с наибольшим числом

выборов одного из семи суждений, характеризующих справедливое общество: «В справедливом обществе каждый может участвовать в обсуждении, выработке и принятии решений по важнейшим вопросам» (М 1–82 %).

Возможны два способа интерпретации этих данных:

В сознании людей понятие «демократия» означает нечто иное, чем участие в обсуждении и т. д. Языковое клише, используемое применительно к демократии («митинговая демократия», «демократы-неформалы» и пр.), могло привести к отождествлению демократии с беспорядком, анархией, к чему есть отрицательная установка («укрепление порядка и дисциплины» набирает в 2–2,5 раз больше голосов, чем «демократия», и в последнем массиве выходит на первое место, обгоняя коренную экономическую реформу). Думаю, здесь не обошлось без того, что психосемантики называют «разрушительным залпом словесной артиллерии по крепости рассудка» [12, с. 24].

Несоответствие количества выборов в том и другом случаях свидетельствует о различии абстрактных ценностей-идеалов и инструментальных представлений относительно конкретных способов деятельности. Обыденное сознание реагирует на все расширяющиеся масштабы хаоса и беспорядка, без их преодоления нельзя ликвидировать и несправедливость. Сознание «обывателя» демонстрирует свойственное последнему «здравомыслие», «пригнанность» (термин Э. Соловьева) к ситуации и обстоятельствам, которые определенно выражаются в представлениях, связанных с практическими действиями. Но непоследовательность и противоречивость представлений порождены, как нам кажется, противоречивостью самой нашей действительности.

Обращая внимание на возможные интерпретации полученной информации, следует иметь в виду, что правомерность интерпретации должна быть проверена в дальнейших исследованиях. Возможно, что факторы (лежащие в основе интерпретаций) действуют совместно. В пользу первого объяснения («демократия» воспринимается как языковое клише, порожденное пропагандистским воздействием и не связанное с социальной ориентацией личности) можно привести следующие соображения: хотя политические представления, как правило, тесно связаны с социальными, различий в оценке развития «демократии» как пути борьбы с несправедливостью практически нет ни у радикально настроенных (по отношению к формам собственности) респондентов, ни у «консерваторов» (индексы значений практи-

чески одинаковы). В выборе других путей («укрепление дисциплины и порядка», «проведение коренной экономической реформы») настроенные на радикальные преобразования в значительной большей степени отличаются от тех, кто не считает преобразования необходимыми (табл. 2).

Таблица 2

**Мнение респондентов, имеющих различные представления о преобразованиях собственности, о путях борьбы с несправедливостью (индексы М 1)**

Пути борьбы с несправедливостью	Представления о преобразовании собственности					
	равные права и возможности для всех форм собственности		узаконить частную собственность		наемный труд на частных и кооперативных предприятиях	
	Нет	Да	Нет	Да	Нет	Да
Укрепление дисциплины и порядка	32	-6	42	-11	33	-17
Экономическая реформа	-49	-14	-57	-28	-55	-23
Развитие демократии	-70	-69	-62	-65	-72	-67

**Выводы**

Подведем итоги.

Социальные представления в большей степени тяготеют друг к другу и к иным компонентам общественного сознания, чем к объективным, «базисным» для них характеристикам. Данное обстоятельство можно рассматривать как подтверждение вывода об относительной самостоятельности, некоторой «замкнутости» сознания;

В относительно замкнутой структуре сознания особое место могут занимать политические представления, выступая в качестве опосредующего звена между совокупностью субъективных признаков и характеристиками «базисными», объективными;

Требуется более тщательного изучения вопрос о взаимоотношении конкретных, инструментальных ценностей и ценностей абстрактных, в частности, выяснение того, действительно ли в наших условиях первые являются более консервативными и играют ведущую (в информационном смысле) роль по отношению ко вторым;

Наряду с массовизацией социальных представлений имеет место и их дифференциация. Наиболее значимое основание дифференци-



ции — это не изначально данная характеристика, она должна быть выявлена в процессе исследования.

### *Литература*

*Гуревич А. Я.* Категории средневековой культуры. М.: Искусство, 1984.

Social representations / Ed. by Farr R. N., Moscovici S. Cambridge, 1984.

*Попова И. М.* Ценностные представления и «парадоксы» самосознания // Социол. исслед. 1984. № 4.

*Ковельман А. Б.* Риторика в тени пирамид (массовое сознание Римского Египта). М.: Наука, 1988.

*Гуревич А. Я.* Ведьма в деревне и перед судом. Языки культуры и проблемы переводимости. М.: Наука, 1987.

*Грушин Б. А.* Массовое сознание. М.: Политиздат, 1987.

*Козлова Н. Н.* Социализм и сознание масс. М.: Наука, 1989.

*Попова И. М.* Стимулирование трудовой деятельности как способ управления. Киев: Наукова думка, 1976. С. 96–97.

*Рывкина Р.* Персонажи и призраки социального мира // Знание — сила. 1988. № 9.

*Dobrowolska D.* The value of work individual in industrial milieu. Warszawa, 1986.

*Козлова Н. И.* Анализ сознания в исследовании исторических типов цивилизации // Культура и цивилизация. М., 1984 (ротапринт).

*Болинджер Д.* Истина — проблема лингвистическая // Язык и моделирование социального взаимодействия. М.: Прогресс, 1987.

## **«УРАВНИТЕЛЬНОСТЬ» — ИЛЛЮЗИЯ МАССОВОГО СОЗНАНИЯ? (ОПЫТ ЭМПИРИЧЕСКОГО ИЗУЧЕНИЯ)<sup>1</sup>**

Важной составляющей обыденного сознания являются ориентации на различные принципы распределения. Ориентации эти — разновидность социальных представлений, в которых отражаются социальная сфера общества, социальные отношения и интересы. Сегодня, когда делаются пока безуспешные попытки создать эффективную экономику, мы неизменно апеллируем к «мнению народа», ища порой оправдание в нем и нашим неудачам, и нашим просчетам.

Так, например, принято считать, что препятствием на пути к эффективной экономике, развитию предпринимательства в нашей стране является доминирование уравнительных представлений. Это обстоятельство — результат многовекового развития России (общинное землепользование, культивирующее глубинные антибуржуазные, антипредпринимательские настроения) и следствие тотального обобществления, сознательного насаждения уравнительности в послеоктябрьский период.

К сожалению, разговоры на эту тему ведутся, как правило, на уровне публицистических размышлений и лишь в отдельных случаях подкрепляются убедительными данными [2; 3]. Зачастую же аргументы в пользу уравнительности — это ничем не подтвержденные высказывания по поводу «мнения народа», используемые в качестве политических спекуляций. Отсутствуют и адекватные средства для социологического анализа «народного менталитета», существенный компонент которого — ориентации на различные принципы распределения.

Изучение природы ориентаций предполагает прежде всего выяснение того, какие из них наиболее распространены и почему, какова степень их последовательности, непротиворечивости, устойчивости, массовости, как можно объяснить специфику тех или иных ориентаций.

В исследовании выделялись четыре основных ориентации на принципы распределения: «уравнительность», «трудовой вклад», «гарантированный минимум», «возможность реализации способ-

---

<sup>1</sup> Продолжение. Начало см. [1].

ностей»<sup>1</sup>. Первое, на что следует обратить внимание (и что не соответствует сложившемуся среди специалистов и публицистов мнению) — относительная непопулярность «урavnительных» представлений: индексы «урavnительности» минимальны в сравнении с другими показателями. Они либо имеют отрицательное значение (единственное!), либо весьма малое положительное. Важно отметить, что положение «урavnительных» представлений сохраняется на всех массивах, независимо от характера постановки вопроса (имеется ли в виду «урavnительность» в «справедливом обществе» или речь идет «о первоочередных задачах социальной политики»).

Ранги индексов разных социальных представлений характеризуются постоянством: 1) возможность реализации способностей; 2) зависимость благосостояния только от трудового вклада; 3) гарантированный прожиточный минимум для всех; 4) отсутствие существенных различий в уровне жизни («урavnительность»). При этом значения индексов «урavnительность» (особенно в М 2 и М 3) гораздо ниже значений индексов гарантированного минимума. Таким образом, можно говорить об известной устойчивости ориентации на принципы распределения и относительной независимости выбора (если иметь в виду предпочтения) от ситуации опросов (по месту работы или по месту жительства). Обращает на себя внимание тот факт, что ориентация на «урavnительность» наиболее вариативная, гетерогенная, тогда как наибольшей однородностью (большим «единодушием») отличается ориентация на «возможность реализации способностей» (о чем свидетельствуют значения ККВ — коэффициента качественной вариации).

Особый интерес представляет сопоставление двух ориентаций: на «урavnительность» и на «зависимость благосостояния только от трудового вклада». С точки зрения исследователя эти ориентации противоположны друг другу, ибо «урavnительность» предполагает отрицание справедливости существенных социальных различий, а ориентация на «трудовой вклад» означает признание их справедливости (что специально оговаривалось). Сравнивая две ориентации, можно

---

<sup>1</sup> Использовались вопросы: «Какое общество является справедливым?», «Каковы первоочередные задачи социальной политики?». При обработке и анализе информации применялись индексы, дающие возможность учесть баланс оценок. Положительный индекс свидетельствует о преобладании положительных оценок («да»), отрицательный — о доминировании негативных ответов («нет»). Индекс нормирован от -100 до +100.

определить удельный вес «последовательных» («чистых») «уравнителей» и «трудовиков», а также тех, кто дал противоречивые или непоследовательные ответы<sup>1</sup>.

Удельный вес противоречивых ответов оказался значительным: М 1 — 41 %; М 2 — 39 %; М 3 — 51 %; ответов «непоследовательных уравнивателей»: М 1 — 17 %, М 2 — 10 %, М 3 — 11 %; «непоследовательных трудовиков»: М 1 — 11 %, М 2 — 16 %, М 3 — 12 %. Но одно можно сказать определенно: «уравнительные» представления, как вербально выраженные мнения, не являются доминирующими, их распространенность и значимость не следует абсолютизировать. Об этом свидетельствует, в частности, и тот факт, что последовательных «уравнителей» во всех массивах меньше, чем «трудовиков»: М 1 — 10 % (в сравнении с 11 %), М 2 — 15 % (в сравнении с 16 %), М 3 — 6 % (в сравнении с 12 %).

Однако не следует забывать о следующих обстоятельствах: доля «уравнительных» представлений может зависеть от региональных особенностей; ориентации на принципы распределения фиксировались как вербально выраженные мнения, которые не всегда соответствуют поведенческой установке.

Что касается значительной доли противоречивых и непоследовательных ответов, то можно предложить разные интерпретационные версии. Версия первая: это свидетельство того, что в нашем обществе происходит ломка одних ориентаций и формирование других. Естественно, ориентации на принципы распределения неустойчивы, непоследовательны, противоречивы.

Версия вторая: противоречивость обыденных представлений (совмещение «уравнительности» и признание справедливости распределения в соответствии с трудовым вкладом) имеет основание в том хозяйственном механизме, который сформировался не в последние годы, а значительно раньше: «честные» заработки из-за всевозможных ограничений не способны обеспечить высокий уровень благосостояния, а главное — сколько-нибудь значительную («существенную») социальную дифференциацию. Поэтому распределение

---

<sup>1</sup> С этой целью была построена пятичленная обобщенная шкала ориентированности на принципы распределения. Положительный индекс свидетельствует о преобладании ориентации на «трудовой вклад» (и признании справедливости существенных различий), отрицательный — на «уравнительность». Интегральный показатель принимает значения от -100 (все последовательные «уравнители») до +100 (все последовательные «трудовики»).

пропорционально трудовому вкладу в обыденном сознании могло совместиться с представлением об отсутствии существенных различий в уровне жизни. Наличие же таких различий ассоциировалось скорее с нетрудовыми доходами. Косвенным доказательством правомерности подобной интерпретации является тот факт, что 56 % последовательных «уравнителей» считают несправедливым установление «потолка заработной платы», тогда как проведение денежной реформы для изъятия «излишков» денег несправедливым считают лишь 37 %.

Следует отметить: то, что выглядит противоречивым с позиции исследователя, может не противоречить «здравому смыслу», фиксирующему реальные особенности (противоречия) социальной жизни. Известно, что на эту особенность обыденного сознания (соотнесенность с реальностью, «пригнанность к ситуации», эффективность для жизни в этой реальности), его преимущество перед теоретическими представлениями указывают и философы, и социологи [4, с. 20; 5, с. 48; 6, с. 28].

Ряд особенностей обыденных социальных представлений обусловлен их коллективной природой. При формировании обыденных представлений происходит, как пишет Н. Ф. Наумова, наложение на индивидуальные (психологические) структуры социально сформированных норм и стереотипов обыденного опыта. Обыденные представления — это социально стандартизованные знания, которые в отличие от психологических (индивидуальных) структур знания «более объективизированы, менее субъективны, менее произвольны, в них сильно выражен «принцип реальности». Соотнесенность социально организованного знания с реальностью, его эффективность для жизни в этой реальности обеспечивается посредством определенных процедур, приемов, структур социальной организации обыденного опыта» [5, с. 48–49].

О противоречивости сознания высказываются и более «сильные» суждения. Обращая внимание на процесс формирования сознания широких масс при социализме, признают их способность усвоить идеи тем лучше, чем они противоречивее [7, с. 179]. Разумеется, вопрос требует дальнейшего изучения, а сделанные выводы — эмпирической проверки.

Характеризуя динамику различных ориентаций, следует указать на относительную стабильность «уравнительных» представлений (особенно если иметь в виду данные по двум идентичным массивам, когда опросы проводились по месту жительства: индексы соответ-

ственно равны  $-30$  и  $-31$ ). Наблюдаются рост ориентаций на трудовой вклад (индексы соответственно равны  $45$  и  $60$ ) и падение индекса ориентации на гарантированный минимум ( $44$  и  $30$ ). Интересно, что, судя по обобщенной шкале, «последовательных уравнивателей» становится меньше (с  $15\%$  до  $6\%$ ), а доля «последовательных трудовиков» практически не меняется ( $19\%$  в М 2 и в М 3). Однако существенно выросла доля противоречивых ответов (с  $39\%$  до  $51\%$ ).

Значительное место в анализе ориентации на принципы распределения занимает характеристика связи различных ориентаций друг с другом. Эта связь, как правило, значимая (о чем свидетельствуют коэффициенты Крамера, К и Кендэлла,  $t$ ). Максимально тесная положительная (прямая) связь имеет место между ориентациями на трудовой вклад и реализацию способностей: на двух массивах (М 1 и М 2), где фиксировалась ориентация на реализацию способностей, коэффициент Кендэлла,  $t = 0,24$ .

Между ориентацией на трудовой вклад и уравнительностью имеет место обратная связь, что естественно. Связь этих двух ориентаций (так же, как и ориентация на реализацию способностей) с ориентацией на гарантированный минимум в большинстве случаев не является тесной:  $t$  принимает значение от  $0,01$  до  $0,05$ , и только в массиве М 1 имеет место более тесная положительная связь между ориентациями на уравнительность и на гарантированный минимум ( $t = 0,10$ ), а также обратная связь последней с интегральной ориентацией ( $t = -0,13$ ). Если же судить по индексам ориентации на гарантированный минимум у тех, кто находится на полюсах обобщенной шкалы («чистые уравниватели» и «чистые трудовики»), то ориентированные на гарантированный минимум в большей степени тяготеют к «уравнительности», чем к «трудовому вкладу».

Понимание природы ориентации на принципы распределения, выяснение их специфики в значительной степени углубляется при изучении представлений о преобразовании форм собственности. Представления о собственности фиксировались нами в двух исследованиях: в М 2 посредством вопросов, имитирующих референдум («за», «против», «воздержался»), в М 3 как «первоочередные задачи социальной политики». Оказалось, что наибольшую популярность среди населения имеет «предоставление равных прав и возможностей для разных форм собственности»; более сдержанное отношение к ликвидации монополии государства на средства производства.

В целом население позитивно отнеслось к преобразованиям собственности: индекс везде принимал положительные значения. Наиболее популярное мнение («равные права») — самое гомогенное (ККВ = 0,60), наименее популярное («ликвидация монополии государства») — самое гетерогенное (ККВ — 0,98). Отметим также, что предубеждения к термину «частная собственность» (при сравнении с собственностью индивидуальной) нет, так как индекс отношения к «частной собственности» даже более высокий, чем индекс отношения к «индивидуальной собственности».

Мнения о собственности также противоречивы: 1) 13 % из тех, кто признает необходимость предоставления равных прав для развития разных форм собственности (включая индивидуальную), одновременно выступает против того, чтобы «узаконить индивидуальную собственность»; 2) 9 %, признавая справедливость «равных прав», считают несправедливым «узаконить частную собственность»; 3) 18 % признают «равные права» и одновременно высказываются против «ликвидации монополии государства на средства производства». Как видим, противоречивость представлений населения о различных изменениях собственности несколько меньше, чем противоречивость ориентации на принципы распределения: в первом случае максимальная доля противоречивых ответов — 18 %, во втором — 51 %.

Представления о преобразованиях форм собственности оказались связанными между собой более тесно, чем ориентации на принципы распределения. Если в последнем случае максимально тесная связь — 0,24 (t), то в случае представлений о собственности значения t колеблются от 0,46 до 0,20. Все значения положительные (связь прямая). Максимальное значение (t = 0,46) характеризует связь между отношением к частной собственности и наемному труду на кооперативных и частных предприятиях. 61 % респондентов считает, что узаконить частную собственность справедливо; как справедливое они оценивают и разрешение использовать наемный труд на частных и кооперативных предприятиях.

Различные ориентации на принципы распределения сопоставлялись с представлениями о собственности. Оказалось, что наиболее четко радикализм в отношении к собственности выражен у тех, кто ориентирован на реализацию способностей (t колеблется от 0,33 до 0,13), и тех, кто ориентирован на благосостояние в соответствии с трудовым вкладом (t от 0,26 до 0,05). Показатели радикализма в от-

ношении к собственности ( $I$ ) в наибольшей степени различаются у ориентированных и неориентированных на реализацию способностей (особенно применительно к позиции «предоставить равные права всем формам собственности» ( $I = 59$ )). Это, как нам кажется, дает основание для следующего, весьма важного вывода: респонденты осознают тот факт, что радикальное преобразование собственности — важное условие для возможности реализовать способности. Преобразования в обыденном сознании связаны также с представлениями о возможности достичь благосостояния в соответствии с трудовым вкладом.

У лиц, ориентированных на гарантированный минимум, в значительно меньшей степени выражен радикализм в отношении к формам собственности ( $t$  колеблется от 0,11 до  $-0,06$ ). Еще менее радикальны представления о собственности у тех, кто ориентирован на уравнительность ( $t$  от 0,05 до  $-0,12$ )<sup>1</sup>.

Различия в отношении к преобразованиям собственности «уравнителей» и «трудовиков» более четко просматриваются, если сравнивать индексы представлений о собственности респондентов, занимающих крайние позиции на обобщенной шкале, и принципы распределения. В М 2 максимальное различие — в отношении к ликвидации монополии государства на средства производства ( $I = 38$ ), в М 3 — к тому, чтобы предоставить равные права для различных форм собственности ( $I = 63$ ). Если же сравнивать ориентацию на «уравнительство» с ориентациями на все иные принципы распределения, то именно у «уравнителей» в наибольшей степени проявляется консервативная тенденция в отношении к преобразованиям форм собственности: доля тех, кто отрицательно относится к преобразованиям собственности, здесь наибольшая.

Сравнение ориентации на разные принципы распределения и представлений о собственности еще раз подтверждает (так же, как сравнение «распределительных представлений» друг с другом), родство ориентации на условия реализации способностей и на благосостояние в соответствии с трудовым вкладом. Следовательно, обыденное сознание включает те представления, которые всегда рассматриваются в единстве на теоретическом, идеологическом уровне («от каждого — по способностям, каждому — по труду»). Заметим, что в социологической литературе обращалось внимание на непра-

---

<sup>1</sup> Последнее значение характеризует связь указанной ориентации с представлением о ликвидации монополии государства на средства производства.



вомерный перекося в сторону второй половины формулы, на отрыв оценки «трудового вклада» от создания условий для реализации способностей [8].

Другой вывод, с нашей точки зрения, не менее интересный: представления, которые в официальной идеологии относятся к типично социалистическим («от каждого — по способностям, каждому — по труду»), в сознании людей совмещаются с преобразованиями собственности, которые «защитники» социализма считают капиталистическими, противоречащими сути социализма и антинародными. (Впрочем, возможно, представления населения Одесской области в этом плане составляют исключение.)

В нашем исследовании ориентации на принципы распределения и отношение к преобразованиям собственности сопоставлялись с представлением о справедливости. Последнее служило средством выявить ориентации на принципы распределения и оценки преобразований форм собственности. Они фиксировались как ответы на вопросы «Какое общество является справедливым?» и «Какие преобразования соответствуют «справедливой социальной политике?». Представление о справедливости применялось как основание оценки общества (в целом, на уровне города, производственного коллектива), а также оценки личности, тех или иных человеческих поступков и т. д. (Соблюдается ли справедливость в обществе, городе, производственном коллективе; как относятся к проявлениям несправедливости, какие пути борьбы с ней предполагают использовать и др.)

Ответы на вопрос о том, какое общество является справедливым, давали информацию не только о «собственно социальных»<sup>1</sup> представлениях (ориентациях на различные принципы распределения), но и о других, «несоциальных», характеризующих правовые, нравственные отношения, практику управления. Справедливость в данном случае рассматривалась как соответствие закону, нравственности, как обеспечение возможности участвовать в управлении. В результате сравнения «собственно социальных» и «несоциальных» представлений было расширено понимание особенностей ориентации на различные принципы распределения. Оказалось:

— ориентации на уравнительность и гарантированный минимум более тесно связаны с пониманием справедливости как соответствия

---

<sup>1</sup> Под социальными представлениями мы понимаем выражение в общественном сознании социальных отношений, социальной сферы жизни общества.

закону<sup>1</sup>, нежели с ее пониманием как соответствия общечеловеческой морали, нравственности либо возможности участия в управлении ( $t$  соответственно равны 0,19; 0,15; 0,09 и 0,10; 0,05 и 0,06). Хотя «уравнители» в большей степени, чем ориентированные на гарантированный минимум, склонны понимать под справедливостью соответствие нравственности;

– ориентация на трудовой вклад теснее всего связана с представлением о справедливости как участии в управлении  $t = 0,27$  в сравнении с 0,18 (соответствие нравственности) и 0,11 (соответствие закону);

– ориентация на реализацию способностей тесно связана с пониманием справедливости как соответствия нравственности ( $t = 0,32$ ) и как участие в управлении ( $t = 0,29$ ).

Приведенные результаты (как и данные о характере связи различных ориентаций друг с другом) — основание сделать следующее заключение: в нынешних конкретно-исторических обстоятельствах ориентация на гарантированный минимум — это, скорее, слабо выраженное «уравнительство», реакция на отсутствие нормальных условий жизнедеятельности, нежели ориентация, обусловленная преимущественно высокими нравственными побуждениями, гуманистическими принципами.

Об этом свидетельствуют и другие данные. Индексы признания справедливости общества, в котором имеется соответствие общечеловеческой морали, у ориентированных и неориентированных на гарантированный минимум практически одинаковы ( $\Delta = 5$ ). Сравним: аналогичный показатель (различие индексов) в случае ориентации на реализацию способностей равен 69 (наибольшее значение по сравнению с другими ориентациями на принципы распределения).

Последнее обстоятельство дает возможность охарактеризовать природу ориентации на реализацию способностей с весьма любопытной стороны: представление о нравственности, гуманистические принципы в большей степени ассоциируются в сознании людей с условиями реализации способностей, чем с распределением благ в соответствии с теми или иными принципами.

Что касается сравнения представлений о справедливости «уравнителей» и «трудовиков», то первые в большей степени склонны под справедливостью понимать соответствие закону, а вторые более склонны признавать справедливость участия в выработке и принятии управ-

---

<sup>1</sup> Хотя в целом такое понимание непопулярно (меньшие значения индекса имеют только уравнильные представления).

ленческих решений. Оценки соблюдения справедливости общества у «уравнителей» несколько выше, чем у «трудовиков» (хотя и у тех, и у других индексы отрицательные). «Трудовики» чаще, чем «уравнители», признают значимость справедливости для людей и себя лично. Словом, у «трудовиков» более высокие притязания, чем у «уравнителей», более критичное отношение к окружающему их социальному миру.

Имеются у них и различия в выборе путей борьбы с несправедливостью. Так, к «экономической реформе» более тяготеют ориентированные на «трудовой вклад» и «реализацию способностей» (хотя их отличие от ориентированных на другие принципы распределения незначительно). Что касается «укрепления дисциплины и порядка», то «уравнители» чаще выступают за этот путь, чем ориентированные на другие принципы распределения.

Есть и когнитивные особенности (выраженные в асимметрии приписывания) у ориентированных на различные принципы распределения: «уравнитель» реже, чем «трудовик», оценивает себя как человека справедливого (*I* соответственно 43 и 63), тогда как оценки справедливости других людей у «уравнителей» выше, чем у «трудовиков». Последние, таким образом, в большей степени, чем «уравнители», уверены в себе и требовательнее к другим. Хотя и у «трудовиков», и у «уравнителей» оценки собственной справедливости значительно более высокие, чем оценки справедливости других (см. табл. 1).

Таблица 1

**Социально-психологические особенности ориентированных на различные принципы распределения (Отношение к справедливости; М 1)**

Позиции обобщенной шкалы	Справедливость имеет большое значение				«Люди — справедливые»		«Я — справедливый»	
	«для людей»		«для меня лично»					
	I	ККВ	I	ККВ	I	ККВ	I	ККВ
«Уравнители»	29	0,82	67	0,59	-29	0,85	43	0,83
«Непоследовательные уравнители»	-3	0,10	51	0,79	-52	0,79	35	0,90
«Противоречивые»	29	0,82	64	0,64	-30	0,86	58	0,75
«Непоследовательные трудовики»	42	0,79	77	0,79	-0,26	0,93	57	0,75
«Трудовики»	47	0,68	80	0,39	-41	0,79	63	0,68
Вариационный размах индексов ( $\Delta$ )	18	---	13	---	12	---	20	---

Кроме того, «чистые уравнители» считают себя более активными, чем «чистые трудовики», в борьбе с несправедливостью (индексы ответа на вопрос «Принимали ли Вы участие в борьбе с несправедливостью?» равны соответственно 22 и 8). Причем успешность своих действий в этом направлении «трудовики» оценивают несколько выше (соответственно  $-28$  и  $-41$ ), хотя в обоих случаях индексы отрицательные. Практически одинаковый пессимизм у тех и других при ответе на вопрос «Поддержат ли Вас в этой борьбе товарищи?» ( $-26$  и  $-30$ ).

Характеризуя зависимость (по коэффициенту информационной зависимости  $K_{\Delta}$ ) оценки социальной справедливости в обществе от ориентации на принципы распределения, отметим, что оценки эти (123 и 126 на рис.) находятся в большей информационной зависимости от настроений респондентов (удовлетворенность жизнью, уверенность в завтрашнем дне — 177 и 178) и от когнитивных особенностей (198 и 204), чем от ориентации на принципы распределения (127, 129, 131, 132, 203). Об этом свидетельствует частичный граф связей, построенный по  $K_{\Delta}$  О. Р. Лычковской<sup>1</sup> (см. рис.).

Сопоставление различных характеристик дает возможность сделать вывод о большей информативности представлений о собственности, чем ориентации на принципы распределения: индексы, характеризующие политические взгляды избирателей, в большей степени различаются у тех, кто занимает полярные позиции в отношении к собственности, чем у занимающих полярные позиции на шкале указанных ориентаций. При этом более критичны люди, которые более радикально настроены в отношении к собственности: им чаще известны случаи нарушения закона о выборах, у них меньше уверенность в том, что выбраны наиболее достойные и компетентные, что новые Советы станут подлинными органами власти и будут защищать интересы трудящихся и т. д.

Те, кто радикально настроен по отношению к собственности, чаще указывают на противодействие аппарата как основное препятствие перестройке (соответственно 29 % и 22 %), они в меньшей степени надеются на партию как на силу, которая выведет из кризиса<sup>2</sup> (из тех, кто за ликвидацию монополии государства на средства производства, только 22 % считают, что партия является такой силой, из тех, кто против ликвидации, — 45 %).

<sup>1</sup> Формулу расчета коэффициента см. [9].

<sup>2</sup> Опрос проводился в конце 1989 г.



этом более критичными и более требовательными оказываются ориентированные на «трудовой вклад» и на «реализацию способностей». «Уравнители» менее критично оценивают политическую ситуацию, менее требовательны к новым органам власти и традиционным партийным структурам (см. табл. 2).

Таблица 2

**Связь ориентаций на различные принципы распределения с политическими ориентациями (М 2)**

Позиции обобщенной шкалы	М 2							
	96		74		75		73	
	I	ККВ	I	ККВ	I	ККВ	I	ККВ
«Уравнители»	-5	0,97	5	0,95	-16	0,93	-18	0,92
«Непоследовательные уравнители»	10	0,98	14	0,97	5	0,99	-22	0,96
«Противоречивые»	11	0,96	17	0,96	4	0,97	-16	0,91
«Непоследовательные трудовики»	13	0,97	18	0,97	9	0,98	-18	0,96
«Трудовики»	36	0,86	37	0,82	36	0,82	-7	0,89
Вариационный размах индексов ( $\Delta$ )	41	---	32	---	52	---	12	---

*Примечания.* 96 — интегральная политическая ориентация; 74 — отмена 6-й статьи Конституции; 75 — создание новых политических партий; 73 — право на забастовки.

Итак, характеристика «уравнителей» по самым разным параметрам дает возможность выявить особенности их мировосприятия, социально-политических представлений. «Уравнители» в рассмотренных конкретно-исторических и социально-политических условиях — типичные конформисты-консерваторы. Это отличает наших «уравнителей» от представителей эгалитаристов, которые традиционно стояли на радикальных, а нередко экстремистских позициях.

Особенности различных ориентаций на принципы распределения выявляются и тогда, когда они сопоставляются с объективными (демографическими, образовательными, социально-профессиональными) характеристиками. Оказалось, что индексы ориентации на принципы распределения у демографических групп (выделенных по полу и возрасту) различаются, как правило, в меньшей степени, чем индексы отношения к собственности: максимальное различие ориентации на принципы распределения у полярных возрастных групп равно 2,

максимальное различие представлений о собственности (в отношении к наемному труду) — 46. При этом женщины больше тяготеют к «уравнительности», чем мужчины. Последние же более ориентированы на благосостояние в соответствии с трудовым вкладом и на условия реализации способностей. Чуть в большей степени, чем у молодых, «уравнительность» выражена у самых пожилых. Различия в индексах ориентации на гарантированный минимум у мужчин и женщин незначительны.

Весьма сложна связь ориентации на принципы распределения с образованием. Практически устойчивая связь (поддерживаемая на разных массивах) между этими признаками отсутствует, особенно среди ориентированных на гарантированный минимум. Тем не менее, лица, имеющие неполное среднее образование, более склонны к «уравнительности», а имеющие высшее образование — к ориентации на трудовой вклад и реализацию способностей.

Что касается социально-профессиональной принадлежности, то она (как и вышеперечисленные объективные характеристики) не дифференцирует существенным образом ориентации на принципы распределения. Во всех социально-профессиональных группах удельный вес ориентированных на уравнительность (включая «чистых», «непоследовательных» и «противоречивых») падает (за исключением колхозников и рабочих совхозов). Причем в таких группах, как ИТР («производственники») и руководители предприятий, падает в наибольшей степени (соответственно с 20 % до 4 % и с 23 % до 6 %). В последней группе в наибольшей степени возрастает удельный вес ориентированных на трудовой вклад (с 27 % до 50 %).

В целом же ориентации на принципы распределения характеризуются большей массовостью (если иметь в виду некоторую унификацию, образующуюся на пересечении специфически групповых представлений), чем отношение к собственности.

Уравнительные идеи — серьезное препятствие на пути развития эффективной экономики и предпринимательства. В то же время они не настолько сильны, чтобы играть в этом процессе сколько-нибудь существенную роль. Большее значение имеют уравнительные поведенческие установки («инструментальные ценности»), но и они начнут преодолеваться по мере того, как для эффективного хозяйствования будут создаваться реальные условия.

### *Литература*

1. Социол. исслед. 1991. № 11. С. 66–76.
2. Батыгин Г. С. «Добродетель» против интереса (заметки об отражении распределительных отношений в массовом сознании) // Социол. исслед. 1987. № 3.
3. Покровская М. В. Социальная справедливость в потреблении и ее стереотипы // Социол. исслед. 1990. № 3.
4. Пукшанский В. Я. Обыденное сознание. Л.: Изд-во ЛГУ, 1987.
5. Наумова Н. Ф. Социологические и психологические аспекты целенаправленного поведения. М.: Наука, 1988.
6. Козлова Н. Н. Социализм и сознание масс. М.: Наука, 1989.
7. Федотова В. Г. Истина и правда повседневности // Заблуждающийся разум. Многообразие научного знания. М.: Политиздат, 1988.
8. Заславская Т. И. Творческая активность масс: социальные резервы роста // ЭКО. 1986. № 3.
9. Паниотто В. И., Максименко В. С. Количественные методы в социологических исследованиях. Киев: Наукова думка, 1982. С. 134–135.



## **ЯЗЫКОВАЯ СИТУАЦИЯ КАК ФАКТОР ПОЛИТИЧЕСКОГО САМООПРЕДЕЛЕНИЯ И КУЛЬТУРНОГО РАЗВИТИЯ (НА МАТЕРИАЛЕ ИЗУЧЕНИЯ ОДЕССЫ И ОДЕССКОЙ ОБЛАСТИ)**

Исследователи, изучающие межнациональные отношения, указывают: углублению неравноправия этносов, провоцированию различного рода конфликтов может способствовать закрепление за каким-либо языком статуса государственного [1, с. 8]. Государственный язык, являющийся сильным средством консолидации нации, может стать фактором, приводящим к разрушению государственности. Об этом свидетельствует и опыт стран, образовавшихся в результате распада СССР. Необходимы мудрость и деликатность политиков, чтобы не использовать язык как средство политического давления и насилия над личностью.

Принятие государственного языка предполагает соблюдение ряда условий. Как пишет М. Н. Губогло, перед принятием закона о государственном языке необходимо разъяснить, что такое государственный язык и зачем он нужен, какова реальная этноязыковая и межнациональная ситуация, в которую предполагается внедрить новый закон о языке [1, с. 18].

Названные условия в странах, образовавшихся в результате распада СССР, не были соблюдены. Это относится и к Украине. Поспешно принятый (еще старой номенклатурой) закон страдает неопределенностью (особенно 3-я ст.). Ни его принятие, ни последующие попытки проведения в жизнь не связаны с пониманием реальной языковой ситуации, складывающейся в различных регионах Украины. Этносоциологи обращают внимание на то, что создание условий для «действительной реализации закона о языках» предполагает «прояснение языковой ситуации на Украине на основе фактических научных данных» [2, с. 150].

Ситуация усугубляется и тем, что в заявлениях политических деятелей страны (находящихся у власти и в оппозиции) содержатся различные трактовки того, что такое государственный язык. Так, официальные лица без всяких разъяснений используют словосочетания:

«официальный язык», «равноправный язык», «ведущий язык» и др. Языковая ситуация, складывающаяся в регионах Украины, практически не принимается во внимание. Налицо явное несоответствие между остротой проблемы и научной предпосылкой ее решения.

Данные, над которыми следует серьезно поразмышлять и исследователям, и политикам, могут быть получены благодаря сотрудничеству этнографов, историков, лингвистов и др. Особую роль при анализе социально-культурной обусловленности языковой ситуации, воздействия последней на социально-политическое и культурное развитие государств СНГ предстоит сыграть социологам. Каким образом в условиях полиэтничного государства (а таковы новые государства, образовавшиеся на основе бывших республик Союза), не ущемляя прав личности, расширить масштабы использования языка одного из этносов, который становится «титულным» (дающим название государству)? Возможно ли применение социологических подходов для решения этой задачи? Какие эмпирические данные наиболее подходят для этого? На эти вопросы предполагается ответить в статье, в основу которой положены результаты исследований, проведенных на юге Украины, главным образом в Одессе и Одесской области<sup>1</sup>.

**Социальная обусловленность языковой ситуации** означает зависимость последней от ряда факторов: степени урбанизации, расселения и мобильности национальностей, уровня образования, социально-профессионального состава и др. [2, с. 150]. Зарубежные этносоциологические исследования содержат данные, позволяющие уточнить, каким образом тот или иной фактор способствует (препятствует) языковой ассимиляции. Например, говоря об урбанизации, обращают внимание на компактность либо дисперсность расселения представителей национальных меньшинств, на то, имела ли место встреча двух несопоставимых культур («культурный шок»), какова степень «социальной гетерогенности» городской среды [3, с. 117–123].

Что касается Одессы, то здесь исторически сложился своеобразный «русский народный с еврейско-украинским акцентом язык,

---

<sup>1</sup> Исследования проводились социологической группой кафедры социологии Одесского госуниверситета совместно с социологическим информационно-исследовательским центром «Пульс» в рамках выполнения госбюджетной темы «Социологические аспекты этнополитических процессов». В соответствии с программой исследования проведены вторичный анализ результатов переписи населения 1989 г. и имеющихся статистических данных, а также три опроса (M1, M2 и M3).

получивший довольно сильный великорусский импульс еще в дни ее основания» [4]. Распространенность русскоязычия в Одессе и Одесской области очевидна. По переписи населения 1989 года, русский язык родной для 47,1 % жителей Одесской области и для 72,6 % одесситов (в Киеве русский язык считают родным 56 % населения, на Украине в целом 32,8 %). Национальным составом населения объяснить это нельзя: 56,6 % жителей области составляют украинцы и только 27,4 % русские, в Одессе 48,9 % украинцев и 39,4 % русских<sup>1</sup>.

Нельзя рассматривать данную ситуацию как результат насильственной русификации. В 20-х годах в Одесском округе и в г. Одессе был самый низкий процент украинцев среди всех округов и окружающих городов Украины. В городском населении украинцы по численности уступали русским и евреям [5]. По переписи 1926 г., в самой Одессе украинцы составляли лишь 7 %, тогда как русские — 45 %, а евреи — 41 %. В округе проживали представители 50 национальностей, для которых языком межнационального общения был русский. «В регионе, — пишет К. С. Дымов, — активно проходили процессы ассимиляции, что объясняется как русификаторской позицией царизма в дореволюционное время, так и объективными потребностями социально-экономического развития, общественной жизни и межнационального общения народов, **живущих вместе**» [5, с. 79] (выделено мною. — *И. П.*).

Украинское сельское население, пополнявшее состав жителей Одессы и период индустриализации, сталкивалось с определенным «характером городского опыта», со сложившейся русскоязычной культурой, не испытывая при этом особого «культурного шока» из-за близости украинской и русской культур. В результате русский язык стал родным для половины украинцев, живущих в Одессе, и для каждого четвертого украинца, проживающего в Одесской области.

24,2 % украинцев в Одессе не владеют украинским языком (в области таких 12,8 %). Доля населения, владеющего украинским языком в Одесской области, такая же, как в Донецкой (56,1 %) и почти такая, как в Луганской (58,1 %). Меньше (и значительно) она была только в Крымской области (25,3 %). В целом по Украине в 1989 г. свободно владели украинским языком столько же граждан, сколько и русским, — соответственно 78 % и 78,4 % [6, с. 89].

---

<sup>1</sup> Вторичный анализ материалов переписи населения, а также статистических данных, результаты которого приводятся здесь и далее, осуществлен Г. П. Бессокирной.

Оценивая специфику языковой ситуации, сложившейся в Одессе и Одесской области, необходимо указать на следующие факты: многонациональный состав региона, относительно высокий уровень образования населения<sup>1</sup>, высокий удельный вес межнациональных браков, специфический характер миграции.

Выделим три обстоятельства: характер миграции, долю украинцев и русских, проживающих в области в месте постоянного жительства с рождения, высокий процент межнациональных браков. В Одесской области существенно ниже, чем на Украине в целом (и ниже, чем в сходных по национальному составу Херсонской и Николаевской областях), доля прибывших из других областей республики и выше доля прибывших из других республик. Однако разница между долями украинцев и русских, проживающих в области в месте постоянно жительства с рождения, незначительна. А среди городского населения таких русских даже несколько больше, чем украинцев (табл. 1).

Таблица 1

**Доля украинцев и русских, проживающих в Одесской области в месте постоянного жительства с рождения, % \***

Население	Украинцы	Русские	Всего
Городское	47,4	48,6	47,5
Сельское	68,9	51,4	68,6
Всей области	55,6	49,0	54,7

\* По данным переписи 1989 г.

Что касается доли межнациональных браков, то в указанном регионе их 34,8 % (на Украине в целом — 25,3 %). Это также важный фактор ассимиляции и распространенности языка межнационального общения. Высокая степень межгрупповых браков, с одной стороны, — показатель социальной интеграции, с другой — меньшая способность семей передавать детям определенную этническую культуру служит агентом ассимиляции [7, р. 406].

Перечисленные факторы обуславливают высокий процент русскоязычных, значительную долю тех, у кого национальное сознание, как говорят этнографы, «размыто», «стерто», а родным является язык межнационального общения.

<sup>1</sup> Кстати, традиционный для этого региона. Как отмечает К. С. Дымов, в 20-х годах уровень грамотности населения в Одессе и Одесском округе был значительно выше, чем в других регионах Украины и России [5, с. 80].

Взаимосвязь языковых характеристик и факторы, их обуславливающие, выявлялись с помощью опросов<sup>1</sup>. По данным исследования, проведенного осенью 1991 г. в Одесской области, считают родным языком украинский 40 % респондентов, а русский — 41 %. В Одессе соответственно — 24 % и 61 %.

Общаются на украинском языке в семье значительно реже, чем на русском (в области — 30 % и 50 %, в Одессе — 7 % и 77 %). Эта разница еще заметнее при общении на работе и в общественных местах. Соответствия между родным языком, языком общения в семье и тем, на котором предпочитают говорить на работе и в общественных местах, нет. Так, 33 % из тех, для которых родным языком является украинский, предпочитают говорить на работе по-русски.

Предпочтение русскому языку отдает 21 % тех, кто говорит дома по-украински. Однако доля тех, кто предпочел бы говорить на работе и в общественных местах на украинском языке, больше, чем тех, кто общается на нем (табл. 2).

Таблица 2

**Языковое общение и языковое предпочтение, %\***

Язык общения	В области		В Одессе	
	Общаются	Предпочитают общаться	Общаются	Предпочитают общаться
Украинский	24	32	3	13
Русский	65	57	88	78

\*Данные М1.

Для 8 % респондентов в области и для 15 % в Одессе общение на русском языке является вынужденным. Тогда как на украинском языке хотели бы общаться больше респондентов, чем теперь (в области на 8 %, в Одессе на 10 %).

<sup>1</sup> М1: опрос проведен в октябре 1991 г., опрошено (N) 998 человек. Выборочная совокупность репрезентативна для взрослого населения (18 лет и старше) Одесской области. Средняя ошибка выборки по контролируемым и неконтролируемым переменным (типу поселения, полу, возрасту, социальной принадлежности и национальности) — 1–3 %.

М2: опрос проведен в конце ноября 1991 г. (N = 1004 человека). Выборочная совокупность репрезентирует взрослое население Одесской области. Средняя ошибка выборки по контролируемым и неконтролируемым переменным — от 0 % до 3 %.

М3: опрос проведен в конце сентября — начале октября 1992 г. (N = 1010 человек). Выборочная совокупность репрезентирует взрослое население Одесской области. Средняя ошибка выборки не превышает 2,6 %.

В области выявлена зависимость предпочитаемого языка общения от уровня образования и рода занятий; в городе такая зависимость отсутствует, что объясняется определяющей ролью социально-культурной среды, которая обуславливает преимущественное русскоязычие практически всех групп населения.

Разумеется, на работе и в общественных местах предпочитают общаться на русском языке специалисты либо работники, чей род занятий требует специального образования. По-видимому, предпочтения определяется не столько степенью владения языком, сколько коммуникативной ценностью языка для осуществления той или иной специальной деятельности. Для проверки данной гипотезы наряду с вопросом «на каком языке Вы предпочли бы, в основном, общаться на работе и в общественных местах?» ставился и такой: «Владеете ли Вы украинским языком настолько, чтобы пользоваться им как основным на работе и в общественных местах?» Оказалось, что доля владеющих украинским языком значительно выше, чем предпочитающих общаться на нем (в области соответственно — 49 % и 25 %, в Одессе — 41 % и 9 %).

Разумеется, владение языком сказывается на предпочтениях. Так, предпочитают говорить на работе по-украински 46 % из тех, кто владеет языком настолько, чтобы пользоваться им на работе, как основным: 5 % из тех, кто не владеет, и 11 % из тех, кто затрудняется ответить на вопрос, владеет ли он украинским языком. Однако 37 % владеющих украинским языком предпочитают говорить на работе по-русски (по данным М2).

Опрос, проведенный в Одессе летом 1992 г., показал: среди владеющих украинским языком лишь 10 % предпочитают общаться на нем на работе и в общественных местах. Таким образом, разрыв между «владеющими» и «предпочитающими общаться» особенно велик в Одессе. Это объясняется двумя причинами: спецификой языковой среды, а также тем, что в Одессе больше рабочих мест, связанных с занятиями, требующими высокой квалификации. Приобретая знания, осваивая соответствующую терминологию на русском языке, специалисты предпочитают русскоязычие на работе и в дальнейшем. Этому способствует и большой объем специальной литературы, выпускаемой на русском языке.

Предпочитаемый язык общения характеризует определенную культурную ориентацию — именно об этом свидетельствуют как приведенные выше данные, так и те, на которых сошлюсь далее.

Возможности, которые дает тот или иной язык, для овладения культурными ценностями, специальными знаниями, в значительной степени влияют на отношение молодежи к языку обучения в вузах и техникумах. Результаты опросов в Харькове показали, что в процессе обучения на украинский язык желают перейти лишь 7,7 % студентов. Причем не желали как те, которые не владели этим языком, так и свободно говорящие: первых оказалось даже меньше, чем вторых (соответственно 41,1 % и 46,8 % от общего числа опрошенных) [8, с. 94]. Наши исследования<sup>1</sup> свидетельствуют, что значительная часть респондентов, которые хорошо понимают украинский язык и говорят на нем, предпочитают читать книги и газеты, слушать радио на русском языке. Это результат свободного выбора, который характеризует личные предпочтения и желания.

Предпочтения, которые респонденты отдают русскоязычной литературе (научной и художественной), русскоязычному вещанию свидетельствуют о более высоких конкурентных возможностях русскоязычной культуры, по сравнению с украиноязычной. Например, исследователи украинско-русского двуязычия (Институт языковедения им. А. А. Потебни) отметили, что даже в таких украиноязычных городах, как Львов и Ужгород, половина населения отдает предпочтение передачам на русском языке. В Киеве желают получать информацию на украинском языке в два раза меньше, чем на русском [9]. Сотрудники отдела проблем этносоциологии Института искусствоведения, фольклора и этнографии АН Украины после проведения в 1987 г. исследования в десяти областях Украины сделали следующий вывод: доминирующим мотивом выбора телепередач является интерес к их теме; влияние собственно этнического фактора незначительно [10].

Приведенные данные подтверждают: в современных конкретно-исторических условиях отношение к языку и масштабы его использования определяются не только степенью владения им, сколько культурной ориентацией групп населения, степенью включенности в культурный контекст. Языковые предпочтения в сфере образования (особенно специального), в сферах трудовой деятельности и досуга (чтение, слушание программ радио и ТВ) в наибольшей степени характеризуют культурные ориентации личности, являются значимыми характеристиками последней.

Сошлемся на выводы, которые были получены в результате построения матрицы связи (по методу выделения корреляционных

---

<sup>1</sup> Проведены совместно с кафедрой русского языка Одесского государственного университета.

плеяд)<sup>1</sup>, между следующими признаками: национальность, родной язык, язык, на котором говорили до школы, на котором обучались в школе, говорят в семье, а также язык, на котором предпочитают: а) общаться в общественных местах, б) на работе, в) читать газеты, журналы и книги, г) слушать программы радио и ТВ. Оказалось, что четыре последние характеристики, относящиеся к предпочитаемому языку, в большей степени оказывают влияние на те, которые перечислены до них. К тем же, которые в наименьшей степени испытывают влияние, относятся признаки, характеризующие язык, на котором предпочитают читать различную литературу, а также слушать программы радио и ТВ ( $K_{\Delta}$  соответственно равны 0,26 и 0,30 в сравнении с  $K_{\Delta}$  равными 0,48 и 0,49 для родного языка и для того, на котором говорили до школы).

Особая значимость языковых предпочтений, как проявление сущности характеристики личности, её культурных ориентаций, выражается в том влиянии, которое предпочтения оказывают на этнополитические представления, на толерантность в отношении к национальным культурам. Это влияние оказывается более важным, чем влияние национальности и родного языка, о чем свидетельствуют значения индексов<sup>2</sup> (табл. 3 и табл. 4).

Таблица 3

**Этнополитические и культурные представления жителей Одесской области в зависимости от национальности и языковых характеристик (J)**

Ответы	Национальность			Родной язык			Предпочитают общаться на работе		
	Укр.	Рус.	$\Delta$	Укр.	Рус.	$\Delta$	На укр. яз.	На рус. яз.	$\Delta$
Поддержка независимости Украины	53	40	13	55	39	16	57	39	18
Ориентация на Союз содружеств	25	35	10	21	37	16	15	40	25
Преимущества в развитии культуры для представителей коренной нации	-62	-65	3	-53	-84	31	-48	-81	33

<sup>1</sup> Работа проведена М. Б. Кунявским.

<sup>2</sup> J — индекс, обобщенный показатель, характеризующий баланс положительных и отрицательных ответов на один и тот же вопрос. Величина J колеблется от +100 (при полном преобладании позитивных ответов) до -100 (при полном преобладании негативных ответов).



**Этнополитические и культурные представления жителей Одессы в зависимости от национальности и языковых характеристик (J)\***

Ответы	Национальность			Владение языком			Предпочитают общаться на		
	Укр.	Рус.	Δ	Укр.	Рус.	Δ	укр. яз.	рус. яз.	Δ
Ориентация на СНГ	46	70	24	43	60	17	26	58	32
Поддержка идеи федеративного устройства	54	55	1	54	53	1	70	50	20
Необходимость прихода к власти людей, для которых интересы украинской нации превыше всего	-60	-85	25	-57	-83	26	22	-80	102
Создание условий для развития коренной укр. нации	-52	-78	26	-50	-77	23	13	-71	84

\* Данные МЗ

Еще более впечатляющие данные, свидетельствующие о значимости языкового предпочтения, получены в Одессе в августе 1992 г.

Как видим, даже в оценках федеративного устройства (которые практически одинаковы у украинцев и русских, а также у тех, кто владеет украинским или русским языком) имеют место различия в зависимости от того, на каком языке респонденты предпочитают общаться на работе и в общественных местах.

Об особой роли «предпочитаемого языка» в системе представлений личности, ее самосознании свидетельствует следующее: если построить граф связи по  $K_{\Delta}$  (коэффициент, указывающий на направление связи), то, как правило, именно этот признак «стягивает» на себя многие другие и оказывается наиболее существенным<sup>1</sup>. «Предпочитаемый язык» уступает центральное место лишь при ответах на вопросы «Кто защищает интересы народа?» и «Кому принадлежит власть?». О месте последнего признака в системе представлений шла речь ранее [11; с. 73]. Сотрудник ОГУ А. В. Худенко высказал следующее предположение: это свидетельство авторитарности сознания, которое, безусловно, требует эмпирической проверки. Однако «глубинный» характер данного представления,

<sup>1</sup> Работа проведена О. Р. Лычковской.

как и предпочитаемого языка общения, явно просматривается в полученных данных.

Языковая политика и информация о предпочитаемом языке общения должны быть увязаны друг с другом — к такому заключению приходишь, анализируя результаты исследований. Информация о предпочитаемом языке общения полезна при ответе на вопрос: каким образом в условиях полиэтнического государства, не ущемляя права личности, значительно повысить роль государственного языка, расширить масштабы его использования?

Перед социологами возникают вопросы, которые задает Бранен Вайнштейн в обзоре книг, посвященных языковым проблемам: «Почему язык становится делом государственной политики? Какие аспекты языка привлекательны для тех, кто принимает официальные решения, каков эффект решения для общества и государства?» [12, р. 863]. Дебаты по поводу языка, по мнению Вайнштейна, отражают социальное и политическое развитие общества и скорее воздействуют на него, нежели характеризуют узкие коммуникативные проблемы.

Получить ответы можно, лишь уяснив роль социально-статусных факторов в межэтнических отношениях [13, с. 34]. В отличие от явной дискриминации (когда создаются искусственные препятствия, мешающие представителям определенных этносов получить тот или иной социальный статус), невладение государственным языком выглядит как естественное препятствие (которое не позволяет якобы заниматься тем или иным видом деятельности, осуществлять необходимую коммуникацию). На самом деле язык при этом используется не в своей коммуникативной функции, а как средство ложно понятого государственного престижа. Это наглядно демонстрирует ситуация на Украине: русским языком владеют столько же жителей, сколько и украинским. Незнание последнего не препятствует коммуникации, ибо она успешно выполняется на русском языке. Права этносоциологи, которые считают, что определение в качестве государственного языка «титального» народа (дающего название государству) должно рассматриваться как получение господствующим этносом дополнительных привилегий и является мерой антидемократической [1, с. 19].

Как же повысить престиж языка «титального» этноса, расширить масштабы его использования, преодолеть несправедливость, которая была допущена в прошлые годы? Только прилагая максимальные усилия для того, чтобы он стал предпочитаемым, — иного пути в де-

мократическом государстве нет. Чисто административные меры будут иметь обратный эффект. Это подтверждается данными опросов. Например, с ноября 1991 г. по август 1992 г., когда на Украине активно проводилась языковая политика в пользу украинского языка, в Одессе не увеличилась доля предпочитающих на работе и в общественных местах государственный язык; она несколько снизилась (с 9 % до 5 %), а в отдельных группах уменьшилась в 2–3 раза.

Авторы немногочисленных трудов, посвященных анализу языковой ситуации, складывающейся на Украине, пишут следующее: наиболее разумная языковая политика в настоящий период — создание условий для реального двуязычия (в том числе в системе высшего образования). Ценность реального двуязычия состоит не только в том, что это предпосылка многоязычия и средство взаимообогащения культур [14], но и в том, что это необходимая мера, препятствующая понижению уровня культуры, которое может произойти в случае административного внедрения государственного языка во все сферы деятельности.

Тесная связь предпочитаемого языка с культурной ориентацией, выявленная в социологических исследованиях, позволяет предположить, что наиболее эффективный путь повышения престижа украинского языка — приобщение русскоязычного населения к культуре украинского народа, повышение уровня украинской культуры, формирование современной ее разновидности, соответствующей мировым стандартам.

Например, М. Попович считает, что речь должна идти не о возрождении, а о создании современной украиноязычной культуры [15, с. 22]. Л. Плющ говорит о необходимости создать «настоящую элитарную культуру, иначе не может быть и речи о европейском уровне и настоящей государственности» [16, с. 3]. Путь к языку через приобщение к культуре, а не посредством принуждения и статусного ущемления — это и важный фактор консолидации населения Украины, утверждение ее суверенитета и независимости, для консолидации граждан Украины русскоязычное население целесообразно знакомить с историей страны на его родном языке. «Ни в коем случае нельзя начинать украинизацию с языка, а только с истории и культуры, т. е. с того, что способно заинтересовать и объединить... В свободном государстве язык не может и не должен быть признаком патриотизма... Определяющим признаком является не язык, а самосознание... а потому и основные акценты в так называемой украин-

низации (правильнее было бы назвать ее культурно-просветительной работой) должны ставиться на этом» [17, с. 7]. Подведем итоги. Как показывают результаты социологических исследований, из всех языковых характеристик предпочитаемый язык — наиболее значимый признак, свидетельствующий о культурной ориентации личности, её включенности в определенный культурный контекст. Наиболее эффективный и демократический путь расширения масштабов использования языка «титального» народа — повышение уровня культуры, для которой данный язык базовый, а также пробуждение интереса к этой культуре, желание овладеть ею.

### *Литература*

1. Губогло М. Н. Предпосылки изучения современной этнополитической ситуации в СССР // Национальные процессы в СССР. М.: Наука, 1991.
2. Рудницкая Т. М. Национальные группы и языковые процессы на Украине: о современных этнополитических процессах // Философская и социологическая мысль. 1991. № 5.
3. Wilson C. Urbanism, migration and tolerance: a reassessment // American sociological review. 1991. Vol. 56. N 1.
4. Скалкин В. Л. Язык мой — враг твой? // Одесский университет. 1992. 5 октября.
5. Дымов К. С. Население Одесщины в 20-е годы: численность, национальный состав, уровень грамотности (по данным переписи Одесского статбюро) // Тезисы Второй областной историко-краеведческой научно-практической конференции, посвященной 200-летию Одессы и 25-летию создания Украинского общества охраны памятников истории и культуры. Одесса, 1991.
6. Распределение населения УССР по национальности и языку. Численность населения УССР, свободно владеющего украинским и русским языками // Политика и время. 1991. № 1.
7. Pagnini Z., Morgan S. Inter-marriage and social distance among US immigrants at the turn of the century // American journal of sociology. 1990. Vol. 96. № 2.
8. Внукова Н. Н., Леонтьева В. Н. Реальное двуязычие в украинском вузе // Социс. 1991. № 6.
9. Украинско-русское двуязычие: социологический аспект. Киев: Наук. думка, 1988.
10. Кушерец В. И., Орлов А. В. Национально-культурное развитие: основные аспекты и некоторые результаты исследования // Философская и социологическая мысль. 1989. № 10.
11. Попова И. М. Социальные представления в обыденном сознании // Социол. исслед, 1991. № 1. С. 66–76.
12. Weinstein B. Book reviews // American journal of sociology. 91. МТ. 97. № 3.

13. *Сусоколов А. А.* Этносы перед выбором // Социол. исслед. 1988. № 6. С. 32–40.
14. *Дьячков М. В.* Социальные аспекты овладения неродным национальным языком // Социол. исслед. 1992. № 5. С. 123–126.
15. *Попович М. В.* В обстановке безразличия опасны любые случайности // Век XX и мир. 1991. № 3.
16. *Плющ Л.* Нам нужна элитарная культура // Украинский обозреватель. 1992. № 3.
17. *Новая Украина — куда идти?* // Философская и социологическая мысль. 1992. № 5.

## БЫЛ ЛИ К. МАРКС СОЦИОЛОГОМ?

Среди бывших советских социологов широкое распространение получила точка зрения, согласно которой марксистской социологической концепции общества не существует. Социально-философские представления, именуемые «историческим материализмом», не способны претендовать на роль такой концепции. Отсюда делается вывод, что с позиций марксизма социологическое, конкретно-научное изучение общества невозможно. Соответственно заслуги К. Маркса перед социологией весьма сомнительны.

Подобные рассуждения содержат, как мне кажется, по меньшей мере две неточности. Во-первых, исторический материализм отождествляется с материалистической, социально-философской концепцией общества и, во-вторых, сама эта концепция толкуется в духе экономического материализма, выступающего как философская предпосылка в лучшем случае для политэкономии, а не социологии.

Реальная проблема, некорректное решение которой приводит к «отлучению» Маркса и марксизма от социологии, заключается во взаимоотношении социальной философии и теоретической социологии. Наиболее приемлемый подход предлагает Ю. Н. Давыдов. По его мнению, теоретическая социология представляет собой сферу социологического знания, в которой социология непосредственно соприкасается с философией, точнее, социальной философией. Последняя, в свою очередь, отделяясь от философии, образует автономную сферу и выступает как предпосылочное знание для теоретической социологии. Однако различного рода «соприкосновения» теоретической социологии с социальной философией не могут служить основанием для их отождествления [1].

Далее возникает вопрос о возможности квалифицировать позиции не только О. Конта и Г. Спенсера, но Э. Дюркгейма и М. Вебера как «социологические». При этом чем уже трактуется предмет социологии, тем меньше мыслителей попадает в число собственно социологов. Для характеристики концепций XIX века часто используется термин «протосоциология». Например, А. Босков, анализируя переход от «общественной мысли» к социологической теории, относит к «протосоциологам» не только Конта, Спенсера, Маркса, Дюркгейма,

Зиммеля, Вебера, но и Гумпловича, Тенниса, Гиддингса и многих других [2, с. 18].

Тем не менее в имеющейся на Западе учебной социологической литературе, где изложение курса начинается со знакомства со взглядами первых социологов, к ним, как правило, причисляют Конта, Спенсера, Дюркгейма, Вебера, Зиммеля и непременно Маркса. А описывая главные социологические подходы, либо особо выделяют «марксистский», либо рассматривают его среди наиболее значительных социологических моделей общества. Другое дело, что именно ценят у Маркса, в чем видят его вклад в социологию. Обычно речь идет о теории классов, создании предпосылок для социологии знания и о теории конфликта, которую трактуют и как особую социологическую методологию, одну из социологических моделей общества.

В последнее время обращается внимание на методологическую стратегию, разработанную Марксом и реализованную при анализе преимущественно экономических отношений, а также многообразных общественных сфер и явлений, различных исторических обстоятельств. Интерес к методологии Маркса, его социологической метатеории не случаен. Дело в том, что современная западная социология переживает сейчас своеобразный бум интереса к теоретическим и метатеоретическим проблемам в целом. На конференциях и семинарах, в литературе все настойчивее формулируется тезис о решающем значении для социологии метатеоретических представлений. В дебатах по этому поводу даже высказывается мысль, что «метатеоретические элементы играют главную роль в конструировании отдельных теорий» [3]. Роль метатеории, как считают, велика и в тех случаях, когда она не осознается, более того, отрицается самим социологом. По мнению Дж. Ритзера, такое утверждение справедливо, например, по отношению к Р. Коллинзу [4].

Существенной частью социологической метатеории является методология. Одни авторы трактуют ее как совокупность установок и положений, характеризующих основные познавательные принципы, которых придерживается исследователь; другие — как осознание конкретных методов и процедур, используемых при изучении явлений. В обществоведческой литературе советского периода доминировала первая точка зрения. При этом методология рассматривалась как раздел философии.

Действительно, методология возникла и развивалась как философское знание, претендуя на анализ не только общефилософских,

но и конкретно-научных методов исследования. Однако по мере оформления различных дисциплин они начали отвоевывать у философии право самим решать свои методологические проблемы. Наряду с методологиями тех или иных конкретных наук (биологии, математики и т. п.) формировалась и социологическая методология, в значительной степени связанная с социальной философией, но все же, как и теоретическая социология, отличная от нее.

В конечном счете под социологической методологией стали понимать совокупность принципов и установок, предвещающих получение социологического знания и обуславливающих основные методы и способы его достижения, а также характер всей социологической деятельности (теоретической и практической). Методология — не только система «предпосылочных» принципов и установок, но и учение об этой системе, что и позволяет считать ее метатеорией, для которой сама социология служит объектом анализа. Не менее важно и то, как мы «задаем» общество, что при этом считаем наиболее существенным. Вопросы такого рода относятся к области онтологии. Осознание принципов, по которым выстраивается картина общества, также входит в сферу метатеории социологии. Как и методология, онтология длительное время рассматривалась в качестве разновидности философского знания. Однако постепенно все настойчивее стали говорить о частнонаучных онтологиях, которые, наряду с методологией, являются важным компонентом метатеории любой науки. Большое значение имеет, кроме того, понимание связи онтологии и методологии. Если представить онтологию как замок (мир, который мы хотим «открыть»), а методологию как ключ (средства, которые мы для этого используем), то естественно, что ключ должен соответствовать устройству замка.

Создавая теорию общества и его отдельных сфер, выступающих объектом исследования, социолог, во-первых, как бы заново определяет («переопределяет») общество и, во-вторых, выбирает соответствующие научной картине общества методы его рассмотрения. «Концепция объекта исследования, — пишет современный английский социолог У. Аутвейт, — решающим образом определяет типы метода, пригодные для его изучения... В этом переопределении объектов социального исследования всякому выбору методов изучения предшествуют вопросы социальной онтологии» [5].

Процедуры, связанные с построением картины общества и формулированием способов его изучения, образуют то, что условно мож-



но назвать «методологическими стратегиями» в социологии<sup>1</sup>. В область социологической метатеории входит и эпистемология, в рамках которой определяются основные принципы получения достоверного социологического знания. Замечу также, что метатеоретическая позиция, которую явно или неявно занимает социолог, может представлять собой сочетание различных онтологических, методологических и эпистемологических посылок. При этом связь между ними, несмотря на аналогию с «замком» и «ключом», не обязательно однозначна. (Например, сходство методологических установок Дюркгейма и Вебера отнюдь не свидетельствует об их эпистемологическом единодушии. А наличие некоторых общих эпистемологических и даже методологических посылок у Конта и Маркса не мешает различать их онтологические взгляды и тем более не дает право отождествлять их позиции в целом, скажем, безоговорочно считать последнего позитивистом.)

На фоне всплеска интереса к социологической метатеории понятно и пробуждение интереса к наиболее видным социологам XIX столетия, в частности к Марксу. Не случайно его, наряду с Дюркгеймом и Вебером, относят к святой «троице» и причисляют, по выражению Аутвейта, к «лику святых» [6]. Существует еще одно обстоятельство, способствующее усилению внимания к его социологическим воззрениям. Речь идет о сближении социологии и политэкономии. «В настоящее время, — считает французский ученый А. Кайе, — происходит слияние их фундаментальных парадигм с поглощением социологической парадигмы» [7].

Обращение к «фундаментальным парадигмам», используемым Марксом, интересно именно потому, что, будучи наиболее адекватным средством изучения экономической сферы общества, они носили социологический по своей сути характер, представляли собой методологическую стратегию, применяемую им для анализа разнообразных общественных явлений и сфер. Однако об этом вспоминают редко. В западной литературе наиболее адекватную оценку упомянутой стратегии дает Р. Бхаскар. По его мнению, исторический материализм (понимаемый им как учение о том, что «материальное производство в конечном счете определяет все остальное в общественной жизни») — лишь дополнительная предпосылка в социологии Маркса, которую Бхаскар характеризует как «реляционную

---

<sup>1</sup> В литературе в аналогичном смысле используется термин «ориентирующие стратегии», который относят к метасоциологии [3].

концепцию обществоведения и преобразовательную модель деятельности общественного человека» [8, с. 234].

Весьма пространные примечания к работе Бхаскара направлены на то, чтобы избежать сугубо «экономической», а по сути вульгарно «истматовской» трактовки социологической концепции Маркса [там же, с. 237–238].

Существуют различные классификации, определяющие способы описания и объяснения общества. В рамках одной из них выделяются три пары оппозиций, при этом каждая пара включает в себя стратегии, опирающиеся на прямо противоположные послышки. В зависимости от того, какой уровень анализа выступает в качестве основополагающего при построении теории, различают макро- и микросоциологию; признание особой значимости равновесного состояния общества либо его изменчивости и развития служит водоразделом для функционалистской и конфликтной стратегий; наконец, различные представления о роли объективного и субъективного в общественной жизни лежат в основе объективно-предметной и субъективно-ценностной стратегий. Если первые две пары обозначены достаточно определенно, то последняя прочерчена не вполне четко. Чаще всего ее рассматривают как оппозицию «натуралистическая» — «гуманистическая» социология, что, на мой взгляд, не отражает сути проблемы.

Начиная с Вебера приводилось немало доводов в пользу фактически неокантианского тезиса о необходимости разграничивать «природные» и «культурные» системы, «вещи» и «ценности». В социологии этот тезис приобрел онтологический статус: социолог, в сравнении с естествоиспытателем, имеет дело с иной реальностью, значит, и метод его должен быть отличным. Соответственно выдвигаются те или иные способы преодоления натурализма. Ф. Знанецкий предлагает использовать для анализа «культурных фактов» «гуманистический коэффициент», П. Сорокин, ранее считавший, что социальные факты следует изучать как «вещи», позже настаивает на применении «логико-значащего метода», дающего возможность учитывать принятые в обществе смыслы и значения. Парсонс вслед за Вебером защищает «волюнтаристскую» версию «социального действия». Суть всех подобных предложений такова: либо «ценностно-смысловая» методология, либо натурализм, другого не дано.

Но существует иная, ненатуралистическая в строгом смысле слова, версия «объективно-предметного» подхода к общественным яв-

лениям. Согласно этой версии, принадлежащей Марксу, проводится четкое различие «природного» и «общественного», «вещей» и «субъектов деятельности», признается значимость человеческого опыта и человеческой активности. Однако признание специфики «общественного» не связывается здесь с культурно-ценностной природой общественных систем и ценностно-смысловой стороной человеческой деятельности. И то, и другое описывается и объясняется под определенным углом зрения: главное — это объективная логика действий, предметно-практической деятельности. Соответственно общество рассматривается Марксом как совокупность качественно-различных отношений (экономических, социальных, политических, нравственных, правовых, религиозных и др.), которые носят объективно-практический характер.

Прибегнув к языку системного анализа, можно сказать: представление, что общество является системой качественно различных отношений, неразрывно связано с тем, посредством какого «системообразующего свойства» она «задается». Поскольку в макросоциологических концепциях, использующих «культурно-ценностную» (ценностно-нормативную) модель общества, социальная система задается иным свойством, по сравнению с марксистской концепцией, здесь иначе трактуются и социальные отношения. Они понимаются как ценностные отношения, носящие ценностно-смысловой характер [9].

Работ, посвященных специфике социологической методологии Маркса, в постсоветской литературе практически нет. Исключение составляет статья Ю. Л. Качанова [10]. Автор отдает должное двум важным обстоятельствам: во-первых, органическая целостность у Маркса — это конкретно-историческое «производство индивидов», для которого характерен определенный способ деятельности; во-вторых, посредством понятия образа жизни «многообразие проявлений деятельности ставится под знак общего концептуального основания» [10, с. 138].

Прочитав утверждение, очень точно объясняющее, почему искажается суть марксовой социологической методологии: «К сожалению, низкий уровень методологической рефлексии современной теории маскирует действительную проблему, переводя ее в плоскость философского начетничества. Цитатная наука ищет «не там, где потеряла, а там, где светло». Между тем базовая абстракция марксистской социологии вовсе не «материалистическое понимание исто-

рии», а определенное концептуальное представление бытия объекта исследования — общества» [там же, с. 138].

И все же наиболее адекватную трактовку социологической методологии Маркса предлагает Бхаскар. В превосходной статье, на которую мы уже ссылались, он выделяет четыре социологических модели, характеризующие связь «общество — личность». В первой «социальные объекты рассматриваются как результаты целенаправленного или осмысленного человеческого поведения (или как образованные им)». Такой моделью, по мнению автора, оперирует Вебер. Во второй, используемой Дюркгеймом, социальные объекты обладают собственной жизнью, внешней и принудительной по отношению к индивиду. Третья модель — это попытка синтезировать первые две. Один из вариантов данной модели, который гласит, что «общество производит индивидов, творящих общество», наиболее убедительно защищает П. Бергер. И все же преимущество, считает Бхаскар, следует признать за четвертой, «преобразовательной (трансформационной) моделью социальной деятельности», принадлежащей Марксу [8, с. 225–230]. Предлагаемая самим Бхаскаром, а также Аутвейтом социологическая методология (рассматриваемая ими как средство преодоления кризиса в социологии) строится на марксовских методологических посылах. Именуется она по-разному: трансцендентальный реализм, новый реализм, умеренный натурализм, критический натурализм и т. д. [11].

Согласно этой модели, субъекты деятельности не творят общество, а воспроизводят или преобразуют его, ибо «сознательная деятельность осуществляется на данных наличных объектах, и ее нельзя представить себе протекающей в их отсутствие... всякая деятельность предполагает первичное существование социальных форм» [8, с. 227]. «Моя концепция, — продолжает Бхаскар, — состоит в том, что люди в своей сознательной деятельности по большей части бессознательно воспроизводят (и попутно преобразуют) структуры, «направляющие» их самостоятельные производства». Далее рассуждения ученого поразительно напоминают доводы, которые приводит В. Ленин, критикующий в «Материализме и эмпириокритицизме» богдановскую концепцию тождества общественного бытия и общественного сознания, а также размышления Ф. Энгельса о «параллелограмме сил», истоки которых в гегелевских диалектических представлениях о «хитрости разума», «...люди вступают в брак не для того, чтобы поддерживать жизнь капиталистического хозяйства. И тем не менее семья и

хозяйство оказываются ненамеренным последствием (и неизбежным результатом), равно как и необходимым условием их деятельности. Поскольку социальные условия — это отношения различного рода, а деятельности — это производства, то предмет социологии для сторонников данной модели — это отношения производства (разных родов)» [8, с. 237].

Как уже отмечалось, Бхаскар не связывает социологическую методологию Маркса однозначно с историческим материализмом. Более того, он считает, что положение об определяющей роли материального производства недоказуемо. Несомненно, однако, что социально-философская позиция Маркса существенным образом обуславливает его социологическую методологию. Несомненно также, что любая социологическая методология имеет самостоятельное значение, формируя представление о предмете социологии, изучаемой социологом реальности, обладая той или иной эвристической ценностью.

Следует отметить «тотальность» марксистской «деятельностной» методологии и в том плане, что в ее рамках могут анализироваться и сознание, и субъективность. В отличие от собственно натуралистической методологии, здесь не отрицается специфически субъективный характер человеческой деятельности и значимость для нее сознания. Более того, как полагает М. Мамардашвили, хотя в теории Маркса отсутствуют ссылки на осуществляемые субъектами процессы понимания, их мотивации, целеполагания, желания и т. п., она является и определенной теорией сознания [12, с. 297]. «Существующее у субъектов сознание может в принципе изучаться совершенно объективно, по его «предметностям», по значащим для него объективациям, рассматриваемым в качестве порожденных саморазвитием и дифференциацией системы социальной деятельности» [12, с. 298]. По мнению Мамардашвили, заслуга Маркса в том, что он открыл для науки такую точку зрения.

Подобный подход к изучению сознания поддерживают многие исследователи. Так, П. Бергер и Т. Лукман пишут: «Реальность повседневной жизни не просто полна объективации, она и возможна лишь благодаря им. Я постоянно окружен объектами, которые обозначают субъективные намерения моих партнеров, хотя у меня иногда и возникают трудности по поводу правильного понимания того, что определенный объект «обозначает», особенно если он был создан людьми, которых я не знал достаточно хорошо или вообще не знал в ситуациях лицом-к-лицу. Любой этнолог или археолог подтвердит

наличие этих трудностей, но сам факт, что их можно преодолеть и по артефакту реконструировать субъективные намерения людей, которые жили в давно исчезнувших обществах, — красноречивое доказательство огромной силы человеческих объективаций» [13].

Другая, оппозиционная по отношению к любой объективно-предметной методологии «социологическая парадигма» предполагает анализ всех общественных явлений (включая сознание) под иным углом зрения, с их субъективно-смысловой стороны. Приоритет в данном случае отдается культуре как системе ценностей, принятым в обществе символам и значениям, мотивам действия, ценностным ориентациям и т. д. В основе такой методологии (условно именуемой «субъективно-ценностной»), которая к концу XIX века становится типичной для западной социологии, лежит известный тезис об особой роли сознания в человеческой деятельности, в жизни общества.

Сравнение различных пар методологических стратегий, а также тех, что входят в каждую пару, свидетельствует: во-первых, их оппозиция относительна (скажем, некорректно абсолютное противопоставление функционального и конфликтного подходов, ведь существуют «конфликтный функционализм», «функциональные теории конфликта») и, во-вторых, сочетание методологических подходов довольно многообразно. Рассмотрим, к примеру, как пересекаются пары стратегий функционалистская — конфликтная и объективно-предметная — субъективно-ценностная. Известно, что Зиммель (представитель конфликтного функционализма) и Дарендорф (автор диалектической теории конфликта) были сторонниками субъективно-ценностного подхода, тогда как Маркс (теорию которого относят к диалектической разновидности теории конфликта) — объективно-предметного. Он, в отличие от Дарендорфа, связывал изменения, порождаемые конфликтами, не с противоречиями систем ценностей, а с антагонизмами, заключенными в предметно-практической деятельности, и соответствующими ей взаимодействиями между группами. Таким образом, каждую теорию можно характеризовать как бы по разным параметрам одновременно.

К выводу о том, что методологические стратегии вполне совместимы, что их можно согласовать, использовать не одну, а сразу несколько, приходишь, когда обращаешься к уже сложившимся социологическим теориям.

Например, «субъективно-ценностный» характер могут носить как макро-, так и микротеоии (символический интеракционизм, фено-

менологическая социология, этнометодология и др.). Субъективизм («субъективно-смысловой», «субъективно-ценностный» подход), противопоставляемый натурализму и позитивизму, образует так называемую понимающую социологию [14]<sup>1</sup>, специфика которой обозначилась уже достаточно определенно. Фактически до настоящего времени ее идеи вдохновляют многих западных социологов.

Значительное место в макротеориях Вебера, Парсонса и других занимают размышления о социальных действиях индивида. Категория «социальное действие» была одной из главных составляющих общей концептуальной схемы, лежащей в основе построения целого ряда теорий. Микро- и макроподходы, таким образом, вполне уживались друг с другом. Важно также помнить, что трактовка «социального действия» восходит к социологии Вебера. Поведение, обусловленное присутствием других людей «и не соотношенное с ним по своему смыслу, — пишет он, — не входит в понятие «социального действия» в установленном нами значении» [16]. Стремление удержать «смысл» социального действия характерно и для социологических концепций Знанецкого, Парсонса и многих других социологов, совмещающих макро- и микроподходы и использующих одновременно ценностно-нормативную модель общества.

Однако в западной социологической литературе (включая учебную) макроподход зачастую отождествляется с объективным, а микро- — с субъективным. Так, Смелзер в недавно изданном в России учебнике «Социология» утверждает: «Микросоциология изучает общение людей в повседневной жизни — интеракцию, их взаимодействие. Исследователи, работающие в этом ключе, считают, что социальные явления можно понять лишь на основе анализа тех смыслов, которые люди придают данным явлениям при взаимодействии друг с другом» [17].

Действительно, в тех теориях, на которые ссылается Смелзер (Дж. Хоманса, Г. Гарфинкеля, Э. Гоффмана), внимание сосредоточивалось не на объективной логике человеческих поступков и поведения, а на мотивах, которыми люди при этом руководствовались, значении, которое они придавали тем или иным явлениям, символам, которые они принимали или отрицали. Но взаимодействие, как известно, понимается двояко. В теориях символического интеракционизма оно трактуется субъективистски, а в бихевиористских кон-

---

<sup>1</sup> В американских учебниках методологию, используемую представителями данного направления, именуют «интерпретативной».

цепциях (Б. Скиннер) опосредованность поведения сознанием, его субъективный характер игнорируется и приводятся доводы в пользу того, чтобы избежать «менталистского объяснения» поведения [18].

Дихотомия «объективно-безличностного» и «субъективно-ценностного» часто становится предметом обсуждения в связи с проблемой взаимоотношения микро- и макроподходов. Первому, как отмечалось выше, приписывается субъективно-личностная стратегия, второму — объективно-безличностная, выражающая саму суть так называемого социологизма. При таком понимании безличностный (надличностный) характер носит и культура, выступающая как некое «внешнее» по отношению к человеческому поведению (индивидуальному или коллективному) образование. Но «внешними», принудительными по отношению к личности, у сторонника «социологизма» Дюркгейма являются «коллективные представления». Тогда дихотомия «микро — макро» выступает как отношение между «индивидуализмом» и «коллективизмом».

Способы разграничения микро- и макроподходов различны, и один из них — разделение «объективно-безличностного» и «субъективно-ценностного». Но дихотомия «объективно-предметного» и «ценностно-смыслового» подходов — это иная плоскость рассмотрения общества, чем дихотомия «микро- и макро». Совмещение этих двух подходов в принципе возможно и при использовании «объективно-предметной» парадигмы. Ведь и в марксистской социологической концепции, которую с полным основанием относят к макросоциологическим, отправной точкой рассуждений являются «действительные индивиды», их деятельность и материальные условия их жизни, как те, которые они находят уже готовыми, так и те, которые созданы их собственной деятельностью [19].

Соответственно общество, будучи системой общественных отношений, выступает как определенный способ человеческой деятельности, «способ производства». В рамках объективно-предметной, деятельностно-преобразовательной методологии это вполне логично. Тем не менее Маркса обвиняют в непоследовательности, которую усматривают в том, что он, с одной стороны, настаивает на объективной логике институциональных структур, а с другой — признает роль сознания в человеческой деятельности [20].

При обсуждении проблем взаимоотношения микро- и макроподходов универсальное значение придается именно культурно-ценностной парадигме. В 1984 году на одной из конференций в каче-



стве довода в пользу универсальности данной парадигмы приводились веберовское обращение к культурным ценностям при объяснении «капиталистического» поведения, а также роль «символического» измерения социальной жизни, с помощью которого преодолевается противоречие между макро- и микроподходами (в частности, в социологической концепции Парсонса) [21]. Ценностно-смысловой стратегии приписывается также заслуга объединения теоретического и эмпирического подходов к изучаемой социологом реальности. Дж. Коулмен, считающий некорректным соединение теоретического исследования с «социальными системами», а эмпирического — «с объяснением индивидуального поведения», полагает, что эмпирическое и теоретическое, равно как микро- и макроподходы, совмещаются именно благодаря обращению к ценностям [21, p. 153–154].

Аналогичные рассуждения можно найти и в постсоветской социологической литературе. Так, М. С. Комаров пишет: «Главная ошибка, совершаемая отечественными социологами, заключается в том, что анализ природы и содержания социальных отношений, долженствующий осуществляться в категориях эмпирической науки, к числу которых относятся «мотивы и ценностные ориентации личности», «статусно-ролевые отношения» и нормативные комплексы (институты), подменяется привычным социально-философским анализом, уводящим в прямо противоположную от социологии сторону» [22, с.37]. Другая ошибка, считает Комаров, состоит в следующем: «упускается из виду факт, что система социального взаимодействия и общения людей регулируется определенным комплексом «значений», как принято говорить в современной социологии со времен М. Вебера. Последний определяется господствующими в обществе культурными стандартами: системой знаний, верований, идеологией, обычаями, традициями и др.». Утверждается также, что лишь такой подход способен обеспечить необходимую при социологическом анализе связь трех уровней.

В этих рассуждениях содержится по меньшей мере три допущения: во-первых, все, что не соответствует ценностно-нормативному, «смысловому» подходу, относится к социальной философии (а именно, к истмату); во-вторых, ценностно-нормативная методология рассматривается как синоним методологии социологической; в-третьих, лишь ценностно-нормативная методология может обеспечить эмпирическое социологическое изучение общественных явлений. По мнению Комарова, категория «социальные отношения»

является социально-философской, а «на языке социологического анализа система социальных отношений адекватно описывается посредством понятий социальной роли и социального статуса, так как конкретными носителями общественных отношений выступают прежде всего люди, выполняющие определенные типы деятельности и соответственно имеющие определенный статус в социальной иерархии» [там же].

Но почему, собственно говоря, «социальные отношения» не социологическая категория? И потом, разве неизвестно социологам, что реально-практические отношения могут в большей или меньшей степени соответствовать нормативным «ролевым» предписаниям, а то и не соответствовать им вовсе? (Не мы ли были свидетелями этого разлада в «былые времена» и не в меньшей степени в настоящее время? И не нам ли понятнее всего утверждение Маркса: «Как об отдельном человеке нельзя судить на основании того, что сам он о себе думает, точно так же нельзя судить о подобной эпохе переворота по ее сознанию» [23]?) Что касается того, что социолог при эмпирическом изучении человеческого взаимодействия имеет дело непременно со смыслами и значениями, то необходима и адекватная интерпретация данной информации, учет «парадоксов самосознания», обуславливающих содержание первичной социологической информации, получаемой от респондентов [24]. По мнению Комарова, «язык описания и объяснения общественных явлений, свойственный современной мировой социологии, отличается от принятых в нашей теоретической социологии концептуальных средств, имеющих по большей части социально-философское происхождение» [22, с. 36]. Но социологический язык неоднозначен. Категории социологии вводились и получали распространение по мере ее оформления и развития. «К 1920 году, — пишет Босков, — имелся довольно полный концептуальный набор: общество, социальная группа, социальный институт, социальные отношения, социальное взаимодействие, социальные мотивы, общественное разделение труда, социальная стратификация, социальный контроль и социальное изменение» [2, с. 45]. Однако содержание упомянутых категорий может быть различным. Это зависит от того, в рамках какой методологической стратегии используется категория, какой «социологической парадигмой» определяется ее содержание. Фактически речь идет лишь об одинаковых терминах, которым придаются совершенно разные смыслы.

Сказанное прежде всего относится к такой основополагающей категории социологии, как «социальность». «Рассматривает ли социолог общество как реальность особого рода или пытается вычленив простейшую единицу социальной связи (либо социальной деятельности), чтобы сделать ее точкой отсчета, — во всех случаях «предельным понятием», определяющим его исследовательский горизонт, остается категория социальности. Вот «материя», из которой соткана та реальность, какую исследует социолог. И стоит ему только «оторваться» от этой реальности, как он перестает быть социологом» [1, с. 5, 6]. Ответ на вопрос, «как поживает идея материализма в социологии», может иметь, собственно говоря, лишь иносказательное значение, ибо в социологии проблема «первичности — вторичности» снимается. Здесь, однако, важно, чтобы категории трактовались в соответствии с задаваемыми парадигмами, содержали тот смысл, который им может быть приписан в определенной системе понятий.

Как уже отмечалось, социальность индивидуального действия у Вебера, Знанецкого и Парсонса состоит во взаимодействии смыслов и значений. В Марксовой «социологической парадигме» — это практическая интеракция людей, в ходе которой присваиваются условия жизнедеятельности, необходимые для осуществления производства (включая воспроизводство человека как общественного существа). Различия в возможностях присвоения, имеющиеся у разных общественных групп, обуславливают и место последних в целостной системе социальных отношений, их «социальное положение». Соответственно Маркс и Вебер по-разному понимали «социальную структуру». Если для первого ее существенным параметром является взаимоотношение различных групп в процессе общественного производства (независимо от того, каким образом система объективно-предметной деятельности и позиции в ней различных групп выражаются в сознании общества, в его ценностно-нормативных предписаниях), то для второго таковым выступает престиж — ранг группы, предписываемый системой ценностей.

Неоднозначно трактуются в социологии и категории «социальный статус», «социализация», «социальный институт». Под социальным статусом, например, понимают «положение», «позицию», подразумевая объективную принадлежность к группе, выделенной по тому или иному признаку. Но так же называют и место в системе прав и обязанностей, в предписаниях общества, обусловленных системой ценностей. Так, в частности, понимал социальный статус Вебер, ото-

ждествляя его с престижем позиции. Именно это толкование наиболее распространено в западной социологии, отдающей приоритет, как правило, субъективно-ценностной методологии. Для обозначения динамической стороны статуса используется категория «социальная роль», которой практически всегда придается ценностно-нормативная окраска.

Употребление категории «социальная роль» — несомненный признак субъективно-ценностного подхода, тогда как «статус», «социальная структура», «социальное взаимодействие» и т. п. используются и в объективно-предметной методологии. То же относится к термину «социальный институт», который не характеризует однозначно ту или иную методологическую позицию. По тому, насколько велика роль данной категории в концептуальной схеме, в теоретических построениях, можно судить о принадлежности теории к макро- или микроуровню. Что касается критерия «субъективно-объективное», то относить термин «социальный институт» к какой-то одной оппозиционной стратегии неправомерно.

В западной социологии «социальный институт» — это «устойчивый комплекс формальных и неформальных правил, принципов, норм, установок, регулирующих различные сферы человеческой деятельности и организующих их в систему ролей и статусов, образующих социальную систему» [25]. Сама же «социальная система», как и место в ней того или иного института, определяется ценностями общества. Иную трактовку дают социологи, придерживающиеся марксистской методологии (хотя сам Маркс этот термин не использовал): «исторически сложившиеся, устойчивые формы организации совместной деятельности людей» [26]. При этом перечисляются те же институты, которые традиционно выделяются сторонниками ценностно-нормативного подхода: семья, образование, наука и т. д.

Когда в СССР начала возрождаться социология и проявился активный интерес к различным, ранее неизвестным и даже запретным социологическим концепциям, хождение получили многие прежде неиспользуемые термины. Принимая их на вооружение, советские социологи наделяли эти термины совсем иным смыслом, в соответствии с привычными представлениями. Так, были переиначены «социальная стратификация», «социальный статус», «социальный институт», «социализация» и др.

В рамках различных методологических стратегий по-разному трактуются «конфликт», «социальное равновесие», «изменение»,

«социальное развитие» и т. д. В целом же необходимо иметь в виду следующее:

– методологические стратегии могут оперировать своими собственными понятиями и соответствующими им терминами, которые не употребляются в других методологиях;

– в разных методологиях могут использоваться одни и те же термины, в которые вкладывается различный смысл;

– смысл терминов, используемых в одной и той же методологии, может изменяться, конкретизироваться и уточняться в зависимости от новых результатов, получаемых в процессе исследований.

Итак, нельзя догматически относиться к категориям, их определению и применению. Смысл категорий устанавливается во взаимодействии друг с другом, в тесной связи с тем, в рамках какой теории и методологии они оформлялись, что с их помощью хотели зафиксировать и выразить. Целесообразность использования той или иной категории и соответствующих терминов определяется избираемой методологической стратегией. Выбор же стратегии (и теории) должен основываться не на идеологических соображениях, а на конкретно-научных задачах. (Например, не выходя за рамки ценностно-нормативной методологии нельзя не только решать, но даже ставить проблему взаимоотношения сознания и деятельности, «слова и дела».)

В связи с этим возникает вопрос: как совместить подобное «разномыслие» с «однозначностью понятийного фонда», что, как известно, является признаком научности? Допустима ли такая «нестрогость», не выводит ли она социологию за пределы науки? Не видеть в этом проблемы, которая порождает серьезные трудности в осуществлении социологической деятельности, нельзя. И все же социолог должен стремиться к научной строгости, а социология лишь в идеале «имеет» однозначный понятийный фонд.

Однако придавать универсальное значение таким социологическим категориям, как «ценность», «социальная роль», «ценностные ориентации» и другие, считать именно их признаком «универсального социологического языка» вряд ли правомерно. Сказанное справедливо и применительно к категориям, типичным для марксистской социологической методологии. Но, осваивая богатый и плодотворный опыт западной социологии, интенсивно включаясь «в процесс развития мировой социологии», необходимо отдавать должное и марксистской социологической методологии, использовать содер-

жащиеся в ней возможности для описания и анализа общественных явлений. «Приобретая — не потеряй» — этому девизу желательнее следовать, усваивая и приумножая уже достаточно богатый опыт социологического наследия.

### *Литература*

1. Давыдов Ю. Н. Введение. Теоретическая социология и ее история // Очерки по истории теоретической социологии XIX — нач. XX вв. М.: Наука, 1994.
2. Босков А. От общественной мысли к социологической теории // Современная социологическая теория. М.: Изд-во иностр. лит-ры, 1961.
3. David G. Wagner and Josef Berger. Programs, theory and metatheory // AJS. 1986. Vol. 92, N 1. P. 178.
4. Ritzer G. Metatheorising in Sociology. Lexington: Lexington Books, 1991. P. 49.
5. Аутвейт У. Реализм и социальная наука // Социологос: Социология, антропология, метафизика. Вып. 1. Общество и сферы смысла. М.: Прогресс, 1991. С. 152.
6. Социологический реализм и проблема онтологического обоснования социальной науки («круглый» стол редакции) // Социол. исслед. 1990. № 9. С. 51.
7. Кайе А. Интересна ли социология интереса? (К вопросу об использовании экономической парадигмы в социологии) // Современная зарубежная социология (70—80-е годы). М., 1993.
8. Бхаскар Р. Общества // Социологос. М.: Прогресс, 1991.
9. Попова И. М. Системный анализ в социологии и проблема ценностей. (О ценностно-нормативной модели общества) // Вопросы философии. 1968. № 5.
10. Кочанов Ю. Л. Резервы и тупики марксистской социологии: целостность и тотализм // Социологос. М.: Прогресс, 1991.
11. Казакевич Х. Реализм и социология: вышла ли социология из кризиса // Социологос. М.: Прогресс, 1991. С. 170.
12. Мамардашвили М. Как я понимаю философию. М.: Прогресс, 1990. С. 297.
13. Бергер П., Лукман Т. Социальное конструирование реальности // Современная зарубежная социология (70—80-е годы). М., 1993. С. 141.
14. Ионин Л. Г. Понимающая социология: историко-критический анализ. М.: Наука, 1979.
15. Persell C. H. Understanding society. Introduction to sociology. New York: Harper and Row Publishers, 199a. P. 18—19.
16. Вебер М. Основные социологические понятия // Избранные произведения. М.: Прогресс, 1990. С. 626.

17. Смелзер Н. Социология. М.: Феникс, 1994. С. 21.
18. Скиннер Б. Технология поведения // Американская социологическая мысль. М.: Изд-во МГУ, 1994. С. 39.
19. Маркс К., Энгельс Ф. Немецкая идеология: Соч. 2-е изд. Т. 3. С. 18.
20. Новые направления в социологической теории. М.: Прогресс, 1978. С. 138.
21. The Micro-macro link / Ed. by J. C. Alexander, B. Giesen, R. Munch and N. J. Smelser. Berkeley: California University Press, 1987.
22. Комаров М. С. Размышления о предмете и перспективах социологии // Социол. исслед. 1990. № 11.
23. Маркс К. К критике политической экономии // Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 13. С. 7.
24. Попова И. М. Ценностные представления и «парадоксы» самосознания // Социол. исслед. 1984. № 5.
25. Современная западная социология: Словарь. М.: Изд-во полит. лит-ры, 1990. С. 116.
26. Краткий словарь по социологии. М.: Изд-во полит. лит-ры, 1989. С. 88.

## **СОЦИАЛЬНАЯ ЦЕНА «ЗАПАЗДЫВАЮЩЕЙ» МОДЕРНИЗАЦИИ (В СОВАТ. С М. Б. КУНЯВСКИМ)**

Трансформационные процессы в постсоветских обществах часто именуется «запаздывающей» модернизацией [1], при этом имеются в виду не столько хронологические, сколько качественные характеристики. Прежде всего обращается внимание на слишком высокую социальную цену, которую приходится платить за «запаздывание», на серьезные кризисные явления и социальные стрессы. В конечном счете такая модернизация не просто оказывается неэффективной, осуществляется лишь частично и обычно не доводится до конца. Она, как считает Н. Ф. Наумова, оборачивается трагедией для населения, включенного в данный процесс, и становится «рецидивирующей». Последняя означает периодически возвращающуюся модернизацию «вдогонку» с ее тяжелыми социальными последствиями и высокой человеческой ценой» [2]. Характеристика модернизации как «запаздывающей», а еще более определенно — ее квалификация как «догоняющей», предполагают признание некоего эталона, к которому следует стремиться, общества, которое необходимо догнать. В современных теориях модернизации содержится и ответ на вопрос об эталонном обществе. Под «догоняющей» модернизацией понимается такой путь национального ускорения, когда страна повторяет все этапы, пройденные странами Запада [3]. В социологической литературе обращается внимание на серьезнейшие изъяны такого рода модернизации, суть которой, по мнению В. О. Рукавишникова, более точно передается термином «вестернизация» и означает изменение менталитета общества, принятие ценностей и норм западного, в первую очередь американского образа жизни [4].

Именно с распадом традиционно-исторической культуры и поверхностным восприятием культуры западной связывают неосуществимость «догоняющей» модернизации [3, с. 51]. «Откаты» и «рецидивы», таким образом, — результат не только непомерных материальных лишений. Они обусловлены серьезным социо-культурным несоответствием происходящих процессов тому, что было укоренено



и что составляло и составляет особенность общества, на которое «обрушилась» лавина изменений.

В основу данной статьи положены результаты эмпирических исследований, проведенных в Одессе и Одесской области в 1996 году<sup>1</sup>. Мы учитывали тот факт, что жители нашей области, а особенно города, и ранее (до провозглашения перехода к рыночной экономике) отличались предприимчивостью и стремлением к экономической свободе. Уже в декабре 1989 года, по данным наших исследований, за предоставление равных прав и возможностей для развития разных форм собственности (государственной, коллективной, индивидуальной и др.) высказывалось около 76 % опрошенного населения области (в Одессе 82 %). В мае 1990 года почти 70 % опрошенных одесситов высказались за то, чтобы была узаконена частная собственность. В апреле 1991 года 76 % жителей Одессы считало, что для преодоления кризиса в стране прежде всего необходимо «широкое развитие частного предпринимательства».

С самого начала декларирования курса на переход к рыночной экономике одесситы высказались за необходимость его проведения. Причем сторонников решительного перехода к рынку было больше, чем тех, кто считал, что этот переход следует осуществлять осторожно. Прорыночные ориентации преобладали в общественном сознании с 1990 по 1995 годы. Хотя сторонников реформ из года в год становилось меньше, все же они до последнего времени оставались в большинстве. Процесс усиления антирыночных настроений привел к тому, что в январе 1996 года в Одесской области было зафиксировано качественное изменение ситуации: количество противников рынка превысило число сторонников перехода к нему тем или иным способом. Что касается Одессы, то при 40 % сторонников и 25 % противников рынка 35 % затруднились отнести себя к тем или другим (табл. 1).

Обдумывая данные, полученные в 1996 году, и размышляя над тем, какую социальную цену приходится платить за нашу «доморощенную» модернизацию, мы исходили из широкого (в определенном смысле) толкования социального, социальной сферы и социальной политики, а соответственно — из относительно расширительного

---

<sup>1</sup> Первое из них было осуществлено в январе 1996 года благодаря финансовой поддержке Международного Фонда «Відродження» (проект OD-95-RDF-8-2-3-2-1-1, научный руководитель И. М. Попова). В рамках этого исследовательского проекта было опрошено 774 жителя Одессы, районных центров и сел Одесской области. Выборочная совокупность репрезентативна: ошибка выборки не превышает 2 %.

Таблица 1

## Отношение населения к переходу к рыночной экономике, %

К рыночной экономике следует переходить	X. 1991		III. 1992		VI. 1994		I. 1996	
	Об-ласть	Одес-са	Об-ласть	Одес-са	Об-ласть	Одес-са	Об-ласть	Одес-са
Быстро и решительно	47	54	26	35	26	37	19	23
Медленно и осторожно	21	17	22	24	23	23	11	17
Лучше вернуться к тому, что было раньше, до перестройки	10	4	29	17	34	21	41	25
Затрудняются ответить	22	25	23	25	17	18	29	35
Всего, абс.	1004	423	1000	420	1022	443	774	352

понимания самой социальной цены. Понятие «социальное» мы связываем с материальными условиями и средствами воспроизводства человека как субъекта общественных отношений. «Средства и условия воспроизводства» человека как общественного существа носят конкретно-исторический характер. На современном уровне общественно-исторического развития они включают, например, и средства, обеспечивающие получение информации, доступность различного вида образования, наличие условий профессионального развития и рекреации, предметно-вещественных средств удовлетворения духовных потребностей и многое другое. Но главное, что характеризует, с нашей точки зрения, «широкую» трактовку социального, — признание трудовой деятельности (ее содержания и характера, условий ее осуществления) как важного социального фактора и необходимого условия воспроизводства человека как общественного существа. Характеристика социальной цены реформирования предполагает учет не только изменения распределительных механизмов общественных отношений, но и изменения содержания и характера самой трудовой деятельности, рассмотрение труда как средства самоутверждения и самореализации, как способа сохранения человеческого достоинства.

Уход от узко распределительной трактовки социального предполагает и определенное понимание сущности социальной политики.

Последняя прежде всего должна быть направлена на обеспечение справедливых условий для осуществления трудовой деятельности, что дает человеку возможность стать полноценным членом общества и является в конечном счете (благодаря соответствующей оплате труда) средством удовлетворения многообразных потребностей.

Заработок и возможность поддерживать достойный уровень благосостояния семьи — это и способ самоуважения, и предмет гордости. В этой связи значительный интерес представляет разграничение бедности «сильных» (полноценных, квалифицированных и даже выдающихся работников) и бедности «слабых» (нетрудоспособной и малотрудоспособной части населения) [5]. Бедность первого рода (ее именуют «производственно-трудоустройственной», «экономической») представляет, как считает Л. А. Гордон, особую социальную опасность и «устраняется главным образом косвенной помощью, созданием условий, стимулирующих и развивающих их собственную трудовую активность, что, в конечном счете, увеличивает богатство общества в целом» [6]. Совершенно верно обращается внимание на то, что именно «сильные» члены общества, привыкшие чувствовать себя «солью земли», острее всего воспринимают социальную несправедливость. «Слабую» часть народа, несмотря на ее нищету, богатство верхов нередко возмущает гораздо меньше, чем полноценных работников [6, с. 27].

Однако острота переживания социальной несправедливости «сильными» обусловлена не только сравнением своей бедности с богатством верхов, но и тем, что отсутствуют условия для того, чтобы добросовестно и профессионально выполнять свое дело, в котором они «знают толк» и которое является не только материальной, но и духовной, нравственной точкой опоры. Если следовать совету Ч. Р. Миллса и личные заботы поднять на уровень общественных проблем, то практически каждый из нас так или иначе соприкасается с трагедией людей, страдающих от невозможности профессионально делать «свое дело». Это угнетает не в меньшей степени, чем невыплата зарплаты и унижительная зависимость от богатого ученика или пациента. Необходимость «халтурить» и «ловчить» для грамотного инженера, квалифицированного рабочего, наконец, для любого специалиста — тяжелая ноша, которую многим «сильным» просто не осилить! Об этом говорят и результаты опросов. Так, в качестве косвенного свидетельства можно привести следующие данные: индекс оценки справедливости общества в нашем опросе 1996 года оказался

самым низким в возрастной группе 40—49 лет (период в жизни, когда сочетаются активность и трудоспособность с опытностью и квалифицированностью). К прямому свидетельству того, что «реформы» мало содействовали улучшению «трудовой мотивации», можно отнести ответы населения на вопрос — больше ли стало возможностей так или иначе проявить себя (в сравнении с тем, что было несколько лет назад). Во-первых, у большинства (51 % в Одесской области) сократились возможности заработать. Людей, у которых они расширились, гораздо меньше (22 %). Еще важнее другое обстоятельство: слой людей, у которых теперь меньше возможностей реализовать свои знания, умения и способности, гораздо шире, чем тех, у кого их стало больше (соотношение соответственно 41 % и 17 %). Лишь 1/4 опрошенных считает, что реальнее стало проявить инициативу и самостоятельность.

Между тем, как известно, именно развитие трудовой мотивации, подъем заинтересованности человека в труде («чувство хозяина») обычно относят к одной из главных целей реформы, наряду с преодолением огосударствления собственности, заменой окостенелой и неэффективной административно-командной системы на гибкую, соответствующую рыночным отношениям [7]. Фактически первая цель — основополагающая, ибо другие — скорее средства для создания условий, в которых и формируются «новая трудовая мотивация», «чувство хозяина» и т. д. Однако, как свидетельствуют данные, полученные российскими социологами, различные показатели отношения к труду за период с 1986 по 1995 годы значительно понизились [8]. Реформы, таким образом, не только не стимулировали трудовую деятельность основной массы населения, но существенно понизили уровень его *трудовой* мотивации, ухудшили его материальное положение, а также профессиональный и квалификационный потенциал. Потенциал этот, если судить по оценкам опрашиваемых, явно недоиспользуется: около 70 % занятых (без работающих пенсионеров и домохозяек) считают, что они могли бы «работать более напряженно, более интенсивно». Экономические ориентации подавляющего числа населения имеют вполне трудовой характер: люди хотели бы работать и зарабатывать себе на жизнь (табл. 2).

Это недоиспользование человеческого потенциала, следствием чего является «производственно-трудовая бедность», является, с нашей точки зрения, самой значительной социальной ценой, которую мы платим за реформы (если можно назвать реформами то, что

## Экономические ориентации респондентов, %

Если бы Вы могли выбрать, то что бы Вы предпочли?	Январь 1996 года
Работу без особого напряжения, с небольшим, но твердым, гарантированным заработком	28
Много работать и хорошо зарабатывать, пусть даже без особых гарантий на будущее	47
Заниматься тем, что хоть и связано с большим напряжением и риском лишиться всего, зато может сделать богатым	3
Вообще не работать, но иметь какой-либо источник дохода, достаточного для нормальной жизни	7
Затрудняюсь ответить	15
Всего, абс.	774

происходит в постсоветских обществах). Именно в «производственно-трудовой бедности» — если не рассматривать ее с узко распределительных позиций, а учитывать характер и условия деятельности, — сплетаются в одно целое основные функции социальной политики, на которые обращает внимание Н. Ф. Наумова: экономическая (стимулирующая), стабилизирующая (направленная на осознание социальной справедливости происходящего) и стратегическая (сохраняющая человеческий потенциал) [1, с. 7]. Именно такого рода бедность — свидетельство разбалансированности этих функций и порочности социальной политики, которая сопутствует проводимым реформам.

Коснемся в этой связи сложных проблем «менталитета». Высокую цену массового обнищания, которую платит общество в ходе нынешнего переворота в экономических отношениях, часто объясняют особенностями менталитета основной массы наших сограждан. Термин этот, как известно, в последнее время широко употребляется не только в социологической, но и в самой разнообразной гуманитарной литературе. Его обычно используют для обозначения глубинных характеристик общественного и индивидуального сознания, специфического душевного склада, что так или иначе проявляется в самых различных сферах жизни общества и является существенным компонентом любых общественных преобразований. Что касается культурно-исторической специфики обществ, вступающих на путь модернизации, то этим вопросам уделено внимание как в тех статьях, на которые мы уже ссылались, так и в других, где специ-

ально рассматриваются проблемы «самобытности» трансформационных процессов [см., например, 9]. Вульгарное же представление о влиянии так называемого советского менталитета (на который пытаются многое «списать», в частности, невысокое качество труда, незаинтересованность в труде, безынициативность, примитивный характер отечественного предпринимательства) содержится в мифе о ленивых «совках», каковыми являются якобы большинство наших сограждан. Между тем результаты сравнительных социологических исследований, проведенных в разных странах (в том числе и на Украине) среди жителей экссоциалистических стран, лентяи, безынициативные люди с люмпенской психологией встречаются не чаще, чем в любой так называемой цивилизованной стране, с укорененной рыночной (капиталистической) экономикой (США, Германия, Япония и т. п. [10]).

Можно сделать некоторые предположения, почему этот миф относительно успешно функционирует, несмотря на то, что он не соответствует действительности и ранит наше самолюбие. Уже само его возникновение могло иметь мобилизационный смысл в пору перестройки: он способствовал десакрализации, развенчанию прежних мифов о превосходстве «социалистического» труда, основанного на «общественной» собственности — без этого трудно было бы получить массовую поддержку и оправдание, необходимые для быстреего слома прежнего строя и изменения форм собственности. Идеологема «совок» также могла импонировать некоторой части нашей интеллигенции, для которой характерно стремление к мазохистскому самоуничтожению. Наконец, этот миф в некотором смысле удобен для оправдания действий многих «новых русских», «новых украинцев» и прочих «*homo novus*»: ведь если основная масса населения — «совки», то позволительно не считаться с их интересами и человеческим достоинством.

Данные обследований подтверждают, что среди наших сограждан преобладают те, кто готов напряженно работать: совсем немного представителей племени азартных игроков, готовых ради крупного выигрыша рискнуть всем; и довольно значительна доля тех, кто хотел бы попробовать себя в предпринимательском деле.

Отношение респондентов к предпринимательству выяснялось в ответах на вопросы — хотят ли они иметь собственное дело и есть ли у них для этого реальные возможности. Сравним данные, полученные в различные годы (табл. 3).

Таблица 3

## Отношение респондентов к предпринимательству, %

<i>Хотите ли Вы иметь собственное дело (частное предприятие, фирму)?</i>	Март 1992	Июнь 1994	Январь 1996
Да	26	29	35
Нет	59	50	47
Затрудняюсь ответить	15	17	16
У меня уже есть собственное дело	—*	4	2
<i>Есть ли у Вас реальные возможности иметь собственное дело?</i>			
Да	7	9	6
Нет	87	77	84
Затрудняюсь ответить	6	9	8
Всего, абс.	1000	1022	774

\* В анкете 1992 года данный вариант ответа не предусматривался.

Как видим, тех, кто хотел бы иметь собственное дело, в последнее время стало несколько больше. Доля же уверенных в том, что для этого есть реальные возможности, не увеличивается. Препятствующие внешние обстоятельства — это прежде всего отсутствие стартового капитала. Накопить его из трудовых доходов даже высококвалифицированных работников невозможно. Банковский кредит для основной массы недоступен. Предпринимательство в итоге развивается лишь в незначительной степени.

При нормальной экономической политике на предпринимательскую прибыль живет примерно 10 % населения. У нас на Украине и, в частности, в Одесской области «владельцев» или «совладельцев», в основном мельчайших, — приблизительно 3–5 %. Их было бы больше при разумной налоговой политике и защите честного предпринимателя от криминальных посягательств. Но, по оценке опрошенных нами в 1992–1996 годах предпринимателей, большая часть деловых людей всегда имела меньше проблем от частного рэкета, чем от специфической «требовательности» представителей государственной власти. Интересно и то, что такой фактор (из мешающих предпринимательству), как «недостаток инициативы и заинтересованности у Ваших работников» — оказывался на одном из последних мест. Если бы на Украине был создан хотя бы нейтральный климат для формирования так называемого среднего класса — частный сектор вырос бы незамедлительно. Причем не только в городах, но и в селах. В Одесской области, например, по данным нашего опроса, 42 % кре-

стьян хотели бы иметь собственное дело, вести фермерское хозяйство (вопреки уверениям лиц, заинтересованных в сохранении нынешнего положения вещей).

Готовность (причем на деле, а не на словах) много и напряженно трудиться — явление массово распространенное. Известно сегодняшнее состояние рынка труда, продолжающееся сокращение количества свободных рабочих мест вообще, а для труда квалифицированного — особенно. Но даже в этих условиях довольно много людей умудряются обеспечить себе «вторичную занятость», найти и вторую, и третью работу. В Одессе, например, в первой половине 1996 года на 2–3 работах было занято 11 % населения. А учащиеся вузов и безработные, потерявшие место не по своей вине? В общей сложности это примерно четверть взрослого населения Одессы. Они не ждут пассивно положенных им стипендий и пособий, а зарабатывают, где, как и сколько смогут. То же самое можно сказать и о наших бюджетниках — рабочих, ИТР, преподавателях, врачах, месяцами работающих без зарплаты.

Сложность определения социальной цены «запаздывающей» модернизации в постсоветских странах, помимо прочего, состоит и в том, что не вполне адекватно оцениваются «стартовые характеристики». Действительно, что в социальном отношении представляет то, от чего мы хотим уйти, и в каком направлении мы движемся? Наконец, как связано это движение с эталонами модернизации? Чтобы ответить на эти вопросы, обратимся к некоторой обобщенной картине, складывающейся благодаря различным теориям модернизации. Не будем перечислять все черты, называемые обычно при характеристике перехода от традиционных, доиндустриальных обществ к «современному». Обратим внимание на социальные аспекты модернизационных процессов — как они характеризуются в западной социологической литературе 50–60-х годов [11, 12]. Акцентируется внимание на все большую открытость системы социальной стратификации, значимость так называемого «достигаемого статуса», тенденции создания ситуации «равных возможностей». С 60-х годов все большее значение придается необходимости разграничения уровня и качества жизни [13].

Повышение качества и (что не менее важно) доступности образования, особенно высшего, качество и доступность здравоохранения, организация здорового образа жизни, особенно детей и подростков, — все это относят к более позднему периоду модернизации. Фактически речь идет о том этапе развития западного общества, когда модерн плавно переходит в «постмодерн», когда, по выражению З. Баумана,



трудно ответить на вопрос: это «еще пес или уже кот» [14]. Но ведь этот «постмодерн» уже был в советской действительности, и граждане постсоветских государств (кроме, разве, самых молодых) об этом помнят! И если учитывать не только уровень жизни, но и то, для обозначения чего использовались не вполне определенные понятия «качество», «стиль», «образ» жизни, — то это еще вопрос, кто кого догонял.

Отсутствие бытового комфорта и скудный ассортимент товаров сочетались с доступностью многих благ, которые считались естественными: относительно дешевые транспортные услуги (а следовательно, возможность общения с родственниками, друзьями и знакомыми, проживающими в любой точке необъятной страны, возможность организовать семейный летний отдых), доступность театров, концертных залов и библиотек (не только общественных, но и личных), возможность бесплатно посещать спортивные секции и самодеятельные кружки и многое другое. Хотя качество многих услуг было различным для разных социальных групп (услуги наиболее высокого качества были доступны лишь высшей номенклатуре), ассортимент их для основной массы населения был достаточно обширен и многообразен. Можно даже сказать, что наличие этих условий давало возможность обеспечивать средний уровень культуры более высокий, нежели средний уровень «массовой культуры», характерной для западных «модернизированных» стран.

Потеря этих благ на постсоветском пространстве воспринимается (особенно относительно образованной и квалифицированной частью населения) не менее остро, чем необходимость «затянуть потуже ремешок» или невозможность реализовать себя в своем деле. Действительно, сравним: соотношение тех, у кого больше возможностей заработать, реализовать свое умение, проявить инициативу, и тех, у кого таких возможностей стало меньше, характеризуется (об этом шла речь выше) как 1:2 или 1:1,5. В то же время число людей, у которых за последние несколько лет стало больше возможностей культурно отдохнуть и провести свободное время, в 8 раз меньше количества тех, у кого эти возможности резко сократились. И это тоже социальная цена, которую мы платим за мнимую, в определенном смысле, модернизацию и которая дает возможность в более полном масштабе оценить наши «стартовые условия». Обращая внимание на важность культурных факторов для восприятия происходящих изменений и на соотношенность этих факторов с социальной ценой реформирования, мы исходим из той значимости «жизненных форм» и

«культурных стилей», которую последние приобретают в современном обществе.

Используя «подход в стиле Бурдые», Л. Г. Ионин обращает внимание на то, что «культура играет роль активного медиума, создающего, лепящего, так сказать, классово-слоевые идентификации» [15]. Отсутствие возможностей поддерживать привычный культурный стиль воспринимается «массовой интеллигенцией» как унижение, как падение на низшие ступени социальной лестницы. И в этом плане значительное ухудшение «стартовых условий» несомненно.

К социальной цене модернизации следует отнести также чрезвычайно упрощение социальной структуры, характерное лишь для слаборазвитых стран Африки, Азии или Латинской Америки: на одном полюсе — тончайший слой бюрократии и компрадорской буржуазии, на другом — вконец обнищавшая масса беспощадно эксплуатируемых подданных. Мы уже немало преуспели в достижении такой «цели»: неравенство в распределении доходов далеко ушло от умеренных показателей, типичных для развитых стран. В Одессе летом 1989 года среднедушевые доходы у 10 % самых зажиточных семей были примерно в 4 раза выше, чем у 10 % наиболее бедных; в апреле 90-го они были выше уже почти в 5 раз; в марте 92-го — почти в 10 раз; а в первом полугодии 1996 года (по обобщенным данным четырех репрезентативных опросов, N=2800) — в 23 раза. И это при том, что посредством опросов (основного для социологов метода сбора соответствующей информации) удастся зафиксировать далеко не весь диапазон неравенства: не «охватываются» самая обеспеченная и немногочисленная часть населения, а также представители социально-го «дна» [16].

Существует, правда, точка зрения, согласно которой доверять данным опросов о величине доходов все же нельзя: господствующая до сих пор «культура бедности» приучила граждан «прибедняться» и уменьшать свои доходы [17]. Однако наши данные свидетельствуют о том, что бедность в настоящее время — по крайней мере, среди наших земляков, — не престижна. Они в большей степени склонны приписывать «бедность» другим, чем себе. Себя же чаще, чем других, относят к «не вполне обеспеченным» (табл. 4).

Интерпретируя эти данные в соответствии с концепцией каузальной атрибуции, можно сделать заключение: бедность неправомерно относить к числу «одобряемых» качеств. Что касается «сокрытия»

## Самоидентификация и оценка статуса «других», %

К каким людям относят:	Себя	Большинство сограждан
Состоятельным (богатым)	0	2
Достаточно обеспеченным	5	4
Не вполне обеспеченным	53	41
Бедным	30	40
Практически нищим	6	5
Затруднились ответить	4	8

доходов, то вряд ли этот фактор значим для основной массы населения, попадающей в опросы. Проведенный нами методический эксперимент показал, что все наши (вполне естественные, впрочем) сомнения в искренности опрашиваемых необоснованны. При экспериментальном опросе (N=500) была обеспечена стопроцентная анонимность (причем условия, в которых этот опрос проводился, делали полную анонимность абсолютно очевидной для опрашиваемых). Данные о величине и распределении доходов мы получили точно такие же, как и тогда, когда вроде бы стопроцентная анонимность, с точки зрения респондента, не гарантировалась.

В результате опросов мы получаем относительно достоверную, но, как отмечалось выше, не полную картину дифференциации доходов: нет сведений о доходах людей не просто обеспеченных, зажиточных, а богатых и сверхбогатых. Получить эту информацию в ходе репрезентативных массовых опросов невозможно как раз из-за их репрезентативности. Чтобы оценить хотя бы приблизительно размеры доходов этой социальной группы, их долю в общей сумме доходов, получаемых в Одессе, мы использовали методику экстраполяции. Не вдаваясь в технические детали расчетов, приведем их результаты (табл. 5)<sup>1</sup>.

Разумеется, далеко не все эти доходы идут на личное потребление, в том числе на службу, охрану, отдых и т. д. Значительная часть средств снова вкладывается в дело, увеличивая капитал и принося все возрастающую за счет этого прибыль. Многие предпочитают не

<sup>1</sup> Упомянем только, что оценки проводились по двум разным «сценариям», причем в обоих случаях величина математико-статистического показателя, характеризующего степень вероятной достоверности результатов (коэффициент детерминации R<sup>2</sup>) практически вплотную приблизилась к максимально возможной и по первому — «осторожному», и по второму — «радикальному» (по результатам) сценариям. Иными словами, в обоих случаях вероятность того, что мы правильно оцениваем размеры доходов богатых, практически стопроцентна.

**Величина среднемесячного дохода богатых одесситов**  
(расчетные, по осторожной оценке)\*

Среднемесячный доход на душу населения, USD	Доля населения	N, чел.
800	.35	3500
1000	.20	2000
1300	.15	1500
2000	.10	1000
3900	.05	500
4300	.045	450
5500	.035	350
7800	.025	250
13000 и более	.015	150

\* Результаты зондажного опроса представителей низших слоев «верхних десяти тысяч» одесситов-предпринимателей, проведенного З. Франкян в 1997 году, подтверждают наши расчеты.

рисковать и основную часть своих доходов оставляют за рубежом (или переправляют туда). Но как бы они ни тратились — это часть совокупного дохода одесситов. И когда мы учитываем вероятные доходы «верхних десяти тысяч» самых зажиточных наших сограждан, то картина распределения доходов становится контрастной до неправдоподобности: если принять за основу осторожные оценки, то летом 1996 года в Одессе среднедушевые доходы 10 % самых богатых были в 73 раза выше, чем доходы 10 % самых бедных. Поляризация более значительная, чем даже в странах Латинской Америки (по их официальной статистике) [18].

Принято считать, что неравенство доходов в современных индустриальных обществах имеет определенный социальный смысл, выступая как серьезный мотив трудовой активности, социальной мобильности людей, повышения своего статуса, расширения своих возможностей в рыночном мире. Однако этот фактор срабатывает лишь тогда, когда различия в доходах не чрезмерны, когда в нижней части социальной пирамиды не образуется «дно», тупик нищеты, из которого невозможно выбраться честным трудом. Такая ситуация ведет к самым негативным макро- и микроэкономическим последствиям, создавая к тому же невыносимый социально-психологический климат. Она практически разрушает трудовую мотивацию, подрывая тем самым возможности возрождения экономики.

Обратим внимание на еще один важный момент — фактическую примитивизацию социально-профессиональной структуры, а соответственно и примитивизацию (в определенном смысле однородность) жизненно-стилевого репертуара, достижимого для основной массы населения. Данное утверждение вроде бы противоречит выводу о том, что «необходимость борьбы за выживание не обедняет, а наоборот, обогащает жизненно-стилевой репертуар индивидов», ибо ученый зарабатывает на жизнь как водитель такси, а рабочий — как коммерческий посредник и др. [15, с. 33]. Но тогда имеет место в некотором смысле парадокс: ролевое «обогащение» на уровне индивида (хотя оно также сомнительно) неразрывно связано с чрезвычайным обеднением социально-ролевой структуры общества.

Репертуар ролей, исполнение которых дает возможность выжить, в значительной степени ограничен. Зарабатывая как таксист, «ученый» не реализует себя как ученый и не может поддерживать соответствующий жизненный стиль.

Верно, что в сравнении с предшествующим советским периодом имеет место «широта предложений в области образования» [15, с. 34], но вряд ли можно согласиться с тем, что эта широта приводит к горизонтальной дифференциации занятий и жизненных стилей. Многообразии приобретаемых профессий оборачивается однообразием видов деятельности, которые дают возможность поддерживать желаемый, а часто просто необходимый уровень жизни. Причем образование в данных условиях, скорее, играет роль «отложенной ценности», ибо заработок обеспечивается работой, не требующей высокого образования и квалификации. Тот факт, что почти четвертая часть (по нашим данным) имеющих самые высокие доходы — молодые люди 20–29 лет, и среди них лиц с неполным средним образованием вдвое больше, чем среди имеющих низкий доход, как раз и говорит о том, что образование и квалификация в настоящее время уже не являются решающими для получения относительно высоких доходов. Перспективы же обеспечить себя, выполняя высококвалифицированную либо квалифицированную работу различного профиля, у молодежи очень незначительны.

С нашей точки зрения, государственные предприятия в этом отношении (наличие рабочих мест, требующих специальной подготовки и квалификации) имеют некоторые преимущества в сравнении с возникшими частными, занимающимися, как правило, посреднической деятельностью. Этим, в частности, объясняется тот

факт, что практически во всех опросах доля предпочитающих работать на государственных предприятиях наибольшая (при том, что многие предприятия простаивают и работники месяцами не получают зарплаты!). По нашим данным, такое желание выразили 41 %, тогда как на частных предприятиях различного вида предпочли бы работать 23 %.

Пытаясь объяснить такого рода предпочтение, Р. Рывкина и Ю. Симагин пишут: «Возможно, они имеют в виду не «сегодняшние» государственные предприятия, находящиеся на грани выживания, а те, где регулярно выплачивают зарплату и гарантируют работникам социальное обеспечение (что в определенной мере связано с советским прошлым)» [19]. Думается, однако, что это не столько свидетельство ностальгии, сколько восприятие государственных предприятий как мест приложения более многообразных знаний и навыков — хотя бы потенциально, — чем объясняются и возрастные различия в предпочтениях. Кстати, по данным тех же авторов, предпочтение частным российским предприятиям определенно отдают лишь самые молодые (18–24 года). В следующей возрастной группе (25–39 лет) доля таких людей уже резко падает и является практически такой же, что и в группе 40–55 лет. Это при том, что респонденты считают условия работы на частных предприятиях лучшими [19, с. 55].

Таким образом, социальная цена, о которой идет речь, весьма многообразна, что находит отражение в общих оценках изменения жизни. В мировой социологической литературе (прежде всего посвященной анализу социально-психологических последствий экономического кризиса 30-х годов) отмечается значимость для настроений именно изменения социального положения и его восприятие. Приведем данные, свидетельствующие о том, как это выглядит в нашем регионе (табл. 6).

Таблица 6

**Динамика оценок изменения жизни в целом, %**

В целом Ваша жизнь за последние несколько лет:	Май 1990 (N=553)	Январь 1996 (N=774)
Ухудшилась	26	81
Не изменилась	48	10
Улучшилась	17	4
Затрудняюсь ответить	9	5
Индекс оценок	- 10	-76

Особый интерес, однако, представляет сравнение приведенных оценок, с одной стороны, и оценок материальной жизни — с другой. Оказалось, что в целом по массиву индекс оценки изменения жизни вообще на 14 единиц ниже индекса оценки изменения материального положения (они равны соответственно  $-76$  и  $-62$ ). Значимость оценки изменения жизни в целом для того, что ожидают в будущем (судя по значению коэффициента Крамера), такая же, что и значимость оценки изменения материального положения, а для «уверенности в завтрашнем дне» — даже несколько большая (соответственно  $0,28$  и  $0,23$ ). Индекс изменения оценки жизни в целом у «уверенных» почти в 2 раза выше ( $-45$ ), чем у «неуверенных» ( $-87$ ). Интересно и то, что разница оценок «в пользу» изменения оценки жизни в целом (то есть более низкого ее значения) является наибольшей у руководителей предприятий (35 единиц — напомним, что в выборку попадают, как правило, руководители невысокого ранга), у представителей гуманитарной интеллигенции (25) и рабочих (22).

Представляет интерес и характеристика динамики «ожиданий», которая, несомненно, свидетельствует о масштабах социальной цены и о том, в какой степени она определена стартовыми условиями. Судя по данным об «общих» ожиданиях в январе 1990 года, население относилось к будущему, скорее, с оптимизмом — индекс «ожиданий» был равен 21. В 1996 году он понизился на 43 единицы ( $-22$ ). Любопытно и распределение ответов по различным вариантам (табл. 7).

Таблица 7

**Отношение к перспективам изменения жизни к лучшему, %**

Ожидаете ли Вы изменений к лучшему в Вашей жизни	Декабрь 1989 (N=980)	Январь 1996 (N=774)
Нет, в обозримом будущем не жду	18	40
Да, но не скоро	23	25
Да, через 5 лет	25	9
Да, в ближайшие год-два	17	8
Не знаю	17	18

Обращает на себя внимание нарастание пессимизма. Идеи реформирования в глазах населения тускнеют, если не блекнут вовсе.

Многочисленная литература, посвященная анализу модернизационных процессов, теснейшим образом связывает их успешность с наличием идеи, способной консолидировать население, объединить самые различные силы общества для достижения общих целей

и разделяемых ценностей. Обращается внимание на то, что модернизация — не только реальный процесс развития, но и определенная идеология. «Идеология модернизации ставит задачу значительного улучшения жизни в будущем и побуждает людей изменить свое поведение для того, чтобы осуществить эту цель. Как идеология будущего, модернизация повсюду имела сходные цели: национальная независимость, экономическое благосостояние и социальное равенство. Как процесс, модернизация требует использования различных методов для достижения целей в разных местах» [20]. Различие методов модернизации предполагает и многообразие идей, ее стимулирующих. Интересные соображения на этот счет высказывает Н. Н. Зарубина: «Помимо ценностей, аналогичных «протестантской этике», модернизация нуждается в целом комплексе идей, которые бы ее поддерживали и обосновывали. Главную роль играет духовная консолидация общества вокруг идеи развития»; при этом важно, как считает автор, чтобы они были обращены к различным группам населения, по-разному относящимся к инновационным процессам [9, с. 47, 48].

Но вот как раз с идеей, которая консолидировала бы различные группы в постсоветских обществах, в настоящее время дело обстоит неважно. Антитоталитарная идеология, на первых порах объединявшая и способствовавшая развалу Союза, практически исчерпала себя, так как последний распался с голографическим эффектом: «суверенные» осколки сохранили пороки «империи», которые при этом даже усугубились. Попытки же в качестве объединяющего, консолидирующего фактора использовать этно-национальную идею, как правило, неэффективны. На Украине, например, эта идея, являясь основным стержнем официальной идеологии, непопулярна среди основной массы населения, включая этнических украинцев. Реализации вполне разумной идеи создания Украины как государства «украинских граждан разного национального происхождения» [21] препятствует все ухудшающаяся социальная ситуация, которая делает практически невозможным создание гражданского общества вообще. В этих условиях активизация этно-национального фактора на уровне «официоза» не консолидирует, а разъединяет людей, усиливает социальную напряженность.

### *Литература*

1. Наумова Н. Ф. Социальная политика в условиях запаздывающей модернизации // Социологический журнал. 1994. № 1. С. 6–21.



2. Наумова Н. Ф. Рецидивирующая модернизация в России // Социологический журнал. 1996. № 3/4. С. 16.
3. Шаповалов В. Ф. Либерализм и Российская идея // Социологические исследования. 1996. № 2. С. 45–55.
4. Рукавишников В. О. Социологические аспекты модернизации России и других посткоммунистических обществ // Социологические исследования. 1995. № 1. С. 34–46.
5. Гордон Л. А. Область возможного. М., 1995.
6. Гордон Л. А. Четыре рода бедности в современной России // Социологический журнал. 1994. № 4. С. 25–26.
7. Рывкина Р. В. Социальные последствия реформ // Социологический журнал. 1995. № 3. С. 27–37.
8. Патрушев В. Д. Показатели отношения к труду: 1986–1995 годы // Социологический журнал. 1996. № 3/4. С. 185–196.
9. Зарубина Н. И. Самобытный вариант модернизации // Социологические исследования. 1995. № 3. С. 46–50.
10. Шиллер Р., Бойко М., Коробов В. Охота на Homo Sovieticus: ситуационные versus установочные факторы в экономическом поведении // Константы. Альманах социальных исследований. Херсон: МГНПП «Взаимодействие». 1993. Т. 1. № 1. С. 7–44.
11. Smelser N. J. Social change in the industrial revolution. Chicago: University of Chicago Press, 1959.
12. Industrialization and society / Ed. by B. F. Hoselitz, W. E. Moore. Paris and the Hague: UNESCO, Mouton, 1963.
13. Social indicators / Ed. by E. Bauer. Cambridge: Cambridge University Press, 1996.
14. Бауман З. Спор о постмодернизме // Социологический журнал. 1994. № 4. С. 69.
15. Ионин Л. Г. Культура и социальная структура // Социологические исследования. 1996. № 3. С. 38.
16. Заславская Т. И. Трансформация социальной структуры российского общества // Куда идет Россия. Социальная трансформация постсоветского пространства. М.: Аспект-Пресс, 1996. С. 11–21.
17. Воронков В. М., Фомин Э. А. Типологические критерии бедности // Социологический журнал. 1995. № 2. С. 57–69.
18. Жуков В. И. Что такое ИРЧП? К вопросу о «человеческом потенциале» // Социологические исследования. 1996. № 4. С. 101–112.
19. Рывкина Р., Симагин Ю. Будущее России // Социологический журнал. 1996. № 3/4. С. 55.
20. Society today. Second edition. California: CRM Books, 1973. P. 497.
21. Жмир В. На шляху до себе: Етно-соціологічна розвідка. Київ: Центр «Демократичні ініціативи», 1995. С. 112.

## ПОВСЕДНЕВНЫЕ ИДЕОЛОГИИ

### Понятие идеологии

Идеология не ограничивается концепциями, создаваемыми интеллектуалами, и охватывает различные сферы общественного и индивидуального сознания — «от научного знания до религии и повседневных представлений о надлежащем поведении вне зависимости от того, истинны эти представления или ложны» [1, с. 98]. В этом определении особое значение имеет то обстоятельство, что речь идет о надлежащем поведении, независимо от того, имеют ли идеологии повседневный характер, привнесены ли религией, либо являют собой трансформацию научных знаний в «программу поведения». Следуя взглядам К. Манхейма, П. Бергер и Т. Лукман полагают, что влиянию идеологического контекста подвержено все человеческое мышление, за исключением математики и некоторых областей естествознания [2, с. 22]. Своеобразие и характер структуры сознания, ее зависимость от определенной «социальной сферы» характеризует, по мнению К. Манхейма, идеологичность человеческого мышления, которая не рассматривается как неправда, ложь и т. д. [3, с. 73]. Идеологичность определена оценочно-ориентирующей функцией сознания, которая направлена либо на сохранение действительности (в терминологии Манхейма, собственно «идеология»), либо на ее изменение (утопия).

Особое место в понимании природы идеологии занимает марксистская концепция взаимосвязи идей и интересов. Принципиальным для понимания идеологии имеет понятие ложного сознания, сознания, которое приписывает себе «самодостаточность» и всеобщность. Именно мнимой «самодостаточностью» и кажущейся всеобщностью определяется, по мнению К. Маркса и Ф. Энгельса, иллюзорность идеологических представлений. «Идеология, — пишет Ф. Энгельс в письме к Ф. Мерингу, — это процесс, который совершает так называемый мыслитель, хотя и с сознанием, но с сознанием ложным. Истинные движущие силы, которые побуждают его к деятельности, остаются ему неизвестными, в противном случае это не было бы идеологическим процессом» [4, с. 83]. Аналогичную мысль формулирует Н. Луман. «Опора всякой идеологии, — пишет

он, — состоит прежде всего в некоммуницированности проблемы, с которой идеология связана, в зашифровке того, что ее вдохновляет, в невидимости ее исходного пункта» [5, с. 199]. Необходимость выдать частный интерес за всеобщий, использование для этого «идеализированных» фраз и представлений обусловлены основной функцией идеологии — консолидировать и направлять поведение социальных общностей. В современной социологии знания преодолевается односторонность марксовской концепции, в которой не подвергается сомнению обусловленность идеологии интересами классов, а также необходимость «мыслителей», «идеологов», выполняющих специализированную функцию воспроизводства иллюзий класса о самом себе. Маркс и Энгельс не связывали понятие идеологии с интересами пролетариата, ибо последний, как они считали, не нуждался в иллюзиях. Не называли они идеологией и коммунистическую доктрину, которая, по их мнению, была «лишь общим выражением действительных отношений проходящей классовой борьбы, выражением совершающегося на наших глазах исторического движения» [6, с. 438]. Классики марксизма оказались неспособны подвести свою собственную позицию под понятие идеологии. В еще большей степени эта неспособность выразилась в официальных и радикальных версиях марксизма. Тем не менее, общесоциологическое содержание марксистского понимания идеологии позволяет объяснить процессы, происходящие в общественном сознании, в контексте объективных социальных изменений.

### **Идеологичность повседневного сознания и проблема легитимации**

Идеи становятся материальной силой, когда они овладевают массами. Обычно имеется в виду материальная сила теории. В то же время неправомерно постулировать «нетеоретичность» обыденного сознания и сводить его к общественной психологии. Маркс, считавший, что идеология создается «мыслителями» класса, не отрицал того факта, что «на основе материальных условий и общественных отношений» весь класс творит не только своеобразные чувства и иллюзии, но и образы мысли и мировоззрения [7, с. 145]. В современной социальной феноменологии показано, что регуляция поведения осуществляется с помощью «повседневных теорий», концептуализирующих ценности и интересы. При этом усвоение теории в повседневной жизни «начинается уже в практике приспособления пове-

дения к внешним требованиям культурной формы и носит характер постепенного разъяснения, понимания и уточнения смысла символических аспектов поведения», — пишет Л. Г. Ионин [8, с. 221].

Сходство «повседневной» идеологии и идеологии «специализированной» состоит в том, что и та, и другая используют механизмы легитимации. М. Вебер понимал легитимацию не только как «законность» власти, но и как веру в ее законность, обусловленную представлением о ее ценности. Под легитимацией понимается объяснение и оправдание институционального порядка, придание ему ценностно-нормативного характера. При этом легитимация связана не только с ценностями, но и «знанием» [2, с. 153]. Легитимация, осуществляемая повседневным сознанием, предполагает определенное теоретизирование, которое обращено к ценностным представлениям, а «знания», используемые при легитимации, имеют мотивирующий характер. Легитимация как раз направлена на то, чтобы частный интерес выглядел как общий, в той или иной степени массовый. «Например, расовое мифотворчество американского Юга, — пишет П. Бергер, — служит легитимации социальной системы, в которую входят миллионы людей. Идеология «свободного предпринимательства» способствует маскировке монополю действующих крупных корпораций, у которых если и осталось что-то общее с предпринимателями старого образца, так это постоянная готовность надуть своих сограждан» [9, с. 174]. Легитимация массовым сознанием каких-либо институциональных порядков не сводится к простому повиновению. Легитимность порядка — это авторитетность, вера в его правомерность и справедливость, что, в свою очередь, предполагает абстрактные представления о правомерности и справедливости.

П. Бергер и Т. Лукман выделяют четыре уровня легитимации. Первый уровень — дотеоретический — включает простые обозначения языка, устанавливающие статусные позиции. Второй уровень содержит уже теоретические утверждения, хотя и в зачаточной форме. К ним относятся различные объяснительные схемы, которые непосредственно связаны с конкретными действиями, в частности моральные максимы, сказки, легенды и другие способы интерпретации жизненного мира [2, с. 155]. На третьем уровне легитимация становится специализированной, выходит за пределы практического применения и становится «чистой теорией» [2, с. 156]. «Четвертый уровень легитимации, по Бергеру и Лукману, составляют символиче-

ские универсумы... имеющие отношение к реальностям, отличным от реальностей повседневной жизни» [2, с. 157].

Можно ли считать, что «повседневные теории» тождественны по своему содержанию специализированным теориям? Например, можно ли считать, что «символические универсумы» вообще не функционируют в повседневном сознании? В рамках исторической антропологии убедительно доказана относительная самостоятельность двух идеологий — «писанной», творимой интеллигенцией, и «неписаной», имеющей хождение в массах. Е. М. Штаерман показала сходство образов, содержащихся в сочинениях философов первых двух веков Римской империи и в эпитафиях «маленьких людей», объясняет это сходством «умонастроения», типичного для Рима этого периода [10]. А. Б. Ковельман, решавший проблему взаимоотношения «культуры масс» и «культуры верхов» в птолемеевском Египте, считал, что то и другое (несмотря на их противоположность) объединяет риторический стиль. «Синтез философии с риторикой, — пишет он, — пропитывает и христианскую проповедь, и стоическую диатрибу. Вторая софистика создает язык элиты, а говорят на нем массы» [11]. Аналогичную проблему ставит А. Я. Гуревич, характеризуя средневековую народную культуру: «Великий немой», «великий отсутствующий», «люди без архивов и без лиц» — так именуют современные историки народ, когда для него был закрыт непосредственный доступ к средствам письменной фиксации культурных ценностей» [12, с. 8]. А. Я. Гуревич отмечает, что не только язык, но и содержание литургических текстов «приноравливалось» к сознанию паствы, актуализируя определенный пласт идей и представлений. Таким образом формируется культурно-идеологический комплекс, который А. Я. Гуревич называет «приходским католицизмом» [12, с. 24].

«Культурно-идеологический комплекс», характеризующий массовое сознание советского периода, изучен недостаточно. Хотя «советский человек» остался «немым» не в меньшей степени, чем человек Средневековья, нет оснований отождествлять официальную коммунистическую идеологию с тем комплексом идей, которые разделялись «народом» и определяли поведение большинства населения. Идеологию «советского человека» нельзя считать лишь примитивизированной марксистско-ленинской идеологией. Проблема двух культур и идеологий решается в данном случае как проблема «двоемыслия», несоответствия официального и «приватного», которому были подвержены и «верхи», и «низы» советского общества. При

этом «широко понимаемая двойственность, бинарность нормативно-ценностных регуляторов может считаться свойством любых социокультурных систем и эпох» [13, с. 15]. Ю. А. Левада считает, что именно в советском обществе двоемыслие становится тотальным, ничем не ограниченным, хотя в первую очередь «школу двоемыслия» проходили элитарные слои [там же].

### **Социальные представления как компоненты повседневной идеологии**

Социальные представления можно определить как когниции, характеризующиеся синкретичностью и многообразием своих функций — познавательных, объясняющих, ориентирующих и других. «Под термином «когниция», — писал Л. Фестингер, — я подразумеваю любое знание, мнение, убеждение, относящееся к окружению, кому-либо или чьему-либо поведению» [14, с. 99]. Для обозначения когнитивных компонентов обыденного сознания используется также понятие «belief», переводящееся как «вера», «убеждение», «мнение», «верование». Глагол «believe» означает не только «верить» и «придавать большое значение», но и «думать», «полагать». О. Р. Лычковская считает, что социальные представления и beliefs могут означать не только мнения и верования, но и научные знания, особым образом трансформированные обыденным сознанием, а также утверждения, основанные на эмпирических наблюдениях и логике [15]. Социальные представления и «beliefs» как когнитивные компоненты обыденного сознания не являются исключительно эмоциональными образами социального мира, а представляют собой субъективные конструкции, направленные на рационализацию и объяснение действительности. Именно эти конструкции образуют «повседневную идеологию» и обеспечивают выполнение обыденным сознанием идеологических функций. Совокупность представлений, образующих такую идеологию, является относительно целостной системой субъективных конструкций, характеризующейся большей или меньшей степенью устойчивости. М. Рокич утверждает, что верования (beliefs) относительно истинности и ложности образуют структурированную систему, свойства которой могут быть описаны и измерены. Положение различных типов верований в системе представлений определяется тем, находятся ли они в центре или на периферии этой системы. «Верования варьируются вдоль центрально-периферийного изме-

рения», — пишет М. Рокич [16, с. 3]. Чем ближе к центру системы расположены верования, тем они более важны для личности и тем в большей степени они сопротивляются изменению. При этом центральные верования играют определяющую роль в самоидентификации, самооценке личности, формировании концепции «Я» и Я-образа [16, с. 4]. Центральное место в этой системе, по мнению Рокича, принадлежит «основным», «первичным» верованиям (primitive beliefs), которые приобретаются в процессе непосредственного столкновения с объектом (тип А). Верования типа А обычно подкрепляются и усиливаются социальным консенсусом. Отсутствие подкрепления ведет к потере самоидентификации и, в конечном счете, перестройке всей системы верований, изменению ценности представлений, связанных непосредственно или опосредованно с первичными верованиями. Верования типа В не зависят от того, разделяются они другими или нет. Верования типа С не являются первичными, они производны от верований А. К типу С Рокич относит веру в авторитеты. По сути, они представляют собой рационализацию базовых верований (тип А) и помогают личности реалистически и рационально «оформить» (ground out) свою картину мира [16, с. 9]. Доверие к авторитетам обуславливает усвоение «производных» верований, относящихся к типу D. Представления этого типа не являются результатом непосредственного столкновения с объектами. Они являются феномены институционализированной идеологии и, наряду с референтными группами, обеспечивают чувство групповой идентичности [16, с. 11]. Верования типа Е относятся Рокичем к «непоследовательным», «маловажным». Они, как и первичные верования, являются результатом непосредственного столкновения с действительностью, но не имеют существенного значения для всей системы представлений. Отсюда, в частности, следует, что «центральные» представления наиболее тесно связаны с другими представлениями и выполняют структурообразующую функцию в повседневных идеологиях. «Периферийные» представления связаны с центром опосредованно, через другие переменные, и часто имеют эпифеноменальную природу. Поэтому в «центре» системы могут быть как «первичные», так и «вторичные» представления, транслируемые в качестве институционализированных идеологий. Положение представлений в системе изменяется в разных социальных, временных и региональных условиях. Это значит, что социологический диагноз ситуации предполагает не только характеристику содержания идеологических представлений, но

и объяснение структуры повседневной идеологии в данном месте в данный период времени.

В опросах 1990—1991 годов роль своеобразного посредника между различными представлениями, а также представлениями и объективными характеристиками, играли политические взгляды и оценки. Именно они были «ведущими» по отношению к различного рода социально-экономическим представлениям. На основании политических представлений можно было с большей вероятностью судить об ориентациях в сфере распределения, отношении к различным видам собственности. И наоборот, данные о социально-экономических представлениях не позволяли сделать достаточно надежный вывод об отношении к политической власти. Политические представления тогда связывались, скорее, с более абстрактными и терминальными ценностями, чем с более частными и конкретными [17, с. 68—73]. Если учесть явную нелегитимность политической власти, фиксируемую массовыми опросами, то можно предположить, что именно падение авторитета Коммунистической партии явилось решающим фактором девальвации идей социализма вообще и социалистических представлений в частности. Разрушение обыденной социалистической идеологии началось с отказа от «идеи социализма», выраженной в пропагандистской терминологии и воспринятой в свое время как символическая культурная форма, степень усвоения которой соответствовала авторитетности передающего института. Социалистические идеи, транслируемые Коммунистической партией как «теории» социализма, трансформировались обыденным сознанием и воспринимались в соответствии с теми «первичными» представлениями, которые формировались в процессе непосредственной жизнедеятельности и поддерживались «другими» (тип А в терминологии Рокича). «Специализированные» теоретические (в частности, научные) представления, становясь фактом обыденного сознания, вводятся в привычный контекст, становятся «своими», привычными и конкретизируются. И в этом своем виде они демонстрируют не только сопротивляемость «внешнему» воздействию, но и устойчивость, «живучесть», несмотря на то, что «авторитет», благодаря которому они были инкорпорированы в относительно целостную идеологию, развенчан. Более того, «размывается» сама идеология, а представления, конкретизирующие абстрактную идею (в частности, «идею социализма»), продолжают функционировать и приобретают относительно самостоятельное значение, выступают в качестве основы оценок



и ориентаций. Разрушение сложившейся повседневной идеологии означает как бы «размыкание» общих представлений, являющихся вторичными и относительно неустойчивыми, и представлений «первичных», более конкретных и устойчивых. Системообразующая идея, играющая до этого роль своеобразного стержня, может переместиться на «периферию» системы, либо вообще потерять свое значение. Совокупность функционирующих первичных представлений характеризуется аморфностью, а сами представления принимают характер стереотипов, обеспечивающих ту или иную степень адаптации к социальному окружению.

Делегитимация Коммунистической партии — своеобразного культурного института, обеспечивающего социализацию, привела к делегитимации общественного строя, который обозначался как «социалистический» и идентифицировался с партией. Уже летом 1989 г. большинство опрошенных одесситов возлагали ответственность за нарушение справедливости в обществе на партийные и советские органы и на «само общественное устройство» (27 % и 30 % соответственно). Отказ от идеи социализма четко обозначился уже в 1993 г. и сохранял устойчивость до 1998 г. (табл. 1).

Перестройкой структуры повседневной идеологии объясняются и так называемые «парадоксы сознания»: принятие идей рыночной экономики и неприятие предпринимателей, банкиров, менеджеров, торговцев; декларирование приверженности правопорядку и законности и одновременно признание возможности нарушить закон «для пользы дела».

Массовые обследования показывают, что население поддерживает экономику свободного рынка лишь на уровне общих постулатов. Но прорыночная идеология еще не свидетельствует «о реальном усвоении населением рыночных принципов распределения. Это касается прежде всего изменения взглядов на причины бедности и богатства, возможности продвижения, роль государства в распределительных отношениях» [18, с. 41]. Личные качества, которые способствуют приобретению богатства, в массовом сознании, как правило, связываются с качествами отрицательными: нечестностью, коррумпированностью и т. п. В проведенных нами опросах «успех в жизни» совершенно определенно сопряжен с такими качествами, как «нечестность» и «хитрость». С 1989 по 1998 год не изменились и представления о справедливости общества (табл. 2). Общество, еще именуемое «социалистическим», считается несправедливым, идеи

Таблица 1

**Представления о высших ценностях жителей Одессы и Одесской области, %**

Что наполняет Вашу жизнь смыслом, является высшей ценностью?	август 1993 Одесса	январь 1996 Одесса	январь 1998 Одесса	январь 1996 Одесская область	январь 1998 Одесская область*
Идеи социализма, коммунизма	5	3	5	7	6
Возможности, предоставляемые обществом капиталистического предпринимательства	6	5	4	3	3
Национальная идея (возрождение украинской нации, ее культуры, языка)	6	2	2	2	5
Идеи и ценности религии	7	5	5	5	5
Высшая ценность — это права, достоинство человека	27	11	26	9	19
Благополучие семьи, детей	42	43	59	40	57
Возможность участвовать в решении вопросов — что и как должно делаться в стране, городе, на работе	4	3	4	4	4
Сейчас не до высоких идей. Теперь главное — выжить, сохранить более или менее приличный уровень жизни	32	29	29	35	27

\* Исследование проведено Одесским фондом социальных исследований.

Таблица 2

**Мнение о справедливости общества, Одесская область, %**

Считаете ли Вы наше общество справедливым?	август 1989	январь 1998
Да	3	3
Нет	80	82
Затрудняюсь ответить	17	15

социализма и коммунизма не разделяются, декларируется приверженность рынку. И одновременно население отрицательно относится к богатым, предпочитает советскую систему социальных гарантий,

не обнаруживает стремления к индивидуальным достижениям. Как правило, такого рода противоречия относят к пережиткам социалистической идеологии. Существует, однако, и иная точка зрения.

По мнению Л. А. Седова, «социализм в нашей стране реально не изжит. Не вполне изжит он и в головах людей, а это именно то место, где, по утверждению классика, происходит главная разруха» [19, с. 15]. Более радикальное объяснение противоречий сознания дают Л. Д. Гудков и М. В. Пчелина, указывая на парадокс, который обнаруживается при ответе на вопрос «Что нужно сейчас России — демократия или порядок». Люди вроде бы осуждают прежний тоталитарный режим, но в то же время не жалуют и демократию, преимущественно высказываясь за порядок. По мнению авторов, речь идет о структурных проявлениях постсоветского общества, «его антропологических характеристиках, среди которых одной из важнейших является социальная зависть» [20, с. 41]. Зависть в данном случае рассматривается как «система интернализованных социальных норм и ожиданий, воспроизводящих вполне конкретные представления о социальном порядке...»; это зависть «...не просто к кому-то... а механизм неотредакционированной блокировки принятия любых форм социального неравенства помимо жесткой иерархии, подавления достижительности...» [20, с. 41].

Можно усомниться в корректности постановки вопроса «порядок или демократия». Имея в виду распределение ответов на этот же вопрос (74—78 % россиян выбирают порядок), Л. А. Седов отмечает, что социальный заказ на сильного лидера обусловлен также представлением о том, «кто способен обеспечить порядок в насквозь коррумпированной, криминализованной и плохо управляемой стране» [19, с. 17]. По данным обследования в Одессе, еще в 1989 г. «развитие демократии» как средство борьбы против несправедливости набирало в 2—2,5 раза меньше голосов, чем «укрепление порядка и дисциплины». При этом относительная «непопулярность» демократии сочеталась с тем, что 82 % одесситов были согласны с суждением: «В справедливом обществе каждый может участвовать в обсуждении, выработке и принятии решений по важнейшим вопросам». Тогда несоответствие объяснялось нами различием абстрактных ценностей-идеалов и инструментальных представлений о конкретных способах деятельности. Действительно, несоответствие абстрактных представлений и «практических суждений» фиксируется и в различных социально-политических и экономических условиях. Например,

люди, называющие себя консерваторами, обнаруживают либеральные взгляды на решения конкретных проблем и, наоборот, назвавшиеся либералами демонстрируют консерватизм. Однако причины подобной раздвоенности массового сознания лежат в структуре повседневных идеологий. Речь идет о неоднозначном взаимодействии и различных типов верований. Абстрактные понятия «капитализм», «социализм», «частная собственность», «либерализм», «консерватизм», «богатство», «бедность», «демократия» и т. п., а также производные верования, транслируемые «авторитетами», наполняются иным смыслом при столкновении с «первичными» верованиями. Понятие «социализм», как и понятие «демократия», функционировали в обыденном сознании как термины, имеющие разные, порой противоположные смыслы. Уже в первые годы перестройки эти понятия перестали играть формообразующую роль в системе повседневных представлений. Идея социализма постепенно вытеснялась идеей «рынка». Связанные с этой идеей представления также носили характер «вторичных» верований, т. к. были восприняты от авторитетных в тот период реформаторов. Идея рынка не была укоренена в обыденном сознании первичными верованиями, но она достаточно органично стыковалась с теми из них, которые до этого олицетворяли «социализм с человеческим лицом», «гуманный социализм» и т. д. Более того, она была подготовлена предшествующей трансформацией социалистических представлений. Р. В. Рывкина приводит результаты опроса городской интеллигенции в 1988 г. в Барнауле. Отмечая наиболее важные черты социализма, лишь немногие респонденты отнесли к ним «государственную собственность на средства производства», «социальную однородность» и «постепенное отмирание государства». В распределении доминировали позиции «создание условий для гармонического развития личности», «социальная справедливость», «гарантированная занятость», «распределение по труду» [21, с. 124]. Эти «характеристики социализма» вполне вписываются и в так называемую «рыночную идеологию», которую население не отождествляет с капитализмом. «Капитализм» как формирующая повседневную идеологию идея не утвердился в обыденном сознании. Подобное отторжение неправомерно объяснять пережитками тоталитарного прошлого. При анализе «посткоммунистической ментальности» следует учитывать стремление людей к стабильным социальным ценностям. Л. Коларска-Бобинска имеет основания считать, что одобрение сильного лидерства является результатом не

тоски по авторитаризму, а желания сделать ясной картину мира. Недемократические настроения, по ее мнению, вызываются чувствами беспокойства, неустойчивости и неизвестности, которые возникают в моменты политического кризиса [22, с. 79]. Фиксируемая в опросах «недемократичность» населения, стремление иметь сильного лидера объясняются также процессом ресоциализации в период радикальных трансформаций. Такие трансформации П. Бергер и Т. Лукман называют альтернативами. Они сопровождаются «ресоциализацией» особого типа и отличаются от обычной вторичной социализации тем, что последняя не предполагает интенсивной эмоциональной включенности, характерной для первичной социализации. При альтернативе необходимо произвести демонтаж реальности, коренным образом изменить картину мира. Такая ресоциализация «неизбежно копирует детский опыт эмоциональной зависимости от значимых других. Эти значимые другие являются вожатыми по новой реальности» [2, с. 255].

Е. И. Головаха и его коллеги установили, что под демократией население имеет в виду свободу личности, действий, слова, совести, передвижения и т. д. (60 %), народовластие, участие граждан в управлении (19 %) и практически не связывают с этим понятием «порядок и дисциплину» (3 %) [22, с. 102]. Поэтому если исходить не из книжного понимания демократии, а из повседневных представлений, в восприятии населением демократии противоречия нет. К аналогичному заключению приходит Л. А. Седов, обративший внимание на следующее противоречие: «Люди вроде бы за увеличение частного сектора, но против приватизации». Так, за увеличение доли частного сектора в бизнесе и в промышленности высказалось 45 %, а против — 27 %. На вопрос о приватизации государственных предприятий последовало 35 % положительных ответов и 51 % отрицательных. Л. А. Седов квалифицирует данное противоречие как кажущееся. По его мнению, для большинства людей неприемлемы не рынок и частная собственность как таковые, а те формы, которые рыночные реформы приобрели в России [19, с. 16].

В обыденном сознании постсоветского периода латентно присутствует идея-ценность, имеющая характер «символического универсума», структурирующего повседневную идеологию. Такой идеей является идея труда, обеспечивающего благосостояние. Различные виды деятельности и получаемый от них доход, социальные позиции и обусловленные ими жизненные стили оцениваются в зави-

симости от того, что считают трудом и что относят к заработанным благам. Признание ценности труда не обязательно связано с уравнительностью. В 1989–1991 годах распределительные ориентации характеризовались исключительным постоянством: на первом месте находилась «возможность реализации способностей», на втором — зависимость благосостояния только от трудового вклада. Уравнительная ориентация — «отсутствие существенных различий в уровне жизни» — неизменно находилась на последнем месте [24, с. 69]. Опираясь на данные исследований социальной справедливости, Н. Ф. Наумова отмечает, что трудовая интерпретация справедливости остается ведущим элементом системы, труд как ценность остается самым активным элементом и в подсистеме ценностей. При этом «равенство возможностей» оказывается более значимым, чем «реальное равенство» [25, с. 15].

О распространенности ценности труда и распределения по труду свидетельствуют сравнительные исследования, проведенные в России и Эстонии в 1990–1992 годах. Установлено, что в России опрошенные поддерживают идею справедливого неравенства при условии равных возможностей добиться успеха [26, с. 21]. Авторы исследования рассматривают распространенность принципа распределения по труду как признак идеологии социализма. Однако идея труда как основы благосостояния соответствует и ценностям современного рационального капитализма, идеология которого в значительной степени строится на принципе «равных возможностей».

Идею ценности труда и «заработанного благосостояния» можно отнести к тем явлениям, которые Н. Н. Козлова называет «самоочевидностями сознания». Это присущие обыденному сознанию «длительно действующие формализмы», его «культурно-историческая онтология», определяющая «скрытый за содержанием план действий сознания, фиксируемый в обыденном языке, в механизмах восприятия» [27, с. 40]. Идеи, которые вошли в сознание поколения, в последующем могут стать бессознательными, самоочевидными предпосылками деятельности. Такой идеей является идея труда и его справедливого вознаграждения. Невостребованность результатов труда — болезнь общества, которая не может быть оправдана в массовом сознании. Оценки возможностей обнаруживают заметную отрицательную динамику (табл. 3).

«Рыночная идея», преобразованная в соответствии с обыденным представлением о «трудовом благосостоянии», может полностью

**Мнения жителей Одесской области об имеющихся у них возможностях в 1996 и 1998 годах, %**

<i>По сравнению с тем, что было несколько лет назад, у Вас в настоящее время больше или меньше возможностей:</i>	Больше		Столько же		Меньше		Затрудняются ответить	
	1996	1998	1996	1998	1996	1998	1996	1998
Заработать	27	17	8	11	47	63	18	9
Реализовать свои умения, знания, способности	18	13	16	17	41	60	26	10
Проявить самостоятельность, инициативу	18	13	16	20	31	42	29	17

потерять свое значение. Польские социологи показали, что относительно высокая степень одобрения реформ, сочетающаяся с пассивностью и апатией населения, объясняется в значительной степени тем, что в первый период люди руководствовались скорее ценностями, чем интересами, «интересы же существовали как бы «помимо» этого, либо не были выражены вообще» [22, с. 131]. Существование же идей, оторванных от интересов, приводит к тому, что идеи перестают играть мотивирующую роль, иметь какое-либо практическое значение.

### **Идеи и интересы**

Рассматривая взаимоотношение идеи и интереса, К. Маркс и Ф. Энгельс писали, что всякий добивающийся исторического признания интерес первоначально далеко выходит в идее и представлении за свои действительные границы. Это несоответствие и обуславливает неудачу революционных преобразований. Последние неудачны «потому, что для самой многочисленной части массы, части, отличной от буржуазии, принцип революции не был ее действительным интересом, не был ее собственным революционным принципом, а был только «идеей», следовательно, только предметом временного энтузиазма и только кажущегося подъема» [28, с. 89]. «Собственный интерес» основной массы населения, способствующий принятию идеи рынка, противоречил интересу, на базе которого осуществлялись реальные рыночные преобразования в постсоветском обществе.

Вторичные, производные представления (созданные идеологами реформирования) вступали в противоречия с первичными, базовыми ценностями. Этим объясняется быстрое разочарование населения в идее рыночного хозяйства. Резкое падение популярности рыночных реформ отмечалось зимой 1993–1994 года [29, с. 95]. В Одесской области изменение соотношения противников и сторонников рынка впервые зафиксировано в январе 1996 года (табл. 4). В начале 1992 г. резко уменьшилась доля тех, кто считал, что переходить к рынку нужно «быстро и решительно». В январе 1996 г. доля противников реформ впервые превысила долю сторонников. В 1998 г. доля сторонников реформ опять стала выше числа противников, но за счет тех, кто считает, что к рыночной экономике следует продвигаться более осторожно.

Таблица 4

**Оценка населением Одесской области перехода к рыночной экономике, %**

Как следует переходить к рыночной экономике?	Октябрь 1991	Март 1992	Июнь 1994	Январь 1996	Январь 1998
Быстро и решительно	47	26	26	19	18
Медленно и осторожно	21	22	23	11	29
Лучше вернуться к тому, что было раньше	10	29	43	41	26
Затрудняюсь ответить	22	23	17	29	27

В отличие от области в целом, в Одессе доля сторонников рынка всегда превышала долю противников. Объяснить изменение отношения к рынку, так же, как и непопулярность «демократии», можно, лишь обращаясь к повседневным интересам людей, формирующимся в процессе их повседневной жизнедеятельности.

Различие ценностей-идей и потребностей-интересов определяется разной природой двух видов человеческого опыта: культурного опыта предшествующих поколений, передаваемого интеллектуалами, владеющими языками культуры, и опыта «индивидуального». Обучение языкам культуры является неотъемлемым компонентом процесса социализации личности и означает одновременно формирование сознания и самосознания личности, которое имеет ценностный характер. Именно культурный опыт обуславливает содержание «образа Я», который обеспечивает самоидентификацию субъекта, его избирательность в восприятии окружающей среды и выборе действия. «Идеологизм» индивидуального сознания коренится в «самоописании»,



«самоаблюдении», «самореференции», латентно присутствующих в любом познавательном акте. Характеризуя «самореференцию» как идеологию, Н. Луман отмечает, что в немецком идеализме концепция «Я» была ориентирована на разум и из поля зрения выпало «социальное измерение». «Проблема парадокса была соотнесена с познанием, — пишет он, — а не с обществом, и соответственно разработка теории была ориентирована скорее на религиозную или эстетическую перспективу, возможно и на перспективу теории образования, но не на вопросы хозяйства и политики» [5, с. 197].

Потребности и интересы формируются в процессе совместной предметно-вещественной деятельности людей. Индивидуальный практический опыт в конечном счете играет решающую роль не только в генезисе тех или иных идеологий, но и в их усвоении, изменении значений, соответствующих различным культурным формам и картинам мира. Ориентация на индивидуальный жизненный опыт, с одной стороны, и техническую рациональность — с другой может быть представлена в качестве принципиального различия между мировоззрением Востока и Запада. А. А. Ицхокин считает, что для Востока характерно переживание значимых качеств объекта, эмоциональная объективность, культивирование ценности мира объектов в их жизненной практической значимости. Для западного человека типично освобождение от эмоциональной вовлеченности в мир объектов, «отчужденность» от него, вовлечение «в абстрактные идеи нормативной природы, то есть идеи, претендующие на различие между «правильным» и «неправильным», «хорошим» и «плохим» и т. д.» [30, с. 91]. А. А. Ицхокин опирается на работу Ф. Нортропа, который характеризовал Восток как «эстетическую цивилизацию», рассматривая «суть эстетического отношения к миру как вовлеченность субъекта в объект в его «данности», или собственной ценности, в отличие от вовлеченности в абстракции, в том числе называемые «социальными ценностями», как на Западе. [30, с. 88]. Идеология как таковая (в отличие от мифологии) — это опосредованное идеей-нормой отношение к миру. С такого рода отношением связана и легитимность. Для Востока и для России, по мнению А. А. Ицхокина, характерно признание «собственной, внутренней, имманентной ценности» земной власти. «Для Запада самоценность власти невозможна — она признается именно и только в меру ее «легитимности», нормативного оправдания, доказательства права на нее...» [30, с. 89].

Было бы неверно ограничивать значимость данного различия дилеммой Восток — Запад. Различные отношения к миру сосуществуют во всех обществах и социальных группах, на разных этапах общественного развития, в разных формах и уровнях сознания, но в разной степени. Так, более образованные люди, можно предположить, более склонны конструировать абстрактные картины мира. Например, респонденты с высшим образованием, ниже других оценивающие настоящее, более оптимистично смотрят в будущее и проявляют более высокую терпимость. «Идеально-нормативное» восприятие происходящего в большей степени характерно для молодых людей, чем для людей зрелого возраста. По нашим данным, восприятие рыночных реалий выпускниками школ существенно отличается не только от восприятия их населением в целом, но и от представленной молодежи, которые уже начали самостоятельную жизнь. По данным опросов 1996 г., индекс ориентации на «собственное дело» у выпускников школ, молодежи от 18 до 30 лет и населения г. Одессы в целом соответственно составляет 80, 24 и 18 пунктов по стопунктовой шкале.

### **Социальная практика и судьба социалистической идеологии**

«Народный социализм» в послереволюционной России, а затем в Советском Союзе, был относительно самостоятельным культурно-идеологическим комплексом. Он существенно отличался от марксистской идеологии и менялся на разных этапах развития советского государства. Агрессивно-уравнительный характер он имел преимущественно в период революции и первые годы советской власти. В дальнейшем «народный социализм» приобрел иные культурные формы, характеризовался иной семантикой. Идея социализма стала обыденной доктриной выживания, которая представляла собой комплекс распределительных представлений, норм взаимоотношений, правил личного поведения. Эта техника выживания, связанная с раскрестьяниванием и формированием «нового рабочего класса», способствовала восприятию идей социализма, содержащихся в официальной идеологии, трансформировав их в «народный социализм». Она же обусловила и персонификацию этих идей, связав их с именами вождей, авторитет которых явился важным скрепляющим фактором и необходимым условием восприятия и усвоения «вторичных» идей в условиях радикальных социальных преобразований. Усвое-

нию идей социализма, являющимися «вторичными», «производными», способствовал и рост «культурности» значительной массы населения, выступавшей как императив «обыденной повседневной жизни» в 30-е годы [31, с. 194]. Идеи социализма утверждались во многом потому, что изменения в повседневной жизни воспринимались как улучшение и преимущества по сравнению с каждым предшествующим периодом. Непосредственный жизненный опыт подтверждал преимущества социализма и таким образом доктрина социализма поддерживалась в повседневном сознании, несмотря на ироническое отношение ко многим официальным требованиям. Этим объясняется, в частности, совмещение личных и общественных интересов, идентификация с большими общностями, со страной в целом. В 70-е годы данные обследования работников судоремонтных заводов показали, что о «социалистических обязательствах» никто не помнил, — это был «официоз», который не принимали близко к сердцу; но большинство предложений и пожеланий в конце анкеты относилось к общественно-производственным, а не к бытовым проблемам. Людей заботила бесхозяйственность, которая наносит ущерб обществу и трудовому коллективу, плохая организация труда, неэффективное использование техники. Речь шла скорее о коллективных, чем об общественно-государственных интересах. В этот период уже обозначилась прагматизация жизни, возрастание интереса к материальным стимулам. Кризис середины 70-х годов «повлек за собой ценностные сдвиги, эрозию идеологических структур, ослабление или даже утрату значимости советских символов и другие последствия, сделавшие систему частично невоспроизводимой», — пишет Л. Д. Гудков [32, с. 17].

Значительные сдвиги в повседневной социалистической идеологии произошли раньше — в период критики культа личности Сталина. Идея социализма была слита с именем Сталина и эта персонификация обуславливала тотальный характер «народного социализма». Развенчание Сталина привело не только к постепенной делегитимации власти, но и к изменению идеологии социализма, который с этого времени был ориентирован на личные интересы, ценности частной повседневной жизни. Социалистические представления в этот период органично увязываются с «самоочевидным» представлением о том, что общество должно предоставить человеку возможность проявить себя и обеспечить личное благополучие — «от каждого по способностям, каждому по труду». Вполне отчетливо обозначилось понима-

ние равенства как равенства возможностей, заработанная честным путем зажиточная жизнь вполне укладывалась в представления о социализме. Пропаганда продолжала акцентировать преобладание государственно-общественных интересов над личными, но такого рода лозунги воспринимались как камуфляж реструктурирования повседневной идеологии и изменения идеи социализма. Повышение значимости умственного и квалифицированного труда, рост уровня жизни и другие перемены сопровождались ростом запросов населения, на который повлияли также распространение теневой экономики, появление новых форм «зажиточной» жизни, расширение коммуникации с капиталистическими странами. Технология выживания сменилась технологией достижения комфорта и благополучия. Это и был тот фактор, который существенным образом реструктурировал повседневную идеологию. Эти перемены не привели к отказу от самой идеи социализма и «социалистических ценностей». Последние изменили свое место в системе обыденных представлений. Так или иначе, культурные формы, в которых утверждался социализм, связаны с практической жизнедеятельностью людей и формирующимися на ее основе интересами.

Достаточно ли обоснованы утверждения о том, что в настоящее время в обыденном сознании происходит возврат к социалистической идеологии? Голосование многих людей за Коммунистическую партию свидетельствует не о возрождении идей социализма или коммунизма, поскольку мотивы такого выбора практически не связаны с идейной платформой Компартии, доктринальной стороной ее деятельности. Компартия, которая в советское время была не только политическим, но и культурным институтом, является символом технологии выживания, силой, обеспечивающей «онтологическую безопасность» в трудные времена. Все отрицательное, что было связано с прежней деятельностью коммунистов, забывается, а прошлое перетолковывается в соответствии с задачами сегодняшнего дня. «В ресоциализации, — пишут П. Бергер и Т. Лукман, — прошлое перетолковывается для того, чтобы оно соответствовало нынешней реальности, в прошлое переносятся разные элементы, которые субъективно в нем отсутствовали. Во вторичной социализации настоящее интерпретируется так, чтобы оно находилось в последовательном взаимоотношении с прошлым... Иными словами, реальным основанием ресоциализации является настоящее, а для вторичной социализации — прошлое» [2, с. 263].

Повседневное сознание «постсоветских» людей можно отнести к так называемому «вырожденному» случаю идеологии — оно не представляет собой сколько-нибудь целостного образования. Это, в частности, находит выражение в особенностях социальной идентификации: люди преимущественно идентифицируют себя с группами «повседневных практик» (прежде всего с семьей и «близкими»), а не с «конструируемыми общностями». В идентификационной стратегии преобладает «приспособление к условиям жизни ради элементарного выживания» [33, с. 15, 17]. Однако «культурное оформление» техники выживания существенно отличается от его советского варианта: отсутствует значимая «одухотворяющая» идея, которая бы консолидировала общество и порождала надежду на лучшее будущее; нет «авторитета», которому бы доверяли и на действия которого могли бы рассчитывать. Восприятие условий жизни ухудшается. Можно ставить под вопрос адекватность оценок, однако несомненно, что эти оценки — важная составляющая повседневной идеологии. Обыденные представления — нормальная, здоровая реакция на происходящее. Это не только реакция на порочную практику реформирования, но и отторжение той идеологии, которую пытаются навязать активные «носители» общественного строя, все чаще именуемого «олигархическим». Рыночное хозяйство с многообразными видами трудовой деятельности, результаты которой востребованы обществом, вот то «поле», на котором могут ужиться обыденное представление о ценности труда и заработанного благосостояния и идеология предпринимательства, основанного на частной собственности.

## Литература

1. *Аберкромби Н., Хилл С., Тернер С.* Социологический словарь. Казань: Изд-во Казанского университета, 1997.
2. *Бергер П., Лукман Т.* Социальное конструирование реальности / Пер. с англ. Е. Д. Руткевич. М.: Academia-Центр, Медиум, 1995.
3. *Манхейм К.* Идеология и утопия // Манхейм К. Диагноз нашего времени / Пер. с нем. и англ.; Отв. ред. и сост. Я. М. Бергер и др. М.: Юристъ, 1994.
4. *Энгельс Ф.* Письмо Ф. Мерингу // Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 39. М.: Госполитиздат, 1955.
5. *Луман Н.* Тавтология и парадокс в самоописаниях современного общества // Социо-Логос. Вып. 1. М.: Прогресс, 1991.
6. *Маркс К., Энгельс Ф.* Нищета философии // Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. М.: Госполитиздат, 1955. Т. 4.

7. Маркс К., Энгельс Ф. Восемнадцатое брюмера Луи Бонапарта // Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. М.: Госполитиздат, 1957. Т. 8.
8. Ионин Л. Г. Социология культуры. М.: Логос, 1996.
9. Бергер П. Общество в человеке / Пер. с англ. О. А. Оберемко // Социологический журнал. 1995. № 1.
10. Штаерман Е. М. Социальные основы религии древнего Рима. М.: Наука, 1987. С. 214.
11. Ковельман А. Б. Риторика в тени пирамид: Массовое сознание Римского Египта. М.: Наука, 1988. С. 13.
12. Гуревич А. Я. Проблемы средневековой народной культуры. М.: Искусство, 1981.
13. Левада Ю. А. Возвращаясь к феномену «человека советского»: проблема методологии анализа // Экономические и социальные перемены: Мониторинг общественного мнения: Информационный бюллетень. 1995. № 6.
14. Фестингер Л. Введение в теорию диссонанса // Современная зарубежная социальная психология: Тексты. М.: Изд-во Московского университета, 1984.
15. Личковська О. Р. Інформованість у системі повсякденних уявлень (Теоретичний аспект дослідження): Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата соціологічних наук. Харків, 1996.
16. Rokeach M. Beliefs, attitudes and values: Theory of organization and change. San Francisco: Jossey-Bass Inc., 1972.
17. Попова И. М. Социальные представления в обыденном сознании // Социологические исследования. 1991. № 11.
18. Хахулина Л. А., Стивенсон С. А. Неравенство и справедливость // Экономические и социальные перемены: Мониторинг общественного мнения: Информационный бюллетень. 1997. № 2.
19. Седов Л. А. В стране побежденного социализма // Экономические и социальные перемены: Мониторинг общественного мнения: Информационный бюллетень. 1997. № 2.
20. Гудков Л. Д., Пчелина М. В. Бедность и зависть: негативный фон переходного общества // Экономические и социальные перемены: Мониторинг общественного мнения: Информационный бюллетень. 1995. № 6.
21. Рыбкина Р. В. Между социализмом и рынком: Судьба экономической культуры в России. М.: Наука, 1994.
22. Kolarska-Bobinska L. Aspirations, values and interests: Poland 1989–1994. Warsaw: IFiS Publishers, 1994.
23. Головаха Е. И., Бекешкина И. Э., Небоженко В. С. Демократизация общества и развитие личности: От тоталитаризма к демократии. Киев: Наукова думка, 1992.
24. Попова И. М. Уравнительность — иллюзия массового сознания // Социологические исследования. 1992. № 3.

25. *Наумова Н. Ф.* Жизненная стратегия человека в переходном обществе // Социологический журнал. 1995. № 2.
26. *Хахулина Л. А, Саар А, Стивенсон С. А.* Представление о социальной справедливости в России и Эстонии: сравнительный анализ // Экономические и социальные перемены: Мониторинг общественного мнения: Информационный бюллетень. 1996. № 6.
27. *Козлова Н. Н.* Социализм и сознание масс. М.: Наука, 1989.
28. *Маркс К., Энгельс Ф.* Святое семейство // Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. М.: Госполитиздат, 1955. Т. 2.
29. *Куприянова З. В., Хибовская Е. А.* Вторичная занятость как способ адаптации населения к экономическим реформам // Куда идет Россия: Альтернативы общественного развития. Вып. 2. М.: Аспект-пресс, 1995.
30. *Ицхокин А. А.* Релятивистская теория социальной ценности и «свободная от ценности» теория социальной организации // Социологический журнал. 1995. № 3.
31. *Волков В. В.* Концепция культурности, 1935–1938 годы: советская цивилизация и повседневность сталинского времени // Социологический журнал. 1996. № 1/2.
32. *Гудков Л.* К социологии одного национального символа // Экономические и социальные перемены: Мониторинг общественного мнения: Информационный бюллетень. 1997. № 5.
33. *Данилова Е. Н.* Проблема социальной идентификации в постсоветской России // Экономические и социальные перемены исследования: Мониторинг общественного мнения: Информационный бюллетень. 1997. № 3.

## **ПОВСЕДНЕВНОЕ СОЗНАНИЕ В ПЕРЕХОДНОМ ОБЩЕСТВЕ: СИМПТОМЫ КРИЗИСА**

Раскол в человеческой душе — это эпицентр раскола, который проявляется в общественной жизни.

*А. Тойнби*

По существу, в основе нашего мировоззрения всегда лежит основание будущего.

*К. Ясперс*

Пусть каждый сам себе ответит на вопрос, как он оценивает шансы на исцеление от недуга. И независимо от того, возросли ли они в его глазах или нет, самым важным в конечном счете остается одно — хранить мужество, верить и выполнять свой долг.

*Й. Хейзинга*

В многообразной литературе, посвященной проблемам переходного общества, обращается внимание на то, что переходное состояние сопровождается тяжелыми катаклизмами сознания, своеобразным его кризисом. «Надломы цивилизаций», «расколы социальной системы», по мнению Арнольда Тойнби, проявляются как «расколы человеческой души», затрагивающие «поведение, чувства, жизнь в целом». Поэтому «если мы хотим иметь представление о более глубокой реальности, следует подробнее остановиться на расколе в человеческой душе» [1, с. 358].

Й. Хейзинга, считавший себя оптимистом, в своем трактате «В тени завтрашнего дня» нарисовал пессимистическую картину современного ему общества, когда после кризиса 1929 года «настроения грозящей миру гибели» стали повсеместными. Он обратил внимание на то, что эти настроения были обусловлены экономическим кризисом (который «люди испытали на собственной шкуре, а у большинства шкура чувствительнее духа, и с этим ничего не поделаешь»), «экономический разлад есть только одно из



проявлений гораздо более обширного культурного процесса» [2, с. 246].

Значительные культурные сдвиги, гибель одних культурных форм и порождение новых придают общественному кризису глубоко внутренний, личностный характер, порождая так называемое «кризисное сознание». К нему обычно относят сознание, характеризующееся такими признаками, как беспокойство, тревожность, страх, anomia, неуверенность в завтрашнем дне, явно и неявно выраженное пессимистическое восприятие действительности. Эти характеристики сознания рассматриваются как признаки деморализации общества, особенно опасной в виде симптома «дальнодействующих» отрицательных эффектов.

При изучении кризисного сознания возникают по меньшей мере две проблемы, более или менее определенно зафиксированные в социально-философской литературе. Во-первых, не всем переходным периодам, как свидетельствует история, присущи настроения безысходности и пессимизма. И. Хейзинга, указавший на глубинные культурные последствия «экономического разлада», приводит на этот счет интересные соображения. Сравнивая представление о современном ему кризисе с «великими потрясениями прошлого», он отмечает следующее: хотя идея о том, что миру угрожает закат или гибель, «присутствует в самые разные эпохи», существуют все же особые периоды «интенсивного культурного поворота». При этом одни из них «отличает ярко выраженный кризисный характер», другие — надежда и оптимизм. Характеризуя такие периоды «крутых поворотов», как переход от Древнего мира к Средневековью, от Средних веков к Новому времени, затем от XVIII к XIX веку, «особенно важным» Хейзинга считает то, что в критические периоды, какими были Ренессанс и Реформация, период Французской революции и Наполеона, «надежда и идеалы гораздо значительнее влияли на общее настроение в области культуры, чем это имеет место в настоящее время» [2, с. 253].

Суть *первой проблемы*, таким образом, состоит в том, в какой степени в тот или иной переходный период общественные катаклизмы, масштабные социально-экономические и культурные сдвиги, связанные с изменением систем ценностей, обуславливают нарастание явлений кризисного сознания, какие факторы этому способствуют, какие противодействуют.

*Вторая проблема* относится к области «диагностики» кризисного сознания, возможности его изучения конкретно-социологическими

средствами. Речь идет о том, чтобы указать на такие характеристики сознания, которые можно было бы рассматривать как симптомы кризиса. Обращение к исторической литературе свидетельствует, что характеристика повседневного сознания прошлых эпох — вещь чрезвычайно сложная. Соответственно не просто охарактеризовать масштабы кризиса сознания на «крутых поворотах» истории и осуществлять сравнение кризисного сознания прошлых эпох с повседневным сознанием наших современников.

Считая кризис повседневного сознания ряда переходных эпох совместным (охватывающим все слои и социальные группы), исследователи используют так называемые «непрямые методы» (термин А. Я. Гуревича), дающие возможность охарактеризовать сознание широких масс населения. Так, анализируя тексты прошений, составленных писцами, либо «покаянных книг», авторами которых были проповедники, историки реконструируют массовое сознание племеевского Египта и Средневековья. А. Я. Гуревич, отмечая широкую популярность «пессимистического понимания современности» в Средние века [3, с. 133], так пишет о «покаянных книгах» как источнике изучения народной культуры Средневековья: «Перед нами своего рода «анкеты», — повторяю, они содержат лишь вопросы, но их анализ может в какой-то мере приблизить нас к пониманию духовного мира тех людей...» [4, с. 63].

Современные социологи, исследующие явления кризисного сознания, могут судить о нем не на основании вопросов, которые они же сами и задают, а посредством анализа содержания ответов на поставленные вопросы. Тем не менее постановка вопросов (о чем спросить?) имеет существенное значение при использовании их для квалификации массового сознания как кризисного. Существенную роль в этом играет содержащееся в исторической и социально-философской литературе указание на доминирование в кризисных обществах состояния неуверенности, значимость содержания представлений о будущем для понимания настоящего.

Жак ле Гофф, характеризуя Средневековье, считает, что именно *неуверенность в будущем* влияла на умы и души людей этого общества, определяя их поведение. «Эта лежавшая в основе всего неуверенность, — пишет он, — в конечном счете была *неуверенностью в будущей жизни* (курсив мой. — И. П.), блаженство в которой никому не было обещано наверняка ни добрыми делами, ни благоразумным поведением» [5, с. 302]. Представление о буду-

щем, таким образом, определяет не только пессимистическое, но и оптимистическое восприятие действительности и невзгод переходного периода.

Карл Ясперс, например, объясняя оптимизм «переходного» XVIII столетия, считал, что пессимистическому видению мира противостояли «популярные картины будущего великолепия, коренящиеся в *идеях* прогресса...» [6, с. 158]. «Видение настоящего, — пишет он, — в такой же степени зависит от восприятия прошлого, как от прогнозирования будущего. Наши мысли о будущем влияют на то, как мы видим прошлое и настоящее» [6, с. 155].

Итак, изучению кризисного сознания могут быть предпосланы следующие методологические положения: именно образ будущего (его оптимистическая или пессимистическая оценка) обуславливает восприятие реальных трансформационных процессов и характеризует особенности адаптации населения к происходящему, состояние его сознания и поведенческие реакции. О значимости для состояния сознания «определенности жизненной перспективы», «модели будущего», «уверенности в завтрашнем дне» и пр. свидетельствует философская и социологическая литература, посвященная анализу проблем идеологии и утопического сознания, различного рода источники, описывающие состояние сознания военного времени. Характеризуя общественные настроения периода Первой мировой войны, Й. Хейзинга пишет, что «все внимание в те годы было направлено на ближайшую задачу: продержаться, выжить, напрягши силы, а затем, когда война будет позади, мы все поправим, жить станет лучше, да, и навеки!» [2, с. 247]. Вдохновляла, таким образом, перспектива, вселявшая оптимизм. На важность размежевания кризисов с «перспективой» и без нее обращают внимание исследователи суицидального поведения, признающие роль общественных кризисов в явлениях суицида.

Решая вопрос о симптоматике кризисного сознания, особое внимание следует обратить на выявленное в процессе изучения нестабильных обществ так называемое явление «презентизма». Суть последнего состоит в том, что в условиях всеобъемлющих общественных изменений и постоянной нестабильности люди живут только сегодняшним днем, не задумываясь о будущем, не ставя перед собой сколько-нибудь отдаленных целей. На первый взгляд, такое заключение противоречит тому, что существенное значение для состояния сознания в эпоху кризиса имеет именно образ будущего. На самом деле «презентизм» — это результат сложного взаимодействия пред-

ставлений о настоящем, прошедшем и будущем, это (что представляется крайне важным для понимания сущности «презентизма») и пессимистический образ будущего, сформировавшийся сквозь призму определенного восприятия настоящего. Польский социолог Элизабет Тарковская, анализируя явление «презентизма» в ряде своих работ [7, 8, 9], пишет следующее: «Глубокие политические, экономические и социальные изменения, а также их аккумуляция в очень короткий период обуславливают способ понимания людьми времени, влияют на их отношение к прошлому, настоящему и будущему». При этом «формируется специфическое отношение к будущему, выраженное в чувстве неуверенности и непредсказуемости». Такая «презентистская ориентация», по мнению Э. Тарковской, «может быть опасной для реформ» [9, с. 271].

Об особой роли кризисного настоящего в восприятии не только будущего, но и прошлого, пишут П. Бергер и Т. Лукман. По их мнению, в кризисной ситуации настоящее является реальным основанием отношения к прошлому в процессе ресоциализации (альтернации). Именно в соответствии с восприятием настоящего перетолковывается прошлое [10, с. 263]. Интересные соображения о «перетолковании прошлого» в период Средневековья находим у А. Гуревича. Характеризуя народные «воспоминания» этого периода как «мифопоэтические утопии», он пишет: «Насколько эпическое сознание не считалось при этом с *настоящей историей* (курсив мой. — *И. П.*), видно хотя бы из того, что к числу подобных добрых королей оно относило Карла Великого, Фридриха Барбароссу или Олава Святого» [3, с. 118]. Кризисное настоящее, таким образом, обуславливает оптимистическое перетолкование прошлого и пессимистическое переживание будущего.

Социально-философская проблема сложного взаимодействия восприятий настоящего, прошедшего и будущего еще ждет более углубленного решения средствами социологического анализа, предполагающего проведение эмпирических исследований. В последнее время в постсоветской социологической литературе появляются интересные работы, посвященные проблемам переживания социального времени [11], характеристике различных моделей социального времени [12], проблемам оптимизма/пессимизма в переходном обществе [13]<sup>1</sup>. Главное состоит в том, что прилагаются усилия для при-

---

<sup>1</sup> Украинский вариант этой статьи см.: Леонід Кесельман, Марія Мащевич. Індивідуальний оптимізм/песимізм у сучасній російській трансформації // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. — 1998. — № 1–2.

влечения к анализу указанной проблематики средств эмпирического изучения. По мнению А. А. Давыдова, понятие социального времени, являющееся базовым для теоретической социологии, традиционно анализируется в рамках так называемой гуманитарной парадигмы, «в то время как математическая и естественно научные парадигмы практически не используются» [12, с. 98]. Использование последних, считает А. А. Давыдов, дает возможность сделать вывод о том, что в условиях «конкретного социального процесса и периода» доминирующая роль может принадлежать будущему [12, с. 101]. Таким образом, эмпирические и математические средства исследования, как можно предположить, могут продвинуть нас и в решении проблем кризисного сознания.

В настоящее время аналогичные проблемы разрабатываются: в Украине — Н. В. Паниной и Е. И. Головахой [14], в Беларуси — Е. М. Бабосовым [15], в России — В. А. Ядовым [16 и 17] и В. Н. Шубкиным [18]. Социально-тревожное сознание изучается российскими социологами совместно с профессором Мичиганского государственного университета (США) В. Э. Шляпентохом, предложившим исследовательский проект «Катастрофическое сознание в современном мире» («Catastrophic Thinking in the modern world, its intensity and influence on politics»). Исследование кризисного сознания связано с социологическим изучением социальной адаптации, социально-психологических аспектов социальных изменений, с исследованием эмоциональных и поведенческих отклонений в рамках так называемой «социологии социальных проблем». Полезные идеи содержатся в работах, в которых рассматриваются социальные аспекты природных катастроф и порожденных ими бедствий: Е. Кворентелли (США) «Disaster: Theory and Research» (1978), «What is Disaster? The need for clarification in definition and conceptualization in research» (1985), А. Пригожина (Россия) «Социодинамика катастроф» (1994) и др.

В западной социологической литературе высказывается точка зрения, согласно которой в настоящее время именно теории катастроф и хаоса «могут внести значительный вклад в концептуализацию социальных изменений» [19, с. 1]. По мнению президента Американской социологической ассоциации Маурин Халлинан, использование данных теорий и соответствующих этим теориям математических моделей как методологических инструментов изучения драматических переворотов последних десятилетий можно рассматривать и как пе-

реворот в самой социологии, как своеобразную научную революцию в ее куновском понимании [19, с. 9].

О необходимости использования новых подходов (так называемой «парадигмы нелинейности»)<sup>2</sup> в изучении современных социальных изменений обращается внимание и в постсоветской социологической литературе. Е. М. Бабосов, указывая на конструктивность данных подходов при исследовании кризисных и катастрофических процессов, приводит интересную «катастрофную типологизацию». Среди катастроф различного типа он выделяет, в частности, *социальные и личностные*, хотя считает, что «в любую катастрофическую ситуацию неизменно оказывается вовлеченным человек: то ли как инициатор, то ли как жертва, то ли как очевидец». Именно этот аспект, по мнению Бабосова, «составляет объект социологии, принимающей в орбиту своих исследований те катастрофические события, которые несут угрозу индивидуальному человеческому существованию, данной социальной группе (семья, трудовой коллектив, территориальная этническая общность), обществу в целом» [15, с. 20].

Понятие катастрофы, таким образом, употребляется широко, охватывая и природные, и общественные катаклизмы. С другой стороны, катастрофа — это не просто *ухудшение* или даже *значительное ухудшение*, а изменения состояния, представляющие *угрозу существованию*. Возможно, по этому критерию целесообразно различать катастрофу и кризис, соответственно *катастрофическое сознание* и *кризисное сознание*. Тем не менее понятие катастрофы в большей степени используется для обозначения бедствий, порожденных именно природными катаклизмами, соответственно катастрофическое сознание — реакция на эти внезапные, «внешние» по отношению к человеку и обществу обстоятельства. Кризисное же сознание обычно приписывают переходному, нестабильному обществу и рассматривают его как явление, сопутствующее масштабным социально-культурным трансформациям. В процессе таких трансформаций гибнет одна культура и формируется другая. Одним из следствий гибели культуры является «...распад привычного образа мира, что влечет за собой массовую дезориентацию, утрату идентификаций на

---

<sup>2</sup> Заметим, что отказ от «линейности» рассматривается в современной социологии как критерий различения «modernity» и «postmodernity». Об этом пишет, например, Е. Тарковская в рецензии на книгу: Н. Nowotny Time. The Modern and Postmodern Experience, translated from German by Neville Plaice. — Cambridge: Polity Press, 1994. (См. также: 20, с. 192).

индивидуальном и групповом уровнях, а также на уровне общества в целом» [21, с. 208]. Если же использовать понятие катастрофы в широком смысле слова и понимать под катастрофическим сознанием любое «восприятие жизненного пространства как непригодного для жизни» [17, с. 80], то грань между катастрофическим и кризисным сознанием становится весьма условной. *Восприятие жизненных условий как катастрофы выступает кульминационной точкой кризиса сознания.*

Не вполне надежным способом спецификации катастрофического сознания является так называемый «депривационный подход». Его сторонники разграничивают «относительную депривацию», означающую разрыв между желаемым и достигнутым, и абсолютную, обусловленную невозможностью обеспечения «элементарных жизненных потребностей». Именно с последней связывают «ощущение катастрофы» [17, с. 80]. Но в реальной жизни разрыв между желаемым и достигнутым переживается подчас как невозможность удовлетворять элементарные жизненные потребности, в частности, потребность в самой жизни. Это обнаруживается, например, в явлении суицида, которое мотивируется восприятием социокультурной действительности как жизненной катастрофы. Массовыми пессимистическими психозами в определенных обстоятельствах может обраться лишение не элементарных, а просто привычных благ и условий. *Кульминационный момент превращения кризисного сознания в катастрофическое всегда относителен и обусловлен конкретными социокультурными, историческими обстоятельствами и сложным взаимодействием множества качественно различных факторов.*

При изучении кризисного сознания следует исходить также из того, что многообразные невротические симптомы, наблюдаемые в переходном обществе, — результат пересечения сугубо индивидуального и общественного. Заключение Э. Эриксона о том, что «нельзя разделять кризис идентичности в индивидуальной жизни и современные кризисы в историческом развитии» [22, с. 23], стимулирует совмещение макро- и микросоциологических подходов при изучении невротических состояний. На необходимость такого совмещения указывают авторы «Социологии социальных проблем» [23, с. 23–25], а также исследователи суицидального поведения [24, с. 553; 25, с. 69].

Важное теоретическое и практическое значение при изучении кризисного сознания имеет его диагностика, отслеживание ди-

намики нарастания кризисных явлений, установление факторов, обуславливающих эту динамику. Это предполагает накопление значительного объема информации, работу с большими массивами. Оценка степени кризисности сознания осуществляется посредством различных его характеристик. Для оценки кризисного сознания в общем виде используются различного рода шкалы (например, «общей жизненной удовлетворенности», разработанная американскими психологами ILS-Index Life Satisfactory, адаптированная Е. Головахой и Н. Паниной [см.: 12]); для характеристики тревожности применяют стандартный тест общей обеспокоенности (General anxiety), используемый В. А. Ядовым [см.: 15], интегральный индекс социального самочувствия (ИИСС), предложенный Головахой и Паниной [26], и др. Тесты эти, хоть и используются в массовых опросах, как правило, довольно сложны для масштабных обследований. Поэтому одной из наших задач было нахождение относительно просто фиксируемых характеристик, презентующих кризисность сознания.

Существует и другая сторона проблемы, инициировавшая направления нашего поиска таких характеристик. В социологической литературе, посвященной исследованию пессимизма/оптимизма, обращается внимание на то, что в качестве индикатора в подобных исследованиях, как правило, использовалось не видение перспектив, а удовлетворенность нынешней ситуацией. «Пессимизм/оптимизм, фиксирующий не отношение к нынешней ситуации, а ожидаемое будущее, — пишут Кесельман и Мацкевич, — в социологических исследованиях применяется значительно реже» [13, с. 40]. Сами авторы в качестве индикатора экономического пессимизма/оптимизма принимают представление об индивидуальной экономической *перспективе*. Выбор *образа будущего* для характеристики состояния сознания, индикатора его кризисности инициировался не только социально-философской разработкой проблемы. Учитывалось и то, что в субъективном восприятии индивида «именно планируемое, ожидаемое и предвидимое будущее обеспечивает единство и целостность его биографии и, следовательно, прочность и долговременность его идентификаций» [21, с. 209].

В наших исследованиях в качестве переменных, с помощью которых фиксировались представления о будущем, выступали verbally выраженные «уверенность в завтрашнем дне», «ожидания», «чувства, которые испытывают, когда думают о будущем», пред-



ставление о том, «уже позади или еще впереди основные жизненные трудности»<sup>3</sup>. Из всех моделей будущего именно «уверенность в завтрашнем дне» была «сквозной» характеристикой, фиксируемой во всех массивах. Поэтому основное внимание в данной статье будет уделено «уверенности в будущем». Неуверенность в будущем рассматривалась нами как переживание «бесперспективности», а повышение показателя неуверенности — как свидетельство нарастания кризисного сознания.

Анализ динамики «уверенности», а также выяснение связи уверенности с другими характеристиками позволил составить следующую общую картину: индекс уверенности ( $I_{уб}$ ) при некоторых колебаниях неуклонно снижался до 1996 года: по области в целом от  $-12$  в декабре 1989 года до  $-67$  в январе 1996 года, по Одессе от  $-36$  до  $-70$ . К 1998 году  $I_{уб}$  и по области в целом, и по Одессе повысились (соответственно составляли  $-58$  и  $-61$ ), что, вероятно, свидетельствует о некоторой стабилизации основных жизненных условий, характерной для данного периода, и относительной адаптации к ним населения.

Значительное падение  $I_{уб}$  имело место в марте–апреле 1991 года (на  $18-20$  единиц), а затем через год — в марте 1992 года (на  $10-12$  ед.). В обоих случаях опросам предшествовало резкое повышение

---

<sup>3</sup> «Уверенность в завтрашнем дне» измерялась посредством 5-балльной шкалы (Чувствуете ли Вы уверенность в завтрашнем дне? — Да, вполне уверен; Скорее уверен, чем нет; Скорее не уверен; Нет, совершенно не уверен; Затрудняюсь ответить) или 3-балльной (Да, Нет, Затрудняюсь ответить). Вопрос «Ожидаете ли Вы изменений к лучшему в Вашей жизни» предусматривал следующие варианты: Нет, в обозримом будущем улучшений не жду; Да, но не скоро; Да, лет через пять; Да, в ближайшие год-два; Не знаю. Учитывались данные по 14 массивам (область в целом и Одесса отдельно). Данные репрезентативны: в Одессе опрашивалось в среднем  $450-500$  чел., по области в целом —  $1000-1200$ . Ошибка выборки, как правило, не превышала  $4-5\%$ . Контролируемые признаки: пол, возраст, место жительства (Одесса, малые города, пгт, село).

К сожалению, не было возможности проследить связь с одними и теми же признаками по всем массивам, т. к. опросы, в которых фиксировались модели будущего, были посвящены различным темам. Не учитывались также данные, где наполнение (в каждой клеточке) было незначительным. Поэтому одни пункты выводов следуют из данных одних массивов, другие — из других. Для обоснования выводов используются значения индекса ( $I_{уб}$ ), который изменяется от  $-100$  до  $+100$ . Индекс рассчитывался как разница между положительными и отрицательными ответами, где 0 означает баланс тех и других. В пятичленной шкале индекс рассчитывался с учетом веса позиции. При анализе использовались также: значения коэф. Крамера (для определения тесноты связи), коэф. Дельта (для определения информационной зависимости с учетом направления связи). Время проведения опросов — 1989–1998 годы.

цен. 1992 год, как известно, был также годом распада Союза, что, как можно предположить, существенно повлияло на настроения населения. Резко выраженное нарастание пессимизма на постсоветском пространстве в 1992 г. — факт, зафиксированный в различных опросах, проводимых в странах бывшего Союза. Так, например, Е. Головаха и Н. Панина, обращая внимание на значимость для респондентов прогноза своего положения в будущем, считают, в частности, что переломным в этом отношении явился конец 1992 г., когда «апокалиптические настроения становятся если не доминирующими, то, по крайней мере, распространенными» [14, с. 101].

Заметим, что сопоставление результатов изучения уверенности населения в завтрашнем дне и суицидального поведения представляет значительный интерес и свидетельствует о необходимости дальнейшего исследования этой связи. С. Ахмедова, анализируя данные «Телефона доверия» (ТД)<sup>4</sup>, обнаружила, например, что объективные характеристики потенциальных суицидентов, обратившихся на ТД, совпадают с объективными характеристиками неуверенных в будущем жителей. Это свидетельствует о соответствии общего психологического состояния индивидуальному. Интересно, что при общем соответствии динамики суицидального поведения динамике «уверенности», а также при наличии связи «уверенности» с субъективными оценками изменения материального положения и жизни вообще по массиву в целом, в суицидальных настроениях преобладают (по данным ТД) сугубо индивидуальные, личные мотивы. Это свидетельствует о том, что общественный кризис преломляется через индивидуальное состояние, поэтому явления кризисного сознания должны комплексно изучаться представителями различных наук.

Уверенности-неуверенности в завтрашнем дне соответствует и отношение к суициду (степень оправдания суицидального поведения). Об этом свидетельствует обследование выпускников общеобразовательных школ Одессы, проведенное в марте 1996 года<sup>5</sup>. При относительно высоком индексе уверенности (–11 в сравнении с –61 у молодежи от 18 до 30 лет и с –73 у всего населения) самый низкий

---

<sup>4</sup> Были проанализированы регистрационные журналы городского ТД за период с 1989 по 1994 год. Подробнее см.: Ахмедова С. Социологический подход к анализу суицидологической информации телефона доверия // Харьковские социологические чтения-97. — 4.П. — Харьков: Основа, 1997.

<sup>5</sup> Аналогичным образом объясняют изменение картины возрастного оптимизма/пессимизма Кесельман и Мацкевич [см.: 13, с. 44].

уровень уверенности ( $-41$ ) у тех ребят, которым присуща высокая степень оправдания суицидального поведения; самый высокий индекс уверенности ( $+20!$ ) у тех, кто менее всего склонен оправдывать этот акт.

Выяснение связи «уверенности» с объективными характеристиками (пол, возраст, среднедушевой доход) показало, что, несмотря на определенную тенденцию (доход, молодость, принадлежность к мужскому полу обуславливают наличие их положительной связи с уверенностью), картина связи данных переменных в разные периоды различна. Например, в 1989 году вариационный размах  $I_{ув}$  у групп, выделенных по среднедушевому доходу, равнялся 37, тогда как в 1996 году он составил всего 15. Начиная с 1996 года  $I_{ув}$  у различных возрастных групп варьируется в значительно меньшей степени, чем в предшествующие годы. Причем и в 1996, и в 1998 году имеет место видимое падение  $I_{ув}$  (по сравнению с более молодыми группами) в возрастной группе 40–49 лет, тогда как в 1992 году резкое падение  $I_{ув}$  наблюдалось лишь у пожилых (60 лет и старше).

Укажем также, что «картина уверенности» групп, выделенных по другим признакам, в последние годы также меняется. Например, в 1994 г.  $I_{ув}$  имеющих «собственное дело» был выше средней «уверенности» по массивам и в 3 раза превышал  $I_{ув}$  тех, кто такого дела не имел. Уже в 1996 году этот разрыв существенно уменьшился, и наличие «собственного дела» не внушало такого оптимизма, как раньше. То же самое можно сказать и об «уверенности» таких социальных групп, как руководители предприятий и предприниматели. Хотя их  $I_{ув}$  остаются самыми высокими, разрыв значений индексов этих и других групп сокращается. Эти данные свидетельствуют о том, что *неуверенность в завтрашнем дне при некоторой стабилизации его уровня в последнее время приобретает глобальный характер, охватывая различные социальные группы, включая и те из них, представители которых имеют значительный практический опыт работы, достаточно высокую квалификацию, а главное — тех, кто, казалось бы, вполне приспособился к новым, «рыночным» условиям.*

Выяснение связи возраста и «уверенности» показало, что «неуверенность» не всегда является «привилегией» тех, кому за 50. Вплоть до 1992 года у этой категории населения, а также в возрастной группе 40–49 лет были наиболее высокие  $I_{ув}$ . Это свидетельствовало, как мы считаем, об относительной востребованности в тот период практического опыта, квалификации и образования (уровень последнего ока-

зался наиболее высоким в возрастной группе 40—49 лет)<sup>6</sup>. Причем, как показали результаты анализа данных, уверенность-неуверенность в большей степени зависела не от оценки самих обстоятельств, а от представления об их изменении (ответы на вопрос, улучшилось или ухудшилось материальное положение, жизнь в целом за последние несколько лет).

Заметим, что имеется известное соответствие происходящих в современных постсоветских обществах экономических и социокультурных процессов кризисным явлениям, характерным для американского общества периода Великой депрессии 30-х годов. Это был также период становления и бурного развития американской эмпирической социологии, давшей образцы описания состояния страха и безысходности, порожденных обвальным *понижением* социальных статусов. И в настоящее время изменение социальной стратификации, нисходящая мобильность анализируются в США с учетом психологических следствий и стрессов, которые этими процессами порождаются [27]. Однако было бы неправильно связывать кризисное состояние сознания только с ухудшением материального положения.

Как отмечалось нами ранее, «уверенность» в большей степени была связана с оценкой изменения жизни вообще<sup>7</sup>, чем с оценкой своего материального положения и изменения последнего. В 1996 году, например, индекс оценки изменения «жизни вообще» оказался на 14 единиц ниже оценки изменения материальной жизни и был одним из самых низких по массиву. Причина этого, вероятно, в том, что общественный пессимизм в наибольшей степени обусловлен *общей социальной дезорганизацией*, характерной для процессов, происходящих на постсоветском пространстве. «Ситуация социальной дезорганизации, — считает Л. Я. Косалс, — возникает, когда сломан механизм поощрения за следование социальной норме и наказание за ее нарушение. Когда имеет место произвол — хочешь, следуй тому или иному правилу, хочешь — не выполняй его. Тогда имеет место нарушение социального порядка и потеря социальных ориентиров» [28, с. 26].

---

<sup>6</sup> Выборочный опрос репрезентативен для всех выпускников общеобразовательных школ Одессы. Контрольные признаки: тип школы, язык обучения, район города. Ошибка выборки — 3 %. Всего опрошено 378 человек.

<sup>7</sup> Ответ на вопрос "В целом Ваша жизнь за последние несколько лет: 1) ухудшилась; 2) не изменилась; 3) улучшилась; 4) затрудняюсь ответить".

На значимость оценки жизни в целом обращают внимание и харьковские социологи, исследовавшие в 1996 году уровень социальной напряженности городского населения. По их данным, 2/3 опрошенного населения в этот период считало, что их жизнь за последний год ухудшилась. При этом среди самых общих причин беспокойства существенное место занимала неуверенность в завтрашнем дне [29, с. 161]. Отмечая отчуждение от общества, нарастание тревожности и пессимистических настроений, наши харьковские коллеги пишут: *«Социальная дезорганизация, потеря прежнего социального статуса или отсутствие четкой идентификации с новыми социальными группами порождает социальную неудовлетворенность и ощущение невостребованности, которые в 90-х годах практически характерны для большей части населения Украины»* [29, с. 70].

На социальный (общественный) характер уверенности-неуверенности и обусловленность последнего сложным взаимодействием различных общественных факторов обращают внимание российские исследователи социально-тревожного сознания. Они считают, что «уверенность-неуверенность» («В какой степени Вы уверены в своем будущем?») в меньшей степени связана со страхом перед природными катаклизмами и боязнью разрушения природной среды обитания. В гораздо большей степени она связана с многообразными (разнокачественными) социальными факторами: боязнью безработицы, снижением жизненного уровня, американизацией, утратой чувства коллективизма, криминализацией общества [15, с. 86].

Состоянию неуверенности соответствуют и другие чувства, испытываемые людьми при размышлениях о будущем («Какие чувства Вы испытываете, когда думаете о будущем?»). В наших исследованиях и в 1996, и в 1998 году почти 90 % населения указало на отрицательные чувства, среди которых преобладают «тревога и беспокойство», страх, безысходность. «Надежда», отмеченная третью респондентов, носила явно пессимистический характер, что подтверждается результатами использования средств кластерного анализа (осуществлен М. Б. Кунывским): на всех подмассивах (область в целом и поселения различного типа) надежда попадает в один ряд с такими чувствами, как беспокойство, страх, безысходность, и характеризует скорее синдром отчаяния и безысходности, чем оптимистической веры в будущее (см. рис. 1, 2).

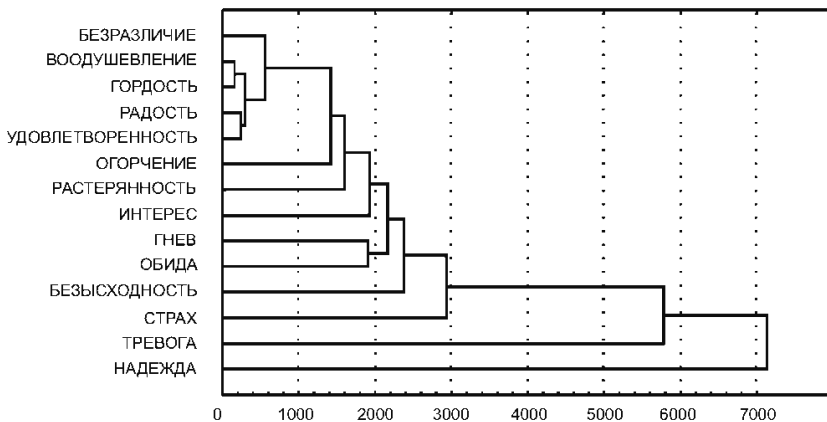


Рис. 1. Чувства, испытываемые населением при мыслях о будущем (жители Одесской области) (N = 274)

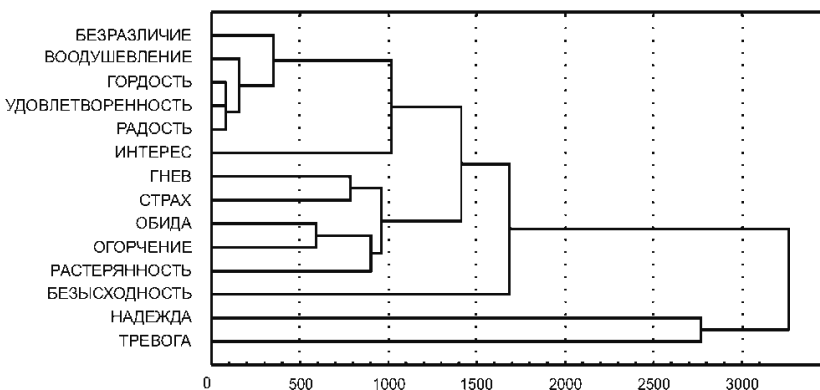


Рис. 2. Чувства, которые испытывает население, размышляя о будущем (одесситы) (N=354)

Другая используемая нами модель будущего, фиксируемая как «ожидания», из всех субъективных оценок оказалась наиболее тесно связанной с уверенностью. Она также свидетельствует о распространенности пессимистических настроений: после 1991 года на всех массивах индекс ожиданий имеет отрицательное значение и вплоть до 1996 года неуклонно понижается. Представляют интерес не столько значения индексов, сколько сравнения вариантов от-

ветов, данных в 1989 году и через 6–8 лет «реформирования» (см. табл.).

**Динамика распределения ответов населения Одесской области на вопрос:  
«Ожидаете ли Вы изменений к лучшему в Вашей жизни», %**

<i>Варианты ответов</i>	1989 год	1996 год	1998 год
Нет, в обозримом будущем не жду	21	40	32
Да, но не скоро	14	25	23
Да, через 5 лет	32	9	8
Да, в ближайшие год-два	18	8	16
Не знаю	15	8	21
Значения индексов	12	-22	-16

Сравнение различных моделей будущего свидетельствует, что «ожидания» больше, чем «уверенность», связаны с различными объективными характеристиками респондентов. Относительная «заземленность» ожиданий выражается и в более тесной связи с оценками материального положения (и его изменения), чем с общей жизненной удовлетворенностью и оценкой справедливости общества. Для «уверенности» же более значимы именно общие, относительно абстрактные оценки.

«Уверенность» связана с «реальными обстоятельствами» не непосредственно, а как бы опосредованно, через общее мировосприятие. Есть основания предполагать, что «уверенность/неуверенность» как оценочная модель будущего в большей степени, чем «ожидания», является существенным компонентом целостной ценностной системы повседневного сознания, к которой относится и общая удовлетворенность жизнью в целом. В «ранних» массивах (1989–1991 годы) связь между общей удовлетворенностью и уверенностью (коэф. Крамера) была наиболее значимой — 0,33, 0,38, 0,49, тогда как для среднедушевого дохода, возраста, образования коэф. Крамера не превышал 0,10. Даже связь «уверенности» с оценками уровня жизни характеризовалась коэффициентами, равными 0,18 или 0,19.

В этот же период времени (по «ранним» массивам) обращала на себя внимание *тесная связь «уверенности» с различными оценками справедливости*: справедливо ли общество, распространенность случаев несправедливости, успешность борьбы с несправедливостью и др. (коэф. Крамера = 0,24, 0,25, 0,21). При этом если отношение «удовлетворенность» — «уверенность», как правило, было транзитивным (о чем свидетельствовал коэф. дельта), то отношение «справед-

ливость» — «уверенность» носило иной характер: «справедливость» играла как бы ведущую, «базисную» роль по отношению к «уверенности» —  $u/x$  был выше, чем  $x/u$  (где  $u$  — уверенность, а  $x$  — справедливость), и порой значительно. «Уверенность» же играла ведущую роль по отношению к оценкам различных сторон жизни (зарплаты, материального уровня жизни, рыночных реформ, различных органов власти, предпринимателей, предстоящих изменений и др.) и даже по отношению к удовлетворенности уровнем жизни.

Однако «базисная» по отношению к оценкам различных сторон жизни роль «уверенности» в «переломном» 1992 году ослабевает, ведущую роль по отношению к ней приобретает оценка уровня жизни. В марте 1992 года, когда резко снизился  $I_{ув}$ , коэф. дельта  $x/u = u/x$  (0,23), но уже в октябре для тех же характеристик  $x/u$  (где  $u$  — «уверенность», а  $x$  — оценка уровня жизни) равен 0,14, а  $u/x = 0,24$ . В 1996 и 1998 годах теснота связи между «уверенностью» и общими оценками (справедливостью и общей удовлетворенностью), с одной стороны, и «уверенностью» и оценками материального положения, — с другой, была практически одинаковой (коэф. Крамера принимал значения от 0,19 до 0,22). Ведущую роль по отношению к «уверенности», однако, играли именно оценки материального положения. (Например, в 1998 году  $x/u = 0,18$ , а  $u/x = 0,32$ , где  $u$  — уверенность, а  $x$  — оценка материального положения.)

Приведенные данные, как можно предполагать, свидетельствуют о некотором переструктурировании повседневного сознания относительно целостной системы представлений, называемой М. Рокичем *belief system*. Характер последней, по его мнению, определяется тем, какие из представлений находятся в центре системы, какие — на периферии. При этом важное значение имеет то, как взаимодействуют между собой верования различного типа: более простые, первичные, приобретаемые в процессе жизненного опыта и более абстрактные, перенимаемые от различного рода «авторитетов», обеспечивающие чувство групповой идентичности и структурирующие всю систему представлений [30].

Характеризуя повседневное сознание как систему представлений, имеющую определенную структуру, и анализируя связи между фиксируемыми переменными, мы пришли к заключению, аналогичному сделанному В. А. Ядовым: «Критериальным в нашей культуре является несомненное доминирование ценности социальной справедливости...» [17, с. 80]. Н. Ф. Наумова также считает социальную спра-



ведливость «фундаментальной ценностью российской культуры» [31, с. 15]. По нашим данным, даже тогда, когда теснота связи оценки справедливости общества с «уверенностью в будущем» становится меньшей и практически сравнивается со значимостью для «уверенности» оценок материального положения (по коэф. Крамера), сохраняется направление влияния от «справедливости» к «уверенности» и к общей «удовлетворенности», а не наоборот (по коэф. дельта). Тем не менее следует признать падение значимости доминирующей ценности (представления о социальной справедливости) в системе представлений. Это падение, как и выдвигание на первый план оценок относительно конкретных жизненных условий, своеобразное переструктурирование системы представлений, ее «размывание» порождает аномию, сопровождающуюся ростом неуверенности и распространением пессимистических настроений.

Наши данные показали также, что в целом уверенность-неуверенность коррелирует с активностью-пассивностью. Самые неуверенные — это не резко отрицательно относящиеся к происходящим изменениям, а те, кто ничего не предпринимает и не собирается предпринимать для улучшения или же считает, что делать что-либо бесполезно. Например, по данным массива 1989 года,  $I_{ув}$  борющихся против несправедливости (по самооценкам, которые следует рассматривать не как свидетельство реальной борьбы, а как проявление активистской идеологии) равен  $-04$ , а тех, кто не борется, смирившись с несправедливостью, равен  $-38$ . В 1998 году картина была аналогичной:  $I_{ув}$  активно выступающих против несправедливости был  $-39$ , а «примирившихся» —  $-65$ . При этом направление влияния шло не от «уверенности» к «активности», а наоборот: зная о степени активности, с большей вероятностью можно говорить об уровне уверенности, нежели, зная об уверенности, делать заключение об активности (коэффициенты дельта соответственно равны  $0,22$  и  $0,14$ ). Свою пассивность неуверенные проецируют на других (явление атрибуции, описанное в когнитивной психологии). «Пассивность других» — весомый для идеологии неуверенных фактор:  $I_{ув}$  считающих, что именно «пассивность, безразличие людей» мешает борьбе против несправедливости, на  $20$  единиц ниже, чем  $I_{ув}$  уверенных, что мешают «внешние (по отношению к людям) факторы». Данное явление (связь неуверенности с пассивностью) социологи обозначили как «ожидающее общество», подразумевая под «ожиданием» бездеятельность и апатию,

обусловленные неизвестностью и неопределенностью будущего в нестабильном социуме [8, с. 95].

Анализ эмпирических данных дает основание предполагать, что фактором, повышающим степень уверенности и позволяющим преодолеть нарастающие кризисные явления в условиях трансформации, может стать консолидирующая идея. Косвенным свидетельством этого является следующее: поборники национальной идеи (интересы нации выше интересов государства; необходимо создать условия для преимущественного развития коренной национальности, не входить в союз — содружество и др.) более уверены в будущем, чем те, кто такой идеей не вдохновлен (последних, кстати, подавляющее большинство). Объяснить связь «уверенности» с приверженностью национальной идее, как нам кажется, можно тем, что последняя поддерживает определенное «состояние духа», оптимистическую идейность. Мобилизуя и активизируя своих сторонников, национальная идея позволяет преодолеть состояние аномии и подавленности, создает иллюзию перспективы и конструктивности, конкретной программы деятельности. Об этом опять-таки свидетельствует направление связи: от «национальных идей» к «уверенности», а не наоборот.

Итак, уверенность в будущем — важнейший компонент целостного активистского мировосприятия. Неуверенность же связана с пассивностью. Если использовать классификацию «аномической адаптации», данную Т. Парсонсом, то рост неуверенности — это свидетельство все большего распространения именно «отчужденной пассивности», которая в настоящее время получает повсеместное распространение в постсоветском пространстве. Представление о будущем, оценка перспектив изменения — важный фактор, обуславливающий восприятие населением происходящих перемен и характеризующий состояние сознания трансформирующегося общества. В качестве операционального признака представления о будущем может выступать «уверенность в завтрашнем дне». Данный признак, который целесообразно использовать для диагностики кризисного сознания, связан с различными другими характеристиками сознания. Состояние уверенности/неуверенности, соответствующее состоянию оптимизма/пессимизма, существенным образом определяется наличием либо отсутствием такого компонента повседневного сознания, как вселяющая веру в будущее консолидирующая идея. Как рождаются и утверждаются в повседневном сознании такие идеи, это другой разговор, выходящий за рамки данной статьи.

### *Литература*

1. Тойнби А. Дж. Постижение истории. — М., 1991.
2. Хейзинга Й. Homo Ludens. В тени завтрашнего дня. — М., 1992.
3. Гуревич А. Я. Категории средневековой культуры. — М., 1984.
4. Гуревич А. Я. Проблемы средневековой народной культуры. — М., 1981.
5. Ле Гофф Ж. Цивилизация средневекового Запада. — М., 1992.
6. Ясперс К. Смысл и назначение истории. — М., 1991.
7. Tarkowska E. Uncertainty of the Future and Domination of the Presentist Orientation: a New Lasting Phenomenon? // *Sisyphus Sociological Studies*. — Vol. VI. — Warsaw, 1989.
8. Tarkowska E. Waiting Society: the Temporal Dimension of Transformation in Poland // *The Polish Sociological Bulletin*. — 1993. — № 2.
9. Tarkowska E. The Cultural Responses to Permanent Instability // *Cultural Dilemmas of Postcommunist Societies*. — Warsaw: IFiS Publishers, 1994.
10. Бергер П., Лукман Т. Социальное конструирование реальности. — М., 1995.
11. Наумова Н. Ф. Время человека // *Социологический журнал*. — 1997. — № 3.
12. Давыдов А. А. Модель социального времени // *Социологические исследования*. — 1998. — № 4.
13. Кесельман Л. Е., Мацкевич М. Г. Индивидуальный экономический оптимизм/пессимизм в трансформирующемся обществе // *Социологический журнал*. — 1998. — № 1–2.
14. Головаха Е. И., Панина Н. В. Социальное безумие. История, теория и современная практика. — Киев, 1994.
15. Бабосов Е. М. Катастрофа как объект социологического анализа // *Социологические исследования*. — 1998. — № 9.
16. Ядов В. А. Социальные идентификации личности в условиях быстрых социальных перемен // *Социальная идентификация личности*. — М., 1994.
17. Ядов В. А. Структура и социально-побудительные импульсы социально-тревожного сознания // *Социологический журнал*. — 1997. — № 3.
18. Шубкин В. Н. Страх как фактор социального поведения // *Социологический журнал*. — 1997. — № 3.
19. Hallinan Maurin T. The Sociological Study of Social Change // *American Sociological Review*. — 1997. — Vol. 62.
20. Tarkowska E. Time in Contemporary Culture // *Polish Sociological Review*. — 1998. — 2 (118).
21. Ионин Л. Г. Социология культуры. — М., 1996.
22. Brikson E. H. Identity. Youth and Crisis. — N. Y., 1968.
23. Zastrow Ch. Sociology of Social Problems. — Chicago: Nelson-Hall, 1982.

24. Girard Ch. Age, Gender and Suicide: a cross-national analysis // *American Sociological Review*. — 1993. — № 8.
25. Орлова И. Б. Самоубийство — явление социальное // *Социологические исследования*. — 1998. — № 8.
26. Головаха Е. И., Панина Н. В. Интегральный индекс социального самочувствия (ИИСС): конструирование и применение социологического теста в массовых опросах. — Киев, 1997.
27. *From Middle Income to Poor: Downward Mobility among Displaced Steelworkers* / By Allison Zippay. — N. Y., 1991.
28. Косалс Л. Я. Социальный механизм экономических инноваций в постсоветской России: Автореф. дисс.... д-ра экон. наук. — М., 1998.
29. Изменение социально-классовой структуры общества в условиях его трансформации. — Харьков, 1997.
30. *Beliefs, Attitudes and Values. Theory of Organization and Change* by Milton Rokeach // Jossey-Bass Inc. Publisherss San-Francisco. — Washington; London, 1972.
31. Наумова Н. Ф. Жизненная стратегия человека в переходном обществе // *Социологический журнал*. — 1995. — № 2.

## ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О НАСТОЯЩЕМ, ПРОШЕДШЕМ И БУДУЩЕМ КАК ПЕРЕЖИВАНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ

Правильнее не называть времена — прошедшее, будущее, настоящее, а говорить так: «настоящее прошедшего», «настоящее настоящего» и «настоящее будущего». Некие три времени эти я не увижу нигде в другом месте, кроме как в душе.

*Августин Аврелий*

Одной из важных характеристик повседневного сознания является переживание социального времени. Представления о настоящем, прошедшем и будущем, определенный характер их взаимоотношения всегда конкретно исторически и социально обусловлены. Специфика восприятия времени относится к одной из особенностей повседневности, которую связывают, в частности, со «стандартным временем трудовых ритмов», конституирующих повседневность [1, с. 70].

В последние годы в социологической литературе социальному времени уделяется большое внимание: растет количество публикаций на эту тему, проводятся международные семинары и даже создано Международное общество изучения времени, основателем которого был Ю. Фрэзер. Этот интерес, как можно предположить, обусловлен актуальностью проблем социальных изменений, неразрывно связанных с темой времени. На это обстоятельство указывает, например, П. Штомпка. «Само переживание времени и идея времени, — пишет он, — вытекают из изменения природы реальности» [2, с. 67]. При этом социология времени («хроносоциология») развивается как бы в двух направлениях. С одной стороны, осуществляется фундаментальный анализ самого времени, характеризуется социальная его природа, выделяются различные типы времен, т. е. создаются различные *теории социального времени*, например, Н. Элиаса [3] и Б. Адам [4]. С другой стороны, анализируется *специфика различных культурных явлений, происходящих во времени* (М. Мелбин [5], Ю. Фрэзер [6], М. Янг [7] и др.).

Трансформация времени в современной культуре анализируется представителями различных наук: психологами, историками, философами, антропологами, социологами. Одна из важнейших проблем, находящихся в поле зрения исследователей в последние годы, — восприятие времени в условиях модерна и постмодерна. Проблеме этой посвящен ряд работ современных социологов, рассматривающих отношение к социальному времени в условиях того и другого как трансформацию культурных форм и ценностных ориентаций [8]. Е. Тарковская, реферирующая одну из таких работ, характеризует главную идею, лежащую в основе сравнения модерна и постмодерна, следующим образом: «новый темпоральный порядок создается не новыми техническими изобретениями, последние только посредники, он возникает во взаимодействии между людьми» [9, с. 195]. Именно определенный характер взаимодействия между людьми обуславливает, по мнению исследователей постмодерна, типичный для последнего способ упорядочения социального времени.

Идея значимости взаимодействия между людьми для понимания особенности социального времени не нова. Она содержалась практически во всех работах, посвященных социальному времени, опубликованных в советский период [10]. Социальное время анализировалось как «длительность деятельности». При этом обращалось внимание на то, что анализ структуры деятельности дает возможность «раскрыть *объективное содержание и структуру социального времени*» (курсив мой. — *И. П.*) [11, с. 22]. Аналогичным образом решались и задачи анализа исторического времени. Совершенно справедливо обращалось внимание на то, что «...понятие исторического времени как философская категория должно быть отграничено от исторически меняющихся социально и культурно обусловленных *представлений об историческом времени*» (курсив мой. — *И. П.*) [12, с. 252]. Но сами эти представления, как и представления о социальном времени (что, по мнению А. И. Ракитова, одно и то же), редко были предметом анализа. В лучшем случае давалось их историческое описание, что делает, например, М. А. Барг [13]. При этом представления о времени характеризовались как компоненты различных видов «специализированного» (неповседневного) сознания, ставшие результатом самостоятельного философского и научного исследования лишь в период Нового времени. Изменение этих представлений понималось как различие позиций представителей разных философских и исторических школ относительно объектив-

ного времени, которое «подчиняется своим собственным законам» [12, с. 250].

Несколько иную позицию по поводу представлений о социальном времени занимает А. Я. Гуревич, который акцентирует внимание на том, «...что историческое сознание преимущественно формировалось не учеными сочинениями, а легендами, преданиями, эпосом, сагами, мифом, рыцарскими романами, житиями святых» [14, с. 129]. В поле зрения А. И. Гуревича было именно повседневное сознание Средневековья — мироощущение и мировосприятие широких слоев народа. Соответственно он считает, что «...в обществе всегда существует не какое-то единое «монолитное» время, а целый спектр социальных ритмов, обусловленных закономерностями различных процессов и природой отдельных человеческих коллективов» [14, с. 159]. Поскольку ритм функционирования разных общественных групп различен, социальное время протекает неодинаково и в сознании этих групп: они по-разному воспринимают и переживают социальное время. Необходимость же координации множественных социальных ритмов создает предпосылку для существования «доминирующего социального времени в обществе», наличия типичного для определенного общества *представления о времени*, отличающегося в случае, например, средневекового общества, крайней пессимистичностью. Важно также указание А. И. Гуревича на то, что регулирование социального времени и его восприятия является средством социального контроля, влиятельной *идеологической силой* [14].

Восприятие, переживание социального времени — особая проблема, которая до недавнего времени в отечественной литературе изучалась преимущественно методами психологии. На самом деле субъективное, «внутреннее», «эмансипированное» время<sup>1\*</sup> — «время человека», «время личности» — чрезвычайно сложное и многоплановое явление, с которым имеют дело самые различные области знаний и не в последнюю очередь — социология. Многие задачи, которые социологии приходится решать: природы социальных изменений, взаимодействия поколений, социального проектирования, легитимности различных видов власти, содержания и структуры идеологии, специфики повседневного сознания и др., так или иначе связаны с проблемами именно *восприятия человеком социального времени*. Даже социальная дифференциация описывается и измеряется с исполь-

---

\* Примечания автора см. в конце статьи. — Прим. составителей.

зованием категорий социального времени, выступая как дифференциация жизненных стилей и «философий жизни»<sup>2</sup>. Исследование проблем субъективного времени приобретает особое значение в нестабильном, переходном обществе, которое резко меняет свой «облик» и делается «неузнаваемым» и «непривычным» для больших масс людей, адаптированных к прежним условиям.

Переходные процессы, происходящие на постсоветском пространстве, особенно обострили проблемы восприятия социального времени и, в частности, проблемы *понимания взаимоотношения настоящего с прошлым и будущим*. Решение практических задач реформирования общества в немалой степени зависит от того, принимаются ли в расчет представления людей об этом взаимоотношении, какому из этих составляющих социального времени отдается предпочтение. На это обстоятельство обращает внимание Н. Ф. Наумова в своем эссе «Время человека»: «Многие сложности и прямые провалы социального управления возникают здесь из-за непонимания, незнания состояния субъективного времени и ритмов жизни населения, «человеческого», мотивационно-ценностного содержания тех временных программ, которыми оперирует это управление. Эпидемия депрессии и самоубийств, отвращение к власти и социальная нестабильность во многом связаны с тем, что реформаторы и реформируемые живут в разном субъективном времени. Они по-разному переживают не только настоящее, но и прошлое с будущим» [15, с. 168].

Социологическое исследование субъективного, внутреннего времени предполагает использование определенной методологии, которая давала бы возможность, с одной стороны, выявлять особенности конструирования временной субъективной реальности, с другой — объяснять специфику механизмов данного конструирования, связывая их с определенными социальными и конкретно-историческими обстоятельствами. Даже в психологии изучение внутреннего времени предполагает учет того обстоятельства, что последнее формируется на пересечении объективных временных отношений и субъективного их отражения в процессе восприятия изменений, сопоставления различных значимых для личности событий [16, с. 5]. Тем более сложным является исследование внутреннего времени личности в социологии. Оно должно исходить из того, что время личности необходимо связано с многообразными общественными факторами формирования и функционирования, с социально-культурным его содержанием. Если исходить из того, что человек сам стремится определять границы трех



времен — прошедшего, настоящего и будущего [15, с. 168], а также того, что актуальность и значимость для жизни личности настоящего, прошедшего и будущего в определенном смысле произвольны, то возникает вопрос: каковы рамки этой произвольности, каковы пределы субъективного манипулирования временем, чем определяется *типичность* восприятия, относительное единообразие либо различие оценок прошлого, настоящего и будущего?

Методология анализа этих проблем предполагает *понимание не только взаимоотношения внутриличностного и внешнего, социально-культурного, но и взаимодействия субъективно-ценностного, символического и объективно-предметного, непосредственно практического опыта личности и общества*. Она (методология) предполагает также исследование представлений о социальном времени в рамках различных парадигм — на это обстоятельство обращает внимание А. А. Давыдов. Он считает, что анализ социального времени осуществляется, как правило, с использованием так называемой «гуманитарной парадигмы», тогда как практически не используются естественно-научная и математическая парадигмы [17, с. 98]. На антисциентизм анализа переживания времени человеком, отрицание необходимости использования в этом анализе количественных методов указывает и Н. Ф. Наумова [15, с. 107]. Существует и точка зрения, согласно которой лучшим способом исследования переживания времени является такой качественный метод, как исследование биографий («life stories»)<sup>3</sup>.

В последнее время социологами накоплен и осмысливается определенный эмпирический материал относительно переживания человеком социального времени, восприятия прошедшего, настоящего и будущего в условиях трансформации общества.

Однако приступая к социологическому изучению представлений о социальном времени и интерпретируя эмпирическим способом полученные результаты, невозможно игнорировать философский опыт анализа переживания социального времени, гуманитарное и теоретико-социологическое осмысление данной проблемы. Учитывая то и другое (результаты эмпирических исследований и философских размышлений), мы сосредоточили внимание на двух обстоятельствах: во-первых, на характере и взаимоотношениях представлений о настоящем, прошедшем и будущем; во-вторых, на выборе характеристик, которые могут выступать в качестве эмпирических референтов того, другого и третьего.

Какие предположения можно сделать по поводу оценок настоящего, прошедшего и будущего, учитывая тот факт, что речь идет об исследовании повседневного сознания *переходного* общества? Отвечая на этот вопрос, мы столкнулись с *различным* истолкованием субъективной значимости настоящего и будущего. Мыслители, которые анализировали переходные кризисные периоды в развитии общества, обращали внимание на особую значимость образа будущего для переживания настоящего. Именно этим (значимостью образа будущего), по их мнению, объясняется тот факт, что не всякие потрясения и «резкие культурные повороты» сопровождаются кризисом сознания, страхом и беспокойством. Кризисное состояние сознания характерно только для тех переходных периодов, когда отсутствует уверенность в будущем, оптимистическое восприятие последнего. Характер образа будущего, таким образом, оказывает решающее влияние на восприятие настоящего (К. Ясперс, Й. Хейзинга). Но не менее верно и то, что в философии XX века, особенно в философии экзистенциализма, «ключевой элемент существования во времени — *настоящее*», именно на настоящее, а не на будущее, ориентирована «временность», а прошлое и будущее при таком подходе в значительной степени являются «элементами настоящего»<sup>4</sup>.

К разным заключениям относительно взаимоотношения настоящего, прошлого и будущего и значимости переживания настоящего в переходном обществе приходят и социологи, опирающиеся на эмпирические данные. Так, А. А. Давыдов, использующий сложные математические методы анализа, пишет следующее: «Полученные результаты показывают, что социальное время в оценках данных респондентов «течет» от будущего через настоящее к прошлому, т. е. направленность социального времени обратна. Причем *доминирующая роль во взаимодействии прошлого, настоящего и будущего принадлежит будущему*» (курсив мой. — *И. П.*) [17, с. 99]. Польские же социологи приходят к выводу о том, что трансформационные процессы порождают так называемый презентизм. Люди живут сегодняшним днем, не принимая в расчет будущее и не ставя перед собой сколько-нибудь значимые цели. С явлением презентизма связано такое состояние социума, как «ожидающее общество», что означает крайнюю общественную пассивность, неверие в собственные силы и возможности<sup>5</sup>.

Презентизм — порождение нестабильности и бедствий, присущих обществу переходного периода. Он характерен и для определенных слоев любого общества, находящихся на низших ступенях страти-

фикационной лестницы. Как считает П. Штомпка, исключительно сегодняшним днем живут представители некоторых маргинальных групп: бродяги, бездомные, безработные. «Такое сокращение временной перспективы характерно и для тех, кто оказался в необычных, неустойчивых или опасных ситуациях, например, в сражении на войне» [2, с. 76]. По мнению П. Сорокина, своеобразный презентизм характерен для так называемого «чувственного общества», в котором отрицаются вечные ценности и господствуют быстротечные соображения типа «лови день», «обогащайся», «захвати власть», «цени популярность, славу и возможности текущего дня». Характеризуя таким образом присущий кризисному западному обществу «темпоральный, релятивистский и нигилистический склад ума», П. Сорокин пишет следующее: «Чувственное общество живет в настоящем и ценит только настоящее. Так как прошлое — необратимо и уже более не существует, а будущее еще не наступило, тем более, что оно всегда неясно, то только настоящий момент реален и желанен» [18, с. 470]. По мере того как темп изменений ускоряется, «настоящее становится все короче и все более преходящим» [18].

Е. Тарковская ссылается на данные различных исследований, авторы которых (Монгардини, Мейерхофф, Штётцель) также относят доминирование настоящего к явлению, типичному для западной цивилизации вообще. Доминирование настоящего в субъективном времени формирует определенный тип личности и определенные («эскапистские») жизненные стили: вандализм, потребление наркотиков, алкоголизм и др. [19, с. 184]. Однако доминирование настоящего связывают и со спецификой «постмодерна», имея в виду особые условия, которые характерны именно для этого качественного состояния общества: новые отношения между рабочим и свободным временем, между временем частной и общественной жизни и др. В соответствии с этим появляются новые способы избежать давления времени, а настоящее в данном случае не «сужается», а наоборот, расширяется [9, с. 193]. Как видим, *презентизм — явление многокачественное, оно требует конкретного и углубленного изучения*. Более того, существуют обстоятельства, при которых осознание особой ценности настоящего играет терапевтическую роль. «Доминирование настоящего как сознательный, а не вынужденный (imposition) выбор может быть выражением особого вида свободы» [19, с. 184]. Очевидно, что «презентизм» кризисного, нестабильного общества имеет иную природу, которая должна быть тщательно изучена. Возможно, есть смысл раз-

граничить *презентизм анемический (пессимистический)* и *презентизм гедонистический (оптимистический)*. На первый взгляд эти два вида презентизма прямо противоположны. Однако вопрос этот требует дальнейшего изучения. В частности, предстоит разобраться в том, можно ли «разносить» эти виды презентизма по принципу пессимизм/оптимизм — проблема, которая фактически была поставлена П. Сорокиным.

Особый характер в сознании кризисного общества имеет взаимоотношение не только настоящего и будущего, но и настоящего и прошлого. П. Бергер и Т. Лукман считают, например, что в кризисные периоды реальным основанием ресоциализации (в отличие от вторичной социализации, происходящей в обычное время и имеющей основание в прошлом) является настоящее [20, с. 263]. В процессе ресоциализации именно настоящее является реальным основанием отношения к прошлому. Прошлое же перетолковывается, в него вносятся элементы, которые субъективно в нем отсутствовали. Причем это *перетолкование происходит в соответствии с восприятием настоящего*. Можно предположить, что характер такого «перетолкования» может быть различным. Пессимистическое восприятие настоящего может привести к идеализации прошлого, оптимистическое — обуславливает отрицательное перетолкование прошлого.

С отрицательным перетолкованием прошлого мы столкнулись, например, в первые годы перестройки, когда уже достаточно определенно обозначился кризис общества. В одном из наших массовых опросов (посвященном проблемам социальной справедливости) вопрос звучал так: «Как Вы считаете, когда в нашей стране была в наибольшей степени достигнута социальная справедливость?». Интересно, что отвечая на этот вопрос (он был «открытым») никто не указал какой-либо хронологический период общественной жизни. Время (*когда?*) связывали с событиями или с персоналиями: до революции, при НЭПе, во время войны, после войны, в самое последнее время, при Ленине, при Сталине, при Хрущеве, при Брежневе, при Андропове, при Горбачеве. Почти половина опрошенных (47 %) считала, что справедливости не было *никогда*. В большей степени, чем с другими периодами, справедливость связывали с *«самым последним временем»* (14 %). Вместе с вариантом «при Горбачеве», который тоже относился к последнему времени (опрос проводился летом 1989 г.) приоритет «последнего времени» — выражение признательности за гласность и свидетельство надежд на разумные преобразования в будущем.

Сегодня мы являемся свидетелями так называемых «ностальгических настроений», когда положительно переосмысливается доперестроечное время и в ином свете в сознании населения предстает если не личность Сталина, то по крайней мере облик правителя с «твердой рукой». Таким образом, нет необходимости убеждать в том, как важно учитывать механизмы «перетолкования» прошлого при интерпретации результатов массовых опросов, а также взаимоотношений прошлого, настоящего и будущего в повседневном сознании.

Возникают, однако, вопросы о способах такого исследования и, в частности, о том, что следует принять в качестве эмпирических референтов оценки настоящего, прошедшего и будущего. На этом следует остановиться подробнее.

Как отмечалось ранее, наиболее удачным способом фиксации темпоральных образов и ориентаций некоторые исследователи считают биографический метод («life story»). Использование этого метода (как, впрочем, всякого качественного метода) на больших массивах практически невозможно. Практика применения количественных методов при изучении представлений о настоящем, прошедшем и будущем предполагает использование различного рода вопросов (закрытых и открытых). В вопросах либо в вариантах ответов предполагается хронологически определенный период. Так, польские социологи в исследовании 1978–1980 гг. спрашивали, каким представляют люди 2000-й год [19, с. 178]. Н. Ф. Наумова ссылается на два вопроса («О каких годах Вы могли бы сказать «мое время»? и «Сколько продлится, по Вашему времени, наш переходный период — от нынешнего к новому состоянию общества?»), ответы на которые предполагали также хронологически определенные периоды. Второй вопрос, по ее мнению, был направлен на то, чтобы определить границы «учитываемого» будущего [15, с. 173]. Действительно, представления о прошедшем, настоящем и будущем относительноны, и границы того, другого и третьего в сознании людей определяются значимыми для них событиями. *Именно такими, прошедшими через судьбы практически всех наших соотечественников, являются, как можно предположить, «рыночно-перестроечные» преобразования.* После завершения их начнется «будущее», «доперестроечное» же время — это прошлое. Но тогда настоящее может быть растянуто на неопределенно длительное время. При этом, чем неприятнее события, на этом отрезке происходящие, тем более длительным может казаться период, *воспринимаемый как настоящее.*

Такого рода размышления предполагают и осознание того, что настоящее — это не точка, момент, а отрезок времени, некоторая (большая или меньшая) длительность<sup>7</sup>. Это понимал еще Аристотель. Однако при измерении субъективного времени «задать» настоящее хронологически определенным отрезком времени практически невозможно. Применительно к объективному времени такие попытки делаются. «В социологическом анализе и прогнозировании, — пишет, например, В. А. Артемов, — приобретает важное значение выделение *актуального* времени — такого отрезка исторического времени социального субъекта, который (отрезок) можно назвать настоящим в отличие от прошлого и будущего времени (хотя актуальное время включает, строго говоря, как недавнее прошлое, так и близкое будущее). Например, для современного общества актуальным можно считать 5–10-летний отрезок, для человека это может быть год и т. д.» [11, с. 26]. Интересна также интерпретация В. А. Артемовым таких понятий, как *масштаб исторического времени, период времени субъекта, критический период в развитии субъекта* и др. [11]. Все эти понятия используются для характеристики *объективного времени, которое одновременно является относительным*. Понятия эти могут оказаться полезными и при фиксировании и измерении субъективного, внутреннего времени, при исследовании представлений о настоящем, прошедшем и будущем (особенно когда в качестве средства измерения выступает указание на те или иные хронологические рамки).

Возможно, однако, использование и принципиально иных способов измерения переживания социального времени, когда хронология практически отсутствует, настоящее от прошлого отличается как прежде/теперь, настоящее от будущего как есть/будет.

Существует мнение, согласно которому концептуальная предпочтительность деления на «прошлое, настоящее и будущее» в сравнении с периодизацией «раньше—позже» «заражена ненадежностью и неустойчивостью»<sup>8</sup>. Н. Луман, например, схему «прежде—после» относит к традиционному переживанию времени [21, с. 204].

Действительно, фиксирование настоящего, прошлого и будущего в опросах осуществляется самыми различными способами и «разнесение» этих времен порой чрезвычайно затруднено. В качестве оценки *настоящего* можно принять ответы на различного типа вопросы, в которых: «настоящее» непосредственно обозначается («В *настоящее* время случаев нарушения социальной справедливости стало больше/

меньше», «Как Вы оцениваете свою *нынешнюю жизнь*» и т. д.); указание на настоящее непосредственно не содержится, но предполагается («Каково материальное положение Вашей семьи». «Соблюдается ли справедливость в нашем обществе» и др.). К последнего рода оценкам настоящего можно, по нашему мнению, отнести удовлетворенности различного рода («Удовлетворены ли Вы в целом своей жизнью», «Удовлетворены ли Вы результатами голосования в Вашем избирательном округе» и т. д.); спрашивается вроде бы о прошлом («Как, по Вашему мнению, повлияла приватизация на жизнь людей») или о будущем («Считаете ли Вы, что выборы пройдут без каких-либо нарушений, в полном соответствии с законом»), но ответ фактически предполагает оценку настоящего.

В опросах 1996 и 1998 гг. в качестве оценки *настоящего* мы приняли ответ на вопрос: «Как вы оцениваете свою *нынешнюю жизнь*» с вариантами ответов: 1) дела, в общем, идут неплохо; 2) жить трудно, но можно терпеть; 3) терпеть наше бедственное положение уже невозможно; 4) затрудняюсь ответить. Как отношение к настоящему принимались также ответы на вопросы: «Каково материальное положение Вашей семьи», «Удовлетворены ли Вы в общем и целом Вашей жизнью», «В целом наше общество справедливое или нет?». Для измерения отношения к *будущему* предназначались вопросы: «Чувствуете ли уверенность в завтрашнем дне» и «Ожидаете ли изменений к лучшему в Вашей жизни?». За показатели отношения к *прошлому* условно были приняты вопросы: «В целом Ваша жизнь за последние несколько лет: ухудшилась, не изменилась, улучшилась, затрудняюсь ответить» и «Материальное положение Вашей семьи за последние годы: существенно улучшилось, улучшилось, хотя и не очень, осталось прежним, несколько ухудшилось, существенно ухудшилось, затрудняюсь ответить».

Ответы на последние вопросы — фактически результат сравнения прошлого и настоящего. Но и те, которые рассматривались как свидетельство оценки настоящего, спорны в этом качестве. Так, например, терпение/нетерпение, которое фиксировалось посредством вопроса «Как Вы оцениваете свою *нынешнюю жизнь*» различным образом трактуется в социологической литературе. Н. Ф. Наумова считает, например, что терпение/нетерпение — это «эмоциональное структурирование человеком своего будущего времени» [15, с. 174]. На многозначность такой характеристики, как «терпение», указывает Ю. Л. Левада. Он считает, что для одних оно — ожидание улучшения,

для других — надежда на неухудшение ситуации, для третьих — выражение апатии и безразличия [22, с. 11]. Считается также, что готовность «терпеть», «запас терпении» — важная характеристика общества, находящегося в состоянии кризиса [23].

«Терпение», определяемое посредством вопроса «Как Вы оцениваете свою *нынешнюю* жизнь», действительно, оказалось очень важной характеристикой. Из всех признаков, обозначающих настоящее, прошедшее и будущее, именно терпение/нетерпение и в 1996 и в 1998 гг. оказалось наиболее тесно связанным с другими «временными» характеристиками. В эти годы «терпеливых» («Жить трудно, но можно терпеть») было несколько больше, чем нетерпеливых («Терпеть наше бедственное положение невозможно»). В группах, выделенных по разным признакам, доля «нетерпеливых» превышает долю «терпеливых» (и в 1996, и в 1998 гг.) у тех, кто имеет неполное среднее образование и в группе респондентов старше 60 лет.

Терпение существенно выше у людей с высшим образованием, в возрастной группе 18–30 лет, у руководителей предприятий, предпринимателей и учащихся. Оказалось, что «терпеливость» в наибольшей степени (и устойчиво) связана с оценкой *изменения материального положения* (коэффициент Крамера самый высокий по массивам и равен 0,34 и 0,40), изменения жизни вообще и оценкой материального положения. При этом оценка *изменения* материального положения в большей (хотя и незначительно) степени связана с «терпеливостью», чем оценка самого этого положения (0,34 в сравнении с 0,31 и 0,40 в сравнении с 0,38). Поскольку просили оценить именно *нынешнюю* жизнь, есть все основания рассматривать терпение/нетерпение как оценку *настоящего*.

Однако следует согласиться с тем, что характеристика эта в качестве осознаваемой либо неосознаваемой компоненты предполагает оценку будущего. Более терпеливые оказались и более уверенными, показатель «ожиданий» у них также более высок, чем у «нетерпеливых»<sup>9</sup>.

Ю. А. Левада прав, когда говорит о том, что массовые ожидания — это «не «будущее» в смысле того, что видится «там за поворотом» (дальним или ближним), а как бы «продленное настоящее». Изучение вопроса об ожидании или терпении позволяет понять, каковы рамки этого «продления» у различных групп» [22, с. 10]. Как свидетельствуют данные опросов, ожидаемые улучшения в сознании людей постоянно отодвигаются. Если в 1989 г. модальную группу со-



ставляли те, кто ожидал изменений «через 5 лет» (их было 32 %), то в 1998 г. изменений к лучшему «через 5 лет» ожидало только 8 % опрошенных. За 9 лет в полтора раза увеличилось количество тех, кто занимает неопределенную позицию (на вопрос о времени ожидаемых изменений ответили «не знаю») и в полтора раза больше оказалось тех, кто «в обозримом будущем» никаких изменений к лучшему не ждет. Настоящее время, таким образом, растягивается на некоторый период, и это свидетельство того, что признание главенства настоящего, фиксируемое в различных исследованиях, вряд ли следует относить к «точечной» модели времени, как это делается в литературе [7, с. 99]. Это главенство — одно из разновидностей презентизма, которое целесообразно отнести к *презентизму аномическому*. При этом презентизме настоящее растягивается, а терпение становится неопределенным и безграничным [15, с. 174].

О преобладающей роли настоящего в оценках прошлого и будущего свидетельствуют и коэффициенты информационной зависимости ( $K_{\Delta}$ ). Во всех случаях направление связи шло *от настоящего*: на основании оценки *нынешней жизни* (терпение, оценка материального положения) можно было с большей вероятностью судить об оценках будущего и прошлого, чем наоборот. Самые высокие коэффициенты информационной зависимости характеризовали связь терпения/нетерпения с изменением материального положения и удовлетворенности жизнью (в 1996 г. 0,43 и 0,45, соответственно, а в 1998—0,42 и 0,36). Если же сравнивать различные оценки настоящего друг с другом, то ведущую роль по отношению к другим оценкам настоящего имели *оценка материальной жизни и оценка здоровья*, что свидетельствует, с нашей точки зрения, о сущности нашего аномического презентизма, который представляет собой *реакцию на условия выживания*.

О ведущей роли настоящего в оценках прошлого и будущего пишут и О. Р. Лычковская и Е. В. Баш, которые, используя метод свободных ассоциаций Д. Диза, проанализировали ответы на вопрос, содержащийся в массиве 1998 г.: «Когда Вы думаете о прошлом или будущем, с чем это для Вас связано в первую очередь»<sup>10</sup>. Для обработки информации был использован контент-анализ. Ориентированный граф связи, построенный на основании коэффициентов информационной зависимости ( $K_{\Delta}$ ), свидетельствует о том, что оценка настоящего влияет на восприятие как прошлого, так и будущего. Оказалось также, что прошлый опыт воспринимается как положительный, а настоящий — как отрицательный. При этом се-

мантическое поле настоящего «наиболее разнообразно представлено негативными чувствами и негативными переживаниями личного опыта (73 синонима)» [24, с. 25]. Сравнение же оценок настоящего и будущего свидетельствует о возрастании «коннотативной насыщенности отрицательных понятий по отношению к будущему. Т. е. если в «настоящем» это тревога, неуверенность, то в будущем — это «безысходность, ужас, мрак» [24].

Основной вывод, который следует из анализа эмпирических данных, состоит в следующем: поражаешься исключительной пронизательности Августина Блаженного, который ко всем трем временам *добавляет еще и настоящее*: последнее везде — и в прошлом, и в настоящем и в будущем. Представление о времени связано у Августина с его концепцией внутреннего слова — мысленного образа, которое «предшествует всякому сознательному действию и организует субъективное время жизни» [25, с. 117].

Однако всепроникающая роль настоящего, с нашей точки зрения, объясняется не тем, что времена не существуют нигде, кроме как «в душе», как считает Августин. Решающая роль настоящего определена тем, что *восприятие времени происходит в процессе человеческой практики, а непосредственный практический опыт субъекта действия, переживающего время, может осуществляться только в настоящем*.

Именно характер практики, реальные формы непосредственного практического опыта определяют и образ будущего, и восприятие прошлого. Повседневная практика обуславливает и природу «презентизма», который, как уже отмечалось, разнокачествен. Гедонистический презентизм (когда о будущем просто не думают) в наименьшей степени определяется непосредственным человеческим опытом, чем презентизм аномический, когда отсутствует перспектива, нет веры в будущее. Что касается оптимизма/пессимизма, то оптимизм, с нашей точки зрения, предполагает наличие перспективы, веры в будущее.

Эта вера, порожденная практикой настоящего, затем оказывает обратное влияние на восприятие настоящего, окрашивая это восприятие в пессимистический или оптимистический тон. *Решающая роль в создании образа будущего и прошлого принадлежит восприятию в процессе практики характера происходящих изменений. Восприятие их как улучшения дает перспективу, рождает оптимизм и помогает переносить тяжелое настоящее. Осознание ухудшения приводит к идеализации прошлого.*

В данном случае мы вступаем в область проблем идеологии и отвечаем на вопрос о том, как идеология зарождается и функционирует, как связана она с темпорализацией. Интересные соображения на этот счет содержатся у Н. Лумана. Он считает, что идеология «дает примат прошедшему или будущему над определением настоящего — настоящего, которое не может легализовать себя иначе, кроме как через признание одного из своих горизонтов. Следовательно, альтернатива молчаливо предполагает, что настоящее определяется исходя из различия прошедшего и будущего» [21, с. 204]. Прогрессивная идеология (утопия в терминологии К. Мангейма) отдает примат будущему, консервативная (собственно идеология, по К. Мангейму) предпочитает прошлое. Движение, по мнению Н. Лумана, теряет свою фундаментальную роль, когда действительность осмысливается в терминах «прошедшее/будущее». «Нет именно никакого «движения» из прошедшего *через настоящее* (курсив мой. — *И. П.*) в будущее... Напротив, саму позицию, которая, как предполагалось прежде, предназначена движению, теперь получает настоящее. Оно есть включенное во время исключенное третье, ни будущее, ни прошлое, но одновременно и то. и другое» [21, с. 205].

При выяснении связи проблем восприятия времени и функционирования идеологии в повседневном сознании обнаруживается некоторый парадокс: основанием идеологии являются насущные интересы и стремления, определяемые *практикой настоящего*, тогда как содержание любой идеологии составляют представления о прошлом и будущем. Данные представления «берутся на вооружение», камуфлируя связь идеологии с настоящим. Это отчасти объясняет и тот факт (на который ссылались ранее), что «регулирование восприятия социального времени является важной идеологической силой» [14, с. 159].

Итак, практика настоящего должна в первую очередь приниматься во внимание при объяснении функционирующих идей и образов. Не это ли мы забываем, когда, интерпретируя результаты опросов, объясняем их преимущественно «пережитками в сознании»? Отвечая на вопрос, почему на постсоветском пространстве отсутствует сколь угодно надежная консолидирующая идея, дающая перспективу, либо недоумевая насчет характера перетолкования прошлого, которое недавно с энтузиазмом отвергали, мы часто *игнорируем нынешнюю повседневную практику, которая играет решающую роль в восприятии настоящего, прошлого и будущего.*

### *Список литературы*

1. Ионин Л. Диффузные формы социальности // Социологические чтения. Вып. 2. М., 1997.
2. Штомпка П. Социология социальных изменений. М: Аспект Пресс, 1996.
3. Elias N. Time: Essay, translated from the Germany by Edmund Jephcott. Oxford: Backwell, 1992.
4. Adam B. Time and Social Theory. Cambridge: Polity Press, 1990; Adam B. Timewatch. The Social Analysis of Time. Cambridge: Polity Press, 1995.
5. Melbin M. Night as Frontier. Colonizing the World after Dark. New York: The Free Press, 1987.
6. Fraser J. T. Time, the Familier Stranger. Amherst, University of Massachusetts Press: 1987.
7. Young M. The Metronomic Society. Natural Rhythms and Human Timetables. Cambridge Mass.: Harvard University Press, 1988.
8. Giddens A. Social and Modern Sociology, Polity Press. Cambridge, 1987; Giddens Anthony. The consequences of Modernity, Stanford University Press, 1990; Bauman Zygmunt. Mortality, Immortality and other Life Strategies Polity Press, Cambridge, 1992; Novotny Helga. Time. The Modern and Postmodern Experience translated from German by Neville Plaice. Cambridge: Polity Press, 1994. (X. Новотна — президент Международного общества изучения времени в период с 1992 по 1995 г.).
9. Tarkowska E. Time in Contemporary Culture // Polish Sociological Review / 1997. № 2 (118).
10. См.: Зборовский Г. Е. Пространство и время как формы социально-го бытия. Свердловск, 1974; Лой А. Л. Социально-историческое содержание категорий «время» и «пространство». Киев: Наукова думка, 1978; Яковлев В. П. Социальное время. Ростов-на-Дону, 1981; Артемов В. А. Социальное время. Проблемы изучения и использования. Новосибирск: Наука, Сибирское отделение, 1987.
11. Артемов В. А. Социальное время. Проблемы изучения и использования. Новосибирск: Наука, Сибирское отделение. 1987.
12. Ракитов А. И. Историческое познание. М.: Издательство политической литературы, 1982.
13. См.: Барг М. А. Категории и методы исторической науки. (Глава II. «Историческое время» (Методологический и исторический аспекты). М.: Наука, 1984.
14. Гуревич А. Я. Категории средневековой культуры. Москва: Искусство, 1984.
15. Наумова Н. Ф. Время человека // Социологический журнал. 1997. № 3.
16. Головаха Е. И., Кроник А. А. Психологическое время личности. Киев: Наукова думка, 1984.

17. Давыдов А. А. Модель социального времени // Социол. исслед. 1998. № 4.
18. Сорокин П. Кризис нашего времени // П. Сорокин. Человек. Цивилизация. Общество. М.: Издательство политической литературы. 1992.
19. Tarkowska E. Uncertainty of the Future and Domination of Presentist Orientation: a New or Lasting Phenomenon? // Sisyphus Sociological Studies. 1989.
20. Бергер П., Лукман Т. Социальное конструирование реальности. М.: Academia-Центр, Медиум, 1995.
21. Луман Н. Тавтология и парадокс в самоописаниях современного общества // Социо-Логос. Социология, антропология и метафизика. Вып. I. Общество и сферы смысла. М.: Прогресс, 1991.
22. Левада Ю. А. Комплексы общественного времени // Экономические и социальные перемены: мониторинг общественного мнения. М.: АО «Аспект Пресс», 1993.
23. Гордон Л. Область возможного. М., 1995.
24. Лычковская О. Р., Баш Е. В. Трансформирующаяся реальность в субъективных представлениях о времени. (Теоретические и эмпирические аспекты исследования) // Харьковские социологические чтения-98. Харьков, 1998.
25. Нестик Т. А. Тема внутреннего слова у Августина: мышление и время // Вопросы философии. 1998. № 10.

### **Примечания**

<sup>1</sup> Термин «эмансипированное время» используется Д. С. Лихачевым для характеристики «художественного времени», которое, эмансипируясь от реального времени, «приобретает самостоятельность и внутреннюю законченность» (См.: Лихачев Д. С. Поэтика древнерусской литературы. М.: Наука, 1979).

<sup>2</sup> Такое исследование проводилось, в частности, польскими социологами в рамках исследовательского проекта «Время и пространство: культура трансформации. Антропологическая перспектива». См.: Tarkowska E. Unequal Distribution of Time: a New Dimension of Social Differentiation in Poland // Polish Sociological Review. 1996. 2 (114).

<sup>3</sup> Такой способ реконструкции образа социального времени использовался, например, в исследовании жизненных стилей, проведенном Отделом исследования жизненных стилей Польской Академии наук (См.: Roos J. P., Sicsinski A. Ways of Life in Finland and Poland. Comparative Studies of Urban Populations, Aldershot: Gower Publishing Co. Ltd.).

<sup>4</sup> Так в сжатом виде можно представить характеристику различных концепций социального времени экзистенциалистски ориентированных мыслителей, которую дает Н. Ф. Наумова, анализирующая взгляды С. Кьеркегора, М. Хайдеггера, Ж.-П. Сартра, Э. Тирикьяна [15, с. 166–167].

<sup>5</sup> Характеристика «презентизма» и «ожидającego общества» дается в работах польской исследовательницы Элизабет Тарковской. (См.: *Uncertainty of the Future and Domination of the Presentist Orientatin: a New Lasting Phenomenon?* // *Sisyphus. Sociological Studies*. Vol. 6. Warsaw: PWN, 1989; *Waiting Society: the Themporal Dimension of Transformation in Poland.* // *The Polish Sociological Bulletin*. 1993. № 2; *The Cultural Responses to Permanent in Stability* // *Cultural Dilemmas of Postcommunist Societas*. IFiS PUBLISHERS, Warsaw. 1994). Термин «ожидające общество», по мнению П. Тарковской, произошел от термина «ожидająca культура», использованного Рональдом Франкенбергом применительно к медицинским институтам, взаимоотношению между врачами и пациентами.

<sup>6</sup> А. Гуревич, анализирующий пессимистическое Средневековье, пишет, что массовое сознание этого периода, не считаясь с реальной историей, относило к числу добрых королей Карла Великого, Фридриха Барбароссу и Олава Святого.

<sup>7</sup> С этой точки зрения относить модель времени, где существует только один модус времени — «настоящее» и где «взаимосвязаны настоящее прошлого и настоящее будущего» как «точечную» (см. [17, с. 99]) было бы не вполне корректно.

<sup>8</sup> Мнение Дж. Э. Таггарта, приведенное в книге «Августин Аврелий. Блез Паскаль. Лабиринты души». Симферополь: Реноме, 1998. С. 15.

<sup>9</sup> «Ожидания» измерялись посредством вопроса «Ожидаете ли Вы изменений к лучшему в Вашей жизни?» с вариантами: «Нет»; «В обозримом будущем изменений не жду»; «Да, но не очень скоро»; «Да, лет через пять»; «Да, в ближайшие год-два»; «Затрудняюсь ответить».

<sup>10</sup> Варианты ответа на открытый вопрос: «Прошлое — это...», «Настоящее — это...», «Будущее — это...».

## СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ИССЛЕДОВАНИЮ ЛЕГИТИМНОСТИ И ЛЕГИТИМАЦИИ. К ПОСТАНОВКЕ ПРОБЛЕМЫ

Понятия «легитимация» и «легитимность» в последнее время широко используются для характеристики процессов, происходящих на постсоветском пространстве, точнее, для понимания того, что происходит в политической сфере постсоветских обществ. Однако вся сложность и глубина анализа легитимности и связанных с ней явлений ускользают от исследователя, если анализ не выходит за пределы политологии или ограничивается рамками политической социологии, относящейся к социологии отраслевой. Проблемы легитимности и легитимации непосредственно входят в круг общесоциологических представлений. Основание этих проблем следует искать на пересечении основополагающих социологических концепций «социальности», социализации, идеологии и личностной идентификации, ценностных ориентаций и интересов. При этом оказывается, что те представления, которые вроде бы «на слуху» и реверансы в сторону которых постоянно делаются в литературе, не вполне освоены применительно к анализу легитимности. Речь прежде всего идет о понимании легитимности М. Вебером, содержащем в себе гораздо большие возможности *социологического анализа* легитимности и легитимации, чем те, которые обычно реализуются.

В социологической литературе обращается внимание на ту опасность, с которой может столкнуться исследователь, принимающий веберовские построения и вообще использующий «европейскую терминологию» для изучения советской и постсоветской действительности. На это обстоятельство указывает, например, П. Кутуев, посвятивший свою весьма интересную статью анализу социологии М. Вебера и считающий, что обращение к последней объясняется ее «созвучностью нашим сегодняшним проблемам». Однако концепты, используемые М. Вебером, как утверждает П. Кутуев, лишь «на первый взгляд являются как нельзя более актуальными и практически значимыми для политически злободневно ориентированного дис-

курса наших обществоведов» [1, с. 137]. Совершенно справедливо указывая в связи с этим на необходимость уяснения смысла используемых понятий и на то, что веберовские идеи представляют собой не более чем «аналитическую реконструкцию, которую необходимо отличать от структуры эмпирической реальности», сам П. Кутуев все же «осмеливается», как он пишет, «высказать обобщенную оценку ситуации, сложившейся в нашей стране, используя веберовскую методологию» [1, с. 147]. Думаю, что веберовскую методологию следует использовать и для обоснования необходимости более широкого подхода к изучению легитимности и легитимации в условиях постсоветского реформирования. Обоснованию этого положения, а также характеристике данного («широкого») подхода главным образом и посвящена эта статья.

Начну с неправомерности отождествления «легитимности» и «легальности», все еще встречающегося в нашей литературе. Так, например, санкционированные и несанкционированные митинги и демонстрации разграничивают как легитимные и нелегитимные формы протеста [2, с. 92]. На самом деле активный протест (независимо от того, является ли он официально санкционированным или нет) может быть вполне легитимным, явно или неявно («внутренне») одобряемым населением. Характерное для отечественной литературы отождествление легальности и легитимности, возможно, связано с трудностями перевода термина «легитимность». Такие соображения высказывает, например, сотрудник Русского исследовательского центра Гарвардского университета США С. Солник, проводивший в 80-х годах исследование взаимоотношения поколений в СССР. «В советских словарях, — пишет он, — перевод понятия «легитимность» (*legitimacy*) связан с пониманием легитимности как последствия соблюдения законов. «Законность» как синоним «легитимности» в ее западном варианте, — по мнению С. Солника, — обладает другой коннотацией для политологов, работающих в традициях Макса Вебера...» [3, с. 60].

Разумеется, использование того или иного термина — процедура в определенном отношении условная. Важно, чтобы смысл используемого понятия оговаривался и чтобы оно (понятие) «работало», способствовало фиксации и анализу исследуемых сторон действительности. Для социолога же особенно важно учитывать многообразные общественные факторы, определяющие исследуемое явление. В случае же отождествления понятий «легальности» и «леги-



тимности» смысл последнего понятия обедняется, что ограничивает возможности описания и анализа многообразных аспектов функционирования различных общественных институтов, и в частности института политической власти. Для того, чтобы разобраться в этом, целесообразно обратиться к истории возникновения данного понятия, а также выяснить, в каких смыслах оно, как правило, употреблялось в западной литературе (откуда пришло в советскую и постсоветскую социологию и политологию).

Понятия «легитимность», «легитимный порядок» были введены в социологический оборот Максом Вебером и выступали как инструмент описания и анализа власти (господства), характеризуемой с точки зрения ее *престижа, оправдания, признания*. Легитимность — характеристика одного из типов господства, который М. Вебер именует авторитетом (*authority*). Считая господство в наиболее общем смысле синонимом власти и определяя его как «возможность навязывания (*imposing*) кем-либо собственной воли другим лицам в их поведении», Вебер выделяет две диаметрально противоположные формы господства: а) «господство посредством констелляции интересов (например, монопольной позиции на рынке)» и б) «господство посредством авторитета, то есть власти командовать и обязывать к подчинению» [4, с. 25].

Рассматривая в своем основополагающем труде «Хозяйство и общество»<sup>1</sup> связь форм господства с формами экономической организации, М. Вебер выносит проблему легитимности не только за пределы первой формы господства (характерной для рыночных отношений формально свободных индивидов), но и за пределы «непосредственной демократии», а также власти «нотаблей» — знати, осуществляющей господство посредством монополии на почет и уважение (*by honoratiories*). Последняя форма господства, как и власть монарха, не нуждается в оправдании, ибо базируется на мифе «естественного» превосходства (по крови, высшим качествам и т. п.). Точно так же нет необходимости в существовании особого механизма

---

<sup>1</sup> Анализ веберовского понимания легитимности попытаемся осуществить на основании двух текстов, представляющих собой извлечения из данной работы. Первый текст, содержащийся в англоязычном сборнике, посвященном германской социологии, назван «Господство и легитимность». Второй представляет собой статью, помещенную в сборнике избранных произведений М. Вебера под названием «Основные социологические понятия», подразделы которой («Понятие легитимного порядка» и «Типы легитимного порядка: условность и право») дают представление о веберовском понимании легитимности.

оправдания в условиях непосредственно-демократического управления («непосредственной демократии»), специфика которого определяется «законом меньшинств». Такая проблема (наличие особого механизма оправдания) возникает в сложных организационных структурах, где, с одной стороны, относительно небольшая группа, осуществляющая властные функции, уполномочивается управлять большими массами людей, а с другой стороны, «классовая ситуация становится недвусмысленно и открыто наблюдаемой для всех, как фактор, определяющий индивидуальную судьбу каждого...» [4, с. 36]. В этих условиях, по мнению М. Вебера, возникает острейшая потребность властных сил в самооправдании и в согласовании своих целей с ориентациями людей, выступающих объектом подчинения.

Это согласование, необходимость в котором в других социально-организационных условиях отсутствовала, и составляет суть легитимации, обеспечивающей надежность господства и осуществления власти в условиях сложных организационных структур. Не случайно в современной западной социологии проблему легитимности квалифицируют как проблему «представительства и согласия». «Проблема политической легитимности, — как отмечается в одном из западных социологических словарей, — возникает с исчезновением непосредственных политических отношений, присущих небольшим обществам, то есть сегодня она заключается в том, кто имеет законное право действовать в качестве представителей политической власти. Таким образом, легитимность связана с природой политического лидерства» [5, с. 152].

Однако понятие «легитимность» трактуется неоднозначно, и эта неоднозначность определяется, в частности, различием закона и морали. Законная, то есть соответствующая нормам права власть может быть нелегитимной (испытывающей «дефицит» легитимации), если ее действия выходят за пределы общественного согласия. Сложное взаимоотношение между законностью и легитимностью — проблема, активно обсуждаемая в современной политической социологии и обусловленная в значительной степени неоднозначностью трактовки самой легитимности. Предпосылки данной неоднозначности содержатся в веберовском понимании легитимности, которая в одних случаях включает легальность как ее (легитимности) частный случай, а иногда трактуется как характеристика власти, отличная от легальности.

Сам термин «легитимность», происходящий от латинского *legitimus*, означает буквально *согласный с законом, правомерный, долж-*

*ный, правильный.* Социологический же смысл данного термина, введенный М. Вебером, обусловлен, как считает российский социолог Ю. Давыдов, необходимостью отличать легальную власть, характеризующуюся соответствием формальным законам, юридическим нормам права, от той, которая фактически значима для людей, что и проявляется в их поведении [6, с. 156]. Соответствие формальным законам М. Вебер также называет легитимностью, но легитимностью «нормативной», оговаривая, что речь идет фактически о легитимности норм, а не легитимности личностей, представляющих власть. «Нормативную легитимность» Вебер отличает от «легитимности эмпирической», которая характеризует фактическую значимость установленного порядка для людей и проявляется в их поведении. Значимость порядка, выраженная в ориентациях людей, определяется их представлениями о легитимности порядка. «Поведение, особенно социальное поведение, — пишет Вебер, — а также социальные отношения могут быть ориентированы индивидами на их *представление* о существовании *легитимного порядка*. Возможность такой ориентации мы будем называть «значимостью» данного порядка» [7, с. 636]. Если это представление (о легитимности порядка) отсутствует и порядок лишен значимости, то, следовательно, он лишен легитимности. Таким пониманием легитимности объясняется то обстоятельство, что «современные теории легитимности часто являются субъективистскими в определении легитимной власти как *представляемой* людьми в качестве легитимной» [5, с. 153].

Легальная власть, по мнению М. Вебера, может быть легитимной, но может и не быть таковой. При этом легитимность не обязательно означает следование формальным правилам и установленным нормам. Даже в том случае, когда закон «обходят» или норму нарушают, они могут быть значимы для поведения, о чем свидетельствует, например, стремление нарушителя скрыть свой поступок. В данном случае он руководствуется целерациональными мотивами, но исходит из признания обязательности норм, то есть их легитимности. Иллюстрируя данное положение, М. Вебер пишет: «Вор, например, скрывая свой поступок, ориентируется на значимость законов уголовного права. Он *вынужден* скрывать его именно потому, что в определенной среде порядок сохраняет свою «значимость» [7, с. 636–638]. Такого рода вынужденность, несомненно, отличается от обусловленной прямым насилием и предполагает наличие выбора, осуществляемого в соответствии с целерациональными ориентациями, однако об *одо-*

*бренности, признании, престиже* в данном случае можно говорить лишь весьма условно. Вебер указывает также на возможность функционирования одновременно противоположных систем норм (в частности норм права и морали), каждая из которых будет значимой (а следовательно, легитимной) «...в той мере, в какой существует *вероятность* того, что поведение будет действительно ориентировано на нее» [7, с. 638]. Как видим, возможно различное понимание «значимости» и характера ориентаций и, соответственно, есть разные поводы для того или иного толкования легитимности либо степени ее выраженности. Замечу также, что несанкционированные демонстрации, которые представляют собой открытое неподчинение соответствующим правовым нормам, свидетельствуют о нелегитимности этих норм. Нелегальные — противоречащие правовым нормам — выступления, будучи морально санкционируемыми, являются вполне легитимными, как легитимны и те моральные нормы, на которые поведение людей в данном случае ориентировано. Во всяком случае квалификация тех или иных акций как легитимных либо нелегитимных требует тщательного анализа и обширной информации.

Некоторая неопределенность заложена также в понимании М. Вебером гарантий легитимности. По его мнению, легитимность порядка может быть гарантирована *внутренне* и *внешне*. К *внутренним* гарантиям легитимности порядка М. Вебер относит: а) чисто аффективно-эмоциональную преданность, б) веру в абсолютную значимость порядка в качестве высочайшей непреложной ценности, носящей ценностно-рациональный характер, в) равнозначное религиозной вере убеждение в зависимости блага и спасения от сохранения данного порядка. *Внешние* гарантии — это нормы поведения и санкции, на которые люди ориентируются. Такие гарантии могут быть *условными* и *правовыми*. Условные гарантии, предполагающие использования особых групп принуждения (характерных для правовых гарантий), вызывают поведение, которое является «добровольным» лишь в весьма условном смысле. «При нарушении условности (например, «профессиональной этики»), — пишет Вебер, — социальный бойкот со стороны людей одной профессии часто оказывается значительно более действенной и ощутимой карой, чем наказание, назначенное судебным приговором» [7, с. 640]. И в том, и в другом случае легитимность порядка обусловлена «ожиданием специфических внешних последствий» и, как можно предположить, определяется целерациональными мотивами. При этом Вебер счи-

тает, что порядок, основанный на целерациональных мотивах, как и тот, который основан на обычаях и привычках, менее устойчив, чем «порядок, обладающий престижем, в силу которого он диктует нерушимые требования и устанавливает образец поведения, то есть чем порядок, обладающий «легитимностью» [7, с. 637]. Такого рода высказывания дают повод для сужения понятия легитимности, отнесения к *собственно легитимному* только такого порядка, который *предполагает наличие внутренних гарантий*. М. Вебер считает также, что внешне гарантированные системы могут быть гарантированы и внутренне. Последние (внутренне гарантированные системы) связываются Вебером с этическими критериями. «Этическим» социология считает тот критерий, — пишет Вебер, — для которого специфическая ценностно-рациональная вера людей служит нормой человеческого поведения» [7, с. 647]. Этические нормативные представления могут оказывать сильное воздействие на поведение людей без каких-либо внешних гарантий. Не случайно при анализе социологами тех или иных ситуаций именно эти представления рассматриваются как определяющий признак легитимности.

Как видим, существуют многочисленные нюансы, характеризующие легитимность, и для социолога, имеющего дело преимущественно с *эмпирической* легитимностью, проявляющейся в представлениях и поведении людей, каждый из этих нюансов характеризует определенное состояние общества, особенность функционирования того или иного политического режима. Соответственно, «разночтения» понятия легитимности носят не спекулятивный характер, а обусловлены сложностью самого явления и желанием учесть различные аспекты его изучения. Сошлемся в данном случае на один из прецедентов: использование понятия «легитимность» при исследовании конфликта «отцов и детей» — в позднесоветский период.

Сотрудник Русского исследовательского центра Гарвардского университета Стив Солник выражает свое несогласие с мнением других американских исследователей советской действительности, считающих, что система, которая стабильна и свободна от всех публично обсуждаемых «кризисов легитимности», является «легитимной». По мнению Солника, этот «больной» вопрос доставил немало хлопот и самому Веберу, который, подходя к проблеме легитимности с разных сторон, предполагал, «что массовая поддержка не означает автоматически легитимности и что аспекты ее [легитимности] все же имеет смысл обсуждать даже при полном отсутствии массовой поддержки»

[3, с. 61]. В доказательство данного заключения приводится следующее положение М. Вебера из работы «Хозяйство и общество»: «Естественно, легитимность системы господства можно рассматривать как вероятность того, что ее до некоторой степени поддерживают и что этому соответствует ее практический курс. никоим образом неверно, что любая покорность власти имущим прежде всего (или вообще сколько-нибудь) вызывается такой верой. Отдельные личности или группы могут лицемерно притворяться лояльными из чисто оппортунистических целей или быть таковыми из соображений меркантильных. Люди также могут покориться из-за своей слабости и беспомощности, коль скоро этому нет приемлемой альтернативы. Но эти случаи не являются главными при классификации видов господства. Гораздо важнее тот факт, что в некоем данном случае конкретное притязание на легитимность рассматривается как «действительное», что этот факт подтверждает позицию лиц, претендующих на власть, и что он помогает сделать выбор средств для осуществления этой власти» [цит. по: 3, с. 61].

Представляет интерес интерпретация Солником данного положения М. Вебера, а также круг проблем, применительно к которым американский исследователь анализирует толкование легитимности. С учетом того, что Вебер ясно проводит *различие между мировоззренческой основой легитимности и официальными притязаниями на нее*, подчеркивается, что повиновение не обязательно означает легитимность. Ключевой момент в формулировке Вебера, как считает Солник, в отсутствии «приемлемой альтернативы». Люди могут считать политический режим абсолютно нелегитимным, но будут подчиняться ему до тех пор, пока у них не появится иных путей, нежели простое подчинение власти. «Настоящий кризис легитимности, — пишет Солник, — требует альтернатив постоянному повиновению существующему порядку. Однако и при отсутствии таких альтернатив официальная формула легитимности может сыграть значительную роль при выборе политических средств, которыми режим станет себя поддерживать. Нам же следует быть осторожными и не считать, что средства, привносимые в политику этой формулой, действительно необходимы для поддержания легитимности» [3, с. 61].

В соответствии с таким пониманием легитимности характеризуется «позднесоветский» (брежневский) период, когда процветал цинизм и программы социализации требовали лишь ритуального подтверждения лояльности и отсутствия прямого вызова политическому

режиму. Работы, посвященные анализу политической сферы советского общества данного периода, свидетельствуют о том, что легитимность системы фактически отсутствовала, а лицемерие и цинизм имели место в избытке даже у тех, кто клялся в верности режиму. Соответственно образом оценивается и «демократическая» практика выборов в представительные властные структуры. Цель выборов в застойный период развития советского общества состояла не в легитимации политической системы, «а скорее в том, чтобы показать населению, что нелегитимность этой «недемократической» практики — нечто должное» [3, с. 61]. Решая проблему «отцов и детей» применительно к данным условиям, С. Солник задает следующие вопросы: а) можно ли назвать систему, порождающую цинизм, легитимной и б) когда невозможность пропитать духом режима комсомольских активистов породит «кризис легитимности»?

Приведенные выше рассуждения по поводу легитимности касаются также и взглядов на легитимность или на массовые вызовы легитимности, формирующиеся в самой элите. «Если цинизм и отчуждение могут породить кризис легитимности, — пишет Солник, — то это произойдет только тогда, когда сама элита признает кризис или когда появляется альтернатива статус-кво» [3, с. 62]. И действительно, мы были свидетелями того, как кризис легитимности стал явным именно тогда, когда бывшая советская элита нашла для себя такую альтернативу и, используя демагогию реформирования, способствовала обострению данного кризиса, с тем чтобы удержаться у власти.

При изучении легитимности следует учитывать также, в каком направлении развивалась концепция легитимности в послевоенный период развития социологии политики. Легитимность не только приписывается лишь одной из разновидностей власти, именуемой «авторитетом» (при которой «люди с готовностью подчиняются приказам»), но и трактуется, как уже отмечалось, *субъективистски* и, более того, связывается преимущественно с этическими критериями. Такое понимание легитимности выражает, например, Т. Парсонс. Назначение власти, по Парсонсу, состоит именно в том, чтобы коллективные цели достигались посредством согласия членов общества делегировать представителям власти (лидерам) права на принятие решений. Парсонс придает определяющее значение тем институциональным символическим формам власти, которые полностью зависят от доверия людей. Символическим, коммуникативным сторонам легитимности, а также выраженности в ней *при-*

*знания и доверия* уделяет особое внимание немецко-американский политолог Ханна Арендт. Она вообще выносит насилие за пределы власти, по существу, отождествляя последнюю с легитимным авторитетом.

Ряд серьезных проблем, связанных с пониманием природы легитимности и легитимации, формулирует представитель Франкфуртской школы в социологии Юрген Хабермас в работах «Кризис легитимации» (1973), «Коммуникация и эволюция общества» (1979) и «Теория коммуникативного действия» (1981). Выражая несогласие с Х. Арендт, выносящей силу полностью за пределы власти, Хабермас в соответствии со сложившейся «субъективистской» практикой анализа проблем легитимности, трактуя легитимацию и «кризис легитимности», ограничивает сферу исследования анализом символической коммуникации, ценностно-нормативной сферы общества. Американский историк социологии Джордж Ритцер, характеризуя позицию Ю. Хабермаса и указывая на то, что проблема легитимности, решаемая как проблема замены одних социальных норм другими, выступает у него как проблема идеологии, пишет следующее: «...многие считают, что Хабермас обрезал свои марксистские корни, перейдя с материального уровня на нормативный» [8, с. 153].

Аналогичным образом — как проблему идеологии — анализирует легитимность и другой представитель неомарксизма, американский социолог Чарльз Миллс. Он рассматривает проблему легитимности в связи с анализом процессов институционализации общественного мнения. Рассматривая общественное мнение как «демократическую легитимацию», Миллс соотносит последнюю с легитимацией «доктринальной», считая это отношение существенной характеристикой легитимности. Интеллектуалы и деятели искусства, по его мнению, принимают на себя функции доктринальной легитимации. В результате интеллектуальной работы создаются идеи, поддерживающие и оправдывающие власть, трансформирующие власть в легитимный авторитет. Так романтические поэты символизировали Французскую революцию для английской публики, Руссо легитимировал Французскую революцию, Милтон — режим Кромвеля, репортажи Джона Рида — раннюю фазу Большевиизма, Маркс — в вульгаризированной форме — Русскую революцию [9, с. 612]. Эта мысль о легитимации как «встрече» специализированной идеологии с повседневными представлениями и значимости коммуникации (как способа трансляции и усвоения смыслов) для легитимации так или



иначе присутствует при характеристике легитимации современными исследователями.

Анализ процесса легитимации и возникающих в связи с ее исследованием проблем содержится у современных представителей социологии знания П. Бергера и Т. Лукмана. Этот анализ настолько глубок и разносторонен, что на нем следует остановиться подробнее. Для Бергера и Лукмана проблема легитимации также является проблемой формирования и функционирования идеологии. Однако основу рассуждений относительно легитимации в данном случае составляет содержательная концепция социализации и ее роли в институционализации и смене институтов общества. Особенность понимания легитимации Бергером и Лукманом состоит прежде всего в том, что они трактуют ее в более широком теоретическом контексте и выводят за пределы политической проблематики<sup>2</sup>. Под легитимацией они понимают «объяснение» и оправдание институционального мира, считая при этом, что проблема легитимации возникает тогда, когда объективации институционального порядка нужно передать новому поколению. На первой стадии институционализации, которую Бергер и Лукман связывают с хабиитуализацией (опривычиванием), институт как устойчивый тип отношений — просто факт, не требующий подтверждения. В данных обстоятельствах непосредственные «творцы социальной реальности» — участники становления соответствующего институционального порядка — могут вернуться к исходному значению благодаря своей памяти. Новому же поколению знание исходного института передается через «вторые руки». «Поэтому теперь необходимо истолковать им этот смысл в различных формулах легитимации (курсив мой. — И. П.). Они должны быть последовательными и исчерпывающими в терминах институционального порядка, чтобы стать убедительными для нового поколения» [10, с. 103].

П. Бергер и Т. Лукман выделяют четыре уровня легитимации. Первый уровень («зарождающаяся легитимация») — это фундаментальные объяснения, встроенные в словарный запас и осваиваемые ребенком. К этому уровню относятся все простые утверждения типа «так уж устроены вещи». Это уровень «дотеоретический», носящий характер «самоочевидного знания». Второй уровень в зачаточной

---

<sup>2</sup> В примечании к одному из разделов своей книги «Социальное конструирование реальности» П. Бергер и Т. Лукман пишут следующее: «Термин «легитимация» взят у Вебера, который разрабатывал это понятие в контексте собственной политической социологии. Здесь ему придается более широкое значение» [10, с. 314].

форме содержит теоретические утверждения, носящие характер различных объяснительных схем, которые «весьма прагматичны, непосредственно связаны с конкретными действиями» [10, с. 155]. К таким «схемам» относятся пословицы, моральные максимы, сказки, легенды. На третьем уровне легитимация выходит за пределы практического применения и становится «чистой теорией». Из-за сложности и специализации данных легитимаций «они зачастую поручаются специальному персоналу, который передает их с помощью формализованных процедур посвящения» [10, с. 155]. Четвертый уровень легитимации — это символические универсумы, которые имеют отношение к реальностям, отличным от реальностей повседневной жизни. «Нетрудно заметить, — пишут Бергер и Лукман, — что символическая сфера связана с самым всесторонним уровнем легитимации и что эта сфера выходит за пределы практического применения раз и навсегда» [10, с. 157]. Следует заметить также, что этот уровень (апеллирование к высшим ценностям, которые не могут быть верифицированы в практическом опыте) — характерная особенность любой идеологии. Те или иные символические универсумы осознанно или неосознанно берутся на вооружение при ее конструировании. Осуществляя функцию интеграции *всех* разрозненных институциональных процессов, они легитимируют и отдельные институты благодаря их включенности во всеобъемлющий смысловой мир. «Например, политический порядок, — пишут Бергер и Лукман, — легитимируется благодаря его соотношению с космическим порядком власти и справедливости, а политические роли легитимируются в качестве репрезентаций этих космических принципов» [10, с. 169].

Разумеется, выбор символических универсумов, которые используются в тех или иных условиях для легитимации институционального порядка вообще и политического в частности, определяется многими обстоятельствами. В современном мире, очевидно, сложно было бы легитимировать тот или иной политический порядок, обращаясь к устройству космоса. Однако в качестве такого символического универсума, своеобразной максимы может выступать универсальная теория человека, его прав и свободы. В качестве примера можно привести «Декларацию прав человека», принятую Генеральной Ассамблеей в 1949 году, где свобода трактуется предельно широко, без учета плюрализма культур. Л. Ионин, давая оценку Декларации, называет ее «европоцентристской». Он считает также, что разумнее было бы (с точки зрения интересов мирового сообщества) принять

положения, сформулированные в «Меморандуме о правах человека», предложенные Американским антропологическим обществом и отвергнутые Генеральной Ассамблеей. В основе предложенной меморандумом концепции представление о том, что стандарты и ценности соотносительны с определенными культурами и что «человек свободен только тогда, когда может жить согласно пониманию свободы, принятому в его стране» [11, с. 42]. Нельзя не согласиться, что сформулированное в Декларации положение о свободе «ограничивает применимость соответствующей декларации прав человека к человечеству в целом» [11, с. 41]. Однако нельзя не видеть и того, что эта универсализация «вдохновлена» совершенно определенным стремлением легитимировать мировую политику вмешательства «мирового сообщества» — лидерство в котором принадлежит определенным государствам — во внутренние дела других государств.

Солидаризируясь с концепцией легитимации, предлагаемой Бергером и Лукманом, целесообразно принять во внимание также ряд интересных соображений, которые присутствуют в их рассуждениях о легитимации. Хотя легитимация направлена на то, чтобы придать институциональному порядку ценностно-нормативный характер, сформировать представление о его ценности, она, как считают Бергер и Лукман, содержит в себе не только «ценности», но и «знание». «Легитимация говорит индивиду не только почему он *должен* совершать то или иное действие, но и почему вещи *являются* такими, каковы они есть. Иначе говоря, «знание» предшествует «ценностям» в легитимации институтов» [10, с. 154]. Легитимация в современном обществе, несмотря на его известную плюралистичность, выполняет функцию поддержания солидарности, сосуществования частных универсумов, «находящихся в состоянии взаимного приспособления». При этом предполагается, что «в обществе есть некий центральный универсум, считающийся само собой разумеющимся в качестве такового» [10, с. 203]. Особый интерес представляет положение о том, что для определения реальности больше шансов у тех, на чьей стороне больше силы. «Исход противостояния, — пишут Бергер и Лукман, — больше зависит от власти, чем от теоретической изощренности аргументации тех, кто занят соответствующей легитимацией... Исторический исход каждого столкновения определялся теми, кто лучше владел оружием, чем аргументами» [10, с. 178].

Наибольший интерес и эвристическое значение имеет соотношение проблемы легитимации с характеристикой различных форм

социализации, которое содержится в работе П. Бергера и Т. Лукмана. Понимая под социализацией «всестороннее и последовательное вхождение индивида в объективный мир или в отдельную его часть» [10, с. 212] и выделяя различные ее (социализации) формы — первичную, вторичную и ресоциализацию, Бергер и Лукман подчеркивают, что каждой из них присущи свои особенности и механизмы, определяющие характер и степень интернализации норм и ценностей. Эти особенности как раз и следует учитывать при изучении процессов легитимации и попытках оценить принятые в обществе способы ее осуществления, и в частности официальные формулы легитимности, используемые властными структурами.

Так, первичная социализация сопряжена с большой эмоциональной нагрузкой, идентификацией со значимыми другими, необходимостью авторитетности лиц, передающих ценности. Мир, который интернализирован в процессе первичной социализации, «гораздо прочнее укоренен в сознании, чем миры, интернализируемые в процессе вторичной социализации» [10, с. 219]. Последняя не предполагает такой эмоциональной включенности и отождествления себя с «авторитетом». Усвоение официальных норм («новых», с которыми субъект не имел дела в первичной социализации) в процессе вторичной социализации может носить чисто ритуальный характер в сочетании с отчужденностью и легально-рациональной мотивацией. «Поэтому акцент реальности знания, которое интернализуется в процессе вторичной социализации, гораздо легче не принимать в расчет (то есть субъективное ощущение того, что эти интернализации реальны, менее устойчиво)» [10, с. 232]. Вторичная социализация определяется предшествующим опытом, обуславливается уже сформировавшимся Я и интернализированным миром. Но такой вид социализации характерен для условий «социальной рутины», отсутствия значимых трансформаций на уровне личности и общества, радикальных изменений, предполагающих переоценку ценностей.

«Социальной рутине» периода застоя, например, соответствовали и определенные программы социализации, порождавшие цинизм и лицемерие и сознательно использовавшиеся для поддержания стабильности. В статье С. Солника, о которой речь шла выше, обращается внимание на то, что «политическая система при Брежневе никогда не требовала большего, чем ритуального подтверждения лояльности и отсутствия прямого вызова, поскольку и руководители, и обычные люди были заняты «неофициальной деятельностью» в «частной» жиз-

ни, включая полузаконные махинации и должностные преступления» [3, с. 61]. Главное же состоит в том, что в данном случае *легитимация системы фактически отсутствует и что такое состояние создает предпосылки для кризиса*, который «может возникнуть, когда гласность в печати начнет рушить барьеры между обычным прагматическим «менталитетом» частной жизни и «мифическим менталитетом», создавая некий мировоззренческий диссонанс внутри личности» [3, с. 62]<sup>3</sup>. Добавим также, что указанная формула социализации может использоваться и в других условиях (например, в условиях современной трансформации). Но она будет «действительна» (будет способствовать поддержанию относительной стабильности при фактическом отсутствии легитимации) только для тех групп, которые находятся в процессе вторичной социализации. В настоящее время, например, такие группы вероятнее всего образуют то поколение, первичная социализация которого проходила в «предперестроечный» период, характеризующийся тем самым прагматизмом частной жизни, о котором шла речь. Прагматизм рыночной идеологии в этом случае не вызывает диссонанса мировоззрения и допускает формальное восприятие официоза и транслируемых способов легитимации.

Иначе воспринимаются такие «формулы» в тех группах, которым необходимо осуществить переоценку ценностей. В этих случаях происходит ресоциализация, характерная для кризисных периодов, сопровождающихся резкой сменой систем ценностей. Такая социализация (Бергер и Лукман называют ее альтернативой) предполагает реконструирование социального мира заново. Связь с прошлым миром, сконструированным в процессе первичной социализации, как бы прерывается. Однако реконструкция осуществляется по законам первичной социализации: она требует эмоциональной включенности, авторитетности источника, транслирующего новые ценности, идентификации с данным авторитетом. Причем эти механизмы действуют на протяжении всего периода трансформации ценностей. «Наиболее важным концептуальным условием альтернативы, — пишут Бергер и Лукман, — является наличие аппарата легитимации для всего хода трансформации. Легитимироваться должна не только новая реальность, но и те стадии, с помощью которых она достигается и

---

<sup>3</sup> Характеризуя таким образом программу (формулу) социализации и состояние легитимации в период застоя, С. Солник ссылается на работу В. Шляпентоха (Shlapentokh V. Public and Private Life of the Soviet People: Changing Values in Post-Stalin Russia. — New York, 1989).

поддерживается, равно как и стадии покидания или отвержения альтернативных реальностей» [10, с. 258]. Поэтому для групп «ресоциализирующихся» эффективными оказываются другие формулы легитимации. *При отсутствии явного авторитета-лидера и эмоционально переживаемой консолидирующей идеи в основу формулы легитимации может быть положена идея необходимости сдерживания страха перед хаосом и разрушением.* «Все общества конструируются перед лицом хаоса. Постоянно существующая возможность аномического ужаса актуализируется, когда легитимации, сдерживающие опасность, находятся под угрозой или разрушены» [10, с. 169]. С нашей точки зрения, именно это чувство страха перед нестабильностью и хаосом эксплуатировалось в избирательных технологиях, применявшихся командой действующего Президента Украины в избирательной кампании 1999 года. Особенно определенно это проявилось во втором туре выборов: соперник-коммунист олицетворял «возврат к прошлому», которое, в свою очередь, отождествлялось с насилием и репрессиями, послеоктябрьской разрухой и кровопролитием гражданской войны. Вообще серьезное изучение символов, используемых в политической и, в частности, предвыборной агитации, даст возможность глубже понять природу средств, способствующих легитимации либо делегитимации, и прольет свет на происходящие на постсоветском пространстве процессы.

Следует согласиться, например, со следующим заключением Е. Головахи, сделанным на основании результатов многих опросов, проводимых в Украине: «...между формальной легальностью власти и ее реальной легитимностью нередко лежит глубокая пропасть, на одном краю которой оказывается законно избранная власть, а на другом — избравший ее народ» [12, с. 71]. Характеризуя политическую ситуацию на момент 1997 года и приводя различные данные, свидетельствующие о нелегитимности политической власти в Украине [12, с. 71–87], Е. Головаха все же делает вывод, что Украине не угрожает взрыв социального протеста, связанного с противоборством политических элит и массовыми волнениями. Хотя «конфликт легальности и легитимности демократически избранной власти, — по его мнению, — вполне может закончиться легальным отказом народа от демократии в пользу авторитарного режима» [12, с. 72]. Признавая, что такая возможность для Украины вполне реальна (причем в 2000 году еще более реальна, чем в 1997 году), целесообразно, однако, добавить, что ответственность за такой «выбор» следует возлагать не

на народ Украины, а на политическую «элиту», создающую все необходимые условия для «отказа от демократии». Как показал последующий опыт, при отсутствии легитимности политической власти в Украине не только не произошло взрыва социального протеста, но народ Украины даже подтвердил правомочие прежнего президента в выборах 1999 года. Думается, что решающую роль в данном случае сыграло не возрастание доверия к президенту, а отсутствие сильной оппозиции (не было значимого противоборства элит) и приемлемой для населения альтернативы.

Важной проблемой, которая не исследуется сколько-нибудь систематически и всесторонне, является проблема взаимоотношения ценностных ориентаций и предпочтений представителей властных структур и населения. *Выявление данных ориентаций и установление степени соответствия между ними является одной из важных задач социологического изучения легитимности.* При этом целесообразно прежде всего выделить наиболее значимые блоки, характеризующие жизненно важные ориентации. Так, американские исследователи, изучавшие «степень однородности предпочтений» и «идеологическую согласованность» политической элиты и «простых граждан» на постсоветском пространстве спустя 6 месяцев после развала Союза, выделили четыре блока: отношение к политическому реформированию и отдельно — к демократическим принципам, к экономическим реформам, к этническим проблемам. В результате исследования они, в частности, сделали вывод, что ориентации российской элиты и населения в большей степени согласованы, чем идеологические ориентиры населения Украины и ее элиты [13, с. 14]. Но неожиданным для них оказалось следующее заключение: в ориентациях населения и элиты в Украине и России наблюдалось большее соответствие, чем в ориентациях «простых граждан» и политической элиты в таких демократических странах, как США, Франция и Швеция [13, с. 19]. Относительное соответствие ориентаций (если иметь в виду указанные блоки) сохранялось и в последующие годы, как об этом свидетельствуют опросы, проводимые на постсоветском пространстве. При этом, как и в 1992 году, в ориентациях политической элиты, как правило, в большей степени, чем у населения, выражены «про рыночные», «продемократические», «радикально-политические» настроения. Однако доля населения, для которого характерны данные ориентации, уменьшается, тогда как среди представителей элиты она сравнительно стабильна.

Относительная согласованность фиксируемых в опросах ориентаций, с одной стороны, и выражаемое населением недоверие — с другой, явно не соответствуют друг другу, что требует объяснения. Анализ указанного выше противоречия предполагает учет следующего обстоятельства, о котором уже шла речь: проблема легитимации традиционно ставится и решается как относящаяся к сфере идеологии, *как проблема согласования идей*. Обеспечение легитимации связывается с информационным воздействием, со способностью властных структур транслировать «усвояемые» массовым сознанием идеи, умением убедить, внести в повседневное сознание желаемые смыслы. Особую роль в соответствии с этим придают средствам массовой коммуникации и контролю над ними, использованию различного рода технологий, обеспечивающих эффективность внесения идей, «толкование» и «перетолкование» смыслов.

Нельзя сказать, что все это незначимо для легитимации. Отнюдь. В самое последнее время мы становимся свидетелями того, что умелое «информирование» и тщательно разработанные социальные технологии внушения творят чудеса и меняют полюса общественного мнения. Вопрос лишь в том, может ли *только это* дать долговременный эффект и сформировать устойчивую легитимацию политической власти? Каковы последствия того, что транслируемые идеи не соответствуют формирующимся на базе повседневного опыта, реальных жизненных условий и практической деятельности интересам населения? Ведь практическая деятельность и реальные условия существенным образом корректируют восприятие тех или иных идей. Даже символические универсумы, используемые при легитимации, как считают, например, П. Бергер и Т. Лукман, обусловлены в конечном счете этой деятельностью. «Следует подчеркнуть, — пишут они, — что концептуальные механизмы поддержания универсума сами являются продуктами социальной деятельности, подобно всем формам легитимации, и очень редко их можно понять независимо от деятельности рассматриваемой общности» [10, с. 178].

Такие способы легитимации, формирующие иллюзии и «ложные» (не связанные с интересами основной массы населения) предпочтения, дают лишь кратковременный эффект и обуславливают последующее недоверие, которое в определенных условиях превращается в открытую конфронтацию. Даже при отсутствии последней ситуация явного либо скрытого недоверия не способствует консолидации, необходимой для осуществления реформирования. А тот факт, что при



таким (назовем его «искусственным») способе формирования легитимности «признание» очень быстро сменяется недоверием, достаточно определенно обнаруживается в эмпирических исследованиях. Так, Е. Головаха, ссылаясь на данные репрезентативных опросов в Украине, обращает внимание на всплеск «доверия» в период парламентских и президентских выборов и «разочарования», которое обнаруживается в последующие годы: уже в следующем году после выборов значительное число электората отвечает, что не избрало бы своего депутата, а во второй год президентства оценивают президента значительно ниже, чем в первый. Даже институт многопартийности по мере удаления от года его введения оценивается все ниже. Так, если в 1991 его оценивали положительно 61 % опрошенного населения Украины, то в 1996 году эта цифра сократилась до 32 % [12, с. 82]. И определяющую роль в данном случае, как и во всех других, о которых речь шла выше, играет *практика функционирования политического института и те реальные интересы, которые определяют характер данной практики.*

Таким образом, есть основания утверждать, что существенным фактором легитимации представителей политической власти является их *способность соотносить свои интересы с интересами населения, а также удовлетворять последние в тех пределах, в которых это возможно в данных конкретных условиях.* При этом следует иметь в виду, что между вербально выраженными ориентациями и интересами (и населения, и политической «элиты») возможны большие или меньшие расхождения. Данная проблема формулируется и осмысливается в последние десятилетия в литературе, посвященной анализу природы власти и определению специфики властных отношений. Особый интерес в этом плане представляет работа Стивена Льюкса «Власть: Радикальный взгляд» (*Lukes S. Power: A Radical View. — Basingstoke; London, 1974*), относительно подробный анализ которой осуществлен В. Ледяевым [14].

По мнению С. Льюкса, основой власти является не «конфликт предпочтений», а «конфликт интересов». Интерес может неадекватно выражаться в «предпочтениях» (намерениях, целях). Учитывая это, следует признать, что объект власти, как считает Льюкс, может действовать в соответствии со своими намерениями, но вопреки своим реальным (объективным) интересам, если они не осознаны. Субъективные предпочтения связаны с интересами и являются их выражением. Тем не менее *игнорирование различий между интересами и идеалами*

и стремление выдать интересы за идеалы приводит к идейному оправданию элитизма, авангардизма, патернализма, тирании и пр. В. Ледяев цитирует также чрезвычайно актуальные для понимания постсоветских политических систем соображения С. Льюкса о том, что «высшая и наиболее коварная форма осуществления власти — это предотвращение в той или иной степени возможного недовольства людей путем формирования у них таких восприятий, знаний и предпочтений, которые обеспечили бы принятие людьми своих ролей в существующем порядке вещей — или в силу того, что они не видят альтернативы этому порядку, или потому, что считают его божественно предопределенным или выгодным» [14, с. 115]. В данном случае между субъектом и объектом власти, как комментирует это положение Ледяев, нет «конфликта предпочтений», а есть «конфликт интересов».

Проблема легитимности, таким образом, выходит за пределы соотношения идей и ценностей, «специализированной» и «повседневной идеологий» и переводится в плоскость практической деятельности и реальных интересов. Фактически такой социологический подход к проблеме легитимности обусловлен определенной методологической стратегией, в которой принципиальное значение придается возможности рассогласования идей и интересов, вербального и фактического поведения, признанию двойственности человеческого жизненного опыта. Данная стратегия, используемая при анализе ряда социологических проблем [15, с. 44–75], может оказаться полезной и при исследовании легитимности. Легитимность политической системы при таком подходе означает *согласование интересов политического руководства («элиты») и населения, выражающихся в вербально оформленных целях и предпочтениях относительно адекватно либо искаженно*. Результатом такого согласования является та или иная степень одобрения населением действий руководства, определенный уровень престижа и признания (непризнания) последнего. Указанный результат существенным образом обусловлен трансляцией идей, способами воздействия на те «смыслы», которые усваиваются повседневным сознанием и формируют сознательные предпочтения. «Успех» легитимации, понимаемой как производная соотношения не только «предпочтений», но и интересов, обусловлен тем, какой характер легитимность приобретает в результате всех этих взаимодействий: какова степень ее устойчивости, внутренней обусловленности и последовательности. Предполагается, в частности, что успех легитимации определяется в значительной степени тем, в

какой степени официальные формулы легитимности и используемые схемы интерпретации адекватны различным формам социализации в данном обществе. *Характер легитимности, определяемый в конечном счете соотношением интересов основной массы населения и интересов правящей элиты, способностью последней в своей деятельности руководствоваться общественными интересами, как раз и должен быть в поле зрения социолога.*

Социологическое исследование легитимности предполагает изучение именно «эмпирической» (в терминологии М. Вебера) легитимности, понимаемой как «фактическая значимость для людей установленного порядка» и характеризующейся многообразными проявлениями в их представлениях и поведении. «Фактическая значимость» обнаруживается в реальной практике людей, в их повседневной жизнедеятельности. Она в конечном счете и определяет *характер и степень легитимности* различных структур власти, находящихся в поле зрения социолога. «Нет ни одной страны в мире, где бы все население считало существующий режим полностью легитимным, — пишет французский социолог М. Доган. — Уровень легитимности определяется по степеням. Распределить режимы на воображаемой оси по возрастанию степени легитимности от ее минимума к максимуму — задача весьма полезная для сравнительного анализа политических систем» [16, с. 150]. Не менее важная задача — определение *характера* легитимности. Доган считает, например, что необходимо проводить «четкое различие между понятиями: легитимность режима, доверие к его институтам и популярность правителей» [16, с. 154]. Однако те эмпирические референты, которые он предлагает для верификации данных понятий, вряд ли являются удачными, и эмпирическое обоснование такого разграничения нельзя признать достаточно определенным. Впрочем, реальная проблема состоит в различении легитимности самого институционального, нормативного порядка и легитимности представителей власти, призванных в своей деятельности реализовывать соответствующие этому порядку нормы. Эта проблема, как уже отмечалось, была сформулирована еще Вебером (как проблема различия «нормативной» и «эмпирической» легитимности).

Есть, разумеется, грань, отделяющая одно от другого. Однако абсолютизировать это различие было бы неправильно, ибо недоверие к деятельности представителей власти перерастает в недоверие к самой структуре власти, к политической системе в целом. Особо важное значение в данном случае имеет фиксирование со-

ответствующей тенденции, рассмотрение динамики легитимности. Обратимся, например, к данным, свидетельствующим об отношении населения к институту представительной демократии. Важным признаком, характеризующим это отношение, является отношение людей к тому, насколько честно проводятся выборы, не допускаются ли фальсификаций. Как свидетельствуют результаты опросов, проводившихся в Одесской области, уровень доверия к данному институту за период с 1989 по 1998 год не повысился, а напротив, понизился (см. табл.)<sup>4</sup>.

**Мнения респондентов относительно легитимности выборов, %**

Считаете ли Вы, что выборы пройдут честно, без подтасовок, без нарушения закона	1989*	1994**	1998***
Да	41	5	8
Нет	27	30	64

\* Выборы в Верховный Совет УРСР.

\*\* Выборы Президента Украины, Председателя и депутатов областного, городского и районных советов.

\*\*\* Выборы в Верховную Раду Украины. Вопрос о честности был объединен с оценкой: «Получат ли люди (такие как Вы) возможность хоть как-то повлиять на судьбу страны?»

В 1989 году по одной и той же анкете, наряду с населением области, опрашивались участники городского митинга и эксперты (партийно-советские работники). Те и другие оказались значительно большими скептиками, чем опрошенное население. Среди первых (митингующих) было 74 % сомневающих в честности выборов, среди вторых (экспертов) — 66 %. Областной опрос, проведенный после выборов (в мае 1990 года), показал, что доля сомневающих в честности выборов среди опрошенного населения достаточно стабильна: их было практически столько же, сколько и перед выборами — 26 % (в Одес-

<sup>4</sup> Опросы, данные которых приводятся, репрезентативны для взрослого населения Одесской области. В декабре 1989 года опрос проводился социологической группой Одесского университета (научный руководитель — д-р филос. наук, профессор И. М. Попова; ответственный исполнитель — канд. филос. наук В. Б. Моин), N = 982, ошибка выборки не превышает 2 %. Опрос в 1994 году был проведен Информационно-исследовательским социологическим центром «Пульс» (А. В. Варламов, М. Б. Куняевский), N = 1100, ошибка выборки — 3 %. Данные 1998 года предоставлены «Фондом социальных исследований» (Е. В. Князева, А. В. Худенко), N = 971, ошибка выборки не превышает 4 %. Контрольные признаки по всем массивам — пол, возраст, место жительства.

се — 33 %, в районных центрах и ПГТ — 23 %, в сельской местности — 19 %). Эти данные весьма интересны, если учесть, что указанное десятилетие квалифицируют как *переход от советского тоталитарного общества к обществу демократическому*, в котором граждане имеют возможность принимать реальное участие в формировании властных органов, оказывать влияние на их состав. Следует напомнить также, что именно 1989 год являлся периодом значительной политической активности и временем политического кризиса, кризиса легитимности политической власти. Возникает, однако, вопрос, как интерпретировать это нарастание скепсиса в период с 1989 по 1998 год: как углубление кризиса политического режима (какого?) или как свидетельство непопулярности конкретных представителей власти, призванных создать условия для честных выборов?

Теперешние реалии нашей политической жизни также свидетельствуют об актуальности многих размышлений по поводу веберовского понимания легитимности. Взять хотя бы результаты последних президентских выборов в Украине. Учитывая, что не менее половины населения не уверены, что выборы проводятся честно, без фальсификаций, можно ли считать результаты выборов легитимными? Точнее, если мы признаем их легитимность, то какой смысл при этом вкладываем в данное понятие? Можно ли вообще говорить о доверии к институту представительной власти, если последний предполагает использование процедур, допускающих фальсификацию, либо не препятствует проникновению на вершину власти людей, не пользующихся авторитетом у населения? Аналогичные вопросы можно задать, анализируя отношение населения к многопартийности, а также к приватизации, которая является, несомненно, не только экономической, но и политической акцией. Непопулярность практически всех политических партий в Украине [см., напр.: 17, с. 45] приводит к нарастанию отрицательного отношения к институту многопартийности (о чем свидетельствуют данные, приводимые выше), а недовольство способами проведения приватизации в конечном счете может сформировать отрицательное отношение к самому этому институту.

Еще один важный момент, свидетельствующий о *разнокачественности* легитимности и обозначенный М. Вебером в терминах «внутреннего» или «внешнего» ее гарантирования, следует также держать в поле зрения. Отсутствие явного кризиса легитимности, открытого выражения недоверия к власти не свидетельствует о «внутреннем» доверии к ней, вере в ее относительную справедливость, в соответствие

интересов представителей власти интересам народа, в способность власти представлять и защищать общественные интересы. А именно такое, обусловленное «этическими» критериями доверие характеризует (если использовать терминологию Вебера) легитимность как *общественное согласие*<sup>5</sup>. Последнее достигается посредством *ценностно-рациональных* гарантий, проявляющихся как вера населения в значимость установленного порядка, представление о нем как соответствующем определенным, разделяемым населением ценностям. Готовность же терпеть власть либо предпочтение, выраженное на выборах, — это иное. Оно (предпочтение) может характеризовать вынужденность, осознание отсутствия альтернатив. Ранее обращалось внимание на неустойчивость такого политического состояния, ибо как только появляются альтернативы и надежды на изменение состояния, терпение иссякает и недовольство проявляется в кризисе легитимности, который означает открытое недовольство существующей властью.

Важное значение при исследовании легитимности политической власти имеет признание того, что «легитимность режима во многом определяется его экономической эффективностью» [16, с. 154]. На это обстоятельство указывают и украинские социологи, формулирующие проблемы статусной легитимации политических и хозяйственных элит Украины. Обращая внимание на факт зависимости легитимности политического режима от «меры его эффективности», они считают, что мера эта «в обыденном сознании рядового гражданина воспринимается как экономическое развитие страны и собственный жизненный уровень» [16, с. 12]. Однако используемые представления и эмпирические данные свидетельствуют о том, что речь идет, скорее, о *социальной эффективности* правящего режима, определяемой тем, какая *социальная политика* проводится властными структурами. Социальная же эффективность, характеризуемая не только жизненным уровнем трудоспособного и нетрудоспособного населения, но и возможностью реализовать свои знания и умения, проявить себя в деятельности, иметь доступ к многообразным современным благам и услугам — все это, в конечном счете, формирует так называемое «социальное самочувствие», которое является решающим фактором

---

<sup>5</sup> Напомню, что к внешним гарантиям легитимности М. Вебер относит не только правовые гарантии, но и «условные» (моральные), отличая последние от этических, как внутренних (по аналогии с различием морали и нравственности). И любые «внешние» оказываются менее эффективными и устойчивыми.

«внутренней» легитимации. Экономическая эффективность — необходимое, но не достаточное условие эффективности социальной. Выяснение влияния последней на характер легитимации предполагает также наличие информации о том, связывает ли население изменение своего социального положения с деятельностью властных структур. Ведь возможны, например, и другие «объяснения» ухудшения социальной ситуации в нашей стране: «таково время», «виноваты мы сами», «с нашим менталитетом ничего не сделать», «всякие радикальные изменения предполагают период ухудшения» и т. п. Однако, как свидетельствуют данные многих опросов, ухудшение социальной ситуации в стране люди, как правило, связывают именно с качеством политического и хозяйственного управления, с тем, что *правлящая элита преследует свои эгоистические цели и задачи, не принимает во внимание интересы основных масс населения, вообще игнорирует какие бы то ни было интересы общественные (если, разумеется, к последним не относить интересы корпоративные или клановые).*

Такого рода позиция, при которой ответственность за «личные неудачи» переносится на государство и всяческое «руководство», рассматривают как проявление «иждивенчества» и свидетельство популярности патерналистского государства. «Иждивенчеству» придается характер социально-культурного стереотипа, обуславливающего особенности постсоветского менталитета и препятствующего рыночному реформированию на постсоветском пространстве. Однако серьезной проблемой, требующей социологического осмысления, является спецификация патерналистского и «социального» государства. В литературе последнего десятилетия эта проблема обсуждается как проблема отличия последнего от «государства благоденствия». Как пишет В. Гутник, «...социальное государство», в отличие от «государства всеобщего благоденствия», стремится не к максимально возможному перераспределению доходов и имущества, а в первую очередь проводит такую социальную политику, которая ликвидирует правовые, административные и экономические барьеры, препятствующие реализации способностей личности, а также формирует благоприятствующие этому институты. И только в виде дополняющей меры осуществляется минимально необходимое перераспределение доходов и собственности» [18, с. 16]. Социальное государство, в рамках которого, наряду с действием рыночных механизмов, реализуются определенные социальные цели, — реальность ряда капиталистических стран. Для Украины — это всего лишь конституци-

онный принцип, от осуществления которого она все более и более удаляется. Представление населения об ответственности властных структур за проводимую социальную политику, как и за обеспечение элементарной безопасности и порядка, — вполне здравая позиция, отнюдь не свидетельствующая об иждивенчестве и приверженности патернализму.

Оценка «отечественного менталитета», «повинного» в *характере и степени* легитимности политической власти, осуществляющей либеральные реформы (либо провозгласившей либеральное реформирование), обусловлена также следующим: какова позиция социолога относительно того, что собой представляют либеральные ценности и как он, соответственно, характеризует отношение к ним основной массы населения. Суть этой позиции определяется, в частности, интерпретацией таких понятий, как «социальная справедливость» и «равенство», с одной стороны, и понятия «свободы» — с другой. Известно, например, что либеральные ценности за последнее столетие претерпели существенное изменение, прежде всего состоявшее в сближении ценности «свобода» с такими ценностями, как «социальная справедливость» и «равенство». Например, А. Печчеи в своей известной книге «Человеческие качества» пишет, что «старый гуманизм» был заменен «новым гуманизмом», который означает ограничение «гуманистического индивидуализма» и «признание приоритета справедливости по отношению к свободе» [19, с. 214]. Известно также, что понятие «свобода» наполняется разным смыслом в различных социокультурных условиях и что на передний план могут выдвигаться те из ее аспектов, что характеризуют общественную безопасность и порядок. Не менее важно также учитывать тот конкретно-исторический контекст, в котором формируются и утверждаются либеральные институты общества. Решая проблему легитимации политических институтов реформируемого общества, декларирующего приверженность западному либерализму, целесообразно учитывать, в частности, что соответствующие ему институты утверждались «до рождения социальных программ, поддержка которых требует государственного перераспределения существенной части национального дохода». Тогда как на постсоветском пространстве «переход к рыночной экономике осуществляется в условиях огромного груза социальных обязательств государства, доставшихся ему в наследство от предыдущего режима» [20, с. 43]. Основной массой населения изменение широкого спектра жизненных обстоятельств воспринимается как ухудшение, что имеет



особое значение для социального самочувствия и является, в данном случае, решающим фактором, обуславливающим оценку населением существующих политических институтов власти.

Итак, социологическое исследование легитимности и легитимации предполагает фиксирование и сопоставление многообразных данных, характеризующих широкий социальный, идеологический и политический контекст, в котором происходит процесс легитимации и осуществляется практическая деятельность, обусловленная интересами населения и правящей элиты.

### *Литература*

1. Кутуев П. Избирательное сродство в социологии М. Вебера // Социология: теория, методы, маркетинг. — 1999. — № 3. — С. 136–148.
2. Клюенко Э. Измерение потенциала протеста и социальной напряженности: применение методических подходов Лайкерта и Терстоуна для конструирования интегральных количественных показателей // Социология: теория, методы, маркетинг. — 1999. — № 3. — С. 89–100.
3. Солник С. Истоки и следствия нового конфликта «отцов и детей» // Социологические исследования. — 1992. — № 6. — С. 54–63.
4. Weber M. Domination and Legitimacy // German Sociology. — New York, 1998. — P. 24–37.
5. Аберкромби Н., Хилл С., Тернер Б. С. Социологический словарь. — Казань, 1997. — С. 406.
6. Давыдов Ю. Н. Легитимность // Современная западная социология. Словарь. — М., 1990. — С. 156–157.
7. Вебер М. Основные социологические понятия // Вебер М. Избранные произведения. — М., 1990.
8. Ritzer G. Contemporary Sociological Theory. — S. 1., 1992. — P. 608.
9. Mills C. Wright. Power. Politics and People. — New York, 1965. — P. 657.
10. Бергер П., Лукман Т. Социальное конструирование реальности. — М., 1995.
11. Ионин Л. Свобода в СССР. — СПб., 1997. — С. 368.
12. Головаха Е. Трансформирующееся общество. Опыт социологического мониторинга в Украине. — К., 1996.
13. Miller A. H., Hesli V. L., Reisinger W. M. Comparing Citizen and Elite Belief Systems in Post-Soviet Russia and Ukraine // Public Opinion Quarterly. — 1995. — Vol. 59. — P. 12–39.
14. Ледаев В. Понятие власти // Социологический журнал. — 1996. — № 3/4. — С. 109–125.
15. Попова И. М. Повседневные идеологии. Как они живут, меняются и исчезают. — К., 2000. — С. 217.

16. Доган М. Легитимность режимов и кризис доверия // Социологические исследования. — 1994. — № 6. — С. 147–156.
17. Петров О., Полторак В. Проблемы стратегического планирования президентской избирательной кампании // Социология: теория, методы, маркетинг. — 1999. — № 3. — С. 41–62.
18. Гутнов В. П. Социальное государство: тупик или возможность обновления // Куда идет Россия? Трансформация социальной сферы и социальная политика. — М., 1998. — С. 15–23.
19. Печчеи А. Человеческие качества. — М., 1980. — С. 302.
20. Фенько А. Б. Образ свободы в российском сознании и перспективы формирования российского общества // Способы адаптации населения к новой социально-экономической ситуации в России. — М., 1999. — Вып. 11. — С. 33–45.

## **«СОЦИАЛЬНОСТЬ» КАК ОСНОВАНИЕ СОЦИОЛОГИЧЕСКОЙ ИНТЕРПРЕТАЦИИ**

В действительности никто не сомневается в том, что социальная жизнь вписывается в естественный порядок мира. Но как разумная и нормативно-структурированная социальная жизнь может вписываться в мир объектов и причин — вот вопрос, который принадлежит не только философии.

*Патрик Фаро*

Проблемам интерпретации в последнее время уделяется немало внимания в социологической литературе. Анализируются они либо непосредственно как проблемы социологического объяснения и понимания; либо в связи с обсуждением ряда теоретических вопросов и уяснением смысла основополагающих социологических категорий (субъективизм — объективизм, социальная реальность, социальный детерминизм и др.); либо в связи с обсуждением эпистемологических позиций тех или иных социологов (в наибольшей степени — позиций Э. Дюркгейма и М. Вебера). Но более всего обсуждение проблем интерпретации вдохновляется социологическими дискурсами<sup>1</sup> о «постмодернизме». Именно с последним связывают своеобразный «пансимволизм», не только характерный для социологической методологии и эпистемологии, но и присутствующий в онтологических представлениях об обществе. Поистине Э. Кассирер, считавший, что человек — это животное, использующее символы, и имевший в виду, что в этом и есть, собственно говоря, сущность «человеческого», оказался провидцем. Он как бы предугадал то состояние общества, в котором символы повсеместно господствуют и «правят бал».

<sup>1</sup> Я намеренно употребила здесь этот новомодный термин, который кочует из одного социологического источника в другой и, как правило, используется без выяснения его смысла. Вопрос о том, что такое «дискурс» и чем объяснить его практически тотальное внедрение в отечественные социологические опусы, требует специального исследования. Здесь скажу только, что, говоря о «социологических дискурсах», я имею в виду нечто менее благородное и достойное, чем, например, социологическое размышление или анализ.

Позже фактически то же самое подразумевал и Ж. Деррида, сделавший заключение, что в мире нет ничего, кроме текстов. «Постмодернизм» как наименование состояния общества и исследовательской парадигмы — это и своеобразное оправдание символизма, способ обоснования правомерности последнего. Но выясняя, что же такое сам «постмодернизм», трудно не согласиться с тем, что и в постсоветских обществах тем же путем, как и на Западе (хотя, с «извечным опозданием») «архитектуроведческий» термин «постмодернизм» постепенно превращался в культурологическую категорию, вернее — в мифологему, ибо речь идет о сотворении нового мифа — общемировоззренческого порядка [1, с. 3].

Ранее поиски относительно адекватных интерпретационных процедур и стремление отказаться от абсолютизации символического привели меня к необходимости воспользоваться представлением о «двойственности жизненного опыта». Данное представление дало возможность упорядочить размышления относительно целого ряда проблем: идеологии, легитимации, парадоксов сознания, темпоральных переживаний и др. [2]. Идея «двойственности жизненного опыта» выполняла функцию своеобразной объяснительной конструкции, которая давала возможность осуществлять «неинтерпретативистскую» интерпретацию социологической информации, то есть интерпретацию, которая не соответствует подходам, принятым в так называемой интерпретативистской социологии постмодерна.

В данной статье я хотела бы углубить идею «двойственности жизненного опыта», расширить ее интерпретативные возможности, введя в область проблем социологической интерпретации, а также обсуждения природы «социальности» и «социальной реальности».

### **Социологическая интерпретация как методологическая проблема.**

#### **Что и как объясняют социологи**

Анализ проблемы социологической интерпретации предполагает выяснение того, что собой представляет объяснение и понимание, какова их роль в интерпретационных процедурах. Известно, что интерпретацию зачастую отождествляют либо с тем, либо с другим, либо вообще не различают по смыслу эти три понятия. Ранее я обращала внимание на те обстоятельства, которые обуславливают различное

толкование интерпретации, на специфику их проявления в социологии, а также на необходимость использования процедур объяснения и понимания, каждая из которых помогает решать соответствующие задачи [3, с. 87]. Это характеризует позицию, которая определяет и содержание данной статьи. Однако выводы относительно социологической интерпретации соотносятся здесь с рассуждениями по поводу многих других проблем.

Споры о природе и функциональном назначении процедур объяснения и понимания находятся на пересечении проблем «индивидуальное — надиндивидуальное», «субъективное — объективное», «духовное — предметно-практическое». Проблемы эти связаны между собой, но не тождественны, о чем речь будет идти далее. Что касается объяснения и понимания, то первое — это выявление каузальных связей, подведение под «всеохватывающий закон», тогда как второе — это нечто иное и, в определенном смысле, противоположное объяснению. Понимание — особая процедура получения знания о субъективном (диалоговое отношение «субъект — субъект» в отличие от объяснения, предполагающего отношение «субъект — объект»); о духовном (ибо понять или не понять можно лишь смысл, который содержится в духовном, но отсутствует в вещи); об индивидуальном (уникальном, неповторимом в отличие от общего, универсального).

Не следует забывать при этом, что различные проявления человеческой субъективности так же, как и объективно-предметный мир, упорядочены и структурированы, то есть могут объясняться посредством отнесения к закону. Как пишет Р. Коллинз, именно социологи из лагеря интерпретативистов, считающие своим главным достижением доказательство невозможности детерминистских теорий, показали, что мир, который они изучали посредством «гибких» методов, имеет вполне «жесткие» очертания. На примере Э. Гоффмана, которого называют «гением микроинтерпретации в социологии», Р. Коллинз показывает, что возможно «структурированное понимание субъективности» и что именно интерпретативисты, вопреки своим заявлениям, «много дали для разработки гораздо более тонкой теории сознания, чем та, которая была бы возможна до них» [4, с. 48]. При этом обращение к теории Р. Коллинз относит к *объясняющей* процедуре, использование которой рассматривается как свидетельство научности социологии. «Науку, — пишет он, — делает наукой способность объяснять, при каких условиях модель одного вида бо-

лее пригодна, чем другая, из какой бы области они ни были взяты» [4, с. 44]. Таким образом, относить процедуру научного объяснения только к предметно-вещественному миру было бы некорректно.

С другой стороны, трактовка понимания как специфической процедуры познания духовного не вполне соответствует представлению о так называемом «аналитическом» понимании, отличающемся от «герменевтического». Как известно, аналитическое понимание под влиянием логической семантики проникает в естествознание, а значит, признается как процедура, используемая при познании предметно-вещественного, объективного мира с присущими ему каузальными, закономерными связями. В этой связи представляют интерес рассуждения Ш.-А. Кюэна, содержащиеся в его статье «Социологи и одержимость пониманием. Неопозитивистское прочтение Макса Вебера». Здесь понимание рассматривается как постижение, как поиск *causa finalis*, как «тотальное объяснение», которое, однако, может выступать в качестве «удовлетворительного объяснения», создающего представление о «постижимости» изучаемого явления. Удовлетворенность тем или иным объяснением обусловлена социокультурным контекстом, тем общим представлением о мире, которое характерно для определенного мировоззрения. Трактующее таким образом понимание также представляет собой диалоговое отношение: «познающий субъект — культурный контекст», ибо осмысление знания о предметно-вещественном мире осуществляется в соответствии с теми смыслами, которые уже содержатся в духовной культуре.

В качестве иллюстрации данного положения Кюэн приводит объяснение эмпирического феномена падения материальных тел. Каузальное его объяснение означает обращение к закону всемирного тяготения, который, однако, сам может быть рассмотрен как следствие действия другой причины, если под причиной имеется в виду ответ на вопрос «почему?». Действительно, остается неясным, почему тела притягиваются именно таким образом, а не иначе. Современники Ньютона не могли удовлетвориться его объяснением (ссылкой на закон) и принять идею действия материальных тел на расстоянии. Только позже когнитивный диссонанс, вызванный открытием Ньютона, был умерен общей реструктуризацией представлений о физическом мире [5, с. 5]. В социологии же, как считает Кюэн, такая реструктуризация не произошла. И там до сих пор вместо того, чтобы довольствоваться одним конечным звеном в объяснительной

цепи (что свойственно для каузального реализма), ищут конечные причины реальности.

Ложные основания социологической «манеры понимания», по мнению Кюэна, состоят в том, что поиск причины, во-первых, связывается с ответом на вопрос «почему?», во-вторых, в качестве причины рассматривают осмысленное, обусловленное мотивом, а потому «производящее» действие. Только в таком смысле «парадигмы» социальных наук интегрированы вокруг «причин», тогда как парадигмы естественных наук — вокруг законов. «Возможно, в этом, — пишет далее Кюэн, — заключается вся проблема социологии и, шире, социальных наук, которые в отличие от наук о природе не подготовлены к тому, чтобы даже временно довольствоваться законами без их дополнения со стороны «тотальных» теорий, то есть без таких объяснительных систем, которые раскрывают причины явлений» [5, с. 8]. И именно в этом, как считает Кюэн, состоит главный источник хронически «полипарадигмального» характера социальных наук и слабая совместимость их теорий [5, с. 8].

Как известно, социологи ищут конечные причины либо в структуре (в целом), либо в действии (индивидуальном, коллективном), либо на пересечении того и другого. Но в любом случае поиск причины связывают с переходом индивидуального в социальное и наоборот. В основе же этой проблемы — «тайна» взаимоперехода субъективного и объективного, духовного и предметно-практического. Именно эта «тайна» имеется в виду в том высказывании Патрика Фаро, которое взято мной в качестве эпиграфа. Действительно, «как разумная и нормативно-структурированная социальная жизнь может вписываться в мир объектов и причин — вот вопрос, который принадлежит не только философии... Это вопрос, в рассмотрении которого, — пишет далее Фаро, — социологи более чем заинтересованы, если они желают избежать общих мест и высказываний о социальном мире. Возможно, эта работа также является условием для того, чтобы однажды их дисциплина стала похожей на конституированную науку — с общими и определенными областями, объектами, методом и языком» [6, с. 96].

Тайна «взаимоперехода» определена тем, что социология, как и социальные науки вообще, имеет дело с «действиями», в то время как естественные науки — с фактами, трактуемыми, добавлю, в онтологическом смысле. На это обстоятельство указывает Кюэн, считающий, что именно поэтому социологи ищут причину в «личности

актера», в его интеллектуальных мотивах и побуждениях, что, с его точки зрения, является *ложным основанием* социологической «манеры понимания» [5, с. 7]. С *действием* связывает специфическое для социальных наук представление об объяснении Гёран Тернборн. По его мнению, в социальных науках предпринимается попытка объяснить две группы явлений: «*человеческое социальное действие и результаты человеческого социального действия*». В первом случае выясняется, *почему* люди действуют так или иначе (в социальных отношениях и во взаимодействии с другими людьми). Во втором предполагается объяснить «те совокупности явлений», которые относятся к «результатам» человеческого социального действия, если даже последние анализируются как надличностные образования: например, распределение дохода, изменение либо сохранение социальных институтов, продолжительность брака и др. Такой подход возможен и вне рамок «методологического акционизма» [7, с. 76–77].

#### **«Каузальная цепочка». «Каузальные петли» в объяснении**

Однако остается вопрос, сформулированный ранее: как возможны такие взаимопереходы? Осознание трудности ответа на него обусловлено пониманием принципиального различия между определенными (не всеми!) условиями действия и его результатами (в зависимости от того, как их понимать). Удачнее всего суть проблемы «схвачена» и разъяснена финским логиком Георгом Хенриком фон Вригтом, который обстоятельно рассмотрел формально-логические аспекты действия и объяснения действия, подняв указанную проблему на уровень социально-философского анализа. Поставив задачу сравнить позиции «акционистов» и «каузалистов» и связывая эти позиции с различными традициями в науке и философии научного метода — аристотелиевской и галилеевской, Г. Х. фон Вригт подробно останавливается на характеристике действия и его результатов. Данной характеристике предшествует квалификация различного рода объяснений, которые используются при анализе действий.

Акционисты прибегают к *интенциональному* объяснению действия, соотносят последнее с *мыслительной* деятельностью: с целями, решениями, желаниями, с различного рода интенциями, относящимися к *внутренним* аспектам действия, рассматривая их как *причины действия и его результаты*. Каузалисты считают, что связь внутренних аспектов действия с самим действием является *логической, концепту-*



альной, а не каузальной, если иметь в виду юмовское представление о связи между причиной и следствием как номической (соответствующей закону) связи *порождения*<sup>2</sup>.

Установление каузальной связи Вригт называет *каузальным объяснением*, *интенциональное* же объяснение относит к *квазикаузальным*. Концептуально-логический характер интенционального объяснения разъясняется посредством аналогии с так называемым *практическим силлогизмом*: есть образ желаемой вещи, или *цели* действия; есть представление о некотором действии, которое связывается с этим желаемым результатом как средством его достижения. В заключении силлогизма речь идет об использовании средства достижения цели. «Таким образом, — пишет Вригт, — как в теоретическом выводе утверждение посылок с необходимостью приводит к утверждению заключения, так и в практическом выводе согласие с посылками влечет за собой соответствующее им действие» [8, с. 64]. В этом, собственно говоря, и состоит суть квалификации связи намерений и действий как концептуальной, логической связи, а не каузальной, номической.

С другой стороны, известны виды объяснения, которые лишь по форме являются телеологическими, но по сути относятся к каузальным. К таким объяснениям Вригт относит функциональные объяснения в биологии, называя их *квазителиологическими*. «Поведение живого организма, — пишет он, — или машины, объясняемое квазителиологически, можно назвать *целенаправленным*. Целенаправленность состоит в осуществлении функций, свойственных определенным системам. Целенаправленное в этом смысле поведение и другие процессы следует отличать от поведения, которое является *намеренным* в смысле интенционального стремления к цели. В смешении целенаправленного и намеренного поведения в философии биологии часто повинны различные «виталистические концепции» [8, с. 94]. К этому можно добавить, что к квазителиологическим объяснениям, являющимся разновидностями каузальных, следует отнести и функциональные объяснения, широко используемые в социальной антропологии и культурологии, а также в структурно-функциональных социологических концепциях: в качестве основания здесь выступает

---

<sup>2</sup> Действительно, в каузальной связи одно явление, существующее в настоящем (причина), оказывается необходимым и достаточным условием другого (следствия). Намерение связано с действием иначе. То, что предполагается достичь (цель), определяют как причину действия. Такая связь может носить только мыслительный, логический характер. В этом и состоит особенность так называемой «концептуальной связи».

представление о номической связи (устанавливаемой, как правило, эмпирическим путем) между структурой и функцией. Возвращаясь к человеческому действию, последуем за рассуждениями Вригта, которые приводят к представлению о «каузальной цепочке». Прежде всего он выделяет в действии *внутренние* и *внешние* (поведенческие) компоненты, а также различает *совершение действия* и *вызывание следствия*, отличая *также результаты* действия от его *следствий (последствий)*. «Совершая нечто, мы вызываем нечто другое» [8, с. 100]. Результат совершения действия выступает одновременно как причина, порождающая следствия. Иллюстрирует эти зависимости Вригт простыми примерами: открывая окно, мы либо проветриваем комнату, либо понижаем температуру, либо вызываем кашель и т. д. Совершая действие (которое в отличие от поведения является *намеренным*), мы прилагаем некоторое усилие, внося изменения в объект приложения усилий (например, поворачиваем ручку, нажимаем на кнопку и т. д.), и тем самым получаем результат — открытое окно. Этот результат и есть *причина* вызываемых следствий — проветривания или охлаждения людей в комнате, тогда как намерение открыть окно такой причиной не является. «Сказать, что мы вызываем следствие, — пишет Вригт, — вовсе не значит назвать нас причинами. Это значит, что мы *совершаем вещи, которые затем — как причины — производят следствия...*» [8, с. 103] (курсив мой. — И. П.).

Действительно, можно ли сказать, что форточка открывается от нашего желания или дверной звонок звенит, потому что мы хотим этого? На самом деле должно быть промежуточное звено, непосредственный внешний аспект действия (какая-то форма мышечной деятельности), порождаемый волей. «Итак, получается *каузальная цепочка* (курсив мой. — И. П.), в которой первый *каузальный фактор* — воля, *первое следствие* — непосредственный внешний аспект действия, и *конечное следствие* — результат действия» [8, с. 124–125]. Идея каузальной цепочки используется Вригтом при анализе сложных общественных явлений, с которыми приходится иметь дело историкам и социологам. Речь идет о попытках объяснить (выявить причину) ту или иную войну, революцию, крупные миграции населения, возникновение и падение империй. Но во всех этих случаях мы вынуждены охватывать многообразные связи каузального и некаузального характера. Играют ли какую-то роль в каузальных цепочках некаузальные (мотивационные, интенциональные) факторы? На этот счет существуют различные точки зрения. Мы же опять последуем за

Вригтом и вместе с ним обдумаем приводимый им пример — начало Первой мировой войны.

Известно, что ее связывают с выстрелом в Сараево. Далее произошли следующие друг за другом (и взаимосвязанные) события. Австрией предъявлен ультиматум Сербии, основным *мотивом* которого явилось убийство австрийского эрцгерцога. Россия использовала данный ультиматум как предлог для мобилизации армии. Это усилило позиции Сербии в конфликте с Австрией, и Сербия отказалась принять условия ультиматума. Австрия объявила Сербии войну. Первым шагом в *каузальной цепи* событий Вригт считает не убийство в Сараево, а предъявление ультиматума (это внешний аспект действия, внутренним аспектом которого являлся мотивационный компонент). Второй шаг — мобилизация Российской армии и, наконец, непринятие ультиматума и война. Цепочка каузальных связей начинается фактически не с предъявления ультиматума, а с определенной геополитической ситуации (борьба России и Австрии за влияние на Балканах), изменение в которую мог внести выстрел (влияние Австрии могло быть значительно подорвано, если бы не были наказаны виновные в убийстве, не был раскрыт заговор и возможные его связи за границей). Все это создавало *новую ситуацию*, которая могла помешать планам Австрии создать независимое Хорватское государство как противовес влиянию России. «Роль убийства в ряду последовательных событий, — как пишет Вригт, — состояла в том, что оно изменило *фактическую ситуацию* (курсив мой. — И. П.), которую должно было оценить правительство Австрии, чтобы сделать соответствующие практические выводы для своих действий» [8, с.171]. То же самое можно сказать и о мотивационных основах практических действий России, Сербии и Австрии (объявление войны). Каждый раз мотивация, связанная с практическим действием концептуальной логической связью, в качестве своей основы имеет определенную *фактическую ситуацию*.

*Каузальная цепочка образуется не связями мотиваций и действий, а связями последовательно сменяемых фактических ситуаций, выступающих как результаты действий* («открытое окно»). Например, практический шаг — предъявление ультиматума не был с необходимостью порожден выстрелом (поэтому выстрел нельзя считать его причиной в юмовском смысле). Для того, чтобы разъяснить это, Вригт приводит некую (воображаемую) ситуацию: если бы в увеселительной поездке по Гренландии эрцгерцога убил сумасшедший

эскимос, предъявила бы Австрия ультиматум Дании? Наверняка, нет. Другими словами, выстрел сыграл роль мотивационного средства для предъявления ультиматума лишь в определенной ситуации, которая, собственно говоря, и связана каузально с ультиматумом. Но играют ли какую-то роль мотивационные механизмы в той последовательности событий, которые образуют сложные исторические и социальные явления и которые приходится объяснять социологам и историкам?

Роль некаузальных (мотивационных, интенциональных) факторов можно уподобить *петелькам*, с помощью которых в том или ином конкретном случае можно замкнуть либо разомкнуть каузальную цепочку<sup>3</sup>. «Петелька» — это метафора, ибо концептуальная связь — нечто инородное по отношению к звеньям каузальной цепочки, но «петелька» соединяет одно звено с другим и тем самым создает достаточные условия, чтобы потенциально существующий процесс порождения состоялся *в данных конкретных условиях*. В каузальном объяснении общественных явлений такие «петли» необходимо учитывать. В этом (и только в этом) смысле их можно называть *«каузальными петлями»*, хотя на самом деле они таковыми не являются. Выражение «каузальные петли» использует Геран Тернборн, правда, в несколько ином смысле (рассматривая принадлежность к культуре как результат действия и, одновременно, как его источник). Он считает также, что задача социологии, антропологии, политической науки и историографии как раз и состоит «в прослеживании каузальных петель» [7, с. 92]. Что касается Вригта, то он, как уже отмечалось, не только различает каузальные и концептуальные связи, но и признает возможность противопоставления их как «внешних изменений» (климатических изменений, технологий, способа производства) изменениям «внутренним» (в мотивациях, нуждах и потребностях, когнитивных установках). Отвечая на вопрос, как связаны изменения одного рода с изменениями другого рода и какие из них являются определяющими, Вригт пишет следующее: «По-видимому, нет достаточных оснований для того, чтобы рассматривать какую-либо одну группу

---

<sup>3</sup> Кюэн демонстрирует эту роль на примере падения яблока, которое подчиняется закону всемирного тяготения. Необходимость падения заключается в существовании разницы между массой яблока и планеты. Но человек может сорвать яблоко, и падения (в данном конкретном случае) не произойдет [5, с. 7]. Можно продолжить размышление на эту тему: мы выбрасываем яблоко из окна и теперь уже создаем условие для действия закона.

факторов в качестве основной в том смысле, что изменения всех других групп факторов якобы можно вывести из изменений в этой» [8, с. 174]. Но стремление какую-то группу факторов рассматривать как базисную, как уже отмечалось, как раз и характеризует социологию и все социальные науки вообще. Конкретно же в качестве основных в обществоведении (если учесть длительную его историю и различные разновидности) рассматривались, преимущественно, именно мотивационные, смыслообразующие факторы, те связи, которые можно квалифицировать как «концептуальные».

Интересны в этой связи размышления, которые мы находим у классика итальянской социологии В. Парето. Ими он делится, стремясь утвердить тезис о том, что для познания объективных явлений нужно пытаться «от субъективных свидетельств переходить к объективности» [9, с. 139]. Эту позицию он иллюстрирует, обращаясь к истории греко-персидских войн, в частности, к попыткам определить причины победы афинян над персами в 480 году до н. э. в битве под Саламином. Согласно свидетельствам Геродота, причина победы — в предсказаниях Дельфийского оракула, советам которого последовали афиняне, хотя само предсказание в дальнейшем трактовали по-разному. По мнению Парето, причина победы состояла в том, что афиняне в соответствии со стратегией Фемистокла построили и вооружили сильный и боеспособный флот, который имел значительные преимущества в сравнении с оснащённостью персов. Недоумение Парето состоит в том, что в дальнейшем споры велись вокруг того, как именно следует трактовать *предсказание оракула* и почему афиняне истолковали его именно так, а не иначе. *Реальные же причины* победы оставались вне поля зрения. Анализируя эти, а также другие исторические события (например, Французскую буржуазную революцию 1789 года), Парето пишет следующее: «...если бы в те далекие времена люди рассуждали так же, как наши современники, то они сошлись бы на том, что реальная причина, а именно — превосходство афинян над персами в море, оказала на Фемистокла свое воздействие, хотя сам он этого и не осознавал, и что поэтому он убедил — сперва себя, а затем и остальных, что бог намекает на важность флота» [9, с. 141].

Позиция В. Парето, как видим, состоит в том, что он предостерегает от переоценки, выражаясь «современным» языком, «смыслообразующих факторов» и призывает обратить внимание на каузальные связи и опосредствования, которые существенны для понимания

того, почему явления и события происходят так или иначе. При этом проблему он опять-таки видит в том, чтобы ответить на вопрос, «как реальное явление влияет на субъективное явление и наоборот» [9, с. 139]. Парето, однако, переоценил способность «наших современников» рассуждать иначе, чем рассуждали наши далекие и относительно близкие предшественники. Замечу также, что наши современники приводят вполне резонные аргументы в пользу значимости «смыслообразующих факторов» и невозможности проникнуть в суть действия без их уяснения<sup>4</sup>. Однако аргументы в их («смыслообразующих факторов») пользу сплошь и рядом трансформируются в доводы не только против значимости и существенности для социальной жизни каузальных связей, но и против признания *существования предметно-вещественного мира как компонента социальности*. Например, из того, что социальное действие «просто необъяснимо, если отсутствует представление об его смысле» [10, с. 86], совсем не следует, что «социальный мир — это мир, конституированный смыслом» [11, с. 50]. А из того, что общество складывается из действий людей («а не из причин и следствий этих действий»), совсем не следует, как считает Д. Уолш, что методом познания общества может быть только какая-то форма понимания [11, с. 73]. «А не» в данном случае неуместно, ибо неправильно «изгонять» из сферы общества причины и следствия (последствия) человеческих действий, игнорировать внешний аспект действия, образующий каузальную цепочку, наряду с другими, «внешними», выходящими за пределы действия явлениями.

### **Структурно-деятельностный подход в социологии в свете представлений о двойственности жизненного опыта**

Вопрос, однако, в том, как понимать «причины и следствия», находящиеся «за пределами действия». И здесь придется вернуться к высказанной ранее идее о том, что споры вокруг природы и функционального значения различных интерпретационных процедур находятся на пересечении проблем «индивидуальное — наиндивиду-

---

<sup>4</sup> Обычно для доказательства значимости смыслообразующих факторов приводят сходные аргументы (невозможно судить о действии только по внешним его проявлениям) и иллюстрирующие примеры: пышная процессия, запечатленная камерой (А. Шюц), поведение человека, выбрасывающего из окна ребенка (Д. Силвермен), и др.

дуальное», «субъективное — объективное», «духовное — предметно-вещественное». В частности, предстоит ответить на вопрос о том, почему не следует отождествлять эти связанные между собой проблемы.

Не буду останавливаться на характеристике структурно-деятельностного подхода и на приводимых различными авторами аргументах в споре «структура vs действия или посредством действия». Эта работа проделана отечественными социологами в связи с разработкой проблем социального структурирования и процессов классовообразования<sup>5</sup>, а также в связи с анализом проблем «социальной реальности», характеристикой позиций таких современных социологов, как Э. Гидденс, П. Штомпка, П. Бурдьё и др. В русле этих проблем находятся и споры, ведущиеся вокруг «трансцендентального реализма» [12; 13; 14]. Из всех возникающих в связи с обсуждением этих проблем вопросов выделю лишь относящиеся к определенной плоскости рассмотрения: природа объективности (реальности) надличностной, складывающейся из действий людей структуры. Как понимать *объективность* последней и, соответственно, *объективацию желаний и намерений* так называемых акторов?

Трудность ответа на этот вопрос в значительной степени связана с неоднозначностью термина «субъективность». Эта неоднозначность убедительно показана авторами работы «Субъективный компонент в социологическом познании» [15]. Благодаря содержательному историко-философскому анализу «субъективного компонента» (гл. 1), а также характеристике различных социально-философских позиций, рассматриваемых в аспекте толкования данного компонента, работа эта выходит за пределы задачи, заявленной в ее названии — охарактеризовать субъективный компонент в *социологическом познании*. Представляет интерес и данная в этой работе трактовка методологической позиции М. Вебера, которая, как правило, находится в поле зрения при попытке ответить на поставленные выше вопросы.

В одних случаях считают, что надличностная структура, *обуславливающая* действие и ограничивающая свободу действующего субъекта, имеет ценностно-нормативную природу. Это соответствует и характе-

---

<sup>5</sup> Наиболее обстоятельная характеристика структурно-деятельностного подхода (и различных, связанных с ним точек зрения) содержится в докторской диссертации О. Куценко «Деятельностно-структурный потенциал трансформационного процесса: к разработке концепции классовообразования» (Харьков, 2001) в разделе 1.2 «Деятельностно-структурная парадигма самовоспроизводства общества».

ру выбора, осуществляемого на субъективно-индивидуальном уровне: целью, по Веберу, всегда является «идея», «ценностный идеал», и человек всегда осуществляет выбор в соответствии с принятыми ценностями. Объективность используемого Вебером научного подхода состоит в соотношении индивидуального выбора с ценностями, находящимися вне субъекта. Но к какой интерпретационной процедуре следует отнести этот подход — к пониманию или объяснению? А если к широко трактуемому объяснению, то к какому его виду? Можно ли утверждать, как это делает Е. Кравченко, что суть предложенного Вебером «понимающего» подхода к познанию социальной жизни сводится к проблеме соотношения свободы и обусловленности, творчества и нормативных ограничений, которую социальный деятель каждый раз решает для себя в процессе смыслонаделения мира на основе ценностного выбора [16, с. 123]? Однако в том и состоит сложность «понимающего» подхода Вебера: объяснение субъективного действия посредством отнесения его к ценностно-нормативной структуре является объективно-научной процедурой, которую вполне правомерно отнести к виду каузального объяснения («квазитеологическому» объяснению в терминологии Вригта). При этом собственно «понимающая» процедура используется при определении цели социального действия, выяснении смысла, который действующий субъект придает своему действию<sup>6</sup>.

На эту особенность «понимающего» подхода М. Вебера обратил внимание А. Шюц, считающий, что следует проводить «четкое различие между *Verstehen* (понимание. — *И. П.*) как: 1) формой опыта обыденного познания человеческого поведения; 2) эпистемологической проблемой; 3) специфическим методом общественных наук» [17, с. 489]. Особенность веберовского подхода, как считает Шюц, состоит в том, что Макс Вебер «постулировал объективность социальных наук, их независимость от *ценностных моделей, которые определяют (или должны определять) поведение действующих лиц на социальной арене*» (курсив мой. — *И. П.*) [17, с. 494]. Но важно так-

---

<sup>6</sup> Рассуждение в данном случае является типичным для так называемого практического силлогизма, посредством которого устанавливается не каузальная, а концептуальная, логическая связь (в терминологии Вригта). Приведа высказывание М. Вебера о цели как представлении о результате (причиной становится модель предполагаемого результата) и видя именно в этом свободу человеческого выбора и отличие жизни человеческого сообщества от механических и природных существ, Е. Кравченко сближает позицию М. Вебера с позицией феноменологии.



же то, что «ограничивающие условия», то, что *определяет* поведение действующих лиц, — это не что иное, как *ценностные модели*.

Неоднозначность трактовки веберовской позиции (об этом далее еще будет идти речь) обусловлена не только различием указанных Шюцем аспектов проблемы, но и неоднозначностью понимания самих «ценностей», с которыми соотносится действие субъекта. Является ли ценность *идеи* (символом), опосредствующей отношение субъекта действия к окружающему миру, либо она характеризует *объективную* (независимую от идеи) *значимость* для субъекта действия окружающего мира? Споры, ведущиеся в связи с этим вокруг наследия М. Вебера, обстоятельно прослежены авторами книги «Субъективный компонент в социологическом познании» [15, с. 64–72]. Сами же авторы считают, что Вебер, возражая против психологизирующего подхода В. Дильтея, утверждает связь ценностей с реальными интересами и считает необходимым рассматривать объективно данную реальность как независимую от ценностных принципов. «Направление интереса», пишут они, как «интерес эпохи» трактуется Вебером как целостный духовно-практический комплекс, определяющий социальное поведение людей и не сводимый к какому-то одному моменту [15, с. 64].

Анализируя ситуацию, складывающуюся вокруг наследия Вебера, мы сталкиваемся с неоднозначностью смысла не только термина «ценность», но и таких терминов, как «субъективное» и «объективное». Ибо выясняется, что смысл может быть не только «субъективным», но и «объективным», субъективность — трансцендентальной (Э. Гуссерль), а интенциональность — «анонимной» (Х.-Г. Гадамер). Существование объективного, существующего вне сознания субъекта смысла объясняют тем, что источником *субъективного смысла, смысловых ориентации субъекта* является *интерсубъективный мир*, наделенный значением помимо сознательной воли человека. Рассуждения на эту тему достаточно подробно анализируются в отечественной литературе. «В понятии анонимной потенциальности, — как совершенно справедливо замечает В. Бурлачук, — конечный результат феноменологии отклонился от своего первоначального проекта» [18, с. 109]. Однако вряд ли можно согласиться с тем, что «анонимная интенциональность», «анонимное смыслополагание» по-новому ставит проблему конституирования социального мира [18, с. 109]. Вернее, целесообразно выяснить, что именно «нового» содержится в признании «анонимного смыслополагания». Ведь дело не только в

том, что это конституирование «перестает быть во власти отдельного субъекта». Важно то, что и социальный (интерсубъективный) мир — это те же «интенциональность» и «смыслополагание» (объективное, трансцендентальное, анонимное), но не социально-практическая, предметно-вещественная деятельность и ее результаты, образующие каузальные связи и отношения.

В рамках своих концепций (парадигм) и Гадамер, и Гуссерль вполне последовательны, ибо основа их рассуждений — определенное предположение о человеческом жизненном опыте и индивидуальном субъективном действии. Здесь нет места внешнему предметно-вещественному условию действия, а также его результату, предполагающему физическое, «телесное» изменение (результат совершения действия в терминологии Вригта). Соответственно трактуются и интерессубъективные действия и те последствия, которые вызываются взаимодействием указанных условий и результатов. Если внятно не сказать, что означает «горизонт мира» или «действительная жизнь», «производной» от которой является субъект действия, мы останемся пленниками «империи смысла»<sup>7</sup>.

На самом деле трактовка «надличностного» (интерсубъективного) определяется тем, как понимается индивидуальное действие и *субъективный выбор*, характеризующий активность так называемого актора. Существенно важно при этом учитывать *двойственный характер жизненного опыта субъекта*, зависимость выбора не только от интернализированных ценностей, но и от предметно-вещественных обстоятельств, свойства которых воспринимаются непосредственно, не будучи оформлены в качестве языковой либо иной символической реальности, выступающей в виде «текста». Ранее я подробно останавливалась на характеристике этой двойственности, неразрывности культурно-символического и предметно-практического в повседневном человеческом опыте [2, с. 54–75]. Далее приведу некоторые данные, дающие возможность углубить и расширить вышеуказанную характеристику, введя в круг аргументации представления о «несловесном мышлении», «нерефлексивном» и «практическом» сознании.

---

<sup>7</sup> Выражение, которое использует Патрик Фаро, обращая внимание на то, что в новой социологии смысла и ценностей в меньшей степени учитываются сами вещи с причинами и следствиями. Ссылаясь на Ф. Доссе (Dosse) и П. Риксра, он пишет следующее: «На эту социологию смысла и ценностей, действительно, можно (как это сделал один историк социологии) перенести диагноз, который П. Риксер поставил феноменологической эпохе, когда говорил об «империи смысла» [6, с. 84].

Аргументы в пользу «несловесного мышления» в советской философской литературе использовались в работах Э. Ильенкова и А. Мещерякова, принимавших активное участие в процессах социализации слепоглухонемых детей. Как пишет Н. Абрамова, эти аргументы в значительной степени «продвинули мысль Сеченова о первичности предметного мира по отношению к символизации переработанных впечатлений... Установлено также, что нагляднодейственное мышление выступает не только как определенный этап умственного развития человека, но и как самостоятельный вид мыслительной деятельности, совершенствующийся на протяжении всей жизни индивида» [19, с. 71]. Интерес представляют также рассуждения о нереклексивном (не опосредствованном самосознанием) сознании и наивной (повседневной) коммуникации (К. Ясперс), имеющих значение для действий человека в жизненно-практических ситуациях, заданных субъекту обстоятельствами.

Особо важны также данные, свидетельствующие о специфике конкретно-практического познавательного опыта, авербального, ассоциированного, как правило, с «телесной формой» деятельности, а также свидетельства в пользу «визуально-телесного знания», которому свойственны признаки «фонового знания». (Последнему большое значение в осмыслении действительности придавал Л. Витгенштейн.) Речь идет о «практическом сознании», «практическом интеллекте». Его фундаментом «являются, как известно, воображение, интуиция, внутренний опыт, несловесные мыслительные единицы, неосознанные чувства, внерациональные элементы сознания и др. То есть такие не поддающиеся рационализации мыслительные структуры, которые «вступают в действие» *индивидуально*» [19, с. 80] (курсив мой — *И. П.*). Однако непосредственно-предметная обусловленность *индивидуального действия субъекта*<sup>8</sup> и *предметность* результата совершения индивидуального действия должны учитываться и при характеристике интересубъективных, совместных действий, образующих *социальное и социальные последствия* субъективных действий.

---

<sup>8</sup> Замечу, что и в данном случае человек выступает как субъект действия, осуществляющий выбор и проявляющий свою активность и, вполне возможно, даже индивидуальность, обусловленную неповторимостью его индивидуально-практического опыта, его «телесных» реакций на внешние обстоятельства.

## «Социальность» и «социальная реальность» как *causa finales*, как объяснительная конструкция социологии

Ранее уже обращалось внимание на те трудности, с которыми сталкиваются интерпретаторы позиции М. Вебера, выясняя отличие его позиции от различного рода феноменологических течений (собственно феноменологов, этнометодологов, символического интеракционизма, социологического экзистенциализма). Суть проблемы, как выше отмечалось, заключается не только в признании (или непризнании) самостоятельной реальности результата человеческих взаимодействий, но и в том, какова эта реальность, что собой представляет надличностная структура, которая при этом образуется и с которой соотносится субъективное действие при его объяснении. Но это одновременно составляет и проблему того, что такое «социальность» и «социальная реальность», что означает конституирование «социального мира» в отличие от мира индивидуального.

Хотя категория «социальной» не относится к числу специфически социологических категорий, ее, несомненно, следует отнести к основным социологическим понятиям, содержание которых характеризует ту или иную концептуальную схему, социологическую исследовательскую парадигму. Не случайно эту категорию рассматривают либо как «исходное» понятие социологии [20, с.24), либо как «предельное» понятие [21, с. 5], считают определяющим понятием теоретической социологии [22, с. 24]. И в этом смысле можно говорить о «социальном» и «социальной реальности» как о своеобразном *causa finales* для социолога. В самом общем смысле под социальностью понимают совместную деятельность людей, направленную на воспроизводство человека как общественного существа. Однако сама эта совместность и, соответственно, «социальная реальность» понимаются по-разному. Особое значение для толкования «социального», с моей точки зрения, имеет различие двух методологических подходов, которые условно можно назвать *субъективно-ценностным, символическим и объективно-предметным, вещественным* [см.: 23].

В соответствии с этими подходами так или иначе характеризуют «социальные отношения», «социальную структуру», «социальное действие». Так, последнее для М. Вебера — это «такое действие, которое **по предполагаемому действующим лицом или действующими лицами смыслу** соотносится с действиями *других* людей и ориентируется на них» [24, с. 603]. Совместные действия, определяемые свойствами

предметно-вещественной среды (а не смыслополаганием взаимодействующих лиц), не являются социальными. Как бы ни определялся «смысл» (а Вебер различает два его вида: субъективно предполагаемый действующим лицом или действующими лицами и теоретически конструированный чистый тип смысла), ценностно-символический характер «социального» при таком подходе не вызывает сомнения. Это дало основание С. Московичи соответствующим образом интерпретировать веберовскую позицию. Московичи считает, что Вебер лишь на словах порывает с психологизмом и рассматривает «социальное» как объект специфически социологического интереса. На самом деле он так же, как и Э. Дюркгейм, сводит социальное к психическому, ибо *социологического объяснения социального, отличного от психологического*, ни тот, ни другой не дает. Понимая психическое широко (но в определенном отношении слишком узко) как совокупность верований, имеющих ценностно-символическую природу, анализируя веберовские представления о роли харизмы в исторических инновациях, С. Московичи заключает: «Тогда вся социальная сфера становится харизматической» [25, с. 194]. Аналогичным образом трактует Московичи и веберовские представления о роли духа капитализма в происхождении современного мира, отвергая сомнения на этот счет, высказываемое, в частности, А. Броделем [25, с. 204].

Основание такой трактовки концепции Вебера обусловлено спецификой веберовской объяснительной конструкции, из которой выпадают не только предметно-вещественные результаты совместной деятельности, образующие социальное и являющиеся его необходимой и существенной составляющей, но и предметно-вещественные условия самой этой деятельности, выступающие как *социальная реальность* для действующих субъектов. Пафос позиции С. Московичи состоит в том, что в настоящее время в достаточной степени реабилитировано психологическое понимание социального, и основа такой реабилитации — в трудах тех классиков социологии, которые всеми силами пытались утвердить социологию, отмежевываясь от психологии.

Можно согласиться с С. Московичи в том, что «великая добродетель» М. Вебера, состоящая в признании роли смыслообразующих факторов, дает возможность говорить не только об истоках, но и о судьбе западного общества. «Я имею в виду, — пишет Московичи, — близкий нам опыт утраты смысла, бюрократии, рациональности, экономики, власти, который каждый наблюдает в своей собственной жизни и в жизни своей страны. Это проявление кризиса мира без

духа и призвания, где ничто не находится больше на своем месте, поскольку нет больше места, где что-то должно быть раз и навсегда» [25, с. 178]. Однако саму эту утрату смысла можно объяснить, лишь выйдя за пределы смыслополагания, ибо обретение и потеря смысла происходят в условиях социальной реальности, существенным компонентом которой является предметно-вещественный мир, вплетенный в совместную человеческую деятельность. В соответствии с этим при социологическом объяснении нельзя игнорировать социальность, понимаемую как совместная деятельность людей, обуславливающая удовлетворение многообразных (материальных и духовных) потребностей и интересов *посредством присвоения предметно-вещественных, материальных условий жизнедеятельности и существования*. Такого рода понимание социальности, как и соответствующее понимание сути «социальных проблем», «социальной политики», «социальной структуры» и всего того, к чему мы добавляем слово «социальное» (если не отождествлять «социальное» просто с «общественным»), характерно для так называемой «объективно-предметной методологии», которую обычно связывают с именем К. Маркса. На этот счет я неоднократно высказывала ранее свои соображения и, в частности, обращала внимание на преимущества такого понимания социального, имея в виду «глубинный» (не лежащий на поверхности) уровень социологического объяснения [2; 23; 26].

Объяснение на этом уровне неправомерно считать «экономическим», как не имеет основания и определение марксизма как проявления экономизма. (Такая дефиниция содержится, в частности, и в рассуждениях Вригга, и в доводах, приводимых Московичи в пользу «психологизма».) В основе данной квалификации лежит недооценка роли категории «социальное» в марксистской концепции и непонимание основания разграничения «экономического» и «социального» в марксовской «предметно-практической» методологии<sup>9</sup>. Не экономика, а «социальная реальность», обуславливающая воспроизводство человека как члена общества, является центральным звеном, тем «узлом», посредством которого многообразные общественные отношения увязываются в единое целое и который в конечном счете определяет цельность и относительную стабильность общественной системы. Само воздействие экономики на другие, «внеэкономические» сферы деятельности осуществляется (и «преломляется») через социальное.

---

<sup>9</sup> Подробнее об этом см.: [27].

Что касается ценностно-смысловой стороны человеческой деятельности (как и опредмеченных смыслов «рукотворного», «искусственного» предметно-вещественного мира), то она охватывается понятием «культура». Любые общественные явления, рассматриваемые как «культурные», могут, соответственно, *пониматься* (в герменевтическом смысле) и *объясняться*, так как подчиняются своим, внутренним законам взаимодействия, преемственности и функционирования смыслов и ценностно-нормативных комплексов. И если «социальное» отождествлять с ценностно-смысловой стороной человеческой деятельности и жизни общества, а также считать его («социальное») «предельным понятием» для социологии, то задачи социологического объяснения ограничиваются отнесением к законам ценностно-смысловых комплексов. Однако такого рода объяснение нельзя считать достаточным. Так или иначе используя объяснительные процедуры, интерпретаторы социологической информации пытаются выйти за пределы ценностно-нормативных контекстов и обращаются либо к «структуре возможностей» (Р. Мертон), либо к «неинтенциональным структурам и последствиям» (Н. Элиас), либо к «внешним условиям», «каузальному воздействию природных сил», «технических достижений» (Г. Х. фон Вригт), либо к «нелингвистическим практикам» (Л. Витгенштейн) и др.

Замечу, что споры о том, что считать «социальным», — это не просто «словесная» проблема. В конце концов, можно договориться о том, что есть различные «социальные реальности»: «социально-экономическая» и «социально-культурная», соответствующие двум неразрывно связанным сторонам человеческой деятельности. Каждая из них характеризуется своими особенностями и законами, которые описываются и устанавливаются посредством той или иной концептуальной схемы с присущим ей категориальным аппаратом. Либо можно, когда речь идет о «социокультурных» явлениях (часто мы используем этот термин, введенный в социологический обиход П. Сорокиным), четко оговаривать, что означает «социо-». Почему мы рассматриваем «нечто» не просто как явление «культуры», если не выходим за пределы анализа ценностей и норм, смысловой стороны человеческой деятельности?

Возможно, целесообразно объединить эти два понимания социального (как «социально-экономического» и «социально-культурного») и рассматривать его как совместную деятельность по удовлетворению потребностей и интересов посредством присвоения

не только «материальных условий» жизнедеятельности и существования, но и любых условий, выступающих как широко трактуемые «ресурсы» (как у Элиаса) или «капиталы» (как у Бурдые). Однако «терять» материальные условия при анализе «социальной», как и те каузальные связи, которые образуются посредством совместной человеческой деятельности в предметно-вещественном мире, для социолога непозволительно. Учет этих связей — важная составляющая «социальной перспективы» человеческой деятельности. А «социальная перспектива», как пишет Б. Сивиринов<sup>10</sup>, — это «целостное со-существование, со-бытие различных сфер реальности — субъективных (личностных), социокультурных (знаково-символических, виртуальных), материально-вещественных, природных, взаимодействующих напрямую и косвенно, часто по принципу *цепей пусковых механизмов*. Как в лифте мы нажимаем кнопку, вызывая движение сети механических систем, полезное для нас, так и в обществе и природе человек (часто не подозревая об этом) воздействует на «пусковые механизмы» социума, сохраняя и развивая, либо разрушая его» [28, с. 32] (курсив мой. — *И. П.*).

Однако «материальные условия человеческой жизнедеятельности» и предметно-вещественные факторы (включенные в действия), как и предметно-вещественные результаты и последствия человеческой деятельности, неправомерно сводить не только к природным (климатическим и др.) условиям, но и к сфере экономики, способу производства, потреблению<sup>11</sup>. Они включают и непосредственные телесные контакты (что становится явным, например, в условиях изоляции и сегрегации) и являются существенными составляющими любой индивидуальной и совместной человеческой деятельности, характеризуя позицию в обществе различных групп и коллективов. Особый интерес в этой связи представляет концепция П. Бурдые о взаимообусловленности «социального пространства» и «пространства физического», когда «социальное пространство стремится преобразоваться в пространство физическое с помощью искоренения

---

<sup>10</sup> Замечу, что статья Б. Сивиринова, посвященная анализу феноменологической интерпретации социальной реальности, — одна из немногих работ постсоветских социологов, где характеристика феноменологии не ограничивается анализом оппозиции «личностное — надличностное» и где обращается серьезное внимание на значимость предметно-вещественного фактора человеческой деятельности.

<sup>11</sup> Уже потребление выходит за пределы экономики и относится к социальной сфере; оно изучается социологией и воздействует на многие процессы, происходящие в обществе. Это достаточно убедительно показано в работах В. Тарасенко [30; 31].



или депортации некоторых людей...» [29, с. 36]. Идея наложения пространства социального на пространство физическое лежит в основе представления об «эффекте клуба» и «эффекте гетто».

В наибольшей степени роль материальных условий, предметно-вещественных результатов и последствий человеческой деятельности обнаруживается, когда мы характеризуем ее как «социально-практическую, преобразующую деятельность» и устанавливаем содержание понятия «социальная практика». Именно последняя дает возможность уяснить сложность «социальности», используемой в качестве объяснительной конструкции, необходимость обращения при социологическом объяснении к предметно-вещественному, материальному миру, вплетающемуся в совместную человеческую деятельность и обуславливаемую детерминацию «социальной реальности». Как пишет Б. Сивирин, люди в процессе своей деятельности переводят «условную, знаково-символическую онтологию социальной реальности в реальную... Драматизм социальной практики был, есть и остается в том, что люди обречены экзистировать в двух измерениях: феноменологической квазиреальности и онтологической реальности, но действовать, ориентируясь в первую очередь на социальные квазиреальности, будь то интерессубъективность первого порядка, т. е. феноменологическая с ее субструктурами, или интеробъективность. Существовая как материально-вещественные, естественно-природные образования, люди конструируют социальную квазиреальность феноменологической, виртуальной природы, ориентируясь на которую они при этом живут и действуют все-таки в абсолютной реальности» [28, с. 32].

Соглашаясь в том, что живут и действуют люди не только в сконструированной квазиреальности, следует добавить и то, что *ориентируются* они и осуществляют *выбор* не только благодаря этим сконструированным квазиреальностям (тем более не «в первую очередь»), но и посредством других направляющих механизмов, например таких, как «интересы» в марксистском толковании, «габитус» в концепции П. Бурдьё. По мнению последнего, например, недостаточно войти в музей, чтобы «присвоить» культурные ценности современного искусства либо любые другие услуги [29, с. 48]. Необходимым условием присвоения является наличие «габитуса», представляющего собой совокупность свойств, результирующих весь предшествующий (не только актуальный) опыт. Важно, однако, то, что габитус, по мнению П. Бурдьё, является результатом «употребления» вещей

и необходимым условием последующего их присвоения в процессе практики. Таким образом, выбор действия, ориентация субъекта, его активность не могут быть поняты без уяснения природы социальной практики.

### **Социально-практическая, преобразующая деятельность и «дискурсивная практика»**

Ранее я уже ссылалась на мнение П. Рикёра относительно того, какую роль играет категория практики в определении марксистского метода «декодирования и понимания процесса кодирования» смыслов и ценностно-символической реальности. Ссылаюсь я также на его оценку марксистской концепции, которую, как он считает, неправомерно отождествлять с марксистским экономизмом и абсурдной теорией отражения [2, с. 71]. Обращая внимание на понимание *практики как чувственно-предметной деятельности*, считаю необходимым подчеркнуть сугубую условность (и «приблизительность») использования данной категории для обозначения языковой деятельности («языковых игр»), вербального поведения (говорения, в значительной степени рассчитанного на «других» и являющегося способом самоутверждения), или так называемого «дискурса», получившего гражданство в постсоветской социологической литературе. Дискурс, действительно, имеет как внутреннее, так и внешнее свое проявление. Как пишет В. Бурлачук, интерпретируя позицию М. Фуко, дискурс — это «трансцендентальная субъективность», осуществляемая по правилам «языковой практики» [32, с. 101]. Тем не менее мы несколько не заблуждаемся, когда четко отграничиваем говорение, коего в нашем мире предостаточно, от того, что происходит в «действительности». Главное в дискурсе — это его ценностно-смысловая природа. И разграничение дискурса и собственно практики происходит именно по линии: ценностно-смысловое, символическое и предметно-вещественное, практическое.

Любопытна в этом отношении позиция П. Бурдьё. «Главное в опыте социального мира, — пишет он, — и в работе по его конструированию то, что он предполагает обращение к практике *ниже эмплитного представления и вербализованных выражений*» [33, с. 65] (курсив мой. — *И. П.*). С другой стороны, характеризуя специфику «политического», П. Бурдьё считает, что в политике «говорить» — значит «делать» [34, с. 206]. И хотя Бурдьё имеет в виду всего лишь убежде-

ние «других» в том, что можно нечто сделать, всякое отождествление «говoreния» и «делания» очень далеко от истины — нам, «соучастникам» процесса реформирования, это хорошо известно. Специфика «дискурса» как особого вида человеческой деятельности требует серьезного и комплексного (с участием по меньшей мере грамотных социолингвистов) изучения и тщательного анализа. Надеюсь, что социологические работы на эту тему в ближайшее время появятся в отечественной литературе. Здесь сошлюсь только на чрезвычайно интересную и поучительную статью Рэндалла Коллинза «Социология: наука или антинаука», один из разделов которой назван «Общество как дискурс».

Данному разделу предшествует анализ различных теорий в аспекте присутствия в них «неформальных понятий и интуиции». В частности, о теории «социальной драматургии», относящейся к одной из разновидностей феноменологии, Коллинз пишет: «Для Гоффмана структурой нижнего уровня, на которой вырастают все другие, является физическое взаимодействие человеческих биологических тел, некий экологический базис, который теоретически связывает Гоффмана с дюркгеймовской теорией ритуальной основы солидарности и символосозидания» [4, с. 48]. Речь идет, таким образом, о «практической» стороне всякого общения и символической коммуникации, которая обуславливает предсказуемость и *детерминистическое объяснение совместных действий («социальности»)*. Р. Коллинз справедливо, с моей точки зрения, подвергает сомнению правомерность попыток индетерминизма опираться на ту или иную версию «теоремы У. Томаса»: «Если люди определяют ситуации как реальные, то ситуации реальны по своим последствиям». Обращая внимание на необходимость совершенствования объяснительной способности социологических теорий, Р. Коллинз заявляет: «Аргументы, которые выпячивают исключительную роль дискурса, одно-сторонни» [4, с. 54].

Он ссылается также на результаты этнометодологических исследований, свидетельствующие о значимости превращения «повседневной жизни в рутину», что рассматривается как «основной социальный процесс» [4, с. 50]. Именно повседневная совместная «рутина» фактически и есть то, что составляет сущность практики. Она — а не только «эмоциональная энергия» и рефлексирующее сознание (и я бы добавила, «не столько») — является значимым фундаментом солидарности. Имея в виду «рутину» и повторяющиеся ситуации в

процессе совместных действий, Р. Коллинз пишет далее: «Мощные социальные процессы обладают удивительной силой, подавляющей более слабый процесс вроде кратковременной рефлексии» [4, с. 52].

Однако хотелось бы обратить внимание на очень важное обстоятельство, которое следует учитывать при характеристике той или иной методологической позиции. Любой сколько-нибудь значимый, а тем более выдающийся мыслитель, анализирующий конкретную (историческую либо повседневную) ситуацию, выходит за пределы своих «парадигм» и определяемого ими «формального аппарата». Так обстоит дело и с феноменологами, анализ результатов конкретных исследований которых дал возможность Р. Коллинзу заключить, что «в самом сердце этого якобы индетерминизма живет детерминизм», так было и с М. Вебером, и с К. Марксом. Возможно, отсюда и многочисленные разночтения их позиций и прямая оппозиционность их последователей. Что касается К. Маркса, то еще будет повод об этом поговорить (приближается 120-летие со дня его смерти). А вот в связи с характеристикой категории «практики» и представлением о значимости повседневной «рутины» имеет смысл еще раз обратиться к «работающей» концепции М. Вебера.

Интересный анализ позиции Вебера относительно генезиса и утверждения капитализма, а также роли в этих процессах идей протестантизма, дает В. Федотова. Она обращает внимание на значимость идей не только «харизмы», но и «рутинизации», используемых М. Вебером для объяснения динамики социальных процессов. Без стадии рутинизации протестантские идеи не смогли бы утвердиться и реализоваться в хозяйственной деятельности. Именно благодаря трудовому аскетизму рядовых людей, осуществляющих хозяйственную деятельность, идеи протестантизма выдвинулись на *роль культурного образца*. «*На стадии рутинизации, — пишет Федотова, — они превращались в моральные императивы больших масс населения, неразрывно связанные с их повседневностью и практической деятельностью...*» [35, с. 35].

В этой связи небезынтересно вернуться к анализу позиции М. Вебера, который дает С. Московичи, стремящийся, как отмечалось выше, показать, что в основе веберовского социологизма лежит все-таки психологизм, утверждающий основополагающую роль верований в общественной жизни. Внимательное прочтение текста, долженствующего подтвердить позицию Московичи, свидетельствует о том, что он как серьезный исследователь, анализирующий конкретную историческую ситуацию (так же, как в свое

время Маркс и Вебер), в значительной степени выходит за пределы своей парадигмы. Анализируя ту роль, которую сыграла протестантская мораль, в частности, идеал честности в хозяйственной жизни формирующегося капитализма, Московичи обращает внимание на то, при каких условиях пуританское правило «честность есть лучшая политика» утверждается и становится общим. «Идейное» меньшинство, руководствующееся этим правилом, «своим успехом оказывает влияние как на своих сторонников, так и на противников, вынужденных следовать его примеру. До такой степени, что дух капитализма распространяется за границы пуританского сообщества, пока не становится общим. Если практика честных и фиксированных цен позволяет увеличить клиентуру и округлить состояние, да здравствует честность!» [25, с. 261].

И далее (прошу извинить меня за столь обширное цитирование, но последующий абзац очень интересен, ибо дает возможность «плавно» перейти к нашему «реформированию» как особой социальной реальности): «Мне кажутся характерными инновации, изобретенные сектами, и та настойчивость, с которой они распространялись. Соединяя их в образцовую систему действий, соответствующую их ценностям, пуритане изменили, как говорится, правила игры. А посредством этого и саму игру, другими словами, общество вокруг себя. Без преобразования этих ценностей в действия, подразумевающие экономические последствия доктрины Кальвина, невозможно объяснить ее необычайное воздействие на капиталистические начинания и метод, которым они проводились. Но как только совершилась мутация, средству спасения приходит конец. Капитализм существует, а «дух», вдохновляющий его, исчезает... *Победивший капитализм отвернулся от своего прошлого, и то, что началось верой людей, продолжается механикой вещей*» [25, с. 262].

### **Практика как объект социологического исследования и инструмент «декодирования» социального реформирования.**

#### **Вместо заключения**

Поистине, идеи (идеалы, верования, символические конструкции) — правда, не только они — ориентируют людей в их совместной деятельности, выступая в качестве своеобразного «пускового механизма». А вот что еще «запускает» действие и как сработает символический пусковой механизм, когда он приводится в действие, — это

другой вопрос, на который должен ответить социолог, имея в виду, что «социальность» — это нечто большее, чем рефлексия и символизидание. Однако сосредоточиваясь на информации, выражаемой вербальным путем, мы не получаем адекватной информации о социальной практике. Об этом свидетельствует и тот опыт исследования процессов реформирования, который мы имеем. Практическая сторона самых различных наших действий, из которых складывается «реальность реформирования» (будь то практика хозяйствования, правовая практика, повседневная жизнь семьи, потребление информации, произведений искусства, практика общения и, разумеется, политическая практика, существенно отличающаяся от политической демагогии), ускользает от нас, ибо отсутствуют адекватные методы ее фиксирования. А это значит, что мы лишаемся возможности «декодировать» те смыслы, которые заключены в мощном потоке «реформаторского говорения».

Существенную роль в нашем продвижении в этом направлении должна была бы сыграть статистика (общая и отраслевая), но мы знаем, насколько она ненадежна. Проникнуть в *технологии и реальные механизмы* происходящих на постсоветском пространстве процессов очень трудно. Социологическое исследование должно уподобиться расследованию для того, чтобы не только объяснить, но и адекватно описать происходящее. Думаю, что полезными для описания социально-практической стороны реформирования были бы методы *включенного наблюдения, изучения бюджетов времени, анализ объективных характеристик людей, являющихся «движущими силами» реформирования, фиксирование динамики их действий и карьеры. Особый интерес представляет изучение пространственного перемещения внутригородских поселений, образования своеобразных сегрегаций, а также формы непосредственных контактов, которые сопутствуют реформированию. Необходимы поиски оценочно-нейтральных способов фиксирования теневых механизмов, получающих все большее распространение в постсоветских обществах.* Использование этих методов в большей степени, чем многочисленные опросы, дающие представление о мнениях и самочувствии населения, дало бы возможность охарактеризовать *технологии обогащения и выживания* и существенно углубило бы социологическую интерпретацию. Нужно сказать, что наши российские коллеги значительно продвинулись в этом направлении, о чем свидетельствуют работы, посвященные анализу механизмов «тенизации общества» [36; 37], неправовых трудовых практик [38], нефор-

мальной экономики [39], временных параметров жизни горожанина [40] и др. Следует отметить также, что в реконструкции технологий (и обогащения, и выживания) оказались полезными и так называемые «качественные методы», использование которых в данных целях предполагает мастерство и интуицию социолога [39; 41]. Но особенно следует отметить значимость фундаментальной двухтомной работы Л. Гордона и Э. Клопова «Потери и обретения в России девяностых», в которой авторы показали сложность и противоречивость процесса реформирования, выявляемые лишь тогда, когда анализируются реальные практики и порождаемое ими переплетение разнонаправленных тенденций. Как пишут авторы, «субъективное переживание происходящих перемен самими людьми, вообще массовым народным сознанием далеко не адекватно характеру и направленности социальных изменений, отражает их не вполне симметрично» [42, с. 479]. И все же тщательный анализ практики реформирования дал авторам основание для следующего заключения: «Конечно, случается, что эйфория и энтузиазм овладевают народным большинством в моменты всеобщего ухудшения материального положения, а пессимизм господствует в периоды улучшений. Но такие несоответствия, как свидетельствует исторический опыт, возникают очень редко и обычно ненадолго» [42, с. 480]. Этот «резонанс» материального положения обусловлен тем, что это существенная составляющая «социальности», включающей «логику вещей». Посредством этой логики можно объяснить многообразные последствия осуществляемой социальной практики, обнаруживаемые во всех сферах общества. Сама эта практика, предметно-преобразующая человеческая деятельность и есть тот самый «таинственный» механизм, обращение к которому дает возможность объяснить, «как разумная и нормативно-структурированная социальная жизнь может вписываться в мир объектов и причин».

3. Бауман в своей замечательно интересной книге «Индивидуализированное общество» перефразирует знаменитое изречение К. Маркса («люди делают историю, но делают ее в обстоятельствах, которых не выбирают») следующим образом: «люди сами определяют свой образ жизни, но в условиях, которые не зависят от их выбора» [43, с. 8]. Бауман пишет также, что «условия, в которых люди конструируют свое индивидуальное существование и которые определяют диапазон и *последствия* их выбора, выходят (или выводятся) за пределы их сознательного влияния, в то время как упоминания этих условий либо вымарываются, либо уводятся на нечеткий и ред-

ко используемый задний план историй, которые люди рассказывают о своей жизни, пытаюсь найти или придумать логику этих историй, позволяющую превратить их в понятные символы межличностного общения» [43, с. 7–8].

## Литература

1. Давыдов Ю. Н. Патологичность «состояния постмодерна» // Социологические исследования. — 2001. — № 11. — С. 3–12.
2. Попова И. М. Повседневные идеологии. Как они живут, меняются и исчезают. — К., 2000.
3. Попова И. М. Социологическая интерпретация как понимание и объяснение // Вестник ХГУ. — 2000. — № 492. — С. 81–87.
4. Коллинз Р. Социология: наука или антинаука // Теория общества. Фундаментальные проблемы. — М., 1999. — С. 37–72.
5. Кюэн Ш.-А. Социологи и одержимость пониманием. Неопозитивистское прочтение Макса Вебера // Социологические исследования. — 2001. — № 12. — С. 3–14.
6. Фаро П. Семантическая редукция в социологии // Журнал социологии и социальной антропологии. — 1999. — Т. 2. — С. 84–97.
7. Терборн Г. Принадлежность к культуре, местоположение в структуре и человеческое действие: объяснение в социологии и социальной науке // Теория общества. Фундаментальные проблемы. — М., 1999. — С. 73–102.
8. Вригт Г. Х. фон. Объяснение и понимание // Г. Х. фон Вригт. Логико-философские исследования. — М., 1986. — С. 37–242.
9. Парето В. О применении социологических теорий // Социологические исследования. — 1995. — № 10. — С. 137–145.
10. Уолли Д. Разновидность позитивизма // Новые направления в социологической теории. — М., 1978. — С. 80–110.
11. Уолли Д. Социология и социальный мир // Новые направления в социологической теории. — М., 1978. — С. 47–79.
12. Аутвейт У. Действия, структура и философия реализма // Социологос. — М., 1991. — Вып. 1. — С. 141–158.
13. Казакевич Х. Реализм и социология: вышла ли социология из кризиса? // Социологос. — М., 1991. — Вып. 1. — С. 159–169.
14. Бхаскар Р. Общества // Социологос. — М., 1991. — Вып. 1. — С. 219–240.
15. Пилипенко В., Привалов Ю., Щербина В. Субъективный компонент в социологическом познании. — К., 2000. — С. 129.
16. Кравченко Е. М. Теория социального действия: от М. Вебера к феноменологии // Социологический журнал. — 2001. — № 3. — С. 121–141.
17. Шюц А. Формирование понятия и теории в общественных науках // Американская социологическая мысль. — М., 1994. — С. 481–496.



18. *Бурлачук В.* «Отнесение к ценности», смысл и социальное изменение // Социология: теория, методы, маркетинг. — 2001. — № 3. — С. 100–110.
19. *Абрамова Н. Т.* Являются ли несловесные акты мышлением // Вопросы философии. — 2001. — № 6. — С. 68–82.
20. *Волков Ю. Е.* Базисные понятия и логика социологической парадигмы // Социологические исследования. — 1997. — № 1. — С. 22–33.
21. *Давыдов Ю. Н.* Введение. Теоретическая социология и ее история // Очерки по истории теоретической социологии — XIX — нач. XX. — М., 1994. — С. 5–21.
22. *Филиппов А.* Теоретическая социология // Теория общества. Фундаментальные проблемы / Под ред. А. Ф. Филиппова. — М., 1999. — С. 9–34.
23. *Попова И. М.* «Социальное» («социальность») как базовая категория социологии // Методология, теория та практика соціологічного аналізу сучасного суспільства: Збірник наукових праць. — Харків, 2001. — С. 24–35.
24. *Вебер М.* Основные социологические понятия // М. Вебер. Избранные произведения. — М., 1999. — С. 602–643.
25. *Московичи С.* Машина, творящая богов. — М., 1998. — С. 560.
26. *Попова И. М.* Был ли Маркс социологом? // Социологический журнал. — 1995. — № 3. — С. 71–85.
27. *Економічна соціологія: Навч. посібник / За ред. В. М. Ворони, В. Є. Пилипенка.* — К., 1997. — С. 32–66.
28. *Сивиринов Б. С.* О феноменологической интерпретации социальной реальности // Социологические исследования. — 2001. — № 10. — С. 26–35.
29. *Бурдые П.* Физическое и социальное пространство: проникновение и присвоение // Бурдые П. Социология политики. — М., 1993. — С. 33–52.
30. *Тарасенко В. И.* Социальные потребности личности: формирование, удовлетворение, развитие. — К., 1982.
31. *Тарасенко В. И.* Социология потребления: методологические проблемы. — К., 1993.
32. *Бурлачук В.* Судьба авторитета в современном мире // Социология: теория, методы, маркетинг. — 2000. — № 4. — С. 91–105.
33. *Бурдые П.* Социальное пространство и генезис классов // Бурдые П. Социология политики. — М., 1993.
34. *Бурдые П.* Политические представления: элементы теории политического поля // Бурдые П. Социология политики. — М., 1993.
35. *Федотова В. Г.* Когда нет протестантской этики... // Вопросы философии. — 2001. — № 10. — С. 27–44.
36. *Рывкина Р. В.* Теневизация российского общества: причины и последствия // Социологические исследования. — 2000. — № 12. — С. 3–12.
37. *Косалс Л. Я., Рывкина Р. В.* Становление институтов теневой экономики в постсоветской России // Социологические исследования. — 2002. — № 4. — С. 13–20.

38. *Заславская Т. П., Шабанова М. А.* Неправовые трудовые практики и социальные трансформации в России // Социологические исследования. — 2002. — № 4. — С. 13–20.
39. *Виноградский В. Г.* «Орудия слабых»: неформальная экономика крестьянских домохозяйств // Социологический журнал. — 1999. — № 3/4. — С. 36–48.
40. *Патрушев В.* Жизнь горожанина. — М., 2000.
41. *Виноградский В. Г., Виноградская О. Я., Никулин А. М., Фадеева О. П.* Жизнь Любы Курановской: семья, хозяйство, бюджет // Социологические исследования. — 2002. — № 1. — С. 61–76.
42. *Гордон Л. А., Клопов Э.* Потери и обретения в России 90-х. Историко-социологические очерки народного большинства. — М., 2001. — Т. 2. — С. 512.
43. *Бауман З.* Индивидуализированное общество. — М., 2000.

## **СУДЬБА ОДНОЙ СОЦИОЛОГИЧЕСКОЙ ПАРАДИГМЫ. (К 120-ЛЕТИЮ СО ДНЯ СМЕРТИ К. МАРКСА)**

«...неправомерное использование концепции не является тестом на ее ценность».

*Р. Мертон*

«В теориях Маркса имеется много проблем... Но при всех их недостатках теории Маркса все еще дают нам наилучшее на сегодня постижение современного индустриального общества, объяснение того, кто мы суть».

*Т. Рокмор*

«Я знаю только одно, что я не марксист», — так сказал Карл Маркс о себе, когда марксизм стал модой и появилось много почитателей марксизма, превратно его толкующих. Позже Ф. Энгельс, вспоминая это высказывание К. Маркса, заметит: «И весьма вероятно, что об этих господах он сказал бы то же, что Гейне говорил о своих подражателях: «Я сеял драконов, а пожал блох» [1, 383]. В настоящее время, когда исполнилось 120 лет со дня смерти К. Маркса (14 марта 1883 года), размышляя над этой оценкой вероятной позиции К. Маркса, целесообразно вспомнить и о Марксе-социологе, так или иначе повлиявшем на ход развития социологической мысли.

Что касается драконов, естественно задать вопрос: сеял ли их Маркс? Дракон, как известно, сказочное животное. Он является символическим изображением злого духа. «Злой дух марксизма» (от которого Марксу невозможно отречься) — признание созидательной роли насилия в жизни общества, вплоть до кровопролития. Еще в 1847 году, когда идея диктатуры пролетариата еще не была выражена достаточно определенно, а «основоположники марксизма» только-только расстались с так называемым «абстрактным гуманизмом», свою работу «Нищета философии» К. Маркс кончает словами, взятыми из романа Жорж Санд «Ян Жижка», считая, что это является «последним словом социальной науки» накануне переустройства общества: «Битва или смерть, кровавая борьба или небытие. Такова неумолимая

постановка вопроса» [2, 185]. И в определенной степени правы наши современники, думающие и размышляющие над истоками большевизма, когда нетерпимость и агрессивность последнего связывают не только с именами Сталина и Ленина, но и с именем К. Маркса.

Возвращаясь к драконам, напомним, что Дракон — это еще и имя афинского законодателя VII века до Рождества Христова. Законы, издаваемые им с целью обуздать классовую вражду, отличались необыкновенной строгостью и непримиримостью, но цели своей не достигали. Драконово законодательство сменилось законодательством Солона — одного из семи греческих мудрецов, который отличался демократичностью и способностью к примирению и умиротворению.

Участь драконовых законов разделили революционные идеи К. Маркса, сменившиеся умиротворяющими, реформистскими посылами социал-демократии, развивающейся вначале в русле марксизма, а затем фактически полностью порвавшей с ним. Маркс, как известно, считал революцию «повивальной бабкой истории». Но благодаря ее усилиям зачастую появлялись мертворожденные дети или уроды, не приносящие радости человечеству.

Однако однозначная оценка марксизма несправедлива. Например, судьбу марксизма в России связывают, как правило, с ленинизмом и большевизмом. Но сильнейшее увлечение марксизмом в самом начале XX в. испытали многие крупные мыслители, представители русской и украинской философской и общественной мысли: Н. А. Бердяев, Н. С. Булгаков, П. Б. Струве, С. Л. Франк, Г. Г. Шпет, А. С. Изгоев, Б. А. Кистяковский и др. Будучи гуманистически настроенными и широко гуманитарно образованными, они в основной своей массе не приняли в марксизме именно идею насилия и диктатуры. Тем не менее они признавали привлекательность марксизма за исторический размах и широту перспектив (Бердяев), за то, что это незаменимая школа политического и социального реализма (Изгоев). Именно переосмысление марксизма дало возможность российскому общественному мыслителю П. В. Струве, представителю «критического», «свободомыслящего», «легального» марксизма сформулировать (раньше, чем это сделал А. Бернштейн) основные принципы «умиротворяющего» реформизма, которые были взяты в дальнейшем на вооружение западной социал-демократией.

Укажу при этом на следующее обстоятельство: существует точка зрения, согласно которой «интеллектуальная дискредитация» классического марксизма, характерная для «послемарксовского» перио-

да, обусловлена тем, что «марксизм» — это детище Ф. Энгельса, а не самого Маркса, и что «переоткрытие» Маркса состоит в его освобождении от Энгельса. Такое мнение высказывает, например, профессор Дюкеенского университета Том Рокмор [3]. Думаю, что это весьма упрощенное представление о факторах, обуславливающих интеллектуальную дискредитацию марксизма. В большей степени следует согласиться со следующим положением того же самого автора: «Парадоксально, но, когда марксизм утратил свой авторитет, когда было заявлено о конце идеологии, когда говорят даже о конце самой истории, когда капитализм быстро распространяется в цивилизованном обществе, прозрение Маркса о природе современного индустриального общества становится как никогда более важным. Поэтому было бы жаль, если бы идеи Маркса остались невостребованными» [3, 28].

Не стремясь дать относительно полную характеристику учения Маркса в целом, обращусь лишь к некоторым аспектам его концепции, имеющие особое значение для социологии. Считаю необходимым уделить внимание **социологической марксистской парадигме**. Но прежде о самой концепции парадигмы, как основы «кодификации всей предшествующей работы в социологической области знания» [4, 76]. Такую позицию занимает, в частности, Р. Мертон, указывая на следующее: «...парадигмы имеют огромную пропедевтическую ценность, ибо, выводя на поверхность беспорядочное множество понятий, суждений и основных теоретических положений, удачно противодействуют невольному тяготению ученых к затуманиванию стержневой сути аналитической работы дымкой произвольных, хотя порой и познавательных комментариев и домыслов... <...> Парадигмы удерживают теоретика от злоупотребления якобы само собой разумеющимися и предполагаемыми, но не изложенными посылками» [4, 77].

Представляет также интерес характеристика Мертоном конкретных функций парадигмы, среди которых целесообразно выделить следующую: парадигма является фундаментом не только для уже имеющихся знаний, но выполняет такую же функцию и по отношению к новому знанию, являющемуся ярусом уже имеющегося строения. Как пишет Мертон, «...каждый новый достраиваемый ярус служит подтверждением надежности и прочности фундамента, каждая новая боковая пристройка также доказывает добротность основной несущей конструкции» [4, 79].

Возвращаясь к взаимоотношению Маркса и марксизма, и используя данные представления о природе и функциях социологической парадигмы, следует признать неправомерность, во-первых, противопоставления взглядов Маркса и Энгельса, во-вторых, разграничение на этом основании Маркса и марксизма. Это становится ясным, когда определяется суть *марксистской парадигмы*. Она (суть) состоит в том, что общество представляется как система *предметно-практической деятельности*. Для марксистской методологии характерен *деятельностный подход*, но именно *один из его вариантов*. На это обстоятельство было обращено внимание при обсуждении проблем «деятельности, культуры и человека», осуществленном журналом «Вопросы философии» в 2001 году. Как пишет В. А. Лекторский, мысли К. Маркса о деятельности могут быть поняты лишь в контексте развития немецкой философии XIX, в которой развивалась идея о том, «что субъект представляет себя лишь через деятельность объективации, через создание такого предмета, который внешне противостоит субъекту и вместе с тем является единственно возможным способом конституирования самого субъекта» [5, 58]. Однако Фихте и Гегель говорят о духовной деятельности, тогда как для Маркса — «это деятельность по созданию предметов культуры, в основе которой лежит труд» [5, 58].

Что касается труда, то об этом речь пойдет далее. Сейчас вернусь к марксистской социологической парадигме, которую условно можно назвать *объективно-предметной методологической стратегией*. Ранее, характеризуя данную стратегию [6], я использовала, в частности, представления Р. Бхаскара о так называемой «реляционной концепции обществоведения и преобразовательной модели деятельности общественного человека», согласно которой субъекты деятельности не творят общество, а *воспроизводят и преобразуют* его [7, 127]. Сопоставляя различные модели общества (утилитаризма, Дюркгейма и Вебера) с марксистским подходом, Бхаскар пишет, что лишь последний дает возможность «аналитически рассматривать общественную деятельность как *производство*, т. е. работу над и с материальными причинами, влекущую за собой их преобразование» [7, 228]. Обращая внимание на интерпретацию Бхаскаром марксовской модели, подчеркну следующее: характеризуя общество как *условие* социальной деятельности, к условиям он относит именно *материальные причины*, которые, в свою очередь, опосредованы сознательной (преднамеренной, целенаправленной) человеческой преобразовательной дея-

тельностью, именуемой «*практикой*». «Аналитически неустранимые и фактически необходимые в любом деянии материальные причины», являющиеся результатами предыдущих объективаций, образуют непрерывность *материальных условий* и подкрепляют «по настоящему пригодное понятие изменения и, следовательно, истории» [7, 30]. При этом Бхаскар ссылается на положение из «Немецкой идеологии» о том, что «данное поколение, с одной стороны, продолжает унаследованную деятельность при совершенно изменившихся условиях, а с другой, видоизменяет старые условия посредством совершенно измененной деятельности» [8, 44–45].

Для выяснения специфики марксовской социологической парадигмы можно воспользоваться одной из характеристик базисных, основополагающих понятий, определяющих логику любой социологической парадигмы. К базисным социологическим понятиям можно отнести *социальное действие, социальное взаимодействие, социальное отношение и социальную систему*. Можно согласиться с тем, что названные понятия, действительно, «*раскрывают сами основы строения и функционирования общественной жизни в любом ее масштабе*» [9, 28]. Однако речь в данном случае идет фактически о *социологических терминах*, смысл которых, как и содержание обозначаемых ими понятий, определяется спецификой социологической парадигмы, используемой тем или иным исследователем. В марксовской концептуальной схеме *социальное действие* связывается с представлением о «действительных» индивидах, их деятельности и *материальных условиях их жизни*, как тех, «которые они находят уже готовыми», так и тех, «которые созданы их собственной жизнью» [8, 18]. Существенны также указания Маркса и Энгельса на то, что это и есть те *предпосылки*, с которых они начинают, а также то, что «предпосылки эти можно установить чисто эмпирическим путем» [8, 18]. Соответственно понимаются и *социальное взаимодействие*, которое рассматривается как совместная деятельность, определяемая *материальными условиями жизнедеятельности*, и *социальные отношения*, носящие надличностный характер и образующие *социальную систему*, системообразующим признаком которой является *предметно-практическая деятельность*. Оставаясь в рамках данной парадигмы, определенным образом следует трактовать и «социальность» [10], а также «социальную структуру» общества [11], специфика которых обусловлена тем, что они характеризуют определенный *способ предметно-практической деятельности*.

Этот способ выступает не только как способ *материального производства*, но и как способ всей человеческой жизнедеятельности данного общества — способ *общественного производства*, как *образ жизни* людей, характеризующий и самих индивидов, осуществляющих практическую деятельность. «Способ, каким люди производят необходимые им средства к жизни, — пишут Маркс и Энгельс, — ...это определенный способ деятельности данных индивидов, определенный вид их жизнедеятельности, их определенный *образ жизни*. Какова жизнедеятельность индивидов, таковы и они сами» [8, 19]. Зависимость индивидов от способа жизнедеятельности понимается как зависимость от того, *что* они производят и *как* производят. «Что представляют собой индивиды, — читаем далее, — это зависит, следовательно, от материальных условий их производства» [8, 19]. Именно эту зависимость от *материальных условий* («аналитически неустранимых» и «фактически необходимых» в любом деянии, выражаясь языком Р. Бхаскара) дает возможность выявить марксовская «предметно-практическая» парадигма. Этим, в частности, определяется и то, что даже такие, весьма далекие от материального производства сферы общества, как религия и философия, характеризуются как *духовно-практические*.

Представление об общественной жизни как «по существу *практической*» и об обществе как *общественном производстве* лежит в основе марксистской **концепции общественного развития**, рассматриваемого как смена *способов производства*. В этом прежде всего проявляется специфика марксистского историзма. Однако, являясь своеобразной моделью *социального становления*, концепция эта содержит еще одно допущение, неоднократно подвергавшееся критике: речь идет о *направленности* исторического процесса, об *идее прогресса*, которая в настоящее время считается несостоятельной. Признание направленности хода истории свидетельствует и об известной непоследовательности, противоречивости марксовской концепции. Финский логик Г. Х. фон Бригт пишет о «явном каузализме марксизма в противоположность его неявной телеологии» [12, 40]. «Неявную» телеологию марксистской концепции исторического процесса, как правило, связывают с диалектической концепцией *развития* и гегелевским законом отрицания отрицания. Но если для Гегеля такое понимание истории было в определенной степени логичным, то в марксистской концепции, в качестве предпосылок которой были заявлены «действительные индивиды» и эмпирически фиксируемые материальные условия их жизнедеятельности, телеологизм был явно инородным «телом».



Анализ Марксом капиталистического общества носил научный характер, предполагающий *каузальное объяснение посредством обращения к «всеохватывающим» законам*. Этому предшествовала и сопутствовала титаническая работа по сбору многообразных данных и переосмыслению имеющихся концепций и размышлений, относящихся не только к современному Марксу обществу, но и к предшествующим этапам человеческого развития. Поль Лафарг в своих воспоминаниях пишет следующее: «Мозг Маркса был вооружен невероятным множеством фактов из области истории и естествознания, а также философских теорий, и он превосходно умел пользоваться всей этой массой знаний и наблюдений, накопленных в продолжение долгой умственной работы» [13, 146]. Эталону научности соответствуют и многие *предсказания* Маркса относительно эволюции капиталистического общества, которые, как известно, подтвердились, что и дает возможность использовать марксистскую концепцию для выяснения того, «кто мы суть» (Рокмор). Что касается обвинения в телеологизме, то его нельзя понять без уяснения сути марксовских представлений о *коммунизме* как о *будущем обществе*, необходимо следующим за обществом капиталистическим.

Хотя Маркс и Энгельс (а впоследствии Ленин) неоднократно заявляли, что коммунизм не идеальная конструкция, придуманная каким-либо мыслителем, а «действительное движение» («Немецкая идеология», «Манифест Коммунистической партии», «Карл Маркс», др.), неявным (но очевидным, как ни странно такое сочетание) аргументом «в пользу» коммунизма было представление Маркса об универсально-родовых свойствах человека. Можно согласиться с точкой зрения, выраженной в социологической литературе «раннеперестроечного» периода: «Маркс, таким образом, как бы заранее обладал предустановленным пониманием потенциальной человечности, т. е. определенной системой критериев «родовой сущности человека» — сущности, которая может полноценно реализоваться только при соответствующих социальных условиях» [14, 138]. С учетом этого обстоятельства есть основание характеризовать непоследовательность Маркса не только как совмещение явного каузализма и неявной телеологии, но и как противоречивое сочетание сциентизма и революционной апокалиптики. «В его учении, — пишет о Марксе А. Панарин, — сочетались и сталкивались революционная апокалиптика, основанная на иудеохристианской диалектике изгойства-избранничества, и сциентистская организационная уто-

пия, воплощающая в себе тиранически-бюрократическую и догматическую сторону европейского Просвещения, предопределившая его конфликт с народной стихией» [15, 5].

Подтверждение предсказаний обычно связывают с тем, что были установлены *закономерные тенденции*, позволяющие предвидеть будущее состояние. В пределах марксовской парадигмы, трактуемой в духе экономического детерминизма, тенденции общественного развития, как правило, связывались с такими критериями, как более высокий уровень технологий, большая экономическая эффективность (предполагающая более высокий уровень производительности труда), большая свобода работника и его заинтересованность в труде. Эти критерии (с учетом научной идеализации действительности) в основном «срабатывали» и не были препятствием для признания морально-духовного многообразия (в определенных пределах) происходящих в истории процессов. Вот только представление о *будущем обществе* как *коммунистическом* характеризовало все же не реальную, строго фиксируемую тенденцию общественных изменений, а скорее *желаемое* состояние общества. С этим связывается в постсоветской литературе связывают необоснованность тезиса о наступлении коммунизма «как светлого будущего для всего человечества» [16, 12]. «Научный социализм» также оказался лишь «идеальным (в отличие от «реального», функционирующего в пределах советского пространства) социализмом». Реальный же социализм советского образца не соответствовал хозяйственным (экономическим) критериям общества более «совершенного», чем современные ему капиталистические. Такая точка зрения является практически общепринятой в постсоветской обществоведческой литературе<sup>1</sup>, и констатацию данного факта рассматривают как признание того, что предсказание Маркса относительно *будущего*, послекапиталистического общества не подтвердилось.

Не считаю возможным вступать в дискуссии по поводу природы коммунизма (социализма), а также предпринимать обстоятельное сравнение эффективности различных хозяйственных систем, обращу внимание лишь на следующее: соглашаясь с тем, что марксовскую социологическую парадигму неправомерно квалифицировать как

---

<sup>1</sup> Исключением является позиция С. Кара-Мурзы, который выражает несогласие с такой оценкой экономики советского общества. По его мнению, с учетом того, что советская страна не получала «*услужливой помощи чужого труда, советское хозяйство эффективнее капиталистической экономики*» [17, 588].

«экономический детерминизм», мы тем не менее зачастую связываем ее только с критерием *эффективности хозяйства*. Соответственно и определяем свое отношение к марксовским историческим обобщениям, которые в современной социологической литературе соотносятся именно со стремлением к сугубо экономическим объяснениям. В свою очередь, отказ М. Вебера от такого, «в высшей степени экономического марксизма» рассматривается как причина его (Вебера) отказа от исторической генерализации вообще [18, 357]. Однако принятие Маркса в «лоно социологии» связано с многочисленными попытками соединить марксовский и веберовский подходы при объяснении исторического процесса.

Прослеживая судьбу марксизма, необходимо иметь в виду, что нельзя отождествлять последний с марксистской *социологической* концепцией. Джордж Ритзер, характеризуя неомарксизм и ссылаясь на высказывание Г. Лефевра, делает следующее заключение: в неомарксизме содержится социологическая теория, но не все немарксистские подходы можно квалифицировать как относящиеся к *социологической* теории. Более того, последователи Маркса во многих случаях используют его представления как «точку отсчета» (point of departure), «но они часто идут в совершенно различных направлениях» [19, 185]. Это относится не только к неомарксизму, но и к марксизму вообще. Благодаря энциклопедичности Маркса впоследствии образовались многочисленные его разновидности, группируемые, в частности, таким образом: «ортодоксальный» марксизм (термин И. Валлерстайна), трактуемый в духе «экономического детерминизма»; неомарксизм с его разновидностями (критическая теория, структурный марксизм, неомарксистская экономическая социология, исторически-ориентированный марксизм); постмарксизм (аналитический марксизм, трактуемый в духе теории «рационального выбора», эмпирически-ориентированный марксизм, постмодернистская марксистская теория и др.). В каждой разновидности марксизма внимание акцентировалось на какой-то одной стороне марксистской метатеоретической концепции: либо на принципе конфликтности и, соответственно, ее критической и революционной направленности, либо на системно-структурном ее характере, либо она использовалась как теория взаимоотношения труда и капитала, либо трактовалась как концепции рациональности (в духе теории «рационального выбора»). Маркса называли даже «праотцом теории действия» (Т. Парсонс), игнорируя различие между «волюнтаристской» теорией

действия и интересом Маркса к материальным условиям жизнедеятельности индивидов. То же самое можно отнести и к процессу «социологизации» марксизма. Речь идет о представленности марксовских идей в «собственно» социологии, а точнее, социологии XX века. Хотя предпосылки популяризации идей марксизма среди социологов, как считает Д. Ритцер, были заложены представителями Франкфуртской школы и радикальной социологии [20, 88], актуализация марксовского арсенала социологических понятий для анализа «современного» общества — более позднее явление, относящееся к 1950-м годам. При этом происходит характерное для всей эволюции марксизма его «препарирование», «раздергивание» на различные части. «Основной механизм процесса «адаптации» марксизма к сиюминутным нуждам западной социологии, — как пишет Д. Алиева, — был не нов: он состоял в предварительной фрагментации целостного содержания учения Маркса на отдельные аспекты, проблемы, методологические подходы, даже понятия, и в следующей редукции исходной целостности к тем или иным ее фрагментам в соответствии с интересами текущего момента» [20, 110].

1970–1980-е годы относят к тому периоду эволюции западной социологии, когда произошло (в частности, в США) активное проникновение марксизма в академическую социологию. Оно сопровождалось институционализацией марксизма, и в некоторых случаях даже квалифицировалось как «марксистская культурная революция» [21, 110]. Но означает ли это, что марксистская социологическая парадигма стала господствующей? Сошлюсь при этом на мнение Г. Х. фон Бригта, который, характеризуя данный период, считает, что «марксистская социология играет роль *господствующей парадигмы*, хотя развитие марксистской науки свидетельствует о многочисленных попытках вырваться из-под власти парадигм» [12, 238] (курсив мой. — И. П.). С этим вряд ли можно согласиться. Последователи Маркса, отталкиваясь от его идей и представлений, редко *работали в пределах марксовской социологической парадигмы*, порой не отдавая себе отчета в том, что используемые марксистские термины в таком случае принимали иной, немарксистский (но не обязательно антимарксистский!) смысл. Собственно говоря, принципиальная позиция Бригта относительно социологических парадигм вообще не вполне согласуется с таким пониманием роли социологической марксистской парадигмы. «Истина, вероятно, — как пишет он, — состоит в том, что в социологии не существует *всеобщей* признанных парадигм,

и это та особенность, которая отличает ее от естествознания» [12, 238]. И далее хотелось бы обратить внимание на важное заключение, в значительной степени проясняющее суть той идеи, которую стремлюсь донести до своих читателей. «Следовательно, есть основание говорить о существовании параллельных типов социологии... Они отличаются не столько тем, что придерживаются противоречащего друг другу понимания фактов, сколько принимаемыми парадигмами, *в рамках которых дается описание и объяснение фактов*» [12, 239] (курсив мой. — И. П.).

Прослеживая логику изменения социологического знания и анализируя современное состояние последнего, нельзя не заметить, что отношение к марксовской парадигме существенным образом определяется именно сдвигом социологии в направлении к так или иначе трактуемой «субъективной реальности». Однако, вновь вспыхнувший интерес к субъективности не следует считать оправданием игнорирования «объективной» марксистской методологии. Можно согласиться с тем, что сущность субъективного — это проблематика, «над которой уже две тысячи лет безуспешно бьется западное мышление» [21, 244]. Но общепризнанным является вклад марксизма в разработку и этой проблематики, о чем свидетельствует тот факт, что Маркса считают одним из основных интеллектуальных предшественников **социологии знания**. Именно у Маркса, как считают представители феноменологической социологии знания П. Бергер и Т. Лукман, «берет свое происхождение основное положение социологии знания о том, что социальное бытие определяет человеческое сознание» [22, 16]. Обращая внимание на многочисленные споры по поводу того, какую именно детерминацию Маркс имел в виду, авторы «Социального конструирования реальности» пишут следующее: «Однако, бесспорно, что «борьба с Марксом», которая была характерна не только для социологии знания на начальной стадии ее развития, но и для «классического периода» социологии вообще (особенно явная в работах Вебера, Дюркгейма, Парето), на самом деле была по большей части борьбой с *ошибочной интерпретацией Маркса* современными марксистами» [22, 16] (курсив мой. — И. П.). Бергер и Лукман указывают также на то, в чем именно состояла эта ошибочная интерпретация и искажение мысли Маркса: в механистической трактовке природы и роли в общественной жизни экономической структуры. Вместе с тем «Маркс, — по их мнению, — указывал на то, что человеческое мышление производно от человеческой деятельности (точнее труда) и от

социальных взаимосвязей, возникающих в результате этой деятельности. Базис («субструктуру») и надстройку («суперструктуру») можно лучше понять, если соответственно рассматривать их как человеческую деятельность и мир, созданный этой деятельностью» [22, 17]. Бергер и Лукман считают также, что вообще идея о диалектике социальной реальности и человеческой экзистенцией в современную социальную мысль была привнесена прежде всего Марксом [22, 299].

И все же сознание и субъективность с присущими им символами и способами выражения *в рамках марксистской парадигмы* характеризовались и объяснялись в некотором смысле «односторонне», в аспекте *порождения* форм сознания характером предметно-практической деятельности. Это был лишь один из способов анализа сознания, характеристики его «по его предметностям», как пишет М. Мамардашвили, по значащим для субъекта сознания объективациям, «рассматриваемым в качестве порожденных саморазвитием и дифференциацией системы социальной деятельности как целого» [23, 298]. Собственные законы функционирования сознания и воздействия его на преобразовательную деятельность, хотя и признавались Марксом, *в рамках этой парадигмы не могли достаточно адекватно описываться и объясняться*. Более того, Маркс такую задачу и не ставил, на что впоследствии укажет Ф. Энгельс в своих письмах, именуемых (по предложению В. Адоратского) как «Письма по историческому материализму».

Признавая свою и Маркса вину в недооценке роли общественно-го сознания, Энгельс писал следующее: «Нам приходилось, возражая нашим противникам, подчеркивать главный принцип, который они отвергали, и не всегда находилось время, место и возможность отдавать должное остальным моментам, участвующим во взаимодействии» [24, 396]. Но не о виновности в данном случае должна идти речь. Такова судьба любой парадигмы, любой концептуальной схемы, какой бы значительной она ни была, поскольку она всегда представляет собой *идеализацию* действительности и дает возможность «высвечивать» последнюю с какой-то определенной стороны. Что касается марксистской парадигмы, то признавая ее известную «односторонность», следует иметь в виду, что при анализе конкретных исторических событий, т. е. когда дело доходило «до практического применения», ситуация, по выражению Энгельса, менялась «и тут уже не могло быть никакой ошибки» [24, 396]. Действительно, такие работы, как «Крестьянская война в Германии», «18 Брюмера Луи Бо-

напарта», «Революция и контрреволюция в Германии» и др. — свидетельством тонкого понимания законов функционирования идей, их взаимодействия в определенном общественном контексте. Чего стоит, например, следующая характеристика переломных периодов в развитии общества: «И как раз тогда, когда люди как будто тем и заняты, что переделывают себя и окружающее и создают нечто еще небывалое, как раз в такие эпохи революционных кризисов они боязливо прибегают к заклинаниям, вызывая себе на помощь духов прошлого, заимствуют у них имена, боевые лозунги, костюмы, чтобы в этом освященном древностью наряде разыгрывать новую сцену всемирной истории» [25, 119]. Воскрешение мертвых, как пишет Маркс, «служило для того, чтобы возвеличить данную задачу в воображении, а не для того, чтобы увильнуть от ее разрешения в действительности» [26, 121]. Слова о заимствовании старых лозунгов и представлений для возвышения («в воображении», а не «в действительности»!) частных интересов как будто о «перестроечном» «дворянстве» и «казачестве», а также о многом другом, свидетелями чего мы в настоящее время являемся! И наконец трудно удержаться от того, чтобы не привести еще одно, чрезвычайно актуальное для понимания нашей «современности» высказывание: «И подобно тому, как в обыденной жизни проводят различие между тем, что человек думает/и говорит о себе, и тем, что он есть и что он делает на самом деле, так тем более в исторических битвах следует проводить различие между фразами и иллюзиями партий и их действительной природой, их действительными интересами, между их представлениями о себе и их реальной сущностью» [26, 145].

Возвращаясь к марксовской социологической парадигме и воспользовавшись метафорой Р. Мертона, укажем на то, что марксовскую концепцию сознания можно рассматривать как «боковую пристройку» к основному «зданию» объективной, предметно-практической парадигмы. В то же время в субъективно-ценностной, или ценностно-нормативной, модели общества концепция сознания и культуры относится к фундаментальной, несущей конструкции. Разумеется, социологи, работающие в рамках данной парадигмы, признают значимость предметного мира и материальных причин. Однако дело в том, какие *средства описания и объяснения общественной жизни они преимущественно используют*. Ведь каждой парадигме соответствует и определенный арсенал используемых средств, дающих возможность решать соответствующие задачи. В марксовской парадигме, напри-

мер, это такие понятия, как *способ производства, производительные силы, формы общения (производственные отношения), труд, разделение труда, потребности, собственность*. Именно с помощью этих понятий можно описать и объяснить *практическую жизнь общества* вообще и капиталистического в частности. Лишь охарактеризовав данные понятия, Маркс и Энгельс обратились к сознанию, используя их для выделения «основных сторон исторических отношений»: «Лишь теперь, — пишут они, — ...мы находим, что человек обладает также и «сознанием» [8, 29]. Характеризуя марксовскую концепцию сознания как «боковую пристройку» его социологической парадигмы, можно предположить следующее: перестраивание и достраивание этой «пристройки» в дальнейшем *без смены фундамента* будет означать *поиск генетической связи* вновь открытых в рамках других социологических парадигм законов функционирования субъективной реальности (в частности, многообразных проявлений «повседневного сознания») с предметно-практической деятельностью и ее материальными условиями. Но это отнюдь не исключает, а наоборот, предполагает использование различных средств исследования субъективной реальности, содержащихся в теориях, базирующихся на иных парадигмах.

В последнее время для социологии характерно стремление *синтезировать* теории, создаваемые на основе различных парадигм. Дж. Ритцер предлагает использовать так называемый *интегративный подход*, который объединил бы различные парадигмы, соответствующие разным «уровням социальной реальности» (макро-субъективному, микро-субъективному, макро-объективному и микро-объективному) в одну интегративную, «большую» (major) парадигму. В качестве таких (интегративных) концепций, по мнению Дж. Ритцера, могут выступать концепция Маркса (которую, как он считает, несправедливо относят только к макро-объективным структурам) и концепция символического интеракционизма (также несправедливо соотносимая только с микроуровнем) [19, 535]. Определение социологической парадигмы Ритцер относит к метатеоретизированию — социологической методологии, обусловленной, в конечном счете, той или иной философской позицией. Сравнение социологических парадигм по двум параметрам — «объективно-субъективному» и «микро-макро» подходам — приводит его к следующему заключению: «объективно- субъективный континуум включает в себе большие, чем микро-макро континуум, проблемы и до сих пор является не менее важным» [19, 534]. От себя добавлю, что



многие положения марксизма, характеризующие его позицию на шкале «субъективно-объективное» трактуют как соотнесение только с «микро-макро» континуумом. Например, так поступает Петр Штомпка, приводя высказывание Маркса о том, что «обстоятельства создают людей в той же мере, в какой люди создают обстоятельства» [26, 273]. В этой связи интерес представляет критика Ч. Миллсом «Высокой теории», под которой подразумевается Парсоновская концепция. Миллс критикует ее не столько за формализм и «систематическое избегание любой конкретной эмпирической проблемы», сколько за абсолютизацию ценностно-нормативной структуры и «символов господства». Но как только Парсонс начинает исследовать происходящие в обществе социальные изменения, «неожиданно обнаруживается и экономическая и профессиональная структуры, которые осмысливаются в последовательно марксистских терминах, а не в терминах воображаемых «Высокими» теоретиками нормативной структуры. Это оставляет надежду, что они еще не совсем утратили связь с исторической реальностью» [27, 57].

Возвращаясь к «интегративному подходу», отмечу, что все зависит от того, как его понимать. Если как *синтез*, как построение некоей *универсальной* теории в духе сверхтеории Н. Лумана, то вряд ли такую интеграцию следует считать перспективной. Более корректным, с моей точки зрения, является отстаивание *мульти-парадигмального подхода*, на который ссылается В. Танчер, приглашающий нас к дискуссии в связи с обсуждением позиции И. Валлерстайна относительно «культуры социологии» [28]. К доводам, предлагаемым В. Танчером, добавлю следующее: стремление к синтезу или к единой «формирующей структуре» сплошь и рядом приводит в настоящее время к абсолютизации ценностно-нормативной, культурно-символической парадигмы и игнорированию *материальных причин, предметно-вещественных составляющих социальных процессов*. Данной абсолютизации подчас придают онтологическое обоснование: изменился мир, в нем преобладающую роль играют духовные компоненты — знания, ценности, а также символическая деятельность. Соответственно меняется исследовательская парадигма в общественном знании. Такого рода рассуждения означают механическое перенесение Куновской концепции исследовательской парадигмы из естествознания, где одна парадигма *заменяется* другой, в социологическую методологию [12, 238; 19, 522].

Признание мультипарадигмальности социологии предполагает при анализе сложных общественных образований использование

средств и возможностей разных социологических парадигм. Однако каждый раз мы должны осознать, каковы эти пределы и какие понятийные средства в том или ином случае будут адекватны нашим исследовательским задачам. В качестве примера сошлюсь на характеристику, которую дает Э. Гидденс исследованиям социальной стратификации. Гидденс характеризует Веберовский подход к стратификации как, с одной стороны, «учет марксовского анализа», а с другой, как модификацию и тщательное развитие его. При этом он показывает следующее. Когда Вебер, наряду с собственностью, выделяет такие стратообразующие признаки, как профессиональное мастерство или квалификацию, он *придерживается того же самого основания, что и Маркс при выделении классов («базируется на объективно данных экономических условиях»)*. Но когда к стратообразующим признакам Вебер относит «статус» и «партийную принадлежность», он «устанавливает два *других основания стратификации, помимо классового*» [27, 117] (курсив мой. — И. П.). Обращение к этим основаниям предполагает выход за пределы марксистской парадигмы, а также, добавлю, использование «немарксовских» категорий как средств анализа (например, категории «престижа», понимаемого как ранг на шкале ценностей и др.). То же самое можно сказать и об использовании так называемых «субъективных методов исследования» социальной стратификации, когда людей спрашивают, к какому классу они себя относят, и о так называемых «образах классовой структуры» — что люди думают о природе и источниках социальных неравенств [28, 107]. При всей полезности такого рода исследований следует отдавать себе отчет в том, в каком случае мы получаем картину структурирования «объективных позиций», а в каком — ее выражение в сознании общества.

Признавая целесообразность мультипарадигмального подхода (разумеется, при корректном его использовании) к социологическому анализу современности, считаю необходимым указать на особую значимость для такого анализа марксовской социологической парадигмы. Думаю, что можно применить к ней приведенную выше мертоновскую характеристику «добротных» исследовательских парадигм, у которых «каждый новый достраиваемый ярус служит подтверждением надежности и прочности фундамента, каждая новая боковая пристройка доказывает добротность основной несущей конструкции» [4, 79]. Марксовские представления, с моей точки зрения, чрезвычайно полезны для анализа так называемого «постиндустриал

ьного» («постмодерна», «информационного», «постсовременного», «неэкономического») общества и для оценки многочисленных теорий на этот счет. Знакомясь с этими теориями, вспоминаешь следующее высказывание Маркса: «Все мистерии, которые уводят теорию в мистицизм, находят свое рациональное разрешение в человеческой практике и в понимании этой практики» [8, 33].

Марксовская социологическая парадигма как раз способствует обнаружению «мистерий» в различных **концепциях «послекапиталистической перспективы»**. Она дает возможность рассмотреть общества, называемые «постсовременными», с учетом характеристик, выявленных Марксом при анализе исторического процесса и того способа общественного производства, который он называл «капиталистическим». И это независимо от того, что в настоящее время подвергается критике линейный подход, предполагающий признание жесткой последовательности исторического процесса. Так, И. Валлерстайн, используя идеи самоорганизации систем и синергетические представления, характеризует смену «исторических систем», их генезис и кризис, учитывая развивающееся разделение труда, изменения форм и уровня оплаты труда и другие социально-экономические факторы. Надвигающийся кризис мировой капиталистической системы он связывает с тенденцией «бесконечности накопления капитала», которая вступает в противоречие с экологическими и социальными факторами, препятствующими поддержанию высокой нормы прибыли [31]. В постмодернистских марксистских теориях (Fredric Jameson, Stuart Hall, David Harvey), хотя внимание сосредоточивается на «культурной логике позднего капитализма», признается обусловленность этой логики эволюцией капиталистической экономики, в частности, переходом от национального рынка к интернациональному (Jameson). Утверждается также, что новый постмодерн «глобальной формы капитализма», имеющий и новую классовую логику, все еще вполне соответствует «марксистской логике» (Jameson, Hall). Обращается также внимание на то, что риторика постмодернизма и игнорирование марксистской точки зрения опасны, т. к. это уводит от реальностей политической экономии и обстоятельств глобальной власти (Harvey) [19, 504–505].

Вместе с тем «мистерии» постмодернистских теорий постоянно уводят от «реальностей» социального мира, в котором мы живем. И с этим в значительной степени связан отказ от основополагающих марксистских понятий, а главное — практически отказ от марксов-

ской социологической парадигмы. Концепции «постиндустриального» («постсовременного», «постэкономического») общества транслируются, а также активно пропагандируются и на постсоветском пространстве. Сторонники этих идей, используя аргументы Геллбрата, Тоффлера, Дракера, Белла, утверждают, что в настоящее время в западных обществах экономика и труд теряют свое значение, частная собственность перестает играть существенную роль в жизни общества, уступая место личной собственности, рабочий класс заменяется «классом интеллектуалов». «С возникновением «класса интеллектуалов» двигателем социального прогресса становятся нематериалистические ценности» [32, 73], — пишет один из активных пропагандистов таких идей<sup>2</sup>. Примечательно, что критика данной позиции, а также утверждение, что «роль процессов развития нового качества социума сильно преувеличена», основывается не на имеющихся по данному поводу теориях, а на *практике* протекания постиндустриальных процессов. А эта практика, как считает, например, А. В. Бузгалин, свидетельствует о том, что новый этап в развитии буржуазной общественной системы является этапом **«глобальной гегемонии корпоративного капитала»** [34, 29]. Рассматривая глобальную гегемонию корпоративного капитала *«как господствующую социальную форму развития постиндустриальных тенденций»*, Бузгалин характеризует ее с позиций, как он сам выражается, «творческого марксизма» [34, 42].

Творческий подход к использованию социологической парадигмы предполагает изменение содержания основных понятий, составляющих ее категориальный аппарат *при сохранении наиболее существенных признаков*, характеризующих содержание понятий. Применительно к марксистской парадигме речь идет о таких понятиях, как «производство» и «способ производства», «материальное производство и производство общественной жизни», «производительные силы общества», «труд», «рабочий класс», «собственность» и др. Содержание перечисленных понятий с учетом происходящих в социальном мире процессов частично изменилось, как изменился в определенном отношении

---

<sup>2</sup> Аргументы, которые приводит В. Иноземцев в пользу данного заключения, весьма странны. Например, такие данные: «сегодня 1 % состоятельных американцев контролирует почти 40 % национального богатства страны» [32, 75]. Или: сегодня 80 % выпускников колледжей — дети состоятельных родителей [32, 76]. Получается, что «нематериальные ценности» приобретаются только при наличии материальных? Нужно сказать, что Иноземцев — автор, наиболее часто печатающийся в «Вопросах философии». Обсуждение указанных проблем на «круглом столе» данного журнала фактически превратилось в обсуждение популяризируемых им идей «постиндустриалистов» [33].

и смысл используемых для их обозначения терминов. Но наиболее существенные характеристики, *задаваемые парадигмой* и обусловленные необходимостью охарактеризовать общественную жизнь как предметно-практическую, преобразовательную человеческую деятельность, сохранились. Это можно показать на примере таких понятий, как *производство* и *труд*, интерпретацию которых непосредственно связывают с пониманием роли экономики в жизни общества и, соответственно, с отношением к марксовской концепции.

В этом плане представляет интерес концепция Ж. Бодрийяра. Считая современное общество «обществом потребления» (а не производства!) и рассматривая потребление как «деятельность систематического манипулирования знаками», он фактически конкретизирует представление о природе современного материального производства, обращая внимание на вовлеченность в его орбиту многообразных человеческих проявлений, непосредственно связанных с символической деятельностью. «Перед нами, — пишет он в «Системе вещей», — проанализированная Марксом формальная логика товара, доведенная до конечных выводов: подобно тому, как потребности, чувства, культура, знания — все присущие человеку силы интегрируются в строй производства в качестве товаров, материализуются в качестве производительных сил, чтобы пойти на продажу, так и все желания, замыслы, императивы, все человеческие страсти и отношения сегодня абстрагируются (или материализуются) в знаках и вещах, чтобы сделаться предметом покупки и потребления» [35, 165]. В более поздней работе, уже сформировав представление о механизмах «симуляции», «симулякрах» и «символическом обмене», Бодрийяр, «отрицая сами постулаты и экономической науки, и марксистской критики», определит свою позицию как «альтернативу всякому примату экономического или политического». При этом экономика, — как он считает, — «оказывается просто-напросто упраздненной, как эпифеномен, побежденный своим собственным подобием и высшей логикой» [36, 53]. Основательный анализ его работ, осуществленный В. Фурсом, дает возможность установить, что представляет собой это «собственное подобие» экономики и «высшая логика». Бодрийяр, как считает В. Фурс, «снимает» материальное производство в воспроизводстве: последнее всегда понималось как воспроизводство некоторого способа производства, им же и обусловленное. На самом же деле следует мыслить способ производства и сферу материального производства вообще как одну из возможных

модальностей режима общественного производства» [37, 21]. Таким образом, опять мы имеем дело не с отказом от марксовского подхода, а с неприятием его вульгарно-экономического понимания, с отождествлением социологических представлений с политико-экономическими.

Характеризуя изменение понятий, образующих категориальный аппарат марксовской социологической парадигмы, необходимо вспомнить и о такой ключевой категории, как *труд*. Речь идет о необходимости обогащения содержания данного понятия и расширения его объема. Бодрийяр, например, считает необходимым перейти от «производительного труда» к «воспроизводительному». «Воспроизводительный труд находится по ту сторону различия экономики и культуры: он не локализован в сфере экономики, а образует всю общественную материю» [37, 22]. Но в любом случае социологическая трактовка труда выводит последний за пределы экономического анализа как явление социальное, хотя и по-разному трактуемое. Следует также согласиться с тем, что в настоящее время, в связи с происходящими социальными изменениями, категория труда требует социологического переосмысления и переинтерпретации как категория общей социологии [38].

В западной **социологии труда** также обращается внимание на то, что «тема труда — это еще и возможность проверить плодотворность общих социологических парадигм» [39, 136]. А для того, чтобы исследование «проблем труда» соответствовало реалиям происходящих в обществе трансформаций, предлагается, наряду с категорией «труд», использовать понятие «занятость». Если первая характеризует «всякую деятельность по производству благ и услуг, равно как совокупность условий, обеспечивающих ее осуществление», то вторая означает «условия доступа на рынок труда и ухода с него, а также выражение трудовой деятельности в терминах социального статуса» [39, 136]. Можно сказать, что понятие занятости фактически выводит исследование трудовых проблем за пределы марксовской парадигмы, ибо предполагается широкий круг вопросов, связанных с проблемой конструирования идентичности и профессиональной карьеры, социальной интеграции (в отличие от проблем разделения труда), что, в свою очередь, обуславливает необходимость использования интеракционистского подхода [39, 137]. Но разве исследование деятельности по производству благ и услуг в настоящее время потеряло свое значение?

И в настоящее время разработка проблем социологии труда предполагает широкое использование марксовской социологической парадигмы, ибо труд относится преимущественно к сфере предметно-практической, преобразовательной деятельности. Игнорирование проблем труда и связанных с ним исследовательских задач, требующих использования соответствующего категориального аппарата, в определенном смысле говорит об ущербе социологии. К сожалению, мы сами являемся свидетелями того, что трудовая деятельность и материальные условия ее осуществления практически не попадают в поле зрения постсоветских социологов. И это можно считать симптоматичным явлением. Б. Максимов, характеризующий плачевное состояние исследования рабочего класса в постсоветском пространстве и сложное взаимоотношение социологии и статистики, пишет следующее: «Почти в подобном положении оказалась вся социально-трудовая сфера, из которой просто выросла российская социология и которая также как будто бы «испарилась». Она оказалась на периферии внимания сегодняшней раскрепощенной социологии. Неужели эта сфера стала совершенно беспроблемной? Или, может быть общественное производство до такой степени потеряло свое значение, что его можно не только не изучать (в т. ч. социологам), но и вообще не иметь (развалить, распродать, забросить)? Нет производства и нет проблем?» [40, 37]. Сам Максимов отвечает на поставленные вопросы следующим образом: «Дело, видимо, не в исчезновении объекта исследования, его проблемности, а в некоторой конъюнктурности социологии» [40, 37]. Однако конъюнктурность, как мне кажется, состоит не только в моде на определенную тематику (на что указывает Максимов), но и в том, что не в моде нынче Маркс и вообще исследование общественной жизни *как практики*. А уж исследование производительных сил и общественного производства и вовсе редкость<sup>3</sup>. Но это обрекает нас на то, что действительный характер происходящих в постсоветских обществах процессов оказывается недосягаемым и непостижимым.

Два года назад мы с мужем проездом оказались в Трире и решили самостоятельно найти дом, в котором родился Карл Маркс. Времени было мало, мы очень нервничали, сомневались, что цель достигнем.

---

<sup>3</sup> Приятным исключением стала статья Г. Повешенко и Ю. Чехового, авторы которой напомнили и о публикациях В. Хмелько, посвященных проблемам общественного производства жизни. Работа над этими проблемами была, к сожалению, им прервана в 1989 году (если судить по времени последней публикации на эту тему) [41].

Но случайные прохожие, как оказалось, были хорошо осведомлены о доме Маркса. Они были доброжелательны и подробно объясняли нам, как пройти к дому. Чувствовалось, что к своему великому соотечественнику они относились с большим почтением и искренне желали, чтобы мы побывали там. Широкая улица, которая вела к дому, называлась «КарлМаркштрассе». Карл Маркс не наш соотечественник, может быть, поэтому мы переименовали улицы, носящие его имя. Но это не мешает нам воздать ему должное и наконец-то повернуться к нему лицом. Не в качестве ни к чему не обязывающего ритуала, а как и подобает относиться к мыслителю и ученому: не подвергать забвению то, что им сделано и что еще может послужить нам в наших творческих поисках и в стремлении понять «кто мы суть».

### Литература

1. *Энгельс Ф.* Письмо Полю Лафаргу, 27 августа 1890 года // Маркс К. Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. — М. — 1965. — Т. 37. — С. 382–384.
2. *Маркс К.* Ницета философии // Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. — М. — 1955. — Т. 4. — С. 65–185.
3. *Рокмор Т.* Об открытии Маркса после марксизма // Вопросы философии. — 2000. — № 4. — С. 28–36.
4. *Мертон Роберт.* Социальная теория и социальная структура. Киев, 1998. — С. 112.
5. *Лекторский В. А.* Деятельностный подход: смерть или возрождение? // Вопросы философии. — 2001. — № 2. — С. 56–65.
6. *Попова И. М.* Был ли Маркс социологом? // Социологический журнал. — 1995. — № 3. — С. 71–85.
7. *Бхаскар Рой.* Общества. // /Социо-логос. Выпуск 1. Общество и сферы смысла. М., 1991. — С. 219–240.
8. *Маркс К., Энгельс Ф.* Немецкая идеология // Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. — М. — 1955. — Т. 3. С. 7–544.
9. *Волков Ю. Г.* Базисные понятия и логика социологической парадигмы // Социологические исследования. — 1997. — № 1. — С. 22–32.
10. *Попова И.* «Социальность» как основание социологической интерпретации // Социология: теория, методы, маркетинг. — 2002. — № 4. — С. 98–121.
11. *Попова И.* Выбор критерия социально-классового структурирования общества как логико-методологическая проблема // Проблема розвитку соціологічної теорії. Теоретичні проблеми змін соціальної структури українського суспільства: Наукові доповіді і повідомлення II Всеукраїнської соціологічної конференції. (Соціологічна асоціація України, Інститут соціології НАН України; М. О. Шульга (наук. ред.) та ін. — К., 2002. — С. 79–85.



12. *Вригт Г. Х.* Логико-философские исследования: Избр. тр. — М. — 1986. — С. 37–242.
13. *Лафарг Поль.* Личные воспоминания о Карле Марксе // Воспоминания о К. Марксе и Ф. Энгельсе. — М., 1983. — С. 139–160.
14. *Баранов Г. С.* Модели и метафоры в социологии К. Маркса // Социологические исследования. — 1992. — № 6. — С. 128–142.
15. *Панарин А. С.* Смысл истории / Вопросы философии. — 1999. № 9. С. 3–21.
16. *Розов И. С.* Структура социальной онтологии: по пути к синтезу макроисторических парадигм // Вопросы философии. — 1999. — № 2. — С. 3–22.
17. *Кара-Мурза С.* Советская цивилизация. Книга вторая. От великой победы до наших дней. — М., 2001. — С. 688.
18. *Western Bruce.* Bayesian Thinking about Makrosociology. // American journal of sociology. — 2001. — Vol. 107. — № 2. — P. 353–378.
19. *Ritzer George.* Contemporary Sociological Theory. — New York. — 1992. — P. 608.
20. *Алиева Д. Я.* «Второе открытие» наследия Карла Маркса // Социологические исследования. — 1987. — № 3. — С. 108–119.
21. *Вагнер Герхард.* Социология: к вопросу о единстве дисциплины. // Теория общества. Фундаментальные проблемы. — М., 1999. — С. 236–260.
22. *Бергер Питер, Лукман Томас.* Социальное конструирование реальности. М. — 1995. С. 323.
23. *Мамардашвили Мераб.* Анализ сознания в работах Маркса // Как я понимаю философию. — М., 1990. — С. 365.
24. *Энгельс Ф.* Письмо Йозефу Блоху, 21–22 сентября // Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. — М., 1965. — Т. 37. — С. 393–397.
25. *Маркс К.* Восемнадцатое брюмера Луи Бонапарта // Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. — М., 1957. — Т. 8. — С. 115–217.
26. *Штомпка Петр.* Социология социальных изменений. — М., 1996. — С. 416.
27. *Миллс Ч.* Социологическое воображение. — М., 1998. — С. 264.
28. *Танчер Виктор. И.* Валлерстайн о вызовах социологии XXI века: приглашение к дискуссии // Социология: теория, методы, маркетинг. — 2002. — № 3. — С. 57–67.
29. *Гидденс Э.* Стратификация и классовая структура // Социологические исследования. — 1992. — № 9. — С. 112–123.
30. *Гидденс Э.* Стратификация и классовая структура // Социологические исследования. — 1992. — № 11. — С. 107–120.
31. *Валлерстайн И.* Социальное изменение вечно? Ничто никогда не изменяется? // Социологические исследования. — 1997. — № 1. — С. 8–21.
32. *Иноземцев В. Л.* Класс интеллектуалов в постиндустриальном обществе // Социологические исследования. — 2000. — № 6. — С. 66–77.

33. Трансформация в современной цивилизации: постиндустриальное и постэкономическое общество (материалы «круглого стола»). Выступили: В. А. Лекторский, В. Л. Иноземцев, В. Г. Федотова, А. Ф. Зотов, В. М. Межуев, А. Г. Глинчикова // Вопросы философии. — 2000. — № 1. — С. 3–32.
34. *Бузгалин А. В.* «Постиндустриальное общество» — тупиковая ветвь социального развития? (Критика практики тотальной гегемонии капитала и теорий постиндустриализма) // Вопросы философии. — 2002. — № 5. — С. 26–43.
35. *Бодрийяр Жан.* Система вещей. — М. — 1995. — С. 169.
36. *Бодрийяр Жан.* Прозрачность зла. — М. 2000. — С. 257.
37. *Фурс В. Н.* Социальная теория Жана Бодрийяра // Социологический журнал. — 2002. — № 1. — С. 5–40.
38. *Молевич Е. Ф.* Труд как объект и предмет исследований общей социологии // Социологические исследования. — 2001. — № 7. — С. 38–41.
39. *Лальман Л.* От труда к занятости, от организации к предприятию: двойной поворот проблемы // Журнал социологии и социальной антропологии. — 1999. — Том II. — С. 128–139.
40. *Максимов Б. И.* Рабочий класс, социология и статистика // Социологические исследования. — 2003. — № 1. — С. 37–45.
41. *Повещенко Г., Чеховой Ю.* Математическая модель структурной эволюции общественных производительных сил // Социология: теория, методы, маркетинг. — 2001. — № 3. — С. 41–59.

## 1989–1991. ДИАГНОЗ ВРЕМЕНИ

Нет, и не под чуждым небосводом,  
И не под защитой чуждых крыл,  
Я была тогда с моим народом  
Там, где мой народ, к несчастью, был.

*Анна Ахматова*

Диагноз времени характеризуется как самостоятельный социологический жанр. По мнению финского социолога А. Норо, это попытка, используя социологические средства, ответить на вопросы: «Кто мы и какое сейчас время?». Диагноз времени содержит «рефлектирующие суждения», характеризуется рациональной субъективностью, представляет собой «прозрение, понимание, осознание, видение». Характеристикой Диагноза времени, как считает Норо, является также «то, что выражаемые им точки зрения часто откровенно окрашены личными пристрастиями. Они открыто стремятся быть нормативными, а часто и политически ангажированными. Однако самый интересный аспект такого стремления — его цель: а именно, сделать Диагноз времени морально обязывающим» [1, с. 7].

Задавая вопрос о том, «является ли Диагноз времени легитимным жанром для социологии», Норо ссылается на представления Дюркгейма об «аномии», Вебера — о «железной клетке» и Зиммеля — о «трагедии культуры», а из более поздних социологов называет Бека, Гидденса, Баумана, Рисмена. К этому, несомненно, следует добавить «Диагноз нашего времени» К. Маннгейма. В качестве примеров Диагнозов времени, опирающихся на *эмпирические исследования*, называются «Молчаливая революция» Р. Инглхарта и «Общество переживания» Г. Шульце.

Диагноз времени — это не анализ, не критика, а переживание. И именно эта его особенность пробудила во мне мысль прибегнуть к этому жанру. Закончив работу над обобщением результатов исследований, к которым непосредственно была причастна в 1989–1991 годах, я поняла, что не могу относиться к этому материалу безучастно, «непредвзято», как подобает исследователю. «Диагнозы времени —

прежде всего, это красота, ускользающая от сциентистского мира науки» [1, с.11]. Не знаю, как насчет красоты, а вот сциентизмом мое стремление понять это время уж точно не грешит. Ибо слишком много в этом стремлении личного, свидетельствующего о непосредственной вовлеченности в события.

Хотя прочный фундамент для диагностирования этого периода есть: это и анализ статистических материалов и документов по проблемам социальной политики, это и множество прессовых и репрезентативных опросов по месту жительства<sup>1</sup>. И все же стремление понять этот период нашей жизни постоянно уводило за пределы научного поиска и означало нечто большее, почти сокровенное. Данные, на которые я опираюсь, не являются в достаточной степени «валидными», если использовать принятый в научной социологической среде термин. Во-первых, потому, что Диагноз времени — это характеристика эпохи, а в данном случае речь идет только о трех годах. Во-вторых, хотя при обобщении региональных материалов они постоянно сравнивались с данными по другим регионам и Украине в целом, все же в поле зрения был эмпирический материал преимущественно одного региона Украины — Одесской области.

Однако переживается это все сейчас как эпохальные события. Ибо просто прошедшего нет, а есть, если использовать терминологию Аврелия Августина, «настоящее прошедшее». И когда мы видим, что произошло в последующем и «кто мы есть сейчас», это «настоящее» определяет и наше видение тех лет. 1989–1991 годы — небольшой период, но какой! На языке вошедшей в моду синергетики, взятой на вооружение и социологами, это та самая бифуркационная точка, которая содержала в себе разные, даже противоположные возможности. И теперь, когда знаешь, какие из них реализовались, пристально всматриваешься в прошлое и пытаешься понять, что же могло быть, но потеряно, и почему потеряно это, а не то, что имеем сейчас. Особый характер данной временной точки дает основания для того, чтобы раздвинуть рамки диагностируемого периода, выйти за преде-

---

<sup>1</sup> В 1987–1991 годах социологической группой Одесского госуниверситета (И. Попова, В. Моин, М. Кунявский, Г. Бессокирная, О. Лычковская, Ю. Волков, Е. Князева, А. Панков, Н. Тимофеева, А. Худенко) было проведено 10 прессовых и 3 почтовых опроса, 2 репрезентативных опроса по месту работы трудящихся Одессы и 7 опросов по месту жительства, репрезентативных для Одесской области. Активность читателей в прессовых опросах, как правило, была очень высокой. Так, в обсуждении проекта украинского закона о выборах приняло участие 1355 человек, а в преддверии выборов в Верховный Совет Украины в редакцию газеты было прислано 4000 анкет!

лы непосредственного эмпирического материала, относящегося к определенному пространственно-временному интервалу. Этот выход обеспечивает базу не только для характеристики всего постсоветского периода и Диагноза времени как «эпохи постсоветской трансформации». Это и возможность оценить события «бифуркационных» 1989–1991 годов.

Для характеристики того, что происходило в последующем в постсоветском пространстве в целом, несомненное значение имеют материалы Международного симпозиума «Интерцентра», базирующегося в Москве и публикующего результаты обсуждения проблем постсоветской трансформации<sup>2</sup>. Что касается оценки именно интересующего меня периода, то стремление обобщить результаты эмпирических исследований, проведенных в 1989–1991 годах, пробудило у меня интерес преимущественно к двум источникам: книге российского историка и публициста Роя Медведева «Советский Союз: последний год жизни» [2] и статье профессора Мичиганского университета В. Шляпентоха «Советский Союз — нормальное тоталитарное общество» [3]. То и другое — попытка осмыслить годы «распада Союза» с позиций практически сегодняшнего дня (2000–2003 годов).

С расстояния, близкого к бифуркационной точке<sup>3</sup>, косвенную оценку характера интересующего меня периода дал Г. Осипов в эмоциональной и содержательной статье «Мифы уходящего времени» [4]. Стиль статьи, как мне кажется, очень близок к жанру Диагноза времени. Попытаюсь охарактеризовать позиции указанных авторов и выскажу свои соображения относительно того, что собой представлял данный период, какие его особенности оказались наиболее живучими, какие возможности реализовались впоследствии, а какие упущены.

Начну со статьи Г. Осипова. Он выделяет девять мифов, развенчание которых является для него средством характеристики той социальной реальности, которая мифологизировалась. Укажу лишь на некоторые из этих мифов. Например, миф об упразднении в государстве административно-приказной системы. На самом же деле сложилась парадоксальная ситуация, когда вместо административно-приказной системы, основанной на ответственности, утверждалась авторитарно-

---

<sup>2</sup> С 1994 по 2003 год вышло 8 сборников под названием «Куда идет Россия», а также сборники под названием «Кто и куда стремится вести Россию» (2001) и «Куда пришла Россия» (2003).

<sup>3</sup> Статья опубликована в середине 1992 года.

бюрократическая система, основанная на безответственности и вседозволенности. Далее, миф, согласно которому «рынок решает все», характеризуется Осиповым как «обновленный экономический детерминизм». В результате абсолютизации рынка и отождествления рынка и капитализма осуществлялся возврат к исходной стадии последнего — к первоначальному накоплению «дикого капитализма». Миф о демократии как самоцели, как «средстве решения всех проблем» автор считает наиболее опасным в практическом отношении. В результате демократия становилась средством завоевания власти экстремистски настроенными группами и личностями, которые «с первых шагов своей представительной и исполнительной деятельности начинают попира́ть демократию», забывая о том, что демократия— «это прежде всего власть не личностей или политических партий, а закона, неукоснительное соблюдение которого обеспечивается всеми механизмами государства» [4, с. 5]. С этим мифом был непосредственно связан и другой миф: о возможности перехода к новым экономическим отношениям, политическим и социальным структурам «без правового регулирования этого перехода». Следствиями этого мифа явились «резкое социальное расслоение общества, коррупция, взяточничество, расхищение народной собственности, вопиющее беззаконие во всем» [4, с. 6].

Осипов считает, что кроме названных девяти мифов того времени можно перечислить и многие другие. Главное, однако, состоит в том, что, воплощаясь в реальность, миф неизбежно приводил к «обратным результатам», которых не предполагали и не желали. Автор указывает на многообразные результаты, которые обозначились уже к 1992 году и, как можно полагать, обусловили и многообразные последствия, проявившиеся уже в постсоветских изменениях.

Что касается других отмеченных мною источников, то и В. Шляпентох и Р. Медведев имеют в виду главным образом одно последствие — распад СССР— и стараются выявить те основные факторы, которые привели к этому. Однако делают это они по-разному и в качестве основных называют разные факторы.

Представляют интерес рассуждения В. Шляпентоха. Рассматривая ряд аргументов, приводимых в связи с выяснением причин распада СССР (недостатки советской политической системы, этнические конфликты и сепаратизм, неэффективность экономики, недовольство населения, угроза массовых беспорядков, выступления диссидентов, угроза иностранной интервенции, стремление аппаратчиков к частной собственности), автор не принимает ни один из них. Он

считает, что причиной распада СССР является неудачная попытка реформировать общество, резкое ухудшение положения в стране к 1988–1989 годам, которое явилось следствием ослабления государственной машины.

Соглашаясь с ним в принципе, я не хотела бы ограничиваться лишь вопросом о распаде СССР. Главное для меня состоит в следующем: почему изменение «продуктов распада» не соответствовало не только догмам КПСС и официально провозглашенным в 1985 году целям, но и тому пониманию «благополучного общества», которое сложилось в сознании большинства советских людей. Это понимание можно охарактеризовать как социалистическое, смыслу которого более всего соответствует формула: «от каждого — по способностям, каждому — по труду». Первоначально идея перестройки, собственно, и выступала под этим флагом. И именно поэтому эта идея была поддержана большинством населения. Кризис же перестройки, совершенно четко обозначившийся к 1989 году, состоял в том, что практика ее не только не способствовала разрешению проблем труда и благосостояния населения, а наоборот, существенным образом обострила эти проблемы.

1989 год был пятым годом перестройки, началом ее кризиса. Кульминацией кризиса стал 1991 год, который оценивают по-разному: как год распада Союза и «обретения независимости» и как «год перерастания социально-экономического кризиса советского общества в национальную катастрофу» [4, с. 3]. Но знаменательным признают и 1989 год. То ли мы просто привыкли мыслить «пятилетками», то ли действительно в этот год более определенно обозначился характер происходящих в стране изменений. Но этот год выделяется в социологической литературе как «переломный», ибо именно в этом году, как пишет Ю. Левада, стал очевиден кризис горбачевской «перестройки», состоявший в том, что это были «попытки осторожных и ограниченных реформ, совершаемых под контролем партийного аппарата» [5, с. 7].

Существуют и другие, противоположные оценки кризиса. Он связывается, наоборот, с поспешными, непродуманно-резкими шагами, с тем, что разрушение старых догм, формул и всех прежних концепций происходило намного быстрее, чем создание новых концепций и формул, основанных на общих идеях социализма [2, с. 321].

Ясно, что в оценках кризиса присутствует не столько отношение к темпам проводимых реформ, сколько оценка их содержания. Сторон-

ники радикальных взглядов, в конечном счете проявившие себя как приверженцы капиталистического пути, считали, что темпы изменений недостаточны. Те же, кто солидаризовался с формулой «больше социализма», которая выступала в качестве официального лозунга до января 1987 года, считали, что слишком быстро происходит демонтаж необходимых для достижения данной цели социальных институтов. Действительно, за относительно короткий срок была произведена реорганизация государственной системы хозяйства, что существенным образом повлияло на жизнь многих людей [6, с. 278–291]. Главное, однако, состояло в том, к чему реально приводила осуществляемая реорганизация и в какой степени она продвигала общество в направлении решения актуальных для большинства населения проблем труда и благосостояния, как отражалась на повседневной жизни людей.

Социальная политика, проводимая государством в период перестройки, не была научно обоснованной и эффективной. Об этом свидетельствовал, в частности, контент-анализ документов Совета Министров и ЦК КПСС, который был проведен в 1990 году сотрудниками социологической лаборатории Одесского государственного университета Г. Бессокирной и О. Лычковской. Распределение документов по годам издания было таково: 1985—18 документов, 1986—16 документов, 1987—36 документов, 1988—15 документов. В последние два года основным автором документов стал Совет Министров. В результате анализа было установлено, что большинство документов, изданных в указанный период, характеризовались существенными недостатками:

- отсутствием, как правило, ссылок на научные данные при постановке и анализе социально-экономических проблем;
- неопределенностью иерархии проблем благосостояния и труда, которые необходимо решать;
- ведомственным подходом к их решению;
- отсутствием указания на субъект управления, который должен решать эти проблемы, что порождало безответственность.

Статистические данные свидетельствовали о снижении многих социально-экономических и даже демографических показателей в период перестройки. Анализ статистических данных, осуществленный в 1990 году Г. Бессокирной, свидетельствовал о том, что для Одесской области, например, по показателям воспроизводства населения (рождаемость, смертность, естественный прирост населения) наиболее благоприятным был 1986 год, после которого эти показатели непрерывно снижались. Выяснилось также, что в 1989 году в



сравнении с непосредственно предшествующими годами в Одесской области сокращалось производство и потребление многих необходимых продуктов питания, снижались темпы ввода жилья, введения новых детских дошкольных учреждений, ухудшалась обеспеченность местами в общеобразовательной школе.

Именно *ухудшение положения в перестроечное время*, как можно предположить, и обусловило остроту восприятия населением происходящих процессов и те оценки различных сторон общественной жизни, которые мы обнаруживали в опросах 1989—1991 годов. Поэтому следует согласиться с мнением В. Шляпентоха, что, сравнивая постсоветское общество с советским, в качестве исходного целесообразно брать 1985 год, а не 1990—1991-й, «поскольку в эти годы *советская экономика была уже дезорганизована горбачевскими экономическими и особенно политическими реформами*» [3, с. 117] (курсив мой. — И. П.).

Л. Гордон и Э. Клопов в книге «Потери и обретения. Россия в девяностых» в качестве исходной основы перемен 1990-х принимают 1970—1980-е годы и связывают недовольство перестроечного периода с подъемом благосостояния в 1950—1980 годах. В предперестроечный период, по их мнению, сложилась противоречивая ситуация: с одной стороны, улучшения 1950—1980 годов имели ограниченный характер и потому не устраняли неудовлетворенности условиями жизни. С другой — когда в 1990-х «на плечи рядовых тружеников навалилось бремя переломного кризиса, память о четверти века хоть какого-то повышения жизненного уровня стала способствовать упрощенному и одностороннему восприятию послесоциалистических перемен» [7, с. 143]<sup>4</sup>.

Думаю, что дело не в том, что улучшения ждали из-за привычки к улучшению. Скорее, росли потребности в соответствии с ростом образования и культуры, расширением межгосударственных контактов. И расширения возможностей удовлетворения растущих потребностей как раз и ждали от перестройки, не связывая, однако, улучшение с отказом от социализма и советского строя. Что касается «послесоциалистических перемен», то они воспринимались населением не упрощенно и односторонне, а вполне адекватно, в соответствии с тем, как эти перемены сказывались на повседневной жизни людей. Более того, в том виде, в котором эти перемены происходили, они

---

<sup>4</sup> Когда вспоминаю, как в 1989 году приходилось занимать очередь за молоком в 5 часов утра (было два маленьких внука) и с какими трудностями сталкивались люди из-за невозможности приобрести элементарные продукты питания, отнесение всего этого просто к «издержкам переходного периода» кажется по меньшей мере неубедительным.

не были фатально predeterminedены ни предперестроечным, ни перестроечным периодами, ни даже временем, которое именуют «кризисом перестройки». Можно попытаться показать это, обратившись к результатам опросов населения 1989–1991 годов.

Следует, однако, учитывать специфику и ограниченность такого подхода к характеристике социальной реальности. И все же не менее важно и другое: во-первых, оценки происходящего населением (поскольку в поле зрения была именно та «социальная реальность», которая затрагивает интересы большинства людей, их повседневную жизнь) правомерно рассматривать как своеобразные экспертные оценки; во-вторых, сами эти оценки и настроения населения, как известно, — необходимый компонент той «социальной реальности», которую исследует социолог. Можно в данном случае согласиться с тем, что «для особых социальных контекстов характерны специфические агломераты «реальности» и «знания», а изучение их взаимосвязей — предмет соответствующего социологического анализа» [8, с. 12].

Итак, о чем свидетельствовали упомянутые выше опросы 1989–1991 годов? Все используемые субъективные показатели свидетельствовали о том, что в конце 1989 — в начале 1990 года большинство населения низко оценивало свой уровень жизни, было недоволено им. Проблемы благосостояния (в сравнении с проблемами политики, экологии, правонарушений и даже проблемами экономики), согласно опросам, проведенным в 1989–1991 годах, для населения Одесской области были наиболее актуальными. Они были актуальны для жителей всех типов поселений, особенно для сельских жителей. Привлекало внимание и то, что люди различали возможности, которые имелись для решения проблем на разных уровнях: например, возможности решения проблем экономики и экологии в масштабах республики значительно большие, чем на городском и областном уровне, и частота указания на эти проблемы применительно к региону и республике соответственно увеличивалась.

В 1989 году при исследовании проблем социальной справедливости было обнаружено, что *к наиболее частым нарушениям справедливости жители города относят обеспечение продуктами питания и промтоварами, а также получение жилья; а на уровне трудовых коллективов — оплату труда, распределение жилья, путевок в санатории и дома отдыха.* Негативные оценки преобладали и при выражении мнений об изменениях в сфере социальной справедливости «за последние несколько лет», а также мнений о перспективах ее укрепления.

Снижение в перестроечный период уровня потребления некоторых основных продуктов питания, хотя их потребление и так было ниже рациональных норм, отразилось во мнениях и оценках, в представлениях о том, какие первоочередные задачи необходимо решать. К первоочередным проблемам относили (в порядке убывания частоты выборов) обеспечение продуктами питания, жилищную проблему, благоустройство населенных пунктов, медицинское обслуживание и обеспечение промышленными товарами. У жителей села на первый план выходило «благоустройство населенного пункта». Среди других наиболее важных проблем благосостояния указывали также на бытовое обслуживание, строительство детских дошкольных учреждений и школ, а также работу общественного транспорта. В апреле 1991 года положение осложнилось так называемой «реформой цен», которая еще больше снизила жизненный уровень основной массы населения. При этом *население в противоположность официальной точке зрения не считало эту реформу мерой, необходимой для оздоровления экономики*, что, собственно говоря, и подтвердилось в дальнейшем.

Все это определило отношение не только к перестройке, но и к проводимой политике в целом, к центральной власти, более того, к тем преобразованиям, которые осуществлялись впоследствии. Можно согласиться, соответственно, с тем, что с самого начала перестройки неправильно были расставлены приоритеты. Прежде всего в центре внимания руководства должны были оказаться не проблемы научно-технического прогресса, демократии и гласности, а «вопросы зарплат и пенсий, уровня жизни, улучшения продовольственного снабжения в провинции и т. п. Только такая политика могла обеспечить новому руководству страны прочную поддержку населения и создать, таким образом, предпосылки для проведения других реформ» [2, с. 280].

Как мне кажется, речь идет о необходимости разграничения *стратегии и тактики*, мудром определении наиболее целесообразных *тактических шагов*. Разумеется, решение этой задачи было невозможно без определенных экономических преобразований, без изменения политики в отношении к формам собственности. И речь должна была идти прежде всего о повсеместном развитии и поддержке малого бизнеса. Подчеркну, что, согласно данным нашего исследования, к этому было готово население, и преобразования такого рода поддерживались большинством. К необходимым преобразованиям форм собственности большинство относило, в первую очередь, *ликвидацию монополии государства на средства производства*. Эта по-

зиция преобладала во всех группах. Подавляющее большинство населения Одесской области высказывалось за то, чтобы предоставить *равные права различным производителям, равные возможности для развития разных форм собственности*. Более половины было за то, чтобы узаконить *индивидуальную собственность граждан на средства производства*. Именно это понималось под «коренными преобразованиями в экономике». При этом все еще признавалась большая, в сравнении с «новыми» формами, эффективность развития государственной и колхозной форм собственности.

Изменялись представления относительно наиболее целесообразных форм распределения. Тенденция во всех типах поселения была одной и той же: население явно склонялось в сторону *распределения пропорционально трудовому вкладу*. Уравнительные принципы уже не были столь популярны, как ранее<sup>5</sup>. Большое значение придавалось *реальным возможностям развивать способности, созданию условий, при которых можно будет зарабатывать в меру своих сил, для чего необходимо ликвидировать «потолок заработной платы»*. Требование «дать людям возможность максимально реализовать свои способности, проявить инициативу» поддерживали более 90 % жителей области!

Укажу на то, что развитие и поддержка малого бизнеса имели бы следствия различного рода: с одной стороны, это расширило бы возможности удовлетворения элементарных потребностей населения (в необходимых товарах и услугах), с другой — создало бы предпосылки для появления предпринимателя, способного решать более масштабные задачи и приобретшего для этого капитал *благодаря своим личным способностям и усилиям*. Сейчас, когда оценивают приватизацию, осуществленную в постсоветском пространстве, как раз и указывают на основной ее порок: она началась с приватизации средних и крупных, а не мелких предприятий торговли, общественного питания и

---

<sup>5</sup> Это прежде всего сказалось на абстрактных ценностных представлениях (ответ на вопрос: «Какое общество является справедливым?») и в меньшей степени было выражено в так называемых инструментальных ценностях («Что является основной задачей социальной политики?»). Обращая внимание на большую мобильность абстрактных идеалов по сравнению с конкретными, инструментальными представлениями, в 1991 году я предположила, что эта «перевернутость» социальных представлений свидетельствовала о «перевернутости» действительности того времени: «...активное словесное творчество, культивирование «нового мышления», всевозможное идеологическое новаторство не сопровождаются реальными преобразованиями, не базируются на тех практических действиях, которые только и могли бы породить новые инструментальные ценности» [9, с. 75].

бытового обслуживания. Тогда как в других странах именно приватизация малых предприятий рассматривается как «первоочередная задача» [10, с. 44]. *Эта особенность постсоветской приватизации связана с ее «номенклатурным» характером.* Для основной массы населения, не имеющей «чиновничьих возможностей», предпринимательская деятельность была недоступна. Например, в Одесской области, особенно в Одессе, был довольно большой процент населения, готового заняться «частным делом» (в среднем до 1/3). Однако у большинства желающих для этого не было возможностей.

Тот факт, что эти и другие первоочередные задачи не решались, обусловил нарастание социальной напряженности, разочарование в перестройке. При этом все в большей степени *утверждалось представление о том, что повинны в этом именно центральная власть и КПСС как «руководящая и направляющая сила».* И прямые, и косвенные оценки людьми сложившейся ситуации свидетельствовали о том, что никакие обещания, никакая пропаганда, ничто не оказывало столь действенного влияния на общественные настроения, позицию людей, как *изменения реальных жизненных условий.* *Вопрос об улучшении жизни людей был ключевым вопросом.* Все остальное приобретало в глазах населения значимость, актуальность в той степени, в какой приближалось к решению этого вопроса (либо отдалялось от него).

Обращая внимание на рост социальной напряженности, мы в январе 1990 года писали в отчете: «Насколько устойчивыми окажутся выявленные тенденции, покажет время. Не исключено, что они носят ситуативный характер..., что со временем будет происходить «угасание» этих тенденций. Ведь общественное мнение, настроение крайне динамичны, зачастую неустойчивы, постоянно меняются под воздействием различных обстоятельств». Однако выявленные тенденции оказались вполне устойчивыми, а мнения и настроения не сиюминутными, а постоянно воспроизводимыми, свидетельствующими о дальнейшем углублении кризиса так называемой перестройки.

Для общественного настроения в период 1990–1991 годов характерны были симптомы растущей социальной напряженности, социального пессимизма: *неудовлетворенность положением дел, неуверенность в завтрашнем дне, рост ориентации на эмиграцию.* Эти настроения были типичны для всех регионов Союза. Но в Одесской области они проявлялись с особой остротой, причем наиболее критичные, пессимистичные мнения были характерны, в первую очередь, для одесситов. Процесс нарастания социальной напряженно-

сти, рост неудовлетворенности жизнью, неуверенности в завтрашнем дне в той или иной степени был характерен практически для всех групп населения. Наиболее сильно эта тенденция прослеживалась у самой активной, образованной его части.

Характеризуя общественные настроения этого периода, укажу на некоторые важные тенденции изменения общественного мнения, которые наиболее определенно обозначились уже к середине 1989 года, а точнее, после I Съезда народных депутатов:

- происходило ускорение процесса политизации массового сознания, повышение роста интереса к социально-политическим событиям;
- определялись, кристаллизировались позиции и мнения («затрудняющихся» ответить на тот или иной вопрос становилось все меньше);
- обозначился процесс ослабления жестких связей между социальной принадлежностью (рабочий, служащий и т. д.) и мнениями, оценками людей;
- возрастала критичность оценок, суждений, о чем, в частности, свидетельствовали более строгие оценки I Съезда народных депутатов в сравнении с оценками XIX партийной конференции<sup>6</sup>;
- неудовлетворенность населения ходом перестройки все в большей степени связывалась с ухудшением положения дел в экономике, снижением уровня жизни.

Основную ответственность за нарушение социальной справедливости в обществе трудящиеся<sup>7</sup> возлагали прежде всего на *общественное устройство и партийные и советские органы, а также на самих себя («все мы»)*. Выделяя группы, которые чаще всего нарушали социальную справедливость, указывали на работников *партийных, советских, комсомольских, профсоюзных органов управления*. Наиболее эффективным путем борьбы за укрепление социальной справедливости считали коренную экономическую реформу, а также *укрепление дисциплины и порядка*.

Характеризуя динамику отношения населения к политическим деятелям этого периода, следует отметить, что если в 1989 году наибольшей популярностью пользовались политические деятели, при-

---

<sup>6</sup> И дело не в том, что конференция была более успешной, а в том, что за прошедший после работы конференции год политическое сознание масс стало более критичным, оценки стали намного строже.

<sup>7</sup> В 1989 году по заданию ЦК КПУ наша группа провела исследование в 11 трудовых коллективах г. Одессы.

держивавшиеся «левых» («радикально-демократических») взглядов, то к лету 1990 года их популярность заметно упала. Существенно обострился к этому времени и кризис доверия к действующим политическим лидерам — более половины населения ни одному из них не отдавало предпочтения. Характерно также было некоторое увеличение числа сторонников «центристских» позиций. Особенно возросло их число на селе, где эта группа доминировала. В общественном сознании основная вина возлагалась, как правило, на руководство. Поляризация представлений об ответственности происходила в контексте оппозиции «руководитель—подчиненный».

Однако после апреля 1991 г. стал возрастать рейтинг органов республиканской власти. Еще в апреле Верховный Совет и правительство УССР пользовались популярностью у незначительного меньшинства (6 % населения области). К концу года доверие им выражали, соответственно, 25 % и 27 % жителей Одесской области. Аналогично повысились и оценки местных советов (до 21 % — относительно областного совета; до 25 % — относительно базовых и районных советов). И все же соотношение доверяющих и не доверяющих органам государственной власти любого уровня было не в ее пользу. И в 1991 году доверие к советам чаще выражали жители сел, реже — горожане, особенно одесситы. *Наименьшим доверием пользовалась именно центральная власть, с ее действиями, в первую очередь, связывали крушение «перестроечных надежд».* Это обстоятельство сыграло существенную роль в определении отношения населения Украины к независимости. Однако дело обстояло далеко не так просто.

Подводя итоги анализа политической ситуации 1991 года, повторю то, о чем мы писали в тот период времени: исследованиями не подтверждается используемый в политических дискуссиях тезис, согласно которому, голосуя за независимость, народ проголосовал тем самым и против Союза суверенных республик, против вхождения Украины в данный Союз-Содружество. Обстоятельные опросы, дающие возможность поставить серию уточняющих вопросов, показывали, что поддержка Акта независимости Украины у населения области (как и Украины в целом) сочеталась с признанием необходимости вхождения в Союз (Содружество суверенных государств). Больше половины населения в области были ориентированы на Союз. Эта ориентация в течение всего года являлась стабильной, тогда как доля предпочитающих видеть Украину самостоятельным государством *вне Союза* снижалась, составив в ноябре всего четверть.

Опросы 1991 года показали также, что к 1 декабря по сравнению с началом октября значительно увеличилась доля тех, кто решил принять участие в референдуме и поддержать Акт независимости Украины. *Это произошло главным образом за счет ориентированных на Союз-Содружество.* К этому следует добавить также, что среди избирателей, обеспечивших победу Л. Кравчуку, преобладали сторонники Содружества.

Ориентированные на Союз-Содружество в большей степени, чем не ориентированные на него, первоочередными задачами считали *решение экономических проблем.* Противники же Союза чаще, чем его сторонники, высказывались за приоритетность политических проблем: строительство независимого государства, создание национальной гвардии и пр. Однако эта группа (*желающих быть вне Союза и считающих, что начинать нужно с решения политических задач*) была крайне немногочисленна (не более 6 %). Среди факторов, оказывающих наибольшее влияние на политические представления, первые три места занимали принадлежность к социальной группе, национальность и предпочитаемый язык общения (на работе и в общественных местах). При этом значимость первого фактора (социальная группа) в течение 1991 года падала, а второго (национальность) — возрастала. Третий фактор (предпочитаемый язык общения) стабильно оказывал большое влияние на политические предпочтения.

Обращая внимание на сложность отношения населения к центральной власти и к независимости *вне Союза*, приведу рассуждения известного одесского журналиста Б. Деревянко<sup>8</sup>. В своем дневнике в июле 1991 года он писал следующее: «Спрашивают: «Если Вы так рьяно защищаете идею (иногда говорят резко — химеру) Союза, то Вы целиком и полностью поддерживаете все акции Центра?» Ба! Это разные вещи. Два года терзаний привели меня к мысли, что никто столько не сделал и не делает для развала Союза, как центральная структура власти» [11, с. 150]. Далее Деревянко описывает ситуацию, когда в январе 1991 года пригласил в редакцию газеты «Вечерняя Одесса» руководителей предприятий, экономистов, финансистов,

---

<sup>8</sup> Б. Деревянко — известный украинский журналист, главный редактор газеты «Вечерняя Одесса», делегат I Съезда народных депутатов. Был убит в 1997 году, как многие считают, за то, что вел журналистское расследование причин развала Черноморского флота. Впоследствии это убийство пытались представить как уголовное преступление. Был устроен даже суд над «убийцами». Сотрудник «Вечерней Одессы» Ю. Иванов, выступивший от имени редакции, выразив несогласие с решением суда, и в дальнейшем активно настаивавший на пересмотре дела, погиб при невыясненных обстоятельствах.



ученых для обсуждения мер, необходимых для стабилизации положения. Обращая внимание на то, что сформулированные на этом совещании предложения были направлены не в Верховный Совет СССР, а в Верховный Совет УССР<sup>9</sup>, Деревянко пишет: «Что же получается? Народный депутат СССР подстрекает Верховный Совет республики выступить против того, что решил Центр? Объективно говоря — да. Значит ли это выступать против Союза? Нет, это означает только, что выступать надо против того, чего не приемлют люди» [11, с. 151]. Но эта убежденность, что республиканская власть сможет решать те проблемы, которые не решает центральная, объясняет общее повышение рейтинга этого уровня власти после апреля 1991 года, о чем писалось выше. Это, в свою очередь, сыграло определенную роль и при голосовании за независимость Украины.

Вернемся к общей оценке интересующей нас ситуации. Характеризуя «позднеперестроечный» период, указывают на различные *возможные в тот период* варианты развития событий. Мне более всего импонирует позиция Л. Косалса и Р. Рывкиной, которые ссылаются на три варианта:

— «косметический» — «продолжение фиктивных инноваций при сохранении социализма и руководящей роли КПСС»;

— «советско-рыночный» — «сочетание рыночной экономики с традиционным для населения СССР укладом жизни и руководящей ролью КПСС»;

— «конфронтационно-криминальный», состоящий в «переориентации номенклатуры на максимально полное использование распада старой системы для достижения групповых интересов» [12, с. 24].

Дальнейшее развитие, как считают Косалс и Рывкина, пошло по «конфронтационно-криминальному» пути, в чем я с ними вполне согласна. Аналогичной позиции придерживается Т. Заславская. Она считает, что в 1989–1990 годах «в СССР назревала демократическая революция, направленная против власти номенклатуры, но она *в силу разных причин* не состоялась, и революционный подъем сменился реформами «сверху» в интересах той же бывшей номенклатуры» [13, с. 4] (курсив мой. — *И. П.*).

---

<sup>9</sup> Предлагалось, в частности, попросить Верховный Совет республики наложить мораторий на Указы Президента СССР «О введении налога с продаж» и «О создании в 1991 году внебюджетных фондов стабилизации экономики». Замечу, что такое обращение было знаменательно для этого периода, ибо питалось иллюзией (объясняющей частично и желательность суверенитета), что на местах можно подправлять ошибки Центра.

Но в силу каких причин «советско-рыночный» вариант не удался? Не удался, хотя шанс для этого был: и большинству населения он более всего imponировал (что я пыталась показать выше), и соответствовал той программе, которая разрабатывалась ведущими экономистами того времени. Как пишут Косалс и Рывкина, «эта программа была рассчитана на постепенное медленное вхождение в рынок с сохранением советской государственности. Причем с сохранением не столько государственного управления экономикой (что, собственно, и должно было реформироваться), сколько с сохранением государственной системы правового и социального обеспечения граждан» [12, с. 26].

Итак, почему «советско-рыночный» вариант был все-таки упущен? Конечно, можно согласиться с тем, что «для реализации этого варианта от партийного аппарата требовалось значительно больше интеллекта, чем он на самом деле имел», как и с тем, что этот аппарат не имел привычки и не умел думать об интересах страны и ее населения [12, с. 24]. Тем более парадоксальным может показаться мое мнение: решающим фактором в цепи событий, определивших то, что дальнейшие изменения происходили в соответствии с «конфронтационно-криминальной» моделью, было *устранение КПСС с политической арены*. Именно это устранение в тех конкретно-исторических условиях привело к *подрыву государственности*, что обусловило не только развал СССР, но и многочисленные проявления реализации данной модели (олигархический характер, произвол и беззаконие, коррупцию и взяточничество, масштабы расширения неформальной практики и многое другое)<sup>10</sup>.

Думаю, что следует согласиться с Р. Медведевым, который пишет следующее: «Быстрому разрушению государственных структур СССР предшествовало разрушение идеологии КПСС, а затем и самой КПСС» [2, с. 112]. Начало разрушения догматической марксистской идеологии, которая была на вооружении КПСС, и падение авторитета последней Медведев связывает с XX съездом КПСС и разоблачением культа личности. До этого главными опорами государства, «несущей конструкцией» которых была КПСС, были не только государственное принуждение, но и привлекательность для широких масс идеологической доктрины КПСС. Когда одна из опор (привлекательность

---

<sup>10</sup> Мне непросто было прийти к этому заключению, так как я сама вышла из партии до запрещения действия КПУ. Одновременно с этим я покинула и ряды Руха, в котором была со времени создания Одесской организации, приняв участие в ее учредительном съезде, проходившем в Кишиневе.

идеологической доктрины) была ликвидирована, *ослабление силы принуждения (и в самой партии, державшейся ранее на жесткой дисциплине, и в обществе в целом) привело к распаду государства*. При этом Р. Медведев большое внимание уделяет и личному фактору — поступкам и решениям прежде всего двух персонажей этой драмы: Горбачева и Ельцина, прослеживая по дням и даже по часам их поведение в период распада, а также характеризуя *роль различных региональных руководителей в этом процессе*.

Подробно на характеристике роли партии в советском государстве и значении государственности для реформирования останавливаются Л. Гордон и Э. Клопов (примечательно, что они — приверженцы не социалистического, а скорее либерального направления). Гордон и Клопов указывают на некоторое объективное противоречие, которое характеризует ситуацию реформирования. С одной стороны, как считают они, «уничтожение партийного государства — политической основы госкапитализма — следует признать глубоко позитивным процессом, открывающим возможность выйти из тупика и избежать реставрационной катастрофы» [7, с. 70]. С другой — в условиях рыночной экономики все институты поддержания общественного порядка не способны были эффективно работать, что привело к угрозе разрушения «системы жизнедеятельности в каждой точке общественного организма». «Ослабление и последующее полное исчезновение партийных органов, — пишут Гордон и Клопов, — породили вакуум управления. Нормальное функционирование общественного организма нарушилось на всех уровнях — не только в центре, но и на местах, в любом районе, поселении, предприятии» [7, с. 71]. Далее авторы подробно характеризуют разрушительные последствия этого «вакуума управления»: подрыв государственной дисциплины, невыполнение решений вышестоящих органов, ухудшение сбора налогов, рост коррупции, снижение уровня безопасности повседневной жизни граждан. Соответственно, *главным проявлением чрезмерного ослабления государственности они считают не распад Союза, а «распад общественного порядка»*. Но, как известно, в условиях «распада общественного порядка» и ослабления государственности никакое реформирование не может быть успешным. Не это ли понимали простые люди, считавшие, что для восстановления справедливости прежде всего необходимо поддержание дисциплины и порядка?

*Этот «распад общественного порядка» определил в последующем и характер развития независимых государств — продуктов распада*

СССР. Но как же тогда именно «номенклатура» смогла стать основной движущей силой последующих преобразований? Как удалось именно ей, являющейся порождением партийной государственности и ее оплотом, перехватить, по выражению Т. Заславской, потенциал демократической революции и использовать его в своих интересах? Ответить на данный вопрос помогают интересные соображения французской исследовательницы Мари Мендрас относительно характерной для постсоветских стран ситуации, когда *в слабом государстве существует сильная бюрократия*. Последняя очень быстро адаптировалась к рыночной экономике. Поняв, что существование во властной структуре предполагает наличие экономических ресурсов, она перестроила свои отношения с предприятиями, финансовыми системами. Главное, однако, состояло в том, что *«бюрократия сумела это сделать»*, ибо со времен советской системы, «в рамках которой те, которые были заняты в производственной сфере, и те, которые работали в министерствах, администрациях, аппаратах партии или государства, они все-таки *составляли одну большую «номенклатуру» с некоторыми общими правилами игры, там все знали и друг друга, и эти правила»* [14, с. 48] (курсив мой. — И. П.).

По мнению Мендрас, в условиях, когда экономика страны является «экономикой выживания» и когда существует большая зависимость человека от администрации, существенную роль играют именно *региональная и местная администрации*. Более того, в этих условиях «каждый чиновник имеет свою сферу деятельности, свою маленькую власть, не считаться с которой не может даже его начальник» [14, с. 48]. Наличие ситуации, когда *государство является слабым, а бюрократ — сильным*, объясняет не только тот произвол, беспредел, который чинят бюрократы *всех уровней* по отношению к людям, но и те возможности, которые имеются у чиновников для приватизации и предпринимательства (о чем речь шла выше), а также выполнения функции «крыши» в частном («рыночном») бизнесе. Укажу в связи с этим и на парадокс «упразднения» номенклатуры в 1990 году. *Это «упразднение» на самом деле освободило от контроля партии республиканские и местные элиты, полностью развязав им руки*<sup>11</sup>.

Есть и другая сторона устранения партии с политической арены, что также было на руку клану «номенклатуры». Партия была фактически единственной организацией, в рамках которой «худобедно»

<sup>11</sup> О том, как усиление местного антицентризма сказалось на ситуации в Украине, см.: [15].

имелись возможности контроля властных структур «снизу». Речь идет о так называемых первичках. Что собой представляли «рядовые коммунисты», могли ли они сыграть положительную роль в необходимых преобразованиях? Явно не «пропартийно» настроенные Гордон и Клопов высказывают по этому поводу следующие соображения: «Для некоторых побудительным мотивом для вступления в партию были соображения карьеры, но *многие и даже большинство* надеялись, что, находясь в составе КПСС, смогут активно участвовать в общественно-политической жизни страны» [7, с. 150] (курсив мой. — *И. П.*).

Замечу, что «первички» не только «питали надежду», но и *давали возможность проявлять активность и участвовать в решении многих вопросов, затрагивающих интересы людей, касающихся различных сторон их повседневной жизни*. Поэтому трудно согласиться со следующим заключением: «В действительности, оказываясь в тисках «железной» партийной дисциплины и подвергаясь идеологической обработке, они служили не столько интересам народного большинства, сколько правящей партийно-государственно-хозяйственной номенклатуры» [7, с. 150]. Тем более это никак нельзя отнести к партийной жизни «первичек» в период перестройки, а особенно в 1989–1990 годах. В «первичках» в эти годы кипели страсти: вначале в связи с введением выборности руководителей, а затем в связи с обсуждением Платформы и Устава КПСС. И именно этот ресурс (построение партии по производственному признаку, а также ее относительная массовость — 20 млн чел.) мог стать важным фактором, препятствующим реализации «конфронтационно-криминального» варианта.

«Первички» могли бы обеспечить государству мощную поддержку при осуществлении «разумных» преобразований — тех именно, которые соответствовали интересам большинства населения. Сопоставляя результаты опросов с теми дебатами, которые велись тогда на партийных собраниях, приходишь к заключению, что *интересам большинства более всего соответствовало то идейное течение внутри партии, которое тогда именовали «Демократической платформой в КПСС»*. Это направление предполагало не только реформирование самой партии, построение ее на подлинно демократической основе (отказ от принципа демократического централизма), но и изменение представления о социализме, означающее отмену монополии государственной собственности, многоукладность и реализацию принципа «от каждого по способностям, каждому по труду».

В 1990 году клубы «Демплатформы» были распространены практически во всех бывших республиках Союза. В марте 1990 года, как известно, сторонники ее собрались в Харькове и заявили о создании «Демплатформы в КПУ». «Демплатформа» находила широкий отклик у рядовых членов КПСС, в чем мы смогли убедиться на одном из общих партийных собраний в Одесском Госуниверситете. Это собрание по замыслу его устроителей как раз и должно было осудить «Демплатформу». Но устроив в перерыве анонимный опрос членов парторганизации (всем выходящим из зала давалась анкетка, которую, заполнив, бросали в урну) и быстро подсчитав результаты, члены нашей социологической группы выступили при обсуждении проекта решения и привели данные, свидетельствующие о том, что подавляющее большинство участников собрания поддерживает основные положения «Демплатформы». Причем этому выступлению не смог помешать присутствующий на собрании секретарь горкома КПУ, всеми силами пытавшийся это сделать.

Не погрешу против истины, если скажу, что других сколько-нибудь значимых (в смысле соответствия интересам большинства населения) и массовых идейных течений и общественных движений практически не было. Об этом свидетельствует история Руха, популярность которого упала, как только выяснилась его узкая социальная база. Об этом свидетельствуют и наши опросы 1989—1991 годов. Компартия же не смогла перевооружиться и использовать ресурс «первичек». Объяснение этому следует искать в плоскости оппозиции «руководитель—подчиненный», которая, как уже отмечалось, четко обозначилась в наших опросах. *Именно действия руководящего состава партии (центральных и республиканских ее органов) обусловили провал перестройки, активное неприятие населением и перестройки, и самой партии и, наконец, парализовали большую армию «рядовых коммунистов».*

Вряд ли дело было в том, что кто-то сознательно и умело направлял «народное недовольство партией». Причем были предположения, что это дело рук самого Генсека [16, с. 221]. Безусловно, личность его сыграла значительную роль во всем ходе событий, и особенно в кризисный период 1989—1991 годов. Но вернее говорить именно о *неумелости*, о непонимании сущности обстоятельств, в которых надо было решать судьбоносные проблемы, о том, что *Генсек как личность оказался не на высоте тех исторических задач, которые стояли перед страной и ее народом.* Это порождало разочарование и пассивность основной массы населения, неспособность самоорганизоваться и противостоять

ять тем силам, которые увлекли нас на «конфронтационно-криминальный» путь и навязали свои правила игры, о коих речь шла выше. Хотя, конечно, были и внешние, и внутренние враги, а враг, как известно, никогда не дремлет.

Изучая результаты наших опросов 1989–1991 годов, анализируя различные документы прошлого и происходившие тогда события, хочу выразить согласие с теми, кто считает, что в те годы еще была возможность реализовать *«советско-рыночный» вариант развития, являвшийся наиболее приемлемым для большинства населения и в принципе достижимым*. Я считаю также, что *необходимым условием для этого было наличие «компартии реформ», «обновленной» партии, как тогда говорили*. Такая партия нашла бы поддержку среди передовой части интеллигенции, и могла бы опереться на большой отряд «рядовых коммунистов», представляющих собой реальную и, что очень важно подчеркнуть, *организованную социальную базу преобразований*.

Отдельные попытки «рядовых коммунистов» самоорганизоваться и противостоять «официальной» линии были неудачными. Так, в Одессе 19 октября 1991 года состоялась учредительная конференция новой общественно-политической организации «Союз левых сил Одесщины», заявившей о своей позиции фактически «демократического социализма». Предполагались смешанная экономика, многообразие и равноправие различных форм собственности, формирование социально ответственного, компетентно регулируемого рынка, стимулирующего эффективность экономики. Интерес представляет и пункт о необходимости последовательного проведения политики, ориентированной на воссоздание целостного экономического пространства в рамках союза суверенных государств (не к этому ли пришло наше руководство только сейчас, после более чем 10-летнего разрыва этого пространства?). Знаменательны и требования Союза добиться судебного разбирательства по поводу обстоятельств запрета Компартии Украины, а также проведения съезда коммунистов Украины, где именно коммунисты *дали бы оценку действиям лидеров КПСС и КПУ и определили дальнейшую судьбу Компартии* [17]. Но «поезд ушел». Верхушка партии приняла другое решение, «номенклатура» перегруппировалась и сумела навязать стране иной путь развития.

Однако нужно ли возвращаться к прошлому? Следует ли еще и еще раз обсуждать утерянные возможности? Я отвечаю на эти вопросы положительно и выражаю свое согласие с теми, кто считает, что «сравнительный ретроспективный анализ возможных вариантов вхождения

советского (именно советского) общества в рынок» крайне полезен<sup>12</sup>. Это дает возможность глубже осмыслить то, что происходит сейчас, определить те трудности, которые могут возникнуть в будущем. Ибо прошлое, настоящее и будущее — единое целое, и понять его — это значит не исчезнуть бесследно в неумолимом беге Времени.

### *Литература*

1. Норо А. Диагноз времени как третий жанр социологической теории // Социологические исследования. — 2002. — № 2. — С. 3–11.
2. Медведев Р. Советский Союз: последний год жизни. — М., 2003.
3. Шляпентох В. Э. Советский Союз — нормальное тоталитарное общество // Социологические исследования. — 2000. — № 2. — С. 115–124.
4. Осипов Г. В. Мифы уходящего времени // Социологические исследования. — 1992. — № 6. — С. 3–13.
5. Левада Ю. 1989–1998: десятилетие вынужденных поворотов // Экономические и социальные перемены: мониторинг общественного мнения. — 1999. — № 1 (39) — Январь–февраль. — С. 7–12.
6. Кара-Мурза С. Советская цивилизация. От великой победы до наших дней. — М., 2000. — Кн. 2.
7. Гордон Л. А., Клопов Э. В. Потери и обретения в России девяностых. Историко-социологические очерки экономического положения народного большинства. — М., 2000. — Т. 1.
8. Бергер П., Лукман Т. Социальное конструирование реальности. — М., 1995.
9. Попова И. М. Социальные представления в обыденном сознании // Социологические исследования. — 1991. — № 11. — С. 66–76.
10. Ларцев В. К проблеме периодизации процесса приватизации // Экономика Украины. — 2000. — № 12. — С. 41–46.
11. Дервянко Б. Хочу быть услышанным. — Одесса, 2002.
12. Косалс Р. Я., Рывкина Р. В. Социология перехода к рынку в России. — М., 1998. — С. 368.
13. Заславская Т. И. О социальном механизме посткоммунистических преобразований // Социологические исследования. — 2002. — № 2. — С. 3–16.
14. Мендрас М. Слабое государство и сильная администрация: к оценке российской бюрократии // Куда пришла Россия? Итоги социетальной трансформации. — М., 2003.
15. Куценко О. Д. Динамика элит в изменяющемся социальном пространстве // Харьковские социологические чтения—95. — Харьков, 1995. — С. 107–110.
16. Врублевский В. Владимир Щербицкий: правда и вымыслы. — К., 1993.
17. Заявление «Союза левых сил Одесщины» // Юг. — 1991. — 30 октября.

---

<sup>12</sup> К этому призывают, в частности, Косалс и Рывкина [10, с. 27].



## **МОРАЛЬНОЕ ОПРАВДАНИЕ И НОРМАТИВНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ ТЕНЕВЫХ ПРАКТИК (К ПОСТАНОВКЕ ПРОБЛЕМЫ)**

Повсеместное распространение теневых практик в постсоветском пространстве — явление, наличие которого практически не требует доказательства. Оно описано в научной и публицистической литературе, пародируется сатириками, тиражируется в многочисленных телесериалах. Однако лишь в самое последнее время теневые практики стали анализироваться в «социологическом ключе», с использованием социологических категорий и представлений. При этом речь идет, как правило, о российских реалиях (Т. Заславская, М. Шабанова, Р. Рывкина, Л. Косалс, В. Роговин, Л. Гордон, Э. Клопов и др.). Наши отечественные свидетельства на этот счет значительно скромнее и носят в большей степени экономический характер (С. Белая, В. Бородюк, Т. Приходько, В. Юринец, С. Лондарь и др.). Исключение составляет исследование, проведенное Киевским международным институтом социологии на предприятиях Украины в 1999 году. Оно представляет собой серьезную заявку на глубокое изучение интересующего нас явления, которое должно стать объектом пристального внимания социологов [1].

Достоинства социологического исследования состоят в том, что в данном случае принимаются во внимание многообразные социальные факторы, которые в условиях той или иной *конкретно-исторической, социальной целостности* определяют генезис и масштабы распространения данного явления. Социологические средства *описания* и *объяснения* теневых практик дают возможность осуществить их анализ как *объективно-субъективной* реальности, что, несомненно, имеет преимущество в сравнении с экономическим или правовым подходом. Рассмотрение теневых практик как субъективно-объективного явления обязывает нас обратиться к проблеме взаимоотношения *ценностно-нормативного* и *предметно-практического* контекстов происходящих процессов, а также к пониманию взаимодействия ценностей и норм, взаимосвязи норм права и морали. Особую про-

блему составляет рассмотрение теневых практик как субъективно-объективного явления в условиях трансформации, когда происходит коренное изменение ценностно-нормативного контекста общества, быстрая смена практических форм деятельности, когда *устойчивый характер приобретает противоречивое взаимоотношение между субъективной и объективной сторонами деятельности. Именно постановка этой проблемы — предмет предлагаемой статьи.*

Изучение явления теневиизации нашего общества предполагает обращение к процессам, происходившим в 1970—1980 годы, что и делают российские социологи (Л. Гордон и Э. Клопов, Р. Рывкина и Л. Косалс, В. Роговин). Ученые отмечают, однако, что и в более ранние периоды в экономике советского общества присутствовали различные варианты теневиизации. Впоследствии через процесс институционализации теневых хозяйственных практик произошла теневиизация *всего общества*, которая охватила все сферы общества и все слои населения [2, с. 3]. Л. Косалс и Р. Рывкина, рассматривая различные виды теневиизации экономики советского общества, условно выделяют «легкую», «среднюю» и «тяжелую» теневиизацию [3, с. 84]. К первому и второму виду относятся такие получившие распространение еще в советский период явления: несанкционированная дополнительная занятость; так называемые «подснежники» — люди, числившиеся на работе, но реально не работающие; валютные операции; бартерные сделки; оказание услуг в частном порядке и др. Воровство, коррупция, рэкет, мошенничество, торговля наркотиками — это тяжелая тeneвая экономика, которая тоже давала о себе знать, но в меньшем масштабе. После 1980-х годов, когда произошла теневиизация всего общества, сфера теневых отношений постоянно расширялась, и как результат «открытая», «световая» часть жизни, как считает Р. Рывкина, все более сокращалась [2, с. 3].

Остановлюсь на характеристике понятия «теневиизация», чтобы разобраться в том, какие виды деятельности следует относить к теневой практике. Определения и рассуждения по этому поводу относятся, как правило, к теневой экономике. Однако их можно использовать для того, чтобы разобраться в «теневой практике» вообще. Под теневой экономикой понимают:

— «создание официально незарегистрированной стоимости товаров (услуг) и отсутствие ее отражения в системе национальных счетов» [4, с. 54];

— всякую экономическую активность, не зарегистрированную официально уполномоченными органами и представляющую собой

уклад экономических отношений, складывающийся в обществе «вопреки законам и формальным правилам хозяйственной жизни» [3, с. 4];

– «нелегальную экономическую деятельность» (нелегальную сферу и незарегистрированный бизнес) и «скрытую деятельность» (уклонение от уплаты налогов) [1, с. 53–54].

Формы теневой деятельности, характерные для трансформационных условий, чрезвычайно многообразны. Их группируют, выделяя различные виды или типы. В принципе речь идет о том же делении, которое использовалось и при характеристике теневой деятельности в советском обществе («легкая», «средняя», «тяжелая»). Однако «наполнение» видов несколько изменилось. Некоторые из форм бывшей теневой деятельности в настоящее время относятся к нетеневой, формально узаконенной (например, валютные операции). Появились и новые формы теневой деятельности, которых не было ранее и которые связаны с рыночной экономикой. Для обозначения выделенных групп теневой деятельности используются разные термины. Теневую экономику делят на «криминальную» (жульничество, наркобизнес, проституция, расхищение, рэкет) и «параллельную» (сектор домашних хозяйств, неформальная экономика, скрытый сектор национального производства) [4, с. 54]. В некоторых случаях сектор домашних хозяйств (включающих производство товаров на продажу, произведенных в домашних условиях, а также производство некоторых видов услуг) выводят за пределы теневой экономики. Так делает, например, О. Белоскурский, называя деятельность такого рода «нестандартизованной экономикой» [1, с. 53].

Наряду с обозначением теневых механизмов как «тяжелых», «средних» и «легких», их именуют «черными» и «серыми», относя те и другие к криминальной или полукриминальной деятельности. Легальная же деятельность называется «белой» (или, в просторечии, «любовой»). Например, В. Радаев, использующий такую терминологию, оценивает удельный вес этих видов предпринимательской деятельности, связанной с импортом (на момент опроса — 2001 год), соответственно как 10 %, 70 % и 20 %. «Мы вправе заключить, — пишет он, — что за малым исключением все основные участники рынка используют «серые» схемы, различаются лишь степень вовлечения и характер самих этих схем» [5, с. 97]. Другими словами, подавляющее большинство предпринимателей используют как легальные, так и нелегальные схемы деятельности. Главное же состоит в том, что

«белые» схемы во многих случаях просто разорительны, хотя и не теряют своей привлекательности для значительной части предпринимателей [5, с. 99].

Исследование развития теневой деятельности показывает, что на разных этапах трансформации преимущественное распространение получают те или иные ее формы. Более того, теневые, нелегальные могут выходить из «тени» и переходить в легальную деятельность. Этот переход может быть обусловлен изменением политики, когда власть убеждается в том, что невозможно поддерживать существующие формальные правила. Например, в России в 2001 году произошло фактическое сближение «серых» и официальных схем благодаря введению различных подзаконных актов, смягчивших таможенное законодательство [5, с. 101]. Другим, более впечатляющим примером трансформации видов теневой деятельности является переход от силового предпринимательства (группы, занимающиеся охранной деятельностью и включающие организованные преступные группировки, легальные охранные предприятия и государственные силовые организации, действующие неформально) к бизнес-группам. Условиями такого перехода являются капитализация доходов от охранной деятельности и заключение неформального пакта с местными властями [6].

Каждый раз такие трансформации и сложное переплетение схем деятельности обусловлены взаимодействием различных факторов, что предполагает использование именно социологического подхода к изучению теневых практик. Немаловажное значение имеет также то, что последние вышли далеко за пределы экономики и охватили, как уже отмечалось, многообразные сферы деятельности. Для характеристики данного явления Р. Рывкина использует понятие «социальные рынки», в рамках которых, в отличие от рынков экономических, «результатом теневой деятельности являются не сами по себе деньги или какая-нибудь конвертируемая в деньги материально-вещественная продукция (техника, стройматериалы, оружие, продовольствие, сырье, наркотики), а *те или иные изменения в социальных взаимоотношениях участников, социальные эффекты*» [2, с. 4] (курсив мой. — И. П.). При этом получение денег не всегда является целью совершающейся сделки. Например, взятка, не дающая финансовую прибыль, а улучшающая среду соответствующего бизнеса; репетиторство, обеспечивающее поступление в вуз и т. п. Деньги не являются и непременным средством достижения цели (теневые ка-

дровые перестановки в высших эшелонах власти, осуществляемые посредством неофициальных и скрытых переговоров; тайные стоворы представителей различных политических фракций и др.). Все это предполагает определенную широту контекста анализа, понимание сложного взаимодействия различных факторов и социальных последствий функционирования теневых практик. Так, Р. Рывкина, понимающая «теневое» широко — как «неформальное», официально не учитываемое, считает, что *теневые процессы в социальной сфере вторичны по отношению к экономике*. По ее мнению, экономика, являясь источником теневых процессов, «как бы «заражает» ими все сферы общества. В результате оказывается, что теневые процессы выходят за рамки экономики и проникают во все остальные сферы общественной жизни» [2, с. 4].

Корректная постановка рассматриваемой проблемы предполагает анализ используемых при этом категорий и, прежде всего, соотнесение таких пар понятий, как «формальные и неформальные», «законные и незаконные», «правовые и неправовые» практики. Такое соотнесение необходимо, в частности, и для корректной типологизации различных социальных практик, выяснения их роли в процессе институционализации теневой деятельности [7, с. 15].

Понятия «формальное» и «законное» (легальное) фактически совпадают, если систему законодательства трактовать предельно широко, понимая под «законным» то, что разрешается законами и подзаконными нормативно-правовыми актами, издаваемыми органами различных уровней властной вертикали. Взаимоотношение между неформальным и незаконным (внезаконным) несколько сложнее в том случае, когда последнее не понимается как противозаконное. Известно, например, что и в советское время, и теперь широкое распространение получила так называемая неформальная экономика (семейная экономика, мелкое индивидуальное предпринимательство и др. — то, для чего О. Белоскурский использует термин «нестандартизованная экономика»). Выделяют также неформальную занятость (не фиксируемую никакими официальными службами и не учитываемую статистикой), неформальную заработную плату (не проходящую через ведомости и скрытую от налогов), неформальные правозащитные способы (обращение за помощью к друзьям, использование подарков и подношений и т. п.). Все эти виды неформальной деятельности могут быть как законными, так и противозаконными. Как пишут Т. Заславская и М. Шабанова, имея в виду различные тру-

довые практики, «обладание *неформальными* связями и готовность к неформальным способам протестного поведения, включая... противозаконные, — важный ресурс, повышающий шансы работников восстановить свои законные трудовые права в нынешних условиях» [8, с. 10]. Однако как в случае противозаконности таких неформальных действий, так и в случае легальности (законности) они носят *теневой характер*, а их функционирование приводит, в конечном счете, к серьезным отрицательным последствиям. Например, многие экономические операции, не запрещенные украинским законом (бартерные сделки, деятельность в пределах оффшорных зон и налоговых гаваней) и относящиеся к распространенным вариантам бизнесовой деятельности, наносят экономике Украины наибольший ущерб [4, с. 56]. Возможно, поэтому они и находятся «в тени», т. е. субъекты деятельности предпочитают ее не афишировать.

Таким образом, теневые (неформальные) практики, складывающиеся «вопреки законам и формальным правилам», то есть стихийно, могут не означать противозаконности действия в силу того, что они не противоречат законам и формальным правилам, а просто не предусмотрены ими. Для социолога, однако, интересно задаться вопросом, почему они все же носят теневой характер и находятся за пределами «световой» части деятельности. К этому вопросу следует вернуться после соотнесения теневой деятельности с правовым и неправовым поведением. В данном случае можно рассуждать так же, как и в случае сравнения теневого с законным и незаконным. Неправовое — необязательно противоправное. Дело, однако, в том, как понимать право. Если право — это официально установленные нормы и правила, существующие в виде юридических законов и подзаконных актов, различного рода формально-нормативных предписаний и административных решений, то все то, что не охватывается данными нормами, относится к неправовому поведению. Тогда правовое совпадает с формальным, законным, нетеневым, а неправовое — с неформальным, незаконным и тeneвым (но необязательно являющимся противоправным и противозаконным). Однако в понятии «право» заключена некоторая двусмысленность: и в либеральных концепциях, и в традициях отечественной социально-философской мысли различают формальное и так называемое обычное право. Последнее характеризует обыденные представления о должном и справедливом. И то, что квалифицируется формальным правом как неправовое, с точки зрения обычного права может быть вполне правовой практикой.

Учитывая данное обстоятельство, Заславская и Шабанова предлагают определенную типологию правовых ситуаций в зависимости от соотношения формальных и неформальных норм, относящихся к трудовым практикам. При этом они учитывают «качество» формально-правовых норм (их полноту, непротиворечивость и эффективность), а также характер социокультурных норм (являются ли они противозаконными или нет). Учитывая сочетание различных вариантов формально-правовых и социокультурных норм, можно говорить о «деструктивном» или «конструктивном поведении» [8, с. 7–8]. При этом авторы исходят из того, что *«изучение неправовых практик предполагает сравнение реальных практик не только с действующими законами, но и с представлениями граждан о праве и справедливости»* [8, с. 6]. Особый интерес для социолога представляют характеристики трех разных видов неправовых действий в сфере труда:

- преимущественно конфликтных, антагонистических (складывающихся между работниками и работодателем, нарушающим их права);
- преимущественно взаимовыгодных (и работники и работодатели получают выгоду за счет государства);
- «солидаристических» (работодатели солидаризируются с работниками, нарушающими законы) [8, с. 9; 9, с. 139].

Возникают, однако, следующие вопросы. Существенно ли различаются эти виды неправовых действий и являются ли какие-либо из них легитимными (одобряемыми) для участников этих практик и, соответственно, «освящаемыми» нормами «обычного права»? Думаю, что существенных различий в этом плане между перечисленными видами нет, ибо все эти практики — результат если не «согласия», то соглашения (точнее — соглашательства) между работодателями и работниками. Даже в ситуации конфликтных отношений работник продолжает их поддерживать, имея в виду личный интерес (например, боится, что его уволят). Однако тогда, как и в случае других видов неправовых действий, неправовые практики функционируют *в силу сложившихся обстоятельств*, а не благодаря тем или иным нормам деятельности, ее регламентирующим. Более того, это относится не только к формальным нормам, но и к нормам неформальным, не закрепленным в виде закона, инструкции, распоряжения. В этом, как мне кажется, состоит важная особенность функционирования теневого практик, осуществляемых в условиях трансформации. Теневые практики осуществляются *не потому, что*

*сформировались соответствующие им нормы деятельности, а потому, что чрезмерно ослабли механизмы, препятствующие ненормативным действиям.* Это фактически подтверждают и конкретные данные, полученные Заславской и Шабановой в результате опроса. «...Абсолютное большинство (83 %) работников, однажды очутившись в неправом трудовом пространстве, — пишут они, — вынуждены там оставаться... Слабость институционально-правовых механизмов противодействия произволу работодателей (включая и государство) — важный фактор институционализации неправовых практик» [9, с. 140].

Характеризуя данную особенность теневых практик, замечу, что под неправовыми практиками следует все же понимать то, что не соответствует формальному праву, а последнее целесообразно отождествлять с правом вообще. Что касается обычного права, то речь фактически идет о нравственности, морали. Проблема же соотношения формального и обычного права — это проблема соотношения права и морали, вопрос о нравственной основе права<sup>1</sup>. Именно так проблема эта ставилась в отечественной социально-философской и правовой мысли в работах Б. Чичерина, Б. Кистяковского, Л. Петражицкого, Вл. Соловьева, П. Новгородцева. В обыденном сознании правовые и нравственные представления вообще четко не разграничены, при этом обычное право не является собственно правом, а несет некий образ «должного», «справедливого», имеющего «оправдание» и предполагающего «доверие». И, что важно, образ этот в своем общем виде может быть весьма неопределенным, размытым, а также различным для разных социальных групп. Вот почему типологизация неправовых практик сразу по двум критериям (представлениям о формальном и обычном праве), с моей точки зрения, только запутывает суть вопроса. Учитывая же остроту проблемы в современных трансформационных условиях, обусловленную несовершенством законодательства и произволом в самых различных его формах, есть полное основание считать такой подход по меньшей мере несвоевременным, о чем далее будет идти речь<sup>2</sup>.

<sup>1</sup> Я намеренно обхожу здесь вопрос о соотношении понятий морали и нравственности, не имеющий, как известно, однозначного решения.

<sup>2</sup> Замечу, что в статье, посвященной институционализации неправовых практик [9] и почти слово в слово повторившей то, что было в статье, помещенной в журнале «Социологические исследования» [8], авторы (Заславская и Шабанова) опускают данную типологизацию и не называют правовыми практиками то, что не соответствует формальному праву.



Принципиальным вопросом является также вопрос о том, как понимать институционализацию неправовых практик. Можно ли утверждать, что она осуществляется если и вопреки формальным нормам, то во всяком случае на основании устоявшихся повседневных представлений о должном и справедливом? И можно ли считать, что эти представления в случае институционализации теневых практик закрепились как культурные нормы и ценности? В более общей форме вопрос можно сформулировать следующим образом: *какова роль культурных норм и ценностей в становлении социальных институтов, и являются ли нормы и ценности (в любом их виде) необходимым основанием институтов, то есть такими их составляющими, без которых процесс становления тех или иных практик не происходит, а практики не превращаются в относительно устойчивые, повторяющиеся формы деятельности?* Особо важен ответ на данный вопрос при изучении становления социальных институтов в условиях трансформации. И если институционализация теневых практик в той или иной сфере деятельности может осуществляться, не будучи опосредована *нормой данной деятельности*, то какие регулятивные механизмы способствуют поддержанию устойчивости данных теневых практик? Для понимания этого попытаемся разобраться, что обычно имеют в виду, когда речь идет об институтах и институционализации.

Термин «институт», читаем в словаре, «широко используется для описания регулярных и долговременных социальных практик, санкционированных и поддерживаемых с помощью социальных норм и имеющих важное значение в структуре общества» [10, с. 106] (курсив мой. — *И. П.*). Другими словами, институционализация имеет место тогда, когда имеется норма, в соответствии с которой осуществляются повторяющиеся практические действия. Такое понимание института и институционализации характерно для так называемой «ценностно-нормативной» методологии. Для разъяснения данного понимания приведу некоторые высказывания на этот счет Т. Парсонса. Указывая на то, что чаще всего институты «трактуются как гомогенные или устойчивые образцы поведения», Парсонс отмечает следующее: важно при этом исходить из идеи *санкций*, а также из того, что при институциональном поведении «способы поведения и формы отношений не просто существуют, но воспринимаются индивидом как такие, которые *должны* существовать, то есть явно содержат *нормативный* элемент» [11, с. 137] (курсив мой. — *И. П.*).

Аналогичным образом понимается и процесс институционализации, изменения имеющихся институтов и формирования новых: как процесс варьирования норм, отказа от прежних норм и утверждения новых. Так, П. Штомпка, ссылаясь на предложенную Ф. Знанецким идею «аксионормативного порядка» и солидаризируясь с мнением Г. Джонсона о том, что «концепция нормы является центральной в социологии», рассматривает изменения институтов и институциональных комплексов как «возникновение, замену или преобразование нормативных структур, включающих, наряду с нормами, ценности и роли» [12, с. 313]. При этом П. Штомпка широко использует мертоновскую типологию форм индивидуального приспособления, осуществленную с учетом соотношения культурных целей и институциональных норм.

Безусловно, процесс трансформации институтов предполагает и формирование новых норм и ценностей, преобразование норм права и представлений о должном и справедливом. Однако характеризовать процесс институционализации (вообще и применительно к теневым практикам особенно) лишь в данной плоскости было бы ошибочно, ибо такой подход односторонен и не вполне адекватен условиям трансформации. Процесс *институционализации практик вообще и теневых в частности может происходить не только не в соответствии с принятыми нормами и ценностными представлениями, но и вопреки им*. Именно такое понимание данного процесса, как мне кажется, наиболее адекватно тому, что происходит в постсоветском пространстве. Важно и то, что собой представляет ценностно-нормативный контекст общества как *феномен культуры*. Понимаем ли мы под нормой культурно закрепленное абстрактное правило, возведенное до уровня представления об «общем благе» и выступающее как *духовное руководство, предписывающее, как должна осуществляться данная деятельность?* Либо норма — это то, что *стало* привычным лишь в силу повторяемости и распространенности и не было оформлено в виде абстрактного правила? Различные подходы к пониманию нормы и нормальности проявляются и при характеристике процессов институционализации теневых практик в постсоветском пространстве, что, с моей точки зрения, затрудняет их исследование. В этой связи приведу еще некоторые характеристики данных процессов.

Так, Косалс и Рывкина понимают под институционализацией теневой экономики «закрепление теневого экономического поведения (например, обналичивание денег, теневой вывоз капитала) в те

или иные организационно устойчивые формы, признаваемые всеми участниками данной деятельности и транслируемые следующим поколением занятых данной деятельностью субъектов» [13, с. 13]. Заславская и Шабанова, обращая внимание на то, что в настоящее время идет активный процесс институционализации теневых практик, характеризуют его как «устойчивый, постоянно воспроизводящийся феномен, который интегрируясь в формирующуюся систему общественных отношений (экономических и неэкономических), становится нормой (привычным образцом) поведения социальных акторов самых различных уровней и постепенно интернализуется ими» [9, с. 145]. Норма в данном случае представляет собой привычный, повторяющийся способ деятельности. Однако некоторая двусмысленность содержится в термине «образец». Например, в статье, посвященной теневизации общества, Рывкина, определяя социальные институты как комплекс социальных ролей и «образцов поведения», не случайно, как мне кажется, «образцы» берет в кавычки [2, с. 10]. Учитывая то, какой смысл имеет это слово в русском языке (ценностно-нормативный оттенок «желаемого», «должного»), оно оказывается в данном случае неуместным, ибо «образец» — это не просто шаблон, а способ, *достойный* подражания. Но так же неуместно трактовать теневые институты как комплекс «ролей», то есть рассматривать соответствующие действия как исполняемые по определенному, ценностно-нормативному *культурному* сценарию. Данный сценарий обычно определен содержанием общественных идеалов, некоторых абстрактных предписаний, в соответствии с которыми должна осуществляться деятельность. Такой подход к институционализации теневых практик более определенно выражен у В. Радаева. Отвечая на вопрос о том, в чем состоит процесс институционализации, Радаев придерживается мнения Н. Флигстина, понимающего под институционализацией «превращение *абстрактных правил* в реальные модели стабильного взаимодействия» [5, с. 107] (курсив мой. — *И. П.*).

Однако большинство теневых практик, получивших массовое распространение, осуществляются не в соответствии с представлениями о должном, желаемом и справедливом (оформленными в виде «писаных» или «неписаных» общих правил), с которыми «сличаются» конкретные действия и которые предполагают те или иные санкции в зависимости от того, как эти действия совершаются. И экономические, и социальные теневые практики не соответствуют не только формальному праву. Они чаще всего противоречат и «так называемо-

му «обычному праву», проще говоря, моральным нормам поведения. И именно этим (даже в случае законодательной неподсудности) объясняется их теневой характер» [2, с. 6]. Но каким же образом они воспроизводятся, что является внутренним стимулом их осуществления? Отвечая на этот вопрос, позволю себе повторить тезис, сформулированный ранее: в период трансформации общества теневые практики даже при условии их институционализации *осуществляются под воздействием определенных обстоятельств и интересов, в соответствии с логикой самого действия, рассчитанного на достижение успеха.*

Для характеристики процесса институционализации теневой практики в условиях трансформации целесообразно воспользоваться представлениями так называемой эволюционной теории экономики, как это делает М. Завельский. «Эволюционная теория, — пишет он, — трактует селекцию институтов как спонтанный процесс отбора тех из них, которые жизнеспособны, в силу того, что, способствуя росту раскрепощенности и богатства общества, оказываются «социально целесообразными» [14, с. 126]. Речь идет о том, что обычно практикуемые (в силу социальной целесообразности) сочетания различных неформальных действий, *независимо от их легитимации*, получают все большее распространение и приобретают устойчивый характер, то есть институционализируются. Главное, однако, состоит в том, что институционализироваться могут такие формы действия, которые не соответствуют не только установленным формальным законам и правилам, но и повседневным нравственным представлениям, регламентирующим *данную* деятельность (к примеру, представлениям о том, что значит быть хорошим врачом, учителем, руководителем и т. д.). Устойчивость их объясняется тем, что эти формы, будучи теньвыми, выполняют в определенном смысле полезные для социума функции — на это обстоятельство указывают практически все исследователи теневых практик. «Формы теневой активности при этом, — пишет Завельский, — бывают *неприглядными*, но сама она по сути оправдана, т. к. порождается постоянным столкновением людей с неспособностью общественного производства синхронно удовлетворять все притязания на те или иные необходимые им для желаемых занятий внешние ресурсы из-за их текущей недостаточности в отношении суммарных запросов» [14, с. 128] (курсив мой. — *И. П.*).

Примеров, свидетельствующих о полезных функциях теневых практик, предостаточно, а главное — они многообразны и относятся к самым различным их (практик) видам. Одним из таких примеров

является функционирование так называемого силового предпринимательства. Силовое предпринимательство как «средство извлечения и увеличения частных доходов групп, владеющих и распоряжающихся средствами насилия», выступает в роли институциональной среды деятельности для других экономических субъектов. Оно создает условия, делающие «возможным относительно предсказуемое поведение контрагентов. То, что не было своевременно обеспечено слабеющим государством (безопасность, арбитраж, охрана прав собственности), стало сферой специфического частного предпринимательства» [6, с. 110]. Аналогичное «оправдание» имеют и различного рода теневые операции, распространенные в разных видах предпринимательской деятельности. Так, в ряде случаев, чтобы остаться на рынке, «приходится снижать издержки, а это предполагает отказ от легальных схем или использование параллельных схем разной степени легальности» [5, с. 98]. При наличии непосильной налоговой системы неформальные заработки и неформальная занятость обеспечивают выживаемость не только предпринимателей, но и наемных работников, а также лиц, занимающихся индивидуальным трудом. Но данное «оправдание» — это скорее *объяснение через отнесение к функции, а не моральная категория*. Что касается «солидаристических» (в терминологии Заславской и Шабановой) неправовых практик, когда противозаконные действия приносят непосредственную выгоду работникам за счет государства с согласия работодателей, и выгода является необходимой компенсацией за низкую заработную плату либо тяжелые условия труда, то данная практика имеет более сложную природу: она может быть проявлением доброты и справедливости, но может быть и утилитарным средством удержать работника.

Аналогичная ситуация и с так называемыми социальными рынками. Как пишет Р. Рывкина, они «возникают из необходимости решения тех или иных острых актуальных для общества социальных проблем. Поэтому их расширение в определенных условиях практически нельзя остановить. Ведь «тень» возникает там и именно там, где имеются актуальные для общества проблемы, которые не находят открытого, «светового» (т. е. нормального) решения» [2, с. 6]<sup>3</sup>. Проникновение теневых практик во все сферы общества приводит к тому, что теневые институты начинают играть системообразующую роль и «не дают развалиться всей социально-экономической системе в целом» [13, с. 15].

---

<sup>3</sup> Как видим, здесь нормальное понимается как «световое».

Итак, в определенных условиях теневая активность соответствует потребностям функционирования общественного производства. Этим, в частности, объясняется то, что она оказывается более продуктивной, чем формальная экономика, находящаяся «на свету». Последняя, например, в позднесоветский период (накануне перестройки) в 3–4 раза уступала по продуктивности теневой экономике. Теневая же экономика, на которую приходилось 15–20 % производственных ресурсов, давала 42–43 % ВВП [14, с. 130]. О том, что в советской хозяйственной системе теневая экономика выполняла важные функции, пишут Косалс и Рывкина. Они указывают на две такие функции: экономическую и социальную. Первая состояла в «компенсации дефектов работы официальной советской экономики». Вторая — «в обеспечении социальной ниши для предприимчивых людей, которые не могли реализовать себя в официальных структурах» [3, с. 87]. Добавлю, что осознание важных функций теневой активности было одним из доводов в пользу реформирования советского общества. Парадокс, однако, состоял в том, что реформирование привело к расширению масштабов теневой активности, распространению ее на все сферы общества. Объяснить это можно тем, что продолжали оставаться факторы, тормозящие «раскрепощение» общественного производства, препятствующие формированию эффективных легальных форм социальной активности. Более того, те меры, которые должны были создать необходимые условия для проявления такой активности, сами провоцировали распространение теневых практик, их закрепление в различных сферах деятельности.

Наиболее впечатляющими «мерами» такого рода являются способы проведения приватизации. Социологу, как мне кажется, следует обратить особое внимание на два обстоятельства, обусловившие существенные социальные особенности осуществляющейся трансформации. Прежде всего отметим, что на втором этапе приватизации, когда она осуществлялась в достаточной степени интенсивно, «больше половины объектов, перешедших в негосударственный сектор экономики, составили средние и крупные предприятия, что, естественно, деформировало логику процесса приватизации» [15, с. 44]. В других странах сферами «первоочередной приватизации» были торговля, бытовое обслуживание, общественное питание. Деформация в данном случае состояла в том, что не сформировался субъект рыночного хозяйства, первоначальные накопления которого были бы результатом его *индивидуального труда и личной предприимчивости*. При

отсутствии таких накоплений «большая приватизация» (средних и крупных предприятий) за счет «внутренних ресурсов» могла осуществляться преимущественно по «теневому сценарию». В то же время благодаря так называемой «чековой» или «сертификатной приватизации, которую еще называют «директорской», формально законные акции осуществлялись посредством различных теневых технологий, которые *противоречили общим интересам*. Эти технологии предполагали, в частности, доведение предприятий до состояния убыточности и развала, создание условий, при которых население (включая рабочих приватизируемых предприятий) за бесценок продавало свои чеки, и т. д. Все эти технологии<sup>4</sup> «повлекли за собой продажу государственного имущества по бросовым ценам, падение производства, ускорение процесса первоначального накопления капитала (придав ему откровенно грабительский характер), фантастически быстрое обогащение узкого круга спекулянтов, директоров и коррумпированных чиновников за счет обнищания большинства рядовых граждан, резкое сужение социальной базы рыночных реформ (вызванное тем, что большое количество социальных страт, которые сначала активно поддерживали реформы, стали связывать свое обнищание с «переходом к рынку») [16, с. 37].

Обращу внимание в связи с обсуждаемыми здесь вопросами на чрезвычайно интересную статью В. Хмелько «Макросоциальные изменения в украинском обществе за годы независимости», в которой дан анализ происходящих в Украине объективных процессов, представляющих собой реальнопрактический фон, который формировал эволюцию «трансформационной субъективности» (термин мой. — *И. П.*). Особый интерес вызывает предлагаемая Хмелько категория «полусобственности», характеризующая специфические отношения собственности, получившие широкое распространение в постсоветском пространстве. Специфика этих отношений состоит в том, что «...в отношениях настоящей собственности для их субъектов **соб-**

---

<sup>4</sup> Замечу, что они чрезвычайно многообразны. Например, директорат предприятия, перевода работников на неполную рабочую неделю или отправляя их в неоплачиваемый отпуск, руководствовался при этом не социальной ответственностью перед коллективом, как он утверждал, а опасением, что в случае ухода рабочих с предприятия «на сторону» уйдут и сертификаты, приобретение которых, в конечном счете, обеспечивало директорату владение предприятием. Однако, несмотря на легкие способы обогащения, новые владельцы не располагали капиталами, которые давали бы возможность модернизировать предприятия и запустить их с необходимой степенью эффективности.

**ственными** являются не только доходы, но и убытки, а в тех отношениях, о которых здесь идет речь, **собственными** являются только доходы, тогда как **убытки отчуждаются** — «в пользу» всех плательщиков налогов» [17, с. 12].

Характеризуя процессы становления рыночной экономики, подчеркну, что важно разграничивать то, как выглядит приватизация в «идее», в провозглашаемых целях (в рыночной идеологии), и то, что собой представляют широко используемые «практики» и соответствующие им технологии. Повседневное сознание, как известно, чутко улавливает это расхождение и соответствующим образом реагирует на него, что проявляется в оценках населения. Оценки эти существенным образом обусловлены отношением к теневым практикам, которые функционируют не только вопреки законам и формальному праву, но и вопреки обыденным представлениям о должном и справедливом. Более того, несмотря на то, что значительная часть населения вовлечена в эти практики и *взаимовыгодные* для «верха» и «низа» теневые отношения, сами *эти практики, приобретая устойчивый характер, похоже, осуществляются как бы вне культурного ценностно-нормативного контекста общества, вне правового и морального сознания*. Возможно ли это?

Отвечая на этот вопрос, выскажу свое отношение и к феномену «аморальности большинства», на который ссылается Е. Головаха [18]. Речь идет о том, что, по мнению опрошенных, большинство людей, поведение которых они оценивают, нечестны, склонны к обману и не заслуживают доверия. Эти данные рассматриваются как свидетельство аморальности и социального цинизма большинства. Но возможна и другая интерпретация этих данных. Их можно рассматривать и как свидетельство того, что в представлениях наших соотечественников еще присутствуют некоторые разделяемые ими символы-критерии, которые позволяют *осудить* не соответствующую этим идеям практику, что выражается в *отрицательных оценках реальных практик*. Замечу также, что оценки эти относятся не к своему поведению, а к поведению «других». Думаю, что если бы такие же вопросы относились к самим опрошиваемым, то результаты были бы иными, что, в свою очередь, свидетельствовало бы (в силу явления «каузальной атрибуции»), что *фиксируемые в опросе свойства не относятся к числу одобряемых, признанных в ценностно-нормативном контексте общества*. Оставляя вопрос о моральности либо аморальности большинства наших соотечественников открытым, поскольку



приведенные эмпирические данные допускают различную интерпретацию, рискну утверждать, что эти данные можно рассматривать и как свидетельство того, что распространение теневых практик осуществляется вопреки не только формальным правилам (в любом их виде), но и неформальным, нравственным представлениям, культурным ценностям и нормам, в той или иной степени интернализованным населением.

Но каковы тогда механизмы осуществления теневых практик? Связаны ли они вообще с моральным сознанием? Если да, то в чем проявляется эта связь? Если нет, то что собой представляет субъективная сторона данных практик, которая непременно должна присутствовать? Для ответов на данные вопросы полезно познакомиться с другой (в сравнении с эволюционной теорией экономики) теорией, которая является одним из направлений современной французской социэкономии, — с «теорией конвенции». Суть этой теории в изложении А. Тевено состоит в том, чтобы рассмотреть конвенцию «не как простые коллективные соглашения, которые сводят воедино ожидания, выраженные явно в виде контрактов или неявно в форме обычаев, а скорее как более комплексные координации, действующие на границах более локализованной вовлеченности... Конвенция не является конвергенцией разделяемого знания. Это не что иное, как ограниченное соглашение по поводу отобранных признаков, используемых людьми для контроля за событиями и сущностями. Самым важным в конвенции является то, что это не просто негативное соглашение по поводу того, что считать неподходящим, но общее признание того, что *можно оставить в стороне как не относящееся к делу*. Это признание основано на общем знании того, что нельзя надеяться на более полную согласованность (что предполагается в классических групповых коллективах)» [19, с. 100] (курсив мой. — *И. П.*). Если использовать данные рассуждения для интерпретации данных относительно «аморальности большинства», то более правомерно, как мне кажется, следующее заключение: ценностно-нормативные представления *в принципе* дают основание для того, чтобы рассматривать распространенные практики как «неподходящие» (а потому теневые), однако при решении конкретных задач («в границах более локализованной вовлеченности») они оказываются «не относящимися к делу».

Тевено характеризует различные виды прагматической «вовлеченности», имея в виду взаимосвязь природы, предметной среды и

социальности. При этом «вовлеченность в мир» он понимает как «испытание реальностью». Рассматривая различные «режимы вовлеченности», или различные «модели деятельности», зависящие от того способа, которым действующее лицо воспринимает мир (в виде публичной конвенции, функционального режима или режима «близости» и т. д.), Тевено ставит задачу изучения взаимосвязи «между различными моральными порядками и более локальными способами оценивания, воплощенными в объектах, признанных в различных режимах прагматической вовлеченности» [19, с. 85]. Приведу также несколько положений, характеризующих позицию Тевено, понимание которой, с моей точки зрения, полезно в связи с теми вопросами, которые поставлены выше применительно к теневым практикам.

Относя свои размышления к области социологии политики и морали, Тевено обращает внимание не только на то, как *люди* оцениваются в качестве моральных и политических агентов, но и на то, как *вещи* участвуют в этих оценках». *Учет участия вещей в оценках*, по мнению Тевено, определяет необычность его позиции для политической и моральной философии. Исключение, как он считает, составляют позиции Маркса и Арендт, с которыми, как можно понять далее, Тевено в определенном смысле солидаризируется.

Считая, что «идея взаимосвязи мира объектов и морали является «белым пятном» для социологии», Тевено вводит понятие «квалификация», которую определяет как связующее звено «между операциями оценивания и реальными условиями, необходимыми для эффективной вовлеченности в мир» [19, с. 88]. Признавая тот факт, что в принципе люди являются «правовыми моральными существами», он указывает на то, что в повседневной жизни оценки и переоценки проверяются практикой, что и определяет их динамику. «Основой повседневных споров, — пишет он, — отнюдь не является детерминация действий ценностями. Это, напротив, динамичный и креативный процесс, в котором задействованы новые и «квалифицированные» люди и вещи» [20, с. 90]. Далее эти и аналогичные постулаты Тевено использует для характеристики различных моделей (режимов) деятельности, избрав в качестве примера строительство дороги.

Режим «*публичной конвенции*», или «*морального оправдания*» означал бы обоснование необходимости строительства дороги как «общего блага», как деятельности, соответствующей общественному интересу. Этот режим, предполагающий *ценностную ориентацию* на благо, «очень требователен в отношении моральной инфраструктуры

и эмоциональной вовлеченности. К счастью, — пишет Тевено, — мы обращаемся к этому режиму только тогда, когда вовлеченность является предметом публичной критики» [20, с. 98] (курсив мой. — И. П.). *Функциональный режим* предполагает более частную вовлеченность и «запланированную», интенциональную деятельность в соответствии с технически оправданным проектом. При таком режиме хорошая дорога — *просто приспособление* для движения транспорта. Наконец, *режим «близости»* — это привычное обращение с относительно знакомыми вещами, образующими местное окружение, это *персонализированная и локализованная деятельность*, которая не является осуществлением *запланированных действий*. При таком режиме дорога — это фактически тропа, которая не проектируется и не планируется как некий функциональный инструмент. «Она возникает как непреднамеренный результат знакомства человека со средой одушевленных и неодушевленных существ. Тропа в такой же степени создается привычной повторяемостью, в какой и топографией местности» [19, с. 101–102].

Можно высказать предположение, что в теневых практиках в условиях трансформации преобладают технологии, подобные «про-таптыванию» тропы, в лучшем случае, применительно к некоторым видам данных практик действие осуществляется в соответствии с «функциональным режимом». Субъективной стороной подавляющего большинства теневых видов деятельности в наших условиях являются не закрепленные культурой ценности и нормы данной деятельности, основанные на представлении *об общем благе и общественном интересе*, а характерные для той или иной культуры стереотипы межличностного общения, интуитивное, эмоционально оформленное понимание порядочности и честности применительно *к конкретным людям, вовлеченным в соответствующие операции*. Это определяется, в частности, и *персонализированным и локализованным* характером деятельности, осуществляемой в режиме «близости». Такого рода предположение, безусловно, требует тщательной проверки, проведения соответствующих исследований. Но даже при самом первом приближении к обстоятельствам «теневого сделок» мы сталкиваемся с тем, что они, как правило, предполагают различную степень «интимности» — не от «всякого» чиновник возьмет взятку, не с «каждым» сотрудничают при осуществлении сделок, а сотрудничая с силовыми структурами, которые помогают вернуть долг либо восстановить любого рода справедливость, верят в личную договоренность (что, впрочем, не всегда оправдывается).

В этом отношении интерес представляют приведенные выше данные о преобладании неформальных способов правозащитного поведения (за помощью обычно обращаются к «своим» — родственникам, друзьям, знакомым). О характере теневых практик свидетельствует так же распространение *устной договоренности* между работодателями и работниками при найме и использовании рабочей силы: работа без оформления, совмещение статуса безработных с неоформленной работой, выполнение аккордных работ и др. Осуждению подвергается в данном случае не нарушение трудового законодательства, а нарушение устной договоренности. Многие наемные работники, особенно занятые в частном секторе, считают, что «всё, касающееся работы, работодатель и работник должны решать сами, без вмешательства государства» [8, с. 14]. Стереотипы личных взаимоотношений, лежащих в основе «устной договоренности», как и других способов реализации повторяющихся персонифицированных и локализованных практик, осуществляемых в условиях трансформации, сформировались значительно раньше. Их корни — в межличностном общении традиционного общества. Позже, в советских условиях стереотипы традиционного общества утвердились и получили распространение благодаря технологии *выживания*, которая была связана с раскрестьяниванием и формированием «нового рабочего класса», а затем с войной и тяжелыми послевоенными буднями.

Однако следует указать не только на сходство, но и на различия таких стереотипов, характерных для советского периода и для настоящего времени. Хотя и в советский период полифункциональная социальная связь, основанная на личном доверии и взаимопомощи, осуществлялась в большей степени в контексте *личного опыта*, а не в соответствии с неким моральным императивом, технология выживания все же «способствовала восприятию идей социализма, содержащихся в официальной идеологии, трансформировав их в «народный социализм» [20, с. 150–151]. Непосредственные условия жизнедеятельности и целесообразность определенных моделей деятельности в этих обстоятельствах обусловили селекцию последних и соединили «первичные» и «вторичные», «производные» (в терминах М. Рокича) представления, существенно преобразовав идеи, из которых складывалась официальная идеология социализма. Именно таким образом (посредством идей социализма) в повседневном сознании людей стереотипы и технология выживания были связаны с *представлением об общем благе и общественном интересе*. Соответственно, данные сте-

реотипы проявлялись не только в личных отношениях, но и в добро-совестном отношении к труду «на благо общества», в общественном энтузиазме, в повсеместной заботе о решении *общественных задач*, что, в свою очередь, связывалось с необходимостью достижения *общего блага*<sup>5</sup>. Аналогичная ситуация наблюдалась в период формирования западного капитализма, когда (если следовать концепции Вебера), благодаря так называемой рутинизации, происходило превращение харизматических религиозных задач в *мирские, реализуемые большими массами людей*. Использование данных представлений для характеристики теневых практик в условиях трансформации означает также учет существенной роли «посредников», которые выступали не только идеологическими, но и организационными «проводниками», переводящими общество из стадии харизмы в стадию рутинизации [21, с. 34]. В постсоветском пространстве такими «посредниками» как раз и являются пресловутые «полусобственники» (в терминологии В. Хмелько). Именно от них зависели способы реализации реформаторских идей при создании той объективной среды, которая не способствовала «одухотворению» реальных практик, их легитимации, оформлению в виде моральных представлений массового сознания. Для характеристики этой среды Хмелько использует еще один удачно подобранный термин, характеризующий складывающиеся отношения как «полупроводниковые». «Имеются в виду отношения, — пишет он, — которые складываются, если, благодаря тем или иным связям с чиновниками, руководители государственных предприятий получают возможность действовать как своеобразные «полупроводники» финансовых потоков: направлять часть доходов своих предприятий на частные счета, а убытки предприятий покрывать за счет государственного бюджета» [17, с. 12]. Естественно, что «полупроводниковая» посредническая деятельность *блокирует оформление принципов осуществляемых практик в идею «общественного интереса», «общего блага», освящающую практическую деятельность*<sup>6</sup>.

Изучая субъективную сторону теневых практик, следует помнить, что в опросах фиксируются вербально выраженные представления, существенным образом зависящие от характера «символи-

---

<sup>5</sup> Кстати, об этом свидетельствовали результаты опросов, проводимых даже в 1970-х годах, непосредственно предшествовавших общественному кризису [20, с. 155].

<sup>6</sup> Замечу, что этот термин кажется мне удачным, так как дает возможность образно охарактеризовать наших «посредников» не как проводников, а как «полупроводников» реформаторских идей.

ческого универсума», специфики уже сложившегося в результате предшествующей деятельности ценностно-нормативного культурного контекста. Практика настоящего может в той или иной степени отличаться от данных представлений. Особенно велико это отличие в быстро изменяющихся, кризисных условиях. В таких условиях связь первичных и вторичных представлений разрывается. Причем наиболее уязвимыми оказываются вторичные, абстрактные идеи. От них отказываются по мере того, как они вступают в противоречие с повседневным опытом и обуславливающими его обстоятельствами. Например, от идей социализма отказались, а *стереотипы межличностного общения, ранее входившие в систему представлений о «народном социализме»*, продолжают функционировать<sup>7</sup>. Но это означает также, что соответствующие повседневной деятельности стереотипы, оказывающиеся более «живучими», продолжают функционировать, не будучи «одухотворенными» высокой идеей заботы об общем благе. Соответственно они не являются проявлением ни правового, ни морального сознания и не оформлены в виде определенных языковых символов. И вряд ли следует безоговорочно относить их к сфере обычного права, как это делается в социологической литературе [22, с. 51].

Если обратиться к истории и вернуться к тому, что именовали «обычным правом», то последнее, несомненно, имеет иную природу. Изучая, как функционировало оно в крестьянских сообществах, Т. Шанин показывает, что так называемое обычное право, как и неформальная «моральная экономика», основано на «понимании того, что есть справедливость». Именно в соответствии с этим пониманием определялось, «что надо и что не надо делать». *Укорененность «крестьянского» представления о справедливости в материальных условиях и структурах хозяйствования* обусловила кристаллизацию соответствующих представлений в абстрактное правило, *в норму должностования, в обычай* традиционного общества. Это был длительный процесс, что объясняет живучесть этих норм. Так, когда в 1910 году законодательным путем пытались изменить устоявшийся обычай, принятый закон практически повсеместно был проигнорирован крестьянами. Земельный кодекс 1922 года, принятый в период нэпа, по мнению Шанина, «просто повторил в главном обычное право». Более того, «даже в условиях коллективизации в российском законода-

<sup>7</sup> Именно этим можно объяснить распространенность так называемых взаимовыгодных и особенно «солидаристических» практик.

тельстве сохранилась часть законов Земельного кодекса 1922 г. и тем самым элементов обычного права» [23, с. 272].

Можно ли сказать, что нормами аналогичного обычного права, в основе которого лежит более или менее оформленное представление о справедливости и должностовании, руководствуются агенты теневых практик? Думаю, что нет. Хотя бы потому, что формы деятельности, которые осуществляются в «теневом виде», являются относительно новыми, не прошедшими длительного испытания временем. Пока еще они не имеют морального оправдания в глазах значительной части населения (в самых различных социальных группах) и потому, собственно говоря, находятся «в тени». Возможно, это обусловлено тем, что моральное вопрошание все же присуще человеческой природе и интуитивно люди чувствуют *антиобщественный характер этих практик, ущерб, который они, в конечном счете, наносят общему благу*. Об этом ущербе пишут и все исследователи, анализирующие процесс распространения теневых практик. Признавая «естественность» и объективные основания порождения последних в данных условиях, они указывают на многообразные негативные социальные последствия таких практик: усиление социальной дифференциации общества (Заславская и Шабанова), ослабление государства и извращение рыночной и трудовой этики (Гордон и Клопов), отказ общества от цивилизованных правил поведения (Косалс, Рывкина). Это интуитивное постижение *социальной перспективы как раз и составляет основу ценностно-нормативного контекста общества*. Разрушение этого контекста, как можно предположить (в условиях аномии, общественных кризисов), и, соответственно, нарастание неуверенности в завтрашнем дне (фиксируемое в многочисленных опросах) — важная составляющая системы факторов, определяющих распространение теневой деятельности.

Для более глубокого изучения теневых практик и, в частности, для характеристики субъективной их стороны, кроме теоретических представлений, на которые мы ссылались ранее, могут быть использованы и другие известные нам идеи и концепции. Не лишне вспомнить о том, что и общественное, и личное сознание выступают в качестве регулятора поведения не только благодаря своим ценностно-нормативным элементам. В некоторых конкретных ситуациях определяющую роль может играть ненормативное регулирование, не предполагающее формулирование конкретных требований, оценок и санкций. Следует учитывать также, что сами нормы могут быть различными и не обя-

зательно содержат этический смысл. Для понимания природы субъективной стороны теневых практик полезно обратиться также к диспозиционной концепции В. Ядова<sup>8</sup>. Относя ценностные ориентации к одному из уровней сложной диспозиционной системы (высшему в иерархии уровней), Ядов указывает и на регулирующую роль других уровней: «...на всех уровнях поведения личности, — пишет он, — поведение личности регулируется ее диспозиционной системой, однако в каждой конкретной ситуации в зависимости от цели ведущая роль принадлежит определенному уровню диспозиций или даже конкретному диспозиционному образованию» [25, с. 27].

Сложность и многообразие субъективной стороны теневых практик, их внутренних механизмов обуславливает и неопределенность, а порой и противоречивость данных, получаемых посредством опросов. Так, Звоновский и Пышкова, считая, что теневые практики (неуплата налогов) регулируются обычным правом, ссылаются на распределение ответов на следующий вопрос: «Кто, по Вашему мнению, заслуживает большего осуждения, тот, кто укрывает от налогов часть своих заработков и доходов, или государство, которое устанавливает налоги, не учитывая интересы своих граждан?» В результате оказалось, что более половины опрошенных осудили государство и лишь менее четверти — налогоплательщиков [22, с. 53]. Думаю, что в данном случае выявилось не столько отношение к неуплате налогов (которое вроде бы характеризуется одобрением в массовом моральном сознании данного явления), а отношение к государству, которое не выступает носителем общественного интереса, защитником общего блага (тем более, что сама постановка вопроса провоцирует такую оценку государства). Интересно также то, что ответы в малой степени дифференцировались по принадлежности к профессиональной группе. Более того, «руководящие работники» в наибольшей степени осуждали государство (66 % в сравнении с 52 % населения в целом).

По данным украинского мониторинга 2002 года, отвечая на вопрос «На что, по Вашему мнению, готово пойти большинство людей ради больших денег?», лишь 27 % опрошенных признали, что готовы «действовать в обход законов», а 40 % — «пойти на что угодно». Однако крайне незначительное число опрошенных считали возможным пожертвовать хорошими отношениями с близкими людьми и своим честным именем [26, с. 38]. Но эти данные также допускают самое

---

<sup>8</sup> Содержательный анализ диспозиционной концепции В. Ядова дан В. Резником [24].



различное толкование. Во всяком случае, они не свидетельствуют однозначно о том, что теневая деятельность имеет нормативный характер и является ценностно-ориентированной деятельностью.

Сошлось в этой связи на представления Ю. Левады о лукавстве советского (и, разумеется, постсоветского) человека. Особенность его, как считает Левада, состоит в том, что он «приспосабливается к социальной действительности, ища допуски и лазейки в ее нормативной системе, то есть способы использовать в собственных интересах существующие в ней «правила игры». И в то же время — что не менее важно — постоянно пытаюсь в какой-то мере обойти эти правила» [27, с. 509]. По поводу того, что двоюмыслие — специфика человека советского, я высказывалась ранее, ссылаясь на П. Бергера и Т. Лукмана, считающих такого рода «раздвоенность» типичной для современного индустриального общества [20, с. 156]. Более подходящими для объяснения распространенности «игры без правил», как мне кажется, следует признать ссылки Ю. Левады на нормативный «полицентрический релятивизм», сформировавшийся «на пересечении нескольких исторически наслаивающихся друг на друга разломов регулятивных структур» [27, с. 510], и на «многополярную» структуру нормативного поля [27, с. 512]. Но более всего убеждает и подтверждается эмпирическими данными мысль о «разгосударствлении» постсоветского человека, ослаблении идентификации с государственными институтами и символами [27, с. 514]. Об этом свидетельствуют и приводимые Левадой данные: «индекс нормы» имеет наименьшее значение, когда речь идет о «наиболее государственных» обязанностях (служба в армии, уплата налогов). Выше «индекс нормы» (то есть больше осуждающих) по отношению к деяниям, связываемым, как можно полагать, с *коллективными интересами*. Так, «вынос чего-либо с предприятия» осуждают в 2,5 раза больше опрошенных, чем неуплату налогов.

Приведенные данные свидетельствуют о девальвации *общественных интересов* (олицетворением которых являются государственные повинности) и о своего рода «приватизации» жизни наших соотечественников, произошедшей за последние годы. На это ссылаются практически все исследователи, занимающиеся изучением ценностей в трансформационных процессах. Интересно и то, что по данным, на которые ссылается Левада, носителями «нормы», *фиксирующей общественный или коллективный интерес*, являются пожилые люди: так «индекс нормы» относительно уплаты налогов у тех, кто старше 55

лет, в 8 раз выше, чем у 18–24-летних, а соответствующее соотношение «индексов нормы» по отношению к «несунам» — более чем в 10 раз выше. Данные эти свидетельствуют еще и о том, что указанная девальвация нарастает в той мере, в какой возрастная группа отдалена от советской действительности. То есть, как мне кажется, можно считать, что это не собственно «советское явление». Причем в *отношении ко всем видам нарушений плавное нарастание сменяется скачком именно при переходе* от группы 40–54-летних к группе 55 лет и старше [27, с. 513–514, 516]. Это группа, первичная социализация которой в основном завершилась ко времени активизации теневых практик, расширения масштабов их использования. В этот период заработал своеобразный механизм обратной связи: ослабление политической и правовой воли, отсутствие надлежащего контроля за исполнением государственных решений и норм права привели к распространению неправовой деятельности. Это, в свою очередь, питало антиэтатистские представления и способствовало девальвации общественных идеалов, которые, в конечном счете, стали рассматриваться как «не относящиеся к делу» при осуществлении повседневных практик, при адаптации к новым жизненным условиям.

Сошлюсь в связи с этим на слова, которые приводит Левада, характеризуя различные способы приспособления постсоветского человека к изменяющейся действительности: «Приходится «вертеться», подрабатывать, браться за любое дело, лишь бы обеспечить себе и детям терпимую жизнь» [27, с. 473]. Обращая внимание на то, что адаптация такого рода носит явно вынужденный характер, Левада подчеркивает, что это совсем не означает примирения, согласия и *одобрения* ситуации. Оспаривая и осуждая, как он считает, общественную ситуацию, «можно искать в ней «ниши» для более спокойного существования» [27, с. 471]. Деятельность в данном случае не регулируется какой-то особой нормой либо *соответствующим данной деятельности* обязательством морального плана. Нормативной составляющей данной практики может являться норма поведения либо моральное обязательство, *относящиеся совсем к иным сферам отношений* (отношений с семьей, близкими и друзьями, конкретными людьми), а сама практика осуществляется по типу «протаптывания тропы» (в терминах Тевено). Этому соответствует и характер моральности, фиксируемый в опросах (а не отсутствие ее!): «решительное осуждение вызывают нарушение частных обязательств (не возвращать долги), неоплата покупки...» [27, с. 518]. Напомню о приведенных ранее данных украинского мо-

нитинга: «ради больших денег» весьма незначительное число людей готовы пожертвовать хорошими отношениями с близкими людьми и своим честным именем [26, с. 38]. Предприниматели и управленцы, оправдывая свои теневые практики, как правило, ссылаются на то, что это необходимо для «пользы дела», то есть действуют в «режиме функциональности» (по терминологии Тевено). Руководствуются они при этом нормой профессиональной деятельности, ориентация на которую способствует «успеху дела». Во всех рассматриваемых случаях имеет место то, что условно можно назвать явлением «замещения нормы» и «переноса ценностного отношения с одного объекта на другой»: норма осуществления определенной практики заменяется нормой отношений с родными и близкими. Моральная оценка, сопутствующая теневым практикам, определяется ценностями семейной жизни и дружбы, профессионально выполненной работы. Именно явления «замещения» и «переноса», как мне кажется, и являются теми механизмами, которые характеризуют нравственную составляющую и моральное оправдание теневых практик.

Выяснение того, имеется ли «своя» морально-нормативная составляющая теневых практик, выводит нас за пределы указанной проблемы и обуславливает необходимость более широкой ее постановки: как проблемы *ценностно-нормативного основания рыночной деятельности* вообще и предпринимательской в частности. Более частный вопрос, формулируемый в рамках данной проблемы: можно ли ограничиться *легализацией* данной деятельности, что предполагает создание «хороших» законов и формальных правил, а также строгих механизмов, обеспечивающих их реализацию? Или иначе: есть ли необходимость в *моральном оправдании рыночной деятельности и в оценке ее в соответствии с духовными критериями общего блага и справедливости*? Я думаю, что такая необходимость есть. В поддержку такого заключения сошлюсь на социально-философские публикации, в которых анализируются перспективы утверждения рыночной практики в постсоветском пространстве. При этом авторы публикаций опираются на исторические данные, свидетельствующие о роли идей не только протестантизма, но и конфуцианства, православного сектантства и, наконец, социализма, который был существенным фактором осуществления советской индустриализации [21; 28].

Однако идеи, выражающие общественный интерес, утверждают и становятся существенной составляющей человеческих практик лишь в тех объективных условиях и при наличии таких реальных

структур, которые способствуют удовлетворению данного интереса. «Полупроводниковые» отношения будут постоянно воспроизводить «полулегальные» и нелегальные практики, препятствовать введению *успешной* деятельности в духовный контекст общества, все более отдаляя ее от нравственных ценностей.

## Литература

1. *Білокурський О.* Неформальна економічна активність: спроба оцінки її масштабів в Україні // Наукові записки. Т. 19. Соціологічні науки. — К., 2001. — С. 51–57.
2. *Рывкина Р. В.* Теневи́зация Российского общества: причины и последствия // Социологические исследования. — 2000. — № 12. — С. 3–12.
3. *Косалс Р. Я., Рывкина Р. В.* Социология перехода к рынку России. — М., 1998. — С. 368.
4. *Белая С.* Теневая экономика и ее влияние на структурную трансформацию украинского производства // Экономика Украины. — 2000. — № 10. — С. 54–61.
5. *Радаев В. В.* Легализация российского бизнеса как институциональная проблема // Куда идет Россия? Формальные институты и реальные практики. — М., 2002. — С. 95–107.
6. *Волков В. В.* От преступных группировок к региональным бизнес-группам // Куда идет Россия? Формальные институты и реальные практики. — М., 2002. — С. 108–119.
7. *Заславская Т. И.* О социальных факторах расхождения формально-правовых норм и реальных практик // Куда идет Россия? Формальные институты и реальные практики. — М., 2002. — С. 11–121.
8. *Заславская Т. И., Шабанова М. А.* Неправовые трудовые практики и социальные трансформации в России // Социологические исследования. — 2002. — № 6. — С. 3–17.
9. *Заславская Т. И., Шабанова М. А.* Проблема институционализации нетрудовых практик в сфере труда // Куда идет Россия? Формальные институты и реальные практики. — М., 2002. — С. 137–147.
10. *Аберкромби П., Хилл С, Тернер Б. С.* Социологический словарь. — Казань, 1997. — С. 406.
11. *Парсонс Т.* Прологомены к теории социальных институтов // Человек и общество: Хрестоматия. — К., 1999. — С. 136–147.
12. *Штомпка П.* Социология социальных изменений. — М., 1996.
13. *Косалс Л. Я., Рывкина Р. В.* Становление институтов теневой экономики в постсоветской России // Социологические исследования. — 2002. — № 4. — С. 13–20.
14. *Завельский М. Г.* Теневая экономика и трансформационные процессы // Социологические исследования. — 2003. — № 1. — С. 124–130.

15. *Ларцев В.* К проблеме периодизации процесса приватизации // Экономика Украины. — 2000. — № 12. — С. 41-46.
16. *Богиня Д., Волынский Г.* Социально-экономические аспекты большой приватизации: цели и результаты // Экономика Украины. — 2002. — № 12. — С. 35-40.
17. *Хмелько В.* Макросоциальные изменения в украинском обществе за годы независимости // Социология: теория, методы, маркетинг. — 2003. — № 1. — С. 5-23.
18. *Головаха Є.* Феномен «аморальної більшості» в українському суспільстві: пострадянська трансформація масових уявлень про норми соціальної поведінки // Україна-2002. Моніторинг соціальних змін. — К., 2002. — С. 668.
19. *Тевено А.* Какой дорогой идти? Моральная сложность «обустроенного» человечества // Журнал социологии и социальной антропологии. — 2000. — Т. 3. — № 3. — С. 84-111.
20. *Попова И. М.* Повседневные идеологии. Как они живут, меняются и исчезают. — К., 2000. — С. 219.
21. *Федотова В. Т.* Когда нет протестантской этики // Вопросы философии. — 2001. — № 10. — С. 27-44.
22. *Звоновский В. Б., Пышкова Н. В.* Уклонение от уплаты налогов: отношение населения // Социологические исследования. — 2003. — № 4. — С. 51-57.
23. *Шанин Т.* Обычное право в крестьянском сообществе // Куда идет Россия? Формальные институты и реальные практики. — М., 2002. — С. 267-274.
24. *Резник В.* Феномен диспозиционной концепции В. Ядова в советской и постсоветской социологии // Социология: теория, методы, маркетинг. — 2003. — № 1. — С. 71-90.
25. Саморегуляция и прогнозирование социального поведения личности. — Л., 1979. — С. 264.
26. Украинское общество: от выборов до выборов. — К., 2002. — С. 104.
27. *Левада Ю.* От мнения к пониманию. — М., 2000. — С. 576.
28. *Зарубина Н. Н.* Без протестантской этики: проблема социокультурной легитимизации предпринимательства в модернизирующихся обществах // Вопросы философии. — 2001. — № 10. — С. 45-56.

## **ИЗМЕНИЛАСЬ ЛИ МОТИВАЦИЯ ТРУДА РАБОЧИХ В 1990-е ГОДЫ? (МЕТОДОЛОГИЯ ИЗУЧЕНИЯ, РЕЗУЛЬТАТЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ИССЛЕДОВАНИЙ) (В СОВАТ. С Г. П. БЕССОКИРНОЙ)**

*Мотивация труда была одной из наиболее распространенных тем исследований в советской социологии труда. Уже в 1960-х годах в СССР были осуществлены крупномасштабные социологические исследования трудовой деятельности. Эталоном в отечественной социологии труда стало исследование В. А. Ядова «Человек и его работа». Существенный вклад в изучение мотивации труда внесли повторные исследования трудовой деятельности, осуществленные в 1970–1980-х годах в Ленинграде, в Горьком и Горьковской области, а также в Одессе. Особое отношение к исследованиям мотивации труда сложилось в период перестройки. Мотивация труда стала рассматриваться в качестве ключевого вопроса социологии труда. Наиболее актуальным в тот период представлялось изучение взаимосвязей между мотивацией труда и эффективностью трудового поведения.*

*В начале 1990-х годов интерес к изучению трудовой деятельности существенно снизился. Однако во второй половине 1990-х и в начале 2000-х годов наблюдается определенный рост внимания исследователей к этой проблеме. Основной вопрос, на который стремились дать ответ: изменяется ли мотивация труда в трансформирующейся России? Знаковым явлением, с нашей точки зрения, стало переиздание книги А. Г. Здравомыслова и В. А. Ядова «Человек и его работа в СССР и после».*

*В статье предпринята попытка охарактеризовать методологию и методы изучения мотивации труда, осуществить в соответствии с принятой методологической позицией интерпретацию получаемых результатов, а также определить перспективы дальнейших исследований.*

### **Введение**

Мотивация труда — долговременный, ключевой предмет социологических исследований труда. *Мотивацией труда в широком, а точнее, в весьма условном смысле принято называть субъективное отношение*

работника к труду, его заинтересованность/незаинтересованность в процессе и результатах труда, направленность работника на трудовую деятельность, его побуждение к труду, обуславливающее степень вовлеченности в трудовой процесс. В таком широком понимании термин «мотивация» предполагает различные смыслы, которые приписывают ему те или иные исследователи. Именно в данном ракурсе и была составлена библиография литературы, изданной в 1990–2003 гг. по мотивации труда [*Бессокирная, Темницкий* 2004].

Анализ данной литературы дает основание сделать вывод о том, что используемое в исследованиях трудовой деятельности понятие «мотивация» весьма неопределенно. Как неопределенно и то, какую социальную реальность описывают и объясняют исследующие мотивацию труда социологи и что дают эти исследования для понимания природы трудовой деятельности и ее регулирования. Эта неопределенность обуславливает и различие, можно сказать, даже «пестроту» тех выводов, которую делают относительно изменения мотивации труда в течение 1990-х годов. Относительное единодушие наблюдается при оценке мотивирующей роли зарплаты, материального благополучия, которые приобретают все большее значение. Но наблюдается разброс мнений при попытках определить место в мотивации труда других факторов, таких как условия труда, взаимоотношения в трудовом коллективе (с товарищами по работе и с руководством), организация труда и др. Обсуждаются вопросы о распространенности разных типов трудовой мотивации — «максимум дохода ценой максимума труда» или «гарантированный доход ценой минимума труда» (Г. К. Булычкина), о люмпенизации личности работников, склонности к низкой интенсивности труда, потере интереса к содержанию работы (Ю. Л. Неймер, В. И. Герчиков), об устойчивости мотивации, противодействующей повышению производительности труда, как только достигается приемлемый, с точки зрения рабочих, уровень зарплаты (В. Д. Козлов), а также о так называемой достижительной ориентации (В. С. Магун, Л. Д. Гудков). Значительный интерес представляют вывод о том, что форма собственности не оказывает существенного влияния на мотивацию труда (В. Д. Патрушев, А. Л. Темницкий), размышления по поводу того, какое воздействие на трудовую мотивацию в современных условиях могут оказать патернализм и коллективизм (Н. А. Нечаева, О. И. Шкаратан, Ю. Н. Лапыгин, Я. Л. Эйдельман).

К сожалению, в 1990-х годах не было проведено масштабных исследований трудовой деятельности, сравнимых с теми, что имели

место в СССР в 1960–1980-х годах. Но дело, как нам кажется, не в этом, а в недостаточной методологической проработке проблем мотивации труда. При этом мы имеем в виду не просто характеристику используемых методов, обсуждение методической и инструментальной стратегии исследования. Важно, какие именно социологические представления о мотивации используются «на входе» и как они преобразуются в инструмент получения информации и последующей интерпретации результатов.

### **Методология исследования**

Мотивацию, как отмечалось выше, отождествляют с внутренним побуждением, с внутренней регуляцией деятельности, включающей не только потребности и интересы, но и жизненные ориентации и притязания, оценки и удовлетворенности — все то, что характеризует значимость чего бы то ни было для человека и что, в соответствии с этим, направляет его деятельность. Мотив и мотивация представляются, таким образом, как выражение активности субъекта, пристрастности и аффективности человеческой деятельности. Характеризуя трактовку мотивации, нет необходимости, с нашей точки зрения, приводить многочисленные определения мотива и мотивации, которые содержатся в литературе. В данном случае мы выражаем солидарность с А. Н. Леонтьевым, который вполне адекватно охарактеризовал ситуацию использования этих терминов в психологической науке. «В современной психологии, — писал он, — термин «мотив» (мотивация, мотивирующие факторы) обозначаются совершенно разные явления... Нет никакой надобности разбираться во всех этих смешениях понятий и терминов, которые характеризуют нынешнее состояние проблемы мотивов» [*Леонтьев* 1975, с. 189]. Можно сослаться также и на ситуацию, которая сложилась в связи с исследованием мотивации в социальной психологии. «Проблема мотивации одна из тех, — пишет Т. Шибутани, — что поражает своей сложностью, и хотя все социальные психологи единодушно признают ее значение, между ними очень мало согласия в том, как подойти к решению этой проблемы» [*Шибутани* 1969, с. 149].

Аналогичная ситуация и в социологии. Укажем, однако, на чрезвычайно важную, связанную с толкованием мотива и мотивации проблему, которую нельзя игнорировать. Речь идет о принципиально различной природе тех либо иных компонентов внутренней регуляции



поведения, субъективного отношения человека к действительности: пропущенных и не пропущенных через оценочный аппарат личности; зависящих и не зависящих от ее вербально оформленных ценностных представлений; обусловленных непосредственно предметно-практическим человеческим опытом или знаково-символическим, определяемым культурным контекстом.

Проблема принципиального различия данных компонентов внутренней регуляции в самом общем виде поставлена как проблема взаимоотношения ценностей-идей и потребностей-интересов. Разграничение указанных контекстов используется как общая, методологическая посылка при анализе различных проблем. Например, польская исследовательница Л. Коларская-Бобинская исходит из данной методологической посылки, анализируя переходные процессы в Польше. Она считает, что в первый период люди руководствовались скорее ценностями, чем интересами. «Интересы же существовали как бы «помимо этого либо не были выражены вообще»» [Kolarska-Bobinska 1994, с. 171]. Проблема взаимоотношения идей и интересов анализируется в аспекте двойственности, амбивалентности человеческого опыта: индивидуально-прижизненного, предметно-практического и культурного ценностно-символического, усвоенного в процессе социализации и воспринятого от «других» [Лопова 2000, с. 44–75]. Аналогичная проблема возникает и при анализе взаимоотношения сознания, вербального и фактического поведения. В общем виде, а также в связи с использованием «словесной» информации в социологических исследованиях, она была обстоятельно рассмотрена В. Б. Моиным [Сознание и трудовая деятельность... 1985, с. 41–56; Моин 1978]. По его мнению, при анализе вербального поведения, при выяснении степени и характера причин рассогласования между сознанием и вербальным поведением, между вербальным и фактическим поведением необходимо учитывать то, что «существенное и систематическое влияние на вербальное поведение оказывают социально-одобренные «ценности-идеалы» [Там же, с. 55]. Само же вербальное поведение может в большей или меньшей степени быть неадекватным содержанию сознания, а тем более содержанию потребностей и интересов.

Подчеркнем также следующее обстоятельство: проблема прогнозирования поведения, а точнее суждение о том, на основании каких именно компонентов внутренней регуляции личности целесообразнее всего поведение прогнозировать, не является лишь практической

проблемой<sup>1</sup>. Это прежде всего сложная теоретическая проблема, предполагающая понимание природы и функций различных компонентов субъективного отношения и их связи с внешними условиями деятельности. В зависимости от этого понимания, т. е. *в зависимости от того или иного понимания теоретической проблемы, решаются и задачи практического прогнозирования*. Более того, с позиций методологии науки именно успешность практического прогнозирования — свидетельство в пользу теории.

Осознание необходимости различать ценностно-символические компоненты внутренней регуляции и те, которые выступают в виде непосредственных предметных значений, так или иначе проявляется и в разных психологических концепциях мотивации. А. Н. Леонтьев, например, обращал внимание на необходимость различать «мотивы понимаемые» и «мотивы реально действующие» [Леонтьев 1972, с. 521]<sup>2</sup>, сложное взаимоотношение между которыми позднее было представлено им как коллизия «смысла» и «значения» [Леонтьев 1975, с. 140]. Он указывал также на различие «смыслообразующих мотивов» и «мотивов-стимулов» [Там же, с. 202], «знаемых» побуждений и «подлинных», «действительных» мотивов [Там же, с. 205]. Интерес представляет также и введение А. Н. Леонтьевым термина «мотивировка», отличного от «мотивации». При совершении действия, как считает А. Н. Леонтьев, «мы обычно не отдаем себе отчета в мотивах, которые их побуждают. Правда, нам не трудно привести их мотивировку, но мотивировка не всегда содержит в себе указание на их действительный мотив» [Там же, с. 204].

В социологической литературе, посвященной трудовой мотивации, при выделении «мотивов-суждений» и «мотивов-побуждений» ссылаются на принятые в теоретических рассуждениях и эмпирических исследованиях разграничения «мотивов понимаемых» и «реаль-

---

<sup>1</sup> Комментируя нашу позицию относительно того, что информация о вербально выраженных оценках и ориентациях не является надежным способом прогнозирования фактического поведения, авторы работы «Саморегуляция и прогнозирование социального поведения личности» пишут следующее: «...это справедливо, коль скоро мы ставим перед собой задачи практического прогноза производственного и вообще всякого социального поведения и хотим воздействовать на него в целях управления социальным процессом. Теоретическое осмысление социального поведения личности и практический прогноз ее действий — задачи разного содержания» [Саморегуляция и прогнозирование... 1979, с. 186].

<sup>2</sup> Заметим также, что превращение мотива «понимающего» в «реально действующий» А. Н. Леонтьев связывал с опредмечиванием соответствующей потребности [Леонтьев 1972, с. 522].

но действующих», «истинных» и «провозглашаемых». При этом указывается на то, что именно вербально выраженные мотивы-суждения (аналогичные мотивам «провозглашаемым» и «понимаемым») существенным образом обусловлены ценностными представлениями [Сознание и трудовая деятельность... 1985, с. 89—110].

Мотивы-суждения и мотивы-побуждения разграничиваются и при анализе так называемой хозяйственной мотивации. В. В. Радаев, осуществляющий данный анализ, пишет следующее: «Оказывается, что наряду с идеальным (ценностным) уровнем мотивации, связанным с более глубокими и устойчивыми предпочтениями, существует и ее практический уровень, который выражается в требованиях, предъявляемых людьми в конкретных ситуациях [Радаев 1997, с. 198]. Однако относит ли автор первое («ценностный уровень») к мотивам-суждениям, а второе («практический уровень») — к мотивам-побуждениям, не вполне ясно. И в данном случае возникает вопрос: можно ли разные компоненты широко трактуемой мотивации и, в частности, «мотивы-суждения» и «мотивы-побуждения» соотносить с разными уровнями внутренней регуляции поведения и характеризовать ценностно-обусловленный уровень как более «глубокий» и устойчивый, а уровень побуждений как ситуативный и относительно неустойчивый («поверхностный»)»?

Отложим ответ на данный вопрос на некоторое время, а сейчас обратим внимание на то, что мотивация понимается и в «узком смысле слова», когда под мотивом имеют в виду лишь определенную часть внутренней регуляции (побуждения), отличную не только от потребностей-интересов, но и от ценностных ориентаций, точнее, не сводимую к последним полностью. В данном случае имеется в виду специфическая функция мотива, точнее «мотивировки» (в терминологии А. Н. Леонтьева): обосновывать и оправдывать поведение. При таком понимании мотивацию и мотив можно рассматривать как динамическую сторону ценностной ориентации. Мотив — это такой механизм в структуре ориентационного контекста личности, который, осуществляя регуляцию с помощью символов, пускает в ход ценностную систему личности. «Социальная функция мотивации состоит в том, что последняя дает возможность осуществляться (либо не осуществляться) деятельности, координируя, в конечном счете, два вида опыта, присущие человеку: индивидуальный (непосредственный) предметно-практический опыт и опыт, пропущенный через системы принятых значений и символов» [Попова 1976, с. 41].

Мотив в таком понимании, с одной стороны, ценностно обусловлен, с другой — ситуативен, ибо оформляется в конкретной ситуации для «обоснования», «объяснения», а точнее оправдания поведения в соответствии с определенными ценностными представлениями. Т. Шибутани, считающий мотивы не причиной действия, а лишь «удобным способом символизации намерений», обращает внимание еще на одну спецификацию мотива и мотивации: «Вопросы о мотивах, — пишет он, — возникают лишь в ситуации, где имеется возможность выбора. Если есть только одна дорога между двумя городами, никто не спрашивает, почему путник избрал именно ее» [Шибутани 1969, с. 166]. Добавим также, что в этом случае такой вопрос он не задает и себе. Другая особенность мотивации, на которую указывает Шибутани, состоит в том, что последняя связана с кооперацией, которая требует, «чтобы человек мог предвидеть, в каком направлении склонны действовать другие участники. Именно в таких обстоятельствах встают вопросы относительно мотивов» [Там же, с. 166]. И именно в таких обстоятельствах, добавим, и возникает необходимость осуществлять не просто рациональный выбор, но выбор, обусловленный системой уже принятых ранее значений и символов.

Для понимания природы мотивации, таким образом, большое значение имеют работы не только тех советских психологов, которые большое внимание уделяли обусловленности сознания и внутреннего побуждения предметно-практической деятельностью (С. Л. Рубинштейн, А. Н. Леонтьев), но и тех, кто существенное значение придавал знаково-символической деятельности. И здесь в первую очередь следует назвать Л. С. Выготского, который подчеркивал, что взаимоотношение сознания и деятельности опосредствуется культурой с ее знаково-символической структурой, наиболее полно проявляющейся в речевой деятельности. Важно также, что в знаково-символических компонентах сознания, к которым относятся и мотивы «в собственном смысле слова», побуждения, аффекты содержатся «в переработанном виде» [Выготский 1982, с. 22]. Все дело, таким образом, состоит в том, что в мотиве, трактуемом в вышеуказанном смысле, предметное содержание побуждений (т. е. что именно является побуждающим фактором) выражено не непосредственно (в качестве образа), а в трансформированном, «закодированном» виде. И для того чтобы судить о том, к чему именно данный мотив побуждает или какой именно внешний фактор следует использовать

для стимулирования деятельности, его необходимо «раскодировать», расшифровать<sup>3</sup>. При этом следует иметь в виду также, что хотя мотив и мотивация — сознательный, вербально оформленный, объясняющий и обосновывающий акт, процесс обращения к ценностям может и не осознаваться [Рикер 1995, с. 37].

К сожалению, и в таком исследовании, как «Человек и его работа», которое действительно является классикой, побудившей многих социологов к изучению проблем труда и обусловившей содержание этих исследований, принципиальное различие двух вышеуказанных контекстов не было зафиксировано в достаточной степени определенно. Это и послужило основанием для выраженного другими авторами сомнения в корректности основного вывода о превращении труда в жизненную потребность. Относительно данного заключения были высказаны следующие соображения: тот факт, что в субординации вербально выраженных оценок какой-либо фактор выходит на то или иное место, может и не свидетельствовать о реальной его значимости для трудовой деятельности [Лопова 1976, с. 172]. Следует заметить также, что и в настоящее время, при переосмыслении того, что было сделано в 1960-х годах, и характеризуя использованную в тот период смысловую и эмпирическую интерпретацию понятий, авторы книги «Человек и его работа в СССР и после» опять обходят проблему принципиального различия двух вышеуказанных контекстов внутренней регуляции. Приведенные ими разъяснения лишь подтверждают неопределенность трактовки мотива и мотивации [Здравомыслов, Ядов 2003, с. 382–388].

Возвращаясь к вопросу об уровнях внутренней регуляции и решая проблему глубины и устойчивости различных его компонентов, нельзя обойти вниманием концепцию диспозиционной структуры личности, предложенную В. А. Ядовым в 1970-х годах [Саморегуляция и прогнозирование... 1979]. При изложении данной концепции был также обойден вопрос о том, какие именно уровни (а их выделено четыре) относятся к ценностно-символическому контексту субъективного отношения, а какие нет. Полезным следует считать опыт использования для каждого уровня диспозиционной структуры личности

---

<sup>3</sup> П. Рикер назвал эту процедуру «рассекречиванием», считая, что символ, как особая разновидность знака, обладает двойным смыслом. «Я называю символом всякую структуру значения, — пишет он, — где один смысл — прямой, первичный, буквальный, означает одновременно и другой смысл, косвенный, вторичный, иносказательный, который может быть понят лишь через первый» [Рикер 1995, с. 18].

соответствующих показателей-индексов «мотивационного аспекта» трудовой деятельности-поведения, в результате чего был сделан вывод о том, что при изучении динамики сознания рабочих наибольшее значение имеют данные о конкретно-ситуативных установках, так как они непосредственно проявляются в трудовом поведении [Там же, с. 197—200]. Дело, однако, в том, что все уровни фиксировались и измерялись посредством вербальных отчетов (относительно простых или более сложных) респондентов. Информация, полученная таким способом, характеризовала скорее ценностно-символический контекст внутренней регуляции<sup>4</sup>. В частности, остается неясным, какова (если охарактеризовать ее по интересующему нас критерию) природа «общей направленности интересов» и «социальной установки». И как соотносятся эти уровни с широко используемыми категориями «потребности» и «интересы». Введение новых, еще не вошедших в обиход в определенном научном сообществе, понятий и представлений (диспозиции, аттитюды) предполагает соотнесение их с теми, которые уже были взяты на вооружение данным сообществом. Иначе использование предлагаемой концепции другими исследователями может привести к неадекватной трактовке результатов.

Например, сравнивая данные ВЦИОМ и ФОМ (двух известных центров изучения общественного мнения) и интерпретируя их в свете диспозиционной концепции, В. П. Горяинов признает эти данные взаимодополнительными. Расхождения в данных двух опросных центров он объясняет тем, что данные ФОМ отражают уровень ценностей, а данные ВЦИОМ — уровень интересов [Горяинов 1997]. Однако эмпирические данные свидетельствуют о том, что речь идет фактически об одном и том же уровне ценностных представлений, функционирующих в знаково-символической форме. Способ фиксирования того и другого уровня — выбор слов, которые представляют собой «символические коды соответствующих потребностей и интересов». Но поскольку многие избранные слова обозначают «не общие ориентиры, а скорее ситуационные практические ценности», автор считает, что правильнее было бы именовать их интересами. Более того, и для фиксирования и измерения еще более низкого уровня ориентации поведения — «насущных актуальных потребностей» — также использовались «слова-ценности». Естественно, при таком подходе и соот-

---

<sup>4</sup> Не случайно и следующее признание: «...нет уверенности, что явно различаются уровни доминирующей направленности интересов и ценностных ориентаций» [Само-регуляция и прогнозирование... 1979, с. 24].

ветствующем ему инструментарию, как признает сам автор, «границу уровней точно определить невозможно» [Там же, с. 140].

Принципиальное различие двух уровней внутренней регуляции (субъективного отношения, широко трактуемой мотивации) — непосредственно-предметного и ценностно-символического — обуславливает целесообразность использования различных терминов для их обозначения — «потребностей-интересов», с одной стороны, и «ценностей-мотивов», с другой, а также, что очень важно, принципиально различных способов фиксирования и измерения того и другого.

На последнее обстоятельство неоднократно обращалось внимание в советской социологии. Так, В. Э. Шляпентох, ссылаясь на результаты исследований текучести в промышленности, а также социологического изучения печати, писал следующее: «Само собой разумеется, что к информации, которую сообщают респонденты о мотивах своего увольнения, следует относиться (как и к любой информации о мотивах поведения, сообщенных опрашиваемыми) критически... Поэтому для социологического анализа важно сопоставить субъективную информацию с какой-либо объективной, т. е. такой, которая не пропущена сквозь «оценочный аппарат опрашиваемого» [Шляпентох 1973, с. 96].

К аналогичным заключениям пришли и одесские социологи, исследующие проблемы стимулирования трудовой деятельности. Они указали на необходимость при изучении трудовых предпочтений «опираться на анализ фактического поведения работников, их действий, соотнесенных с условиями труда, условиями распределения и потребления» [Попова 1976, с. 195–196]. Был сделан также вывод о том, что, опираясь на данные о трудовом поведении, можно с большей вероятностью судить о мотивации труда работников, чем наоборот — опираясь на показатели мотивации, судить о фактическом трудовом поведении. Выяснено также, что своеобразными модераторами, посредниками между мотивационными показателями и показателями трудовой деятельности, являются демографические и социально-профессиональные характеристики работника [Кунявский, Моин 1990]. Но в этом посредничестве как раз и проявляется воздействие потребностей и интересов различных социальных групп.

Потребности как определенное состояние нужды в чем-то и интересы как направленность на предмет потребности — результат всего предшествующего жизненного опыта субъекта, его предметно-

практической деятельности. Еще раз, возвращаясь к поставленному ранее вопросу о глубине и устойчивости различных уровней регуляции трудовой деятельности, следует сказать, что именно потребности-интересы, а не ценностные представления имеют наиболее глубокий и устойчивый уровень внутренней регуляции. Содержание этого глубокого уровня в ценностных представлениях может выражаться в большей или меньшей степени адекватно. Содержание ценностных представлений и обусловленных ими мотивов («мотивировки») может и не соответствовать содержанию интересов вообще. Устойчивость и глубина самих ценностей как раз и определяется степенью их соответствия интересам-потребностям, «укорененностью» ценностей в интересах. В этом, как нам кажется, и состоит смысл разграничения ценностей «декларативных» и «интернализированных» («интериоризованных»). При исследовании отношения к труду ленинградскими социологами обращалось внимание на то, что «идеализированная норма» указанного отношения может остаться «неинтериоризованной, субъективно не освоенной» [Киссель 1984, с. 50]. Но причина «внутренних конфликтов в мотивационной системе», проявляющаяся в непоследовательности и противоречивости реального поведения, рассматривалась как результат «плюрализма норм», а не как следствие взаимоотношения потребностей-интересов с «ценностями-нормами».

Размышляя над тем, какие из компонентов внутренней регуляции являются более или менее устойчивыми, считаем уместным повторить высказанные ранее соображения: «...вопреки расхожему мнению об особой консервативности и живучести общих идей есть основание предполагать, что именно абстрактные представления «отмирают», как правило, прежде всего, либо вообще теряют свое значение для всей системы представлений и конкретных оценок и ориентаций» [Попова 2000, с. 164]. Более «живучими» как раз являются более конкретные, соотносящиеся с определенными практическими ситуациями представления, имеющие характер стереотипов поведения и соответствующие сформированным на основании предшествующего опыта потребностям и интересам.

Возвращаясь к проблеме «ситуативности», укажем на то, что ценностные представления, проявляющиеся в конкретных оценках, ориентациях, могут быть не в меньшей степени ситуативными, чем мотивы, в основе которых они лежат. При этом их содержание обусловлено не только ситуацией опроса, на что неоднократно указывалось исследователями трудовой деятельности, но и тем, какая



ситуация оценивается и что именно мотивируется. Содержание ценностных представлений, которые проявляются в мотивации трудовой деятельности, как выяснилось, обусловлено рядом обстоятельств: типом мотивации (приписыванием — объяснением поведения других или рационализацией), валентностью объясняемой ситуации (является ли она положительной или отрицательной с точки зрения ценностей общества), оценивается (объясняется) ли ситуация реальная, прожективная или ретроспективная [Сознание и трудовая деятельность... 1985, с. 68].

При интерпретации мотивов необходимо учитывать явление «переноса оценок», их «замещения». Выяснилось, например, что удовлетворенность заработком и организацией труда в значительной степени компенсируют друг друга, а неудовлетворенность условиями труда, его напряженностью сказывается на оценке зарплаты [Там же, с. 124–125; Патрушев, Темницкий 1994, с. 54–55]. При исследовании ценностей труда и мотивации трудовой деятельности не следует игнорировать эти особенности функционирования любых компонентов субъективного отношения к труду. Интерпретация вербально выраженных оценок, ориентаций и мотивов предполагает, таким образом, признание относительной самостоятельности сознания, особенностей, обусловленных его вербализацией, а также спецификой механизмов функционирования символов в человеческой деятельности<sup>5</sup>.

Социальные действия различны по своей природе. Если использовать, например, веберовскую типологию социальных действий, как ценностно-рациональных, целерациональных, аффективных и традиционных, то приходится признать, что в тех или иных действиях, которые имеют место при осуществлении трудовой деятельности, ценностные представления проявляются в разной степени либо не проявляются вовсе<sup>6</sup>. Для разграничения действий, включенных в трудовую деятельность, можно воспользоваться и представлениями А. Тевено о различных «режимах» деятельности: «публичной конвенции» («морального оправдания»), функционального режима и режима «близости». Первый связан с осознанием значимости дей-

---

<sup>5</sup> В настоящее время мы в значительно большей степени осведомлены об этих особенностях благодаря знакомству с работами Бодрийяра, Бурдьё, Рикера и др.

<sup>6</sup> В ценностно-рациональных действиях цели не отделены от средств их достижения и «обоснование» состоит просто в отнесении к ценности, независимо от того, сознается ли акт отнесения либо не осознается.

ствий для «общего блага», второй означает частную вовлеченность в целенаправленную деятельность в соответствии с технической необходимостью, третий — привычное обращение с относительно знакомыми вещами в определенных, конкретных условиях [Тевено 2000, с. 98—100]. Строго говоря, лишь действия первого рода определены ценностно-нормативным контекстом общества и личности и мотивированы в узком смысле слова, т. е. определены условиями выбора в соответствии с ценностями и кооперацией. В сфере же трудовой деятельности работник действует во всех этих режимах, и его ценностные представления вообще могут не сказываться на его действиях. Однако в ситуации опроса, беседы — всего того, что предполагает вербальный «отчет» респондентов, мы получаем (как бы мы ни изошрялись) информацию, «нагруженную» ценностно-нормативным смыслом. В этом мы убедились, спрашивая, какую зарплату получает работник, какова его производственная осведомленность и др. Оказалось, что даже «фактофиксирующие» суждения на этот счет имеют ценностную нагрузку [Сознание и трудовая деятельность... 1985, с. 101—103, 188—189].

Выявление содержания ценностей трудовой деятельности посредством анализа вербальных суждений, относящихся к ориентациям, оценкам, мотивам, — важная задача интерпретации социологической информации. В 1980-х годах, например, вывод о том, что мотив «заработки» относится преимущественно к «низким» мотивам, мы сделали с учетом следующего: «...защитная функция мотивации, престижный фактор, стремление респондентов соответствовать одобренным ценностям-идеалам, актуализация потребности в социальном признании, одобрении гораздо сильнее проявляются: а) при объяснении своего поведения, чем при объяснении других; б) при объяснении своего «отрицательного» поведения в реальной, а не в ретроспективной ситуации; в) в положительной прожективной, как бы очищенной от влияния конкретных условий и возможностей ситуации» [Там же, с. 68]. Каждое из этих обстоятельств, фиксируемых разными способами, включает и сопоставление суждений и реальной ситуации. Так, «социальная норма» зарплаты была выявлена посредством сравнения удовлетворенности зарплатой со среднедушевыми доходами, «называемой» и «фактической» зарплатой; оценочный компонент производственной осведомленности выяснялся посредством сопоставления самооценочной и тестовой информированности с учетом демографических и социально-профессиональных характеристик работников.

Возвращаясь к диспозиционной теории и используя ее как методологическую предпосылку исследования мотивации труда, выскажем ряд соображений. Можно согласиться с тем, что, как отмечал В. А. Ядов, сведения, полученные из ранжирования ценностей и измерения социальных установок, далеко не однозначны. Ценностная ориентация — наиболее обобщенный показатель мотивации, а ситуативная установка — наиболее конкретный показатель мотива [Ядов 1982, с. 32]. В соответствии с таким пониманием вполне корректно и следующее заключение: результаты двух повторных ленинградских исследований показали, что социальные сдвиги за истекшие 14 лет по-разному отразились на мотивации разного уровня [Там же, с. 33]. Если учесть, однако, те способы, посредством которых фиксировались эти уровни «мотивации», то речь скорее должна идти о различного рода ценностях, которые в других исследованиях именуется иначе: как «терминальные» и «инструментальные» или «общие» и «практические», или «декларативные» и «интериоризованные».

Включась с этих позиций в полемику В. С. Магуна с В. А. Ядовым относительно того, о чем свидетельствует информация, полученная посредством сопоставления вербально выраженной удовлетворенности с оценками элементов рабочей ситуации, — о ценностях или мотивах, следует согласиться с В. С. Магуном, что речь идет о ценностях. Как известно, другим, весьма распространенным, способом получения информации относительно ценностей труда является вопрос, задаваемый в лоб: что важно, что значимо для работы? «Дополнительный методический анализ двух указанных исследовательских процедур, — пишет В. С. Магун, — показал, что, по сути дела, они дают информацию о двух разных модальностях, двух разных формах трудовых ценностей» [Магун 1997, с. 145]. В ответ на это В. А. Ядов, имея в виду первую процедуру, пишет: «...мы не исследовали ценностную структуру массового сознания рабочих, но именно мотивацию труда. А это далеко не одно и то же» [Здравомыслов, Ядов 2003, с. 414]. Можно согласиться с тем, что путем сопоставления общей и частных удовлетворенностей, мы получаем информацию о ценностно-обусловленных «мотивах-суждениях», представляющих собой один из аспектов ценностно-нормативного контекста сознания. Но тогда не следует так жестко противопоставлять мотивы и ценности («не одно и то же»), а также не забывать, что и общие и частные удовлетворенности в этом случае — это не «состояние удовлетворенности», а лишь выражение его в вербализованном сознании.

Анализ литературы, посвященной мотивации труда, свидетельствует о том, что лишь в немногих случаях понятие «мотивы труда» и «мотивация» сопоставляются с такими понятиями, как «потребности», «интересы», «благо», «деятельность», как это, например, делает И. Ф. Беляева, понимающая под мотивацией осознанное побуждение к деятельности [Беляева 1992]. Заслуживает внимания и трактовка мотивации труда как противоречивого единства различных компонентов: ценностей труда, требований к работе и возможности реализации этих требований [Катувльский 1997]. Действительно, реальная ситуация (объективные возможности реализации требований к работе) влияет на характер и содержание мотивации, более того, на мнение о том, что важно, значимо в работе. Так выяснилось, например, что «традиционные выводы о меньшей значимости работы на предприятии для молодежи находят подтверждение в неблагоприятных условиях труда. Если же условия для заработка и самореализации улучшаются, фактор возраста теряет свое преобладающее значение» [Трудовые отношения... 2000, с. 57].

Итак, ответ на вопрос, как изменилась мотивация рабочих в 1990-х годах, предполагает уяснение того, что понимается под мотивацией, что принимается во внимание при ее анализе (учитываются ли имеющиеся реальные возможности), а также какими методами мотивация исследуется и измеряется. Но прежде о методах.

### **Методы исследования мотивации**

Информацию о мотивации труда социологи обычно получают с помощью опроса (интервьюирование или анкетирование). «Эксперимент социолога-рабочего» А. Н. Алексеева, осуществленный в 1980-х годах, к сожалению, является уникальным. Но именно используемые им методы включенного наблюдения и эксперимента дали возможность установить тот факт, что необходимо различать «демонстрируемые» социальные установки и ценности и побуждения, реально «управляющие» поведением работника [Алексеев 1998].

В 1960–1970-х годах наиболее распространенным методом изучения мотивации труда являлось сопоставление различных вербально выраженных удовлетворенностей. Методика была разработана авторами исследования «Человек и его работа». В ее основе — анализ данных об удовлетворенности работой на предприятии (в целом и ее отдельными сторонами), собранных в ходе полуформализован-

ного интервью. Значимость каждого элемента рабочей ситуации тем выше, чем сильнее отношение именно к этому элементу сказывается на общей удовлетворенности работой. Показателем значимости мотива, соответствующего тому или иному элементу рабочей ситуации (стимулу), служит разность оценок данного элемента рабочей ситуации для рабочих, удовлетворенных своей работой, и рабочих, не удовлетворенных ею (по уточненным категориям «логического квадрата») [*Здравомыслов, Ядов* 2003, с. 72–73]. В результате было выделено ядро мотивов труда молодых рабочих, куда вошли ориентации работников на содержание труда, заработную плату и возможности повышения квалификации. Мотивация труда в исследовании «Человек и его работа» изучалась и по объективным данным (глава вторая). Большое внимание было уделено изучению обусловленности мотивов трудовой деятельности специфическими особенностями конкретных социальных ситуаций (глава третья), а также сопоставлению эмпирических данных о мотивации труда в условиях социализма и капитализма (глава пятая). Для оценки взаимодействия основных факторов, влияющих на степень удовлетворенности работой, в исследовании «Человек и его работа» использовались коэффициенты корреляции «г», хотя авторы признают, что более строгим аппаратом измерения корреляционных связей непараметрических характеристик являются ранговые корреляции [Там же, с. 98].

В советский период методика установления значимости мотивов трудовой деятельности, которую разработали авторы исследования «Человек и его работа», подвергалась модификациям. Например, в исследованиях, которые проводились под руководством О. И. Шкаратана, вычислялось не только влияние каждого элемента рабочей ситуации на общую удовлетворенность отдельного работника, но и влияние каждого фактора на общую удовлетворенность совокупного работника [Рабочий и инженер... 1985, с. 120]. Для оценки связи удовлетворенности работой на данном предприятии с удовлетворенностью различными элементами рабочей ситуации были использованы коэффициенты Чупрова и Пирсона.

В тот период для исследования мотивации труда использовалась и методика, когда оценки элементов рабочей ситуации сопоставлялись не с удовлетворенностью работой, а с результатами трудовой деятельности. Еще авторы исследования «Человек и его работа» отмечали, что «совокупность и соподчиненность факторов, определяющих результативность труда, вовсе не совпадают с порядком взаимодействия

факторов, детерминирующих уровень удовлетворенности работой» [Здравомыслов, Ядов 2003, с. 122] и проверяли значимость мотивов труда реальными показателями работы [Там же, с. 171]. В аналогичном направлении работали и одесские социологи, считающие, что обращение к объективным результатам деятельности дают большие основания судить о субъективных побуждениях, чем вербально выраженные оценки [Сознание и трудовая деятельность... 1985; Кунявский, Моин 1990].

В 1990-х годах обе эти методики изучения мотивации труда практически не использовались. В этот период наиболее распространенным предметом социологических исследований стали ценности. В частности, исследователей волнует вопрос о месте труда среди других ценностей жизни, является ли труд терминальной ценностью или инструментальной, каковы ценности труда? Главный вопрос: меняются ли наши ценности? Для мониторинга ценностей, в том числе ценностей труда, используются как свои собственные методики (например, во всероссийском мониторинге «Наши ценности и интересы сегодня» под руководством Н. И. Лапина [Лапин 2003]), так и зарубежные методики (например, в массовых опросах ВЦИОМ используется шкала мотивов, разработанная в 1970-х годах и использовавшаяся во многих международных исследованиях [Куприянова 1998]. В 1990-х годах Россия участвовала также в международных исследованиях ценностей и отношения к труду [Магун 1997 и др.]. Следует заметить, что данные о ценностях рассматривались как свидетельство содержания и значимости мотивов.

В немногочисленных отечественных исследованиях мотивации труда в 1990-х годах, пожалуй, наиболее распространенным был инструментарий с использованием вопросов «в лоб». Респонденту обычно предлагался один из трех вариантов: выбрать 2–3 наиболее важных мотива; проранжировать мотивы (от наиболее к наименее важным); оценить степень важности каждого из предложенных мотивов по 5-балльной шкале. Однако для выявления значимости мотивов труда использовались и довольно оригинальные методики. Суть одной из них, например, состояла в следующем: по каждому мотиву рассчитывается средний балл важности и средний балл удовлетворенности и каждому мотиву приписывается определенный рейтинг важности и рейтинг удовлетворенности в соответствии со средним баллом. Далее рейтинги важности и удовлетворенности сопоставляются и делают соответствующие выводы [Витушкина 2004, с. 258–259].

Важной составляющей изучения мотивации труда является построение типологии мотивов. В качестве ориентира в советском обществе служила иерархическая система мотивов трудовой деятельности, предложенная А. Г. Здравомысловым. Исходным пунктом мотивации автор считал материальную заинтересованность, далее — интерес к содержанию своей работы, затем — коллективистские установки человека, и венчает мотивацию осознание смысла работы, ее общественной значимости [*Здравомыслов* 1986, с. 204–211]. Среди других типологий советского периода отметим предложенную Н. Ф. Наумовой типологию мотивов труда с учетом взаимосвязей последних с трудовым поведением работников. Соответственно были выделены три типа мотивов труда. Первый тип связан с ориентацией на внешние критерии оценки, на достижение определенных социальных успехов. Характерные черты трудового поведения — производительность и инициативность. Для второго типа характерно преобладание внутренней оценки критериев своей деятельности и вытекающая из этого ориентация на качество работы, на добросовестность, а также на творчество. Третий тип объединяет мотивы, связанные с условиями труда (в широком смысле). Работника, побуждаемого такими мотивами, характеризует в первую очередь дисциплинированность [*Наумова* 1983].

В 1990-х годах для выделения типологических групп широко использовались эмпирические методы. Например, В. С. Магун широко использует для анализа трудовых ценностей факторный анализ. Он считает, что факторный анализ позволяет гораздо точнее, чем анализ динамики отдельных ценностей, представить масштаб перемен в сознании работника, как и масштаб связанных с ними социально-экономических и социально-культурных изменений [*Магун* 2001]. Построение структуры мотивации, которое использовалось научным коллективом под руководством Я. Л. Эйдельмана, проводилось посредством методов корреляционного и факторного анализа. Благодаря использованию данных методов были выделены три блока мотиваторов: блок выбора рабочего места, блок мотиваторов эффективного труда и блок антимотиваторов [*Лукьянова, Убиенных, Эйдельман* 2002, с. 153]. Оригинальную типологию мотивации труда на основании эмпирических данных предложил А. Л. Темницкий [*Темницкий* 2001, с. 350].

## Результаты исследований

Остановимся далее на характеристике основных результатов исследований мотивации труда, а также на том изменении, которое она претерпела в 1990-х годах. При этом мы отдаем себе отчет, что это далеко не полная и поверхностная характеристика результатов исследований мотивации труда, полученных в этот период. Задача наша заключается в том, чтобы выделить наиболее общие, повторяющиеся характеристики и дать их интерпретацию, определив свое отношение к установленным данным.

Неоценимую информацию об изменении мотивации труда в 1990-х годах дают исследования, проводимые ежегодно в течение 1991—2002 гг. на промышленных предприятиях России под руководством Я. Л. Эйдельмана. Авторы исследований полагают, что наиболее типично изменение не набора мотивов, а их конфигурации [Лапыгин, Эйдельман 1996, с. 20]. Структура мотивации к труду не претерпела принципиальных изменений за период российских реформ [Лапыгин 1996, с. 72]. Исследования показали также, что изменение отношений собственности не приводит (и, видимо, не должно приводить) к изменению мотивации труда наемных работников [Там же, с. 76]. Один из основных выводов повторных исследований: не отмечено усиления наиболее эффективных типов мотивации — достигательной, интеллектуальной, инструментальной; скорее, имеет место даже ослабление данной мотивации [Темницкий 2001, с. 133].

Одному из авторов статьи приходилось принимать участие в повторных исследованиях трудовых отношений (1993, 1996 и 1999 гг.) на новом частном предприятии. Был осуществлен анализ динамики мотивации труда рабочих в целом, а также швей (самой большой профессиональной группы на предприятии) и выдвинута гипотеза: структура мотивации труда сохраняется, наблюдаются лишь изменения в значимости различных мотивов труда. Эта гипотеза подтвердилась в ходе вторичного анализа данных. Никаких свидетельств трансформации структуры мотивов трудовой деятельности обнаружить не удалось. Достигательная мотивация и на частных предприятиях по-прежнему не свойственна российским рабочим [Трудовые отношения... 2000, с. 94].

Особый интерес, с точки зрения поднятых нами вопросов, представляют данные, приведенные в третьей части переизданной книге «Человек и его работа» («Сравнительные данные об отношении к



труду советских и российских рабочих 1990-х годов»). В заключительном комментарии к текстам интервью с молодыми рабочими (глава первая) В. А. Ядов и А. Г. Здравомыслов отмечают, что тот комплекс мотиваций, который был выявлен в исследовании «Человек и его работа», остался действующим и в нынешней ситуации. Речь идет о взаимодействии четырех групп мотивов: материальной заинтересованности (ныне это преимущественно забота о зарплатке), восприятии содержания труда, мотивов коллективистского плана и общего смысла трудовой деятельности [*Здравомыслов, Ядов 2003, с. 452*]. Во второй главе осуществлено сопоставление статистик отношения к труду советских рабочих в 1960–1970-х годах и российских в 1990-х годах (по данным пяти исследований), которое стало возможным благодаря тому, что В. С. Магун предоставил данные двух ленинградских исследований (1962 и 1976 гг.). Это позволило сравнить ряд статистик почти за 40 лет, а большинство — за 25 лет. В качестве базы для сравнения использовались данные трех исследований в Москве и Московской области. Не останавливаясь подробно на результатах сопоставления статистик, приведем лишь результаты анализа динамики значимости мотивов труда, которая определялась по методике, предложенной авторами исследования «Человек и его работа». Выяснилось, что по-прежнему, как и в 1962 г., содержание труда — фактормотиватор, по Ф. Херцбергу, остается наиболее значимым элементом рабочей ситуации (особенно у молодых рабочих). В иерархии «гигиенических» факторов произошли определенные изменения. В обоих ленинградских исследованиях, а также в первом из московских исследований (1990 г.) для молодых рабочих наиболее значимым «гигиеническим» фактором была зарплата, а к концу 1990-х годов лидерство перешло к взаимоотношениям с руководством. Значимость санитарно-гигиенических условий труда снизилась. Примерно такая же ситуация и в группе рабочих старше 30 лет [*Там же, с. 465–66*].

Для более углубленного анализа динамики мотивации труда рабочих в 1990-х годах обратимся к данным повторных исследований, проведенных по сопоставимым программам в Институте социологии РАН. Для ответа на вопрос «Изменилась ли мотивация труда рабочих в 1990-х годах?» обратимся к данным трех исследований. Первое из них было проведено в 1990 г. на Томилинском заводе полупроводников (Московская область). Второе — в 1993–1994 гг. на шести московских промышленных предприятиях, третье — в 1999–2000 гг. на трех московских промышленных предприятиях. В дальнейшем в тек-

сте статьи они будут обозначаться соответственно — Томилино—1990, Москва—1994 и Москва—2000<sup>7</sup>.

Социально-экономическая ситуация в стране во время трех исследований была, безусловно, неодинаковая. Первое исследование проходило в СССР. Второе исследование осуществлено в период, когда уже наступило разочарование в либеральных реформах. Третье — проведено в конце 1990-х годов, когда стало наблюдаться относительное улучшение социально-экономической ситуации в стране. Во всех трех исследованиях выяснялось место труда (работы на предприятии) среди других ценностей жизни, была получена информация о ценностях труда, об удовлетворенности работой на предприятии в целом и отдельными ее сторонами, о возможностях, которые, по мнению рабочих, им предоставляет работа, а также данные об отношении рабочих к труду (самооценки).

Начнем с анализа информации о ценностях жизни, которая получена наиболее распространенным в 1990-х годах методом, т. е. с использованием вопросов «в лоб». В течение 1990-х годов ценность труда («Что для Вас важнее всего в жизни?») переместилась со 2-го на 3-е место среди четырех основных ценностей жизни (семья, здоровье, труд, свободное время). Если в начале 1990-х годов труд был на втором месте (70 %) после семьи (83 %), то уже в середине 1990-х годов ценность труда резко снизилась. Во втором исследовании труд в качестве важнейшей ценности жизни назвали только 26 %, семью — 82 %, здоровье — 43 % рабочих. К концу 1990-х годов труд в качестве важнейшей ценности назвали 51 %, семью — 93 %, здоровье — 67 % рабочих. Заметим, что разница между ценностью семьи и ценностью труда возросла (с 13 % до 55 % и 43 %).

Изучение ценностей труда («Что для Вас главное в работе?») показало, что на протяжении всего периода зарплата называлась в качестве главной ценности, и наблюдался рост этой ценности труда (соответственно 81 %, 86 % и 92 % рабочих). В 1990-х годах появилась такая ценность труда, как гарантия занятости. К концу 1990-х годов она заняла второе место в иерархии ценностей труда (43 %) по-

---

<sup>7</sup> Два первых исследования проведены сектором рабочего и внерабочего времени под руководством В. Д. Патрушева. Руководителями третьего исследования были А. Л. Темницкий и Г. П. Бессокирная. В целях создания более однородной совокупности во вторичный анализ включены данные о женщинах в возрасте 18–54 лет и о мужчинах в возрасте 18–59 лет. Частично результаты проведенных исследований описывались в предшествующих публикациях [*Патрушев* 1994; *Патрушев, Бессокирная* 2003 и др.].

сле заработка. В эти же годы наблюдалось повышение значимости взаимоотношений с руководством, коллегами по работе (в третьем исследовании ее назвали в качестве важнейшей — 27 % рабочих). Но к середине 1990-х годов произошло снижение важности ценностей общения и пользы людям (с 51 до 34 % и с 37 до 24 %). В конце 1990-х годов общение в качестве важнейшей ценности труда назвали 26 % рабочих. Относительно стабильной весь период оставалась ценность реализации способностей (26 %, 28 % и 21 %). Следует отметить, что в мотивах текучести («На улучшение каких условий труда и жизни Вы прежде всего рассчитываете?») увеличивалась важность содержания труда. На более интересную работу надеялись соответственно 30 % рабочих во втором и 43 % рабочих в третьем исследовании. Достигательные ценности в иерархии ценностей труда далеко отстают от всех вышеперечисленных ценностей, и их роста в 1990-х годах не наблюдалось. К концу 1990-х годов повышение квалификации в качестве важнейшей ценности труда назвали только 15 % рабочих. Общественное признание труда во втором и третьем исследовании в качестве важнейшей ценности труда назвали соответственно 14 и 10 % рабочих. Другие ценности труда назывались рабочими в качестве важнейших ценностей еще реже (участие в управлении производством во втором исследовании — 7 %, самостоятельность в третьем исследовании — 9 %).

Для изучения динамики ценностей труда были использованы также результаты кластерного анализа. В первом исследовании выделились четыре группы рабочих. Наиболее массовой группой была та, в которой важнейшими ценностями труда являлись общение и заработок (37 %), далее (по численности) — группа рабочих с важнейшей ценностью «заработок» (30 %) и несколько меньшие группы рабочих, в которых важнейшими ценностями являлись «польза людям» и «заработок» (20 %) и «польза людям и реализация способностей» (всего 13 %). Во втором исследовании выделились три группы. Абсолютное большинство рабочих составляли те же группы, что и в первом исследовании, но они поменялись местами: наиболее массовой группой стала группа, в которой важнейшей ценностью назывался «заработок» (45 %) и менее многочисленной была та, в которой важнейшими ценностями труда являлись «общение и заработок» (31 %). Появилась новая группа, в которой важнейшими ценностями были «реализация способностей и заработок» (24 %). В третьем исследовании более половины рабочих также относились к тем группам, которые были

наиболее многочисленными в двух предыдущих исследованиях, «заработок» (30 %) и «общение и заработок» (24 %). Однако появилась и стала наиболее массовой группа рабочих, в которой важнейшие ценности труда — «заработок и гарантия занятости» (37 %). Самой малочисленной группой в конце 1990-х годов являлись рабочие, для которых важнейшими ценностями были «заработок, реализация способностей и повышение квалификации» (всего 9 %).

Данные о месте труда среди других ценностей, а также о ценностях труда представлены и в работах В. С. Магуна. Как выяснилось, своеобразие России в том, что разрыв между субъективной важностью семьи и работы очень заметен и является одним из самых больших в мире. По его данным, некоторые принципиальные характеристики набора трудовых ценностей образца 1990-х годов не отличаются от тех, которые были присущи советским рабочим в середине 1970-х годов. Установлено, что сдвиги в трудовых ценностях не зависят от возраста респондентов, являются отражением реакции на одну и ту же социально-экономическую и социально-культурную ситуацию. В. С. Магун фиксирует сближение трудовых ценностей в России и других странах, но замечает, что если рассматривать в качестве эталона трудовые ценности, характерные для развитых капиталистических стран, то происшедших сдвигов пока явно недостаточно и многому предстоит измениться [Магун, 1997; Магун 2001; Магун 2003].

Продолжая тему ценностей труда, приведем и следующие данные. Согласно всероссийскому мониторингу ценность работы как способа самореализации личности в труде падает (с 7-го места среди 14 ценностей в 1990 г. и 1994 г. до 12-го в 1998 г. и 11-го в 2002 г.) [Ланин 2003, с. 144]. З. В. Куприянова, опираясь на данные ВЦИОМ, пришла к выводу о резком падении (по сравнению с 1989 г.) значимости труда как жизненной ценности и росте его значимости как источника материальных благ [Куприянова 1998]. Информация о ценностях, как отмечалось ранее, дает представление и о содержании мотивации трудовой деятельности, если под мотивом понимать оценку труда в соответствии с ценностными представлениями. Нельзя, однако, не согласиться с А. А. Сарно в том, что недостаток массовых опросов, направленных на исследование мотивации труда, состоит в уходе от обсуждения смысловых отличий используемых подходов от ранее предшествующих, в рассмотрении ответов на прямые вопросы о мотивации как адекватных для интерпретации [Сарно 1999]. Вернемся поэтому к исследованиям на трех обозна-

ченных нами предприятиях и сошлемся на данные о мотивах, полученных другим способом.

Рассмотрим динамику мотивации труда, анализируя данные об удовлетворенности работой на предприятии в целом и отдельными ее сторонами, определяя значимость тех или иных элементов рабочей ситуации, т. е. используем тот метод изучения мотивации труда, который применяли авторы исследования «Человек и его работа».

Оказалось, что практически все оценки элементов рабочей ситуации во втором исследовании (табл. 1) были более низкие, чем в первом (напомним, что и ценность труда в этот период значительно уменьшилась). Если же сравнивать данные начала и конца 1990-х годов, то нельзя не заметить, что общие оценки работы на предприятии фактически те же, а динамика оценок различных элементов рабочей ситуации («В какой степени Вы удовлетворены или не удовлетворены следующими сторонами Вашей работы?») неодинаковая. Неизменной

Таблица 1

**Динамика удовлетворенности элементами рабочей ситуации и работой на предприятии в целом, 1990–2000 гг. (индексы)**

Показатели удовлетворенности элементами рабочей ситуации и работой на предприятии в целом	Томилино–1990	Москва–1994	Москва–2000
Удовлетворенность отношениями с коллегами	4,4	4,1	4,4
Удовлетворенность отношениями с руководством	3,9	3,5	3,8
Удовлетворенность напряженностью труда	3,3	2,8	3,0
Удовлетворенность содержанием труда	3,1	2,8	3,4
Удовлетворенность организацией труда	2,7	2,6	3,0
Удовлетворенность размером заработка	2,5	1,8	2,1
Удовлетворенность санитарно-гигиеническими условиями труда	2,2	2,3	3,0
Удовлетворенность работой на предприятии в целом – 1	3,3	3,1	3,3
Удовлетворенность работой на предприятии в целом – 2	3,1	2,7	3,1

*Примечание.* Все индексы вычислялись по 5-балльной шкале. Удовлетворенность работой на предприятии – 1 вычислялась по аналогичной шкале, а удовлетворенность работой – 2 вычислялась с привлечением данных о потенциальной текучести.

осталась только самая высокая оценка отношений с коллегами (4,4 балла). Повысились оценки содержания труда (с 3,1 до 3,4 балла), организации труда (с 2,7 до 3,0 баллов) и санитарно-гигиенических условий труда (с 2,2 до 3,0 баллов). Если в двух первых исследованиях оценки организации и условий труда были ниже 3 баллов, то в третьем исследовании рабочие дали удовлетворительные оценки этим элементам рабочей ситуации. В то же время снизились оценки отношений с руководством (с 3,9 до 3,8 баллов) и напряженности труда (с 3,3 до 3,0 баллов), хотя и те, и другие остались все же удовлетворительными. В наибольшей степени снизились оценки размера заработка (с 2,5 до 2,1 баллов).

Далее рассмотрим данные относительно мнений рабочих о соответствии заработка величине трудового вклада. Уже в первом исследовании больше половины (56 %) рабочих заявили, что заработная плата не соответствует выполняемой ими работе, и только 24 % рабочих считали, что заработная плата соответствует выполняемой ими работе (20 % опрошенных в тот период затруднились ответить на этот вопрос анкеты). В третьем исследовании большинство рабочих (60 %) считали, что получают меньше, чем заслуживают, и лишь 15 % рабочих ответили, что получают примерно столько, сколько заслуживают (вариант «затрудняюсь ответить» выбрало 25 % респондентов). Самая низкая оценка размера заработка во втором исследовании (1,8 балла) связана, вероятно, и с организацией оплаты труда. В тот период, по мнению рабочих, размер их заработка зависел в первую очередь от отношений с мастером, затем от достижений всего предприятия и достижений подразделения (участка, цеха) и гораздо в меньшей степени от личных усилий, мастерства. В конце 1990-х годов мнения рабочих об организации оплаты труда были иными. Размер зарплаты рабочих зависел, по их мнению, прежде всего от конечных результатов работы участка (цеха) и личного трудового вклада, а затем уже от отношений с руководством и конечных результатов работы предприятия. Однако и в конце 1990-х годов справедливой свою зарплату считали только 7 % рабочих. На вопрос «Считаете ли Вы справедливой оплату Вашего труда?» «Нет» ответили 42 %, «Иногда да, иногда нет» — 38 %, затруднились ответить 14 % рабочих. Кстати, притязания рабочих оказались весьма скромными, хотя и увеличились по сравнению с началом 1990-х годов. Если в 1990 г. рабочие полагали, что им надо платить за выполняемую работу в 1,5 раза больше, то к концу 1990-х годов на акционерном успешно работающем предприятии ра-

бочие считали «нормальной» величину заработка, которая в 2,1 раза превышала получаемый заработок.

Прежде чем перейти к результатам анализа значимости отдельных сторон работы для удовлетворенности работой на предприятии в целом, отметим, что на последнюю, а также на удовлетворенности отдельными сторонами работы значительно усилилось влияние внешних факторов, в первую очередь возможной безработицы. Страх потери работы способствует повышению степени удовлетворенности практически всеми элементами рабочей ситуации и общей удовлетворенности работой на предприятии в целом [Бессокирная, Темницкий 1999, с. 189–190].

Как выяснилось, во втором исследовании, когда ценность труда существенно снизилась, значимыми для удовлетворенности работой на предприятии — 1 были санитарно-гигиенические условия труда, размер зарплаты и организация труда (табл. 2). Кстати, это именно те стороны работы, которые в начале 1990-х годов получили неудовлетворительные оценки (табл. 1). Во втором исследовании эти стороны работы получили также самые низкие оценки (соответственно 2,3, 1,8 и 2,6 баллов).

Таблица 2

**Значимость элементов рабочей ситуации для удовлетворенности работой на предприятии в целом — 1 (коэффициенты Сомерса и ранги)**

Элементы рабочей ситуации	Томилино — 1990		Москва — 1994		Москва — 2000	
	0,513	1	0,053*		0,291	2
Содержание труда	0,513	1	0,053*		0,291	2
Напряженность труда	0,366	2	0,058*		0,148	6
Организация труда	0,324	3	0,077	3	0,181	5
Размер зарплаты	0,272	4–5	0,137	2	0,354	1
Отношения с коллегами по работе	0,267	4–5	0,021*		0,250	3–4
Отношения с руководством	0,253	6	0,024*		0,246	3–4
Санитарно-гигиенические условия труда	0,178	7	0,212	1	0,092	7

*Примечание.* Знаком (\*) обозначены коэффициенты Сомерса, не значимые на уровне 0,05.

О динамике мотивации труда в 1990-х годах можно судить как по величине коэффициента Сомерса, так и по месту того или ино-

го элемента рабочей ситуации в иерархии различных сторон работы (табл. 2). Если судить по величине коэффициента Сомерса, то наблюдался рост значимости размера зарплаты, сохранялась стабильно высокая значимость отношений с коллегами и руководством, произошло существенное снижение значимости всех остальных элементов рабочей ситуации. Если судить по рангам, то также наблюдался рост значимости размера зарплаты и трудовых взаимоотношений (особенно отношений с руководством). Несколько снизилась значимость содержания труда, переместилась в иерархии с 1-го на 2-е место (на первом — размер зарплаты). Произошло снижение значимости организации труда и особенно сильно значимости напряженности труда. Условия труда как были, так и остались по значимости на последнем месте среди различных сторон работы.

Кроме оценки удовлетворенности работой на предприятии в целом — 1, нами использовалась и оценка удовлетворенности работой на предприятии — 2, которая конструировалась с учетом данных и об удовлетворенности работой на предприятии — 1 и данных о потенциальной текучести (вопрос «Если Вас по каким-то причинам работа не совсем устраивает, то хотели бы Вы уйти с данного предприятия?»). Это, по сути, упрощенная схема «логического квадрата», предложенного в исследовании «Человек и его работа» [*Здравомыслов, Ядов 2003*, с. 69]. Из данных табл. 1 видно, что оценка удовлетворенности работой на предприятии — 2 (включающая поведенческий компонент) более строгая, она во всех трех исследованиях ниже оценок удовлетворенности работой — 1. Главное же состоит в том, что данные о значимости различных элементов рабочей ситуации, полученные при включении поведенческого компонента, отличаются от данных, в которых поведенческий компонент не фиксировался. Во втором исследовании при включении поведенческой компоненты вместо трех уже пять элементов рабочей ситуации являются значимыми для удовлетворенности работой на предприятии—2. Значимыми становятся размер зарплаты, содержание труда, отношения с руководством, санитарно-гигиенические условия и напряженность труда.

В третьем исследовании для удовлетворенности работой на предприятии—2 повысилась значимость содержания труда и санитарно-гигиенических условий труда. Соответственно и данные о динамике мотивации труда в 1990-х годах несколько иные. Например, содержание труда остается по-прежнему наиболее значимым элементом рабочей ситуации.



В двух последних исследованиях, наряду с оценками элементов рабочей ситуации, выяснялись и оценки возможностей, которые предоставляет конкретная работа («Как бы Вы охарактеризовали свою работу?»). Прежде всего, отметим, что если в третьем исследовании все семь оценок элементов рабочей ситуации были выше, чем во втором исследовании, то две из пяти оценок возможностей, которые предоставляет работа, снизились к концу 1990-х годов. Это оценки возможности хорошо зарабатывать (с 2,2 до 2,1 балла) и особенно — необходимости постоянного повышения квалификации (с 2,7 до 2,4 балла). Невостребованность повышения квалификации на производстве является главной причиной, по которой рабочие не повышают свою квалификацию, и она сказывается, конечно, и на ограниченной распространенности ценности «повышение квалификации», которая относится к достижительным ценностям труда [*Бессокирная* 2004, с. 60]. Во второй половине 1990-х годов возросли оценки «работа имеет хорошие санитарно-гигиенические условия труда» (с 1,9 до 3,0 баллов), «работа разнообразная и интересная» (с 2,8 до 3,3 балла) и «работа требует самостоятельности» (с 3,1 до 3,9 балла).

В исследованиях 1990-х годов была сделана попытка определить влияние конкретной практики трудовых отношений на трудовую мотивацию. Известно, что в фундаментальном российско-канадском исследовании для выявления национальных особенностей культуры труда использовался тест Г. Хофштеда, в котором тестированию подлежат не реальные практики трудовой культуры, а представления работников об идеальной или желательной для них системе менеджмента и культуры взаимоотношений на производстве [*Становление трудовых отношений... 2004, с. 196*]. Неудивительно, что для работников четырех предприятий в разных регионах страны были выявлены относительно общие свойства национальной культуры трудовых отношений [*Там же, с. 198*]. Однако трудовые отношения, которые формируются на современных предприятиях, различны, и именно они влияют на успешность предприятия. При этом форма собственности оказалась менее существенным фактором успешности предприятия в сравнении со стратегией и практикой менеджмента [*Бессокирная* 2004, с. 296]. Форма собственности влияет на мотивацию лишь в той степени, в которой она сказывается на политике менеджмента и на успешности работы предприятия.

Соответственно возможны классификации обследуемых предприятий по другим, более конкретным, критериям. Например, в

исследованиях, проведенных в конце 1990-х годов, таким критерием была успешность производственной деятельности предприятия. Наше третье исследование проходило на двух успешных предприятиях (частном и акционерном) и предприятии ВПК. На успешных предприятиях и на неуспешном предприятии обнаружены существенные различия как показателей мотивации труда, так и показателей трудового поведения. Выяснилось, что на успешных предприятиях больше доля тех рабочих, для кого важнейшими ценностями труда являются общение и заработок (соответственно 31 % на частном и 22 % на акционерном), а также тех, для кого важнейшими ценностями являются заработок, реализация способностей и повышение квалификации (соответственно 12 % на частном и 9 % на акционерном). На предприятии ВПК была существенно выше доля тех рабочих, для кого важнейшими ценностями труда являются заработок и гарантия занятости (52 %). На успешных предприятиях выше оценки удовлетворенности содержанием труда, размером заработка, отношениями с руководством и коллегами по работе, оценки возможностей хорошо зарабатывать и постоянно повышать квалификацию, обе оценки удовлетворенности работой на предприятии, а также все показатели трудового поведения рабочих. На предприятии ВПК лучше, чем на успешных предприятиях, только оценки ряда возможностей, которые предоставляет работа («работа разнообразная и интересная», «работа имеет хорошие санитарно-гигиенические условия труда», «работа требует самостоятельности»).

Можно также предположить, что характер взаимосвязи показателей работы на вышеуказанных предприятиях и трудовой мотивации объясняется скрытым влиянием социально-демографических характеристик рабочих (полом, возрастом, уровнем образования, стажем работы на предприятии), которые существенно различались на предприятиях разного типа. Например, во втором исследовании на акционерных предприятиях большинство рабочих составляли мужчины, а на частном и совместных предприятиях — женщины. Средний возраст рабочих и средний стаж работы на акционерных предприятиях существенно превышали средний возраст и средний стаж работы на частном и совместных предприятиях (соответственно 40 лет и 15 лет против 31 года и 3 лет). На акционерных предприятиях была выше доля рабочих с неполным средним образованием (14 % против 5 %) и меньше доля имеющих среднее и высшее специальное образование (29 % против 36 %). Большинство рабочих на обоих типах

предприятий имели полное среднее общее образование. В третьем исследовании на успешных предприятиях большинство рабочих составляли женщины, на предприятии ВПК абсолютное большинство рабочих — мужчины. Средний возраст на частном и акционерном 32 и 34 года, соответственно, а на предприятии ВПК — 53 года. Средний стаж работы на частном предприятии 4 года, на акционерном — 11 лет, а на предприятии ВПК — 23 года. На частном предприятии большинство рабочих имели среднее или высшее специальное образование (83 %) и только 1 % — неполное среднее. На акционерном предприятии и предприятии ВПК большинство рабочих имели среднее общее образование. Треть рабочих на предприятии ВПК имела неполное среднее образование и только 7 % — среднее или высшее специальное образование. На акционерном предприятии неполное среднее образование имели только 13 % рабочих, а среднее или высшее специальное — 19 %.

Чтобы выяснить наиболее информативные переменные для прогноза трудового поведения рабочих (результатов трудовой деятельности), мы прибегли к дискриминантному анализу. Как выяснилось, взятые нами переменные (социально-демографические характеристики рабочих, стаж работы на предприятии, тип предприятия, оценки удовлетворенности различными элементами рабочей ситуации и оценки удовлетворенности работой на предприятии в целом, оценки возможностей, которые предоставляет работа) оказались весьма информативными для прогноза трудового поведения рабочих. В двух последних исследованиях процент объясненной с помощью этих переменных дисперсии ответственности за работу цеха колебался в пределах 55–65 %, интенсивности труда 60–70 %, стремления добиваться лучших результатов в работе — 67–75 %, обобщенной оценки работника — 52–64 %. Но более информативными для прогноза ряда показателей трудового поведения оказались именно объективные социально-демографические характеристики работников, а не те оценки рабочей ситуации, которые последними давались. Например, для прогноза интенсивности труда, стремления добиваться лучших результатов и обобщенной оценки работников во втором исследовании информативными оказались только социально-демографические характеристики рабочих (пол, возраст, уровень образования). Стаж работы на предприятии не являлся информативной переменной, как и тип предприятия (частное и совместные предприятия или акционерные предприятия).

Итак, подведем итог характеристике наиболее общих результатов исследований мотивации труда в 1990-х годах и попробуем дать интерпретацию полученных данных в соответствии с выраженными ранее методологическими представлениями.

### **Итог и интерпретация результатов**

В 1990-х годах значимость труда среди важнейших ценностей жизни снизилась, а разница между ценностями семьи и работы увеличилась. Стабильно в ядро ценностей труда входит заработок. Для значительного числа рабочих в ядре ценностей труда по-прежнему остается общение. Для другой части в ядро ценностей вошла гарантия занятости. Ушла из ядра ценностей труда польза людям. Содержательные (реализация способностей) и достигательные (повышение квалификации) ценности труда входят в ядро ценностей только у незначительного числа рабочих.

На структуру ценностей труда рабочих определенное влияние оказала меняющаяся социально-экономическая ситуация в стране, о чем свидетельствует тот факт, что среди ценностей труда появилась гарантия занятости. Однако с большей вероятностью можно утверждать, что выдвижение на первый план семьи и здоровья, а также материального благополучия — свидетельство девальвации советских идеологем, представлений о самооценности труда и оценки последнего в контексте общественных интересов. На это обратили внимание ряд исследователей, в частности В. С. Магун, связавший с данным обстоятельством преобладание в настоящее время материальной мотивации над мотивацией духовной [Магун 1997, с. 138]. Важным обстоятельством является признание того, что эта «перестройка» ценностных представлений началась задолго до собственно перестроечного периода. Магун, ссылаясь на данные Ядова, проводившего повторное исследование отношения рабочих к труду на 12 ленинградских предприятиях [Ядов 1983], а также на результаты, полученные им (Магуном) совместно с В. Е. Гимпельсоном в 1980-х годах [Гимпельсон, Магун 1990], пишет, что «по крайней мере, с середины 1970-х годов в сознании различных групп рабочих доминирующей была именно ценность высокого заработка и примыкающих к ней ценностей ее достижения: хорошего состояния оборудования, равномерного обеспечения работой, хороших условий труда и т. п.» [Магун 1997, с. 146].

Однако вряд ли следует рассматривать эти изменения ценностей лишь как «противоречие трудовых ценностей, разделяемых и выражаемых российским населением, официальным предписанием социалистической идеологии» [Там же, с. 146]. В этот период менялась и официальная идеология, повернувшаяся к социализму «с человеческим лицом», что обусловило официальное одобрение достатка и комфорта, материального благополучия граждан. Эти изменения сказались и на повседневных представлениях о труде и его ценностях, эволюция которых сопровождалась также утверждением идеи приватности частной жизни и девальвацией представлений о необходимости заботиться об общественном благе. Было бы также упрощением считать, что фиксируемые в социологических исследованиях изменения ценностей — лишь результат того, что исчезло идеологическое давление, люди перестали лицемерить и отказались от «двоемыслия-двоесловия». Так оценивают «сдвиг в соотношении ответов о трудовых ценностях» Л. А. Гордон и Э. В. Клопов, почему-то относящие этот «сдвиг» к 1989–1991 гг. [*Гордон, Клопов* 2001, с. 135]. Во-первых, «сдвиг», как уже отмечалось, произошел раньше. Во-вторых, признание самоценности труда было не лицемерием, а вполне искренним восприятием господствующих в сознании общества идеологем, принятие которых в той или иной степени было следствием действия своеобразных «защитных механизмов», способствующих самоутверждению личности.

Выдвижение заработка на первый план в позднесоветский период, наблюдающееся при фиксировании мотивов-суждений — несомненно свидетельство переориентации всей идеологии (охватывающей и официальные и обыденные представления) в направлении признания значимости материального благополучия. Именно поэтому в «лобовых» суждениях зарплата выходила уже тогда и постоянно выходит теперь, когда происходит идеологическое оформление рыночного хозяйствования, вперед. В этой связи интерес представляют аргументы, которые приводит Магун в пользу корректности «лобового» метода в сравнении с методом корреляционным (ковариационным). Тот факт, что «материалистические ценности» выходили на первый план именно в ответах, полученных с помощью «лобового» метода, он считает свидетельством того, что это как раз и есть «подлинные» ценности, и «лобовой» метод более надежен для их выявления, чем корреляционный. Однако это заключение зиждется на неверной посылке, что официально одобряемыми и господствующими ценностями

ми в тот период (имелся в виду 1976 г.) были лишь ценности содержания и общественной направленности труда [Магун 1997 с. 172].

С нашей точки зрения, и тот, и другой метод дает возможность зафиксировать ценности и мотивы-суждения, носящие ценностный характер. Но если под «подлинностью» понимать реальные побуждения, содержание которых соответствует содержанию потребностей и интересов и которые при наличии необходимых условий реализуются в практических действиях, то ни тот, ни другой метод преимущества в выявлении таких побуждений не имеет. И в том, и в другом случае мы фиксируем ценностные представления («идеи», а не «интересы», если использовать принятую нами ранее терминологию) — об этом, собственно, и шла речь, когда мы обращались к спору В. А. Ядова и В. С. Магуна относительно того, что именно выявлялось при сопоставлении общей удовлетворенности работой на предприятии в целом и удовлетворенностей различными сторонами работы в 1960-х годах. Но это были одновременно и мотивы-суждения, в которых содержание труда непременно выходило на передний план так же, как «самоценность труда» оказывалась впереди других ценностей, выявляемых с помощью «лобовых» вопросов. Из этого можно сделать следующий вывод: «материальное благополучие» и «зарботок» в настоящее время такие же идеологемы, транслируемые посредством различных каналов коммуникации, какими в «классическое» советское время были самоценность труда и интересная работа. А это значит, что такого рода мотивация (выявляемая вышеуказанными способами) не всегда может совпадать с реальной заинтересованностью работника (его габитусом, если употребить терминологию П. Бурдьё) и определять характер его практических поступков и деятельности. Более того, вполне возможно, что мы являемся свидетелями некоторой инверсии: в прошлые времена за содержанием труда — фаворитом среди ценностей — «в тени» (находясь на неявных, второстепенных позициях) «скрывалась» зарплата, существенным образом, определявшая реальную заинтересованность. В настоящее время, наоборот, — за материальной обеспеченностью — этим идиоломом не просто рыночной экономики, но общества, ставшего рыночным, в тени находится интерес к содержанию самой работы, а также другие стороны трудовой деятельности, соответствующие реальной заинтересованности работника в труде.

Аргументом в пользу данного утверждения являются приводимые выше данные. Присутствие поведенческого компонента изменяет

конфигурацию мотивации, и к зарплате подтягиваются прежде всего содержание труда и отношения с руководством. При исследовании динамики мотивов текучести во второй половине 1990-х годов также повысилась важность содержания труда. Об этом свидетельствует, в частности, и тот факт, что сдвиг в сторону заработка не зависит от возраста, который, как известно, весьма чувствителен к потребностям-интересам.

Именно использование разных методов в трех повторных исследованиях трудовых отношений на новом частном предприятии, а главное, тех, которые включали поведенческие компоненты, дало возможность сделать вывод о том, что в целом проведенные исследования мотивации труда подтверждают известный феномен несоответствия мотивов, с одной стороны, осознаваемых и объявленных, и, с другой, реально побуждающих активность в конкретной ситуации. *Зарплата — безусловный фаворит среди мотивов-суждений, не является реальным побудительным мотивом реального трудового поведения рабочих*» [Трудовые отношения..., 2000, с. 56]. (Курсив наш. — Авт.)

Отнеся материальную обеспеченность и зарплату к идеологемам, постепенно входившим в наше сознание в доперестроечный период и прочно утвердившимся в 1990-х годах, следует остановиться на идейном оформлении взаимосвязи «материального благополучия» и «зарботной платы». Как известно, это не одно и то же. Однако есть основания считать, что в представлениях и стереотипах повседневного сознания, как и в официальной идеологии, моральное оправдание имеет именно «заработанное благополучие». Об этом свидетельствуют, в частности, данные, полученные в результате проведения фокусированного группового интервью. Выясняя, как понимается «успех в жизни», исследователи обнаружили, что «успех для себя» испытуемые четко отграничивают от «успеха для других», причем это разграничение осуществляется по линии «трудовой заработок» («главное средство достижения успеха — работа, которая должна быть высокооплачиваемой, престижной и интересной») и «блага любой ценой» («для бывших советских людей деньги становятся самоцелью, а не средством, а как ты их зарабатываешь — это уже дело десятое») [Ванина 1999, с. 97]. Если интерпретировать эти результаты в соответствии с представлениями теории каузальной атрибуции (себе и «своей группе» приписываем одобряемые ценности), то можно сказать, что в идейном оформлении «заработок» в сознании людей сливается с идеологемой материального благополучия (приобретающей характер

своеобразной «терминальной ценности»), а стремление к заработку принимает вид «возвышенной потребности», морально оправданной и поощряемой (соответствующей представлению о социальной справедливости). Это, однако, не значит, что заинтересованность в материальном благополучии, которая сформировалась в реальных условиях объективной значимости последнего и денег как средства его достижения, не приводит к тому, что добиваются благополучия «любой ценой». Соответственно приписывание «другим» безудержной погони за деньгами является проекцией своих интересов — к такому заключению приходят исследователи. Это хорошо выразила одна из участниц опроса: «Успех — это, конечно, самореализация... Но где-то в подсознании — это деньги» [Там же, с. 98]. И опять мы сталкиваемся с проблемой различия «идей» и «интересов», их сложного взаимоотношения.

Что касается других мотивов-суждений, связанных с оценкой различных элементов рабочей ситуации и соответствующих, если использовать известную классификацию, ценностям «инструментальным», то относительно их «неустойчивости» можно высказать следующее предположение: различия в полученных в разных исследованиях результатах (речь идет о различной их субординации) объясняются не только различием инструментов исследования. Они (различия) обусловлены, с одной стороны, многообразием условий, в которых исследования проводятся, с другой — ситуативным характером инструментальных ценностей. Как выяснилось, многообразие условий — это не столько многообразие форм собственности, сколько конкретные особенности, которые условно, как уже отмечалось, можно отнести к «специфике менеджмента»: это — финансовое положение предприятия, его стабильность, кадровая политика, «успешность — неуспешность», масштабы функционирования неформальных отношений и многое другое, что характеризует многообразные стратегии адаптации предприятий к рыночным условиям. Например, если в социально-трудовых отношениях конкретного предприятия существенную роль играют отношения неформальные, которые характерны для так называемой эксплоярной экономики<sup>8</sup>, то актуализируется и значимость отношений с коллегами и руководством и, соответственно, эти отношения будут оценены как важные. Действительно, при отсутствии строгих тарифов и норм выработки, при нали-

---

<sup>8</sup> Термин, предложенный Т. Шаниным [48].



чии или отсутствии возможности осуществлять вторичную занятость на своем же предприятии (и, следовательно, иметь дополнительный заработок) отношения с коллегами, а особенно с руководством, приобретают существенное значение. Другие мотивы-суждения актуализируются при сбоях в обеспечении сырьем, при различном качестве оборудования, при существенных различиях в организации труда и производства и др. Для нестабильных предприятий либо для определенных групп работников особую важность приобретает гарантия занятости и т. д. При этом неудовлетворенность одним фактором может переноситься на другой (явление «переноса оценок», о котором шла речь). А главное — этот «перенос» может изменить знак оценки. Например, страх потерять работу может завесить оценку неблагоприятных условий труда или его напряженности, хотя именно заинтересованность в лучших условиях может побудить работника изменить ситуацию, как только выбор появится.

Следует подчеркнуть, что такой пестроты конкретных условий, существенных для идейного выражения отношения к предприятию и к работе в прежние (советские) времена не было. Поэтому субординация мотивов-суждений характеризовалась относительной стабильностью и воспринималась как свидетельство «трудовой культуры», более того, как выражение «коренных интересов советского труженика». Учет разнообразия обстоятельств, в которых находятся труженики в настоящее время, «нестандартности» ситуаций и факторов, на них воздействующих, — необходимое условие для интерпретации мотивации. В этой связи необходимо отметить удачу участников проекта «Становление трудовых отношений в постсоветской России», при выполнении которого исследователи характеризовали социальное самочувствие работников применительно к пяти «случаям» различной стратегии адаптации российских предприятий к рыночным условиям [Становление трудовых отношений... 2004]<sup>9</sup>.

Указывая на многообразие факторов, которые определяют успешность деятельности предприятия и уровень социального самочувствия работника, приведем и данные исследований на частном предприятии, которые свидетельствуют о значимости системы мер социальной поддержки. Целесообразно в связи с этим отметить, что мнение о том, что производительный труд в советское время не вознаграждался, не вполне адекватно характеризует реальную ситуацию, склады-

---

<sup>9</sup> Руководителем проекта с российской стороны был В. А. Ядов.

вающуюся на советских предприятиях, так как имеется в виду лишь денежное вознаграждение. Тогда как многие потребности работника, обуславливающие его заинтересованность в хорошей работе, удовлетворялись посредством различных мер социальной поддержки: оплата медобслуживания, кредиты и ссуды, путевки в санатории, бесплатное питание, оплата транспорта, детских дошкольных учреждений и многое другое. Как показывают исследования, хотя большинство руководителей фирм, с которыми приходится беседовать, считают целесообразным сохранение традиционных гарантий для работников, все же «в новом частном бизнесе работники обеспечены социальным обслуживанием значительно хуже, чем на бывших государственных предприятиях, которые смогли успешно адаптироваться к переходным условиям» [Трудовые отношения... 2000, с. 87].

При подведении итогов основных результатов исследования трудовой мотивации и их интерпретации целесообразно остановиться на анализе заключений относительно так называемой достижительной мотивации, отсутствие которой вменяется «в вину» (или «в беду»?) отечественному работнику и которая порой характеризуется как некая роковая его особенность. Отсутствие такой мотивации связывается и с отношением к труду «как к проклятью», что, якобы, свойственно для трудовой этики России в противоположность, например, трудовой этике Соединенных Штатов, которые перешли к «новому взгляду» на труд — «к труду творческому, приносящему удовольствие» [Супоницкая 2003, с. 54]. Однако не вполне понятно, что же собой представляет «достижительная мотивация», которая в самом общем виде рассматривается как стремление к достижению успеха. Вопрос состоит в том, что понимается под успехом. Мы ранее приводили данные одного из исследований, направленных на выявление того, что понимают под успехом обычные люди. И убедились, что установить это не так просто.

Исследователи по-разному понимают ориентацию на успех или так называемую достижительную мотивацию. Как известно, Р. Мертон считал, что культурным приоритетом для Америки является достижение «денежного успеха». При этом он обращал внимание на отрицательные последствия действий в соответствии с этой мотивацией: «Господствующее в культуре побуждение к успеху ведет к постепенному уменьшению числа законных, но в целом неэффективных усилий, и возрастанию использования приемов незаконных, но более или менее эффективных» [Мертон 1996, с. 94]. Наши исследователи, как, впрочем, и некоторые зарубежные, верифицируют «до-

стижительную мотивацию», имея в виду и ориентацию на карьеру, и повышение квалификации, на самостоятельность в работе и управлении, и даже общественное признание и пользу людям. Что касается последнего, практическое исчезновение такого рода мотивов из идейного оформления наших оценок и ориентаций также результат девальвации советской идеологии, о которой говорилось выше.

Об общественных интересах и пользе людям преимущественно вещают политики, а говорить об этом, характеризуя свои личные побуждения, как-то стало неприлично, что опять-таки не значит, что такого рода побуждения полностью ушли из нашей практической жизни. А вот важность повышения квалификации и стремление делать карьеру связаны, как мы считаем, с оценкой своих жизненных шансов<sup>10</sup>. Характеризуя эмпирические данные, мы уже высказывали ранее соображения насчет того, что «невыраженность» мотива повышения квалификации обусловлена отсутствием необходимых для этого условий. Сошлемся также на результаты мониторинговых исследований, которые приводит Н. В. Авдошина: значительная часть работников — «в разных отраслях от трети до двух третей — не видит необходимости в повышении своей квалификации, потому что действующее в существующем виде производство, по их мнению, этого не требует» [Авдошина 1999, с. 66].

Распространена точка зрения, согласно которой отсутствие «достижительной мотивации» является наследием советских времен, когда трудовые достижения не получали должного денежного вознаграждения и соответственно сформировались «антидостижительные» культурные стандарты поведения. Полемизируя с Л. Д. Гудковым, придерживающимся данной точки зрения, В. Шляпентох привел не только убедительные эмпирические данные, свидетельствующие о некорректности данного утверждения, но и указал на основной методологический просчет Гудкова. Этот просчет состоит в том, что «Л. Д. Гудков в своем анализе решительно отказывается использовать в качестве независимой переменной «объективные условия жизни населения». Он также практически не упоминает механизм адап-

---

<sup>10</sup> Украинские социологи, исследующие оценку населением своих жизненных шансов, установили, что оценки жизненных шансов, касающихся различных аспектов жизни, — чрезвычайно низкие. Это относится и к шансам на самореализацию и карьеру, о чем свидетельствуют прежде всего низкие оценки «возможности повышения квалификации», «должностного продвижения», «реализации в качестве специалиста», «наличия интересной высокооплачиваемой работы» [Оксамитная, Бродская 2004, с. 35].

тации человека к меняющимся условиям» [Шляпентох 2001, с. 46]. Думается, что аналогичную ошибку допускают как те исследователи трудовой мотивации, которые настаивают на отсутствии «достижительных» мотивов у российских работников, так и те, кто считает, что формирование «нового» работника, предполагающее повышение ранга значимости производительного труда в структуре ценностей, и улучшение отношения к труду вполне достижимо путем длительного системного воздействия на групповое сознание [Лукьянова, Убиенных, Эйдельман 2002, с. 158].

Главное, с нашей точки зрения, — это характер происходящих социально-экономических преобразований и изменение реальной ситуации на рабочих местах, которое могут осуществить только профессиональные менеджеры. Хотелось бы возразить также тем авторам, которые считают, что невозможно добиться успеха в стабилизации, и тем более в развитии экономики, не восприняв трудовые ценности развитых капиталистических стран и их эталоны менеджмента. Конкретные исследования, в которых учитываются многообразные факторы трудовой деятельности, дают основание для того, чтобы поддержать позицию тех, кто считает: экономический рост невозможен без разработки собственных моделей менеджмента [Шкартан 2003]. В связи с этим укажем на то, что неправомерно абсолютизировать стимулирующую роль денежного вознаграждения. Стимулирующую роль, как ранее, так и сейчас, оказывает совокупность факторов, обеспечивающих комфортность работы на том или ином предприятии и общее социальное самочувствие. Об этом свидетельствуют, в частности, и приводимые нами данные о значимости системы мер социальной поддержки. Выяснение значимости этих мер позволило сделать следующий вывод: «Традиционные советские нормы культуры труда, воспроизведенные на частном предприятии, не только не препятствуют достижению успеха, но могут еще более конструктивно быть задействованы менеджментом для повышения экономической эффективности и формирования организационной культуры» [Трудовые отношения... 2000, с. 96]. Необходимость формирования собственных моделей менеджмента обусловлена не только особенностями личности отечественного работника, его потребностями и интересами, сформировавшимися под воздействием предшествующего исторического опыта, но и тем, что по части денежного вознаграждения производственная сфера в настоящее время не может конкурировать с другими сферами хозяйственной деятель-

ности. Торговля, сфера услуг, посредническая деятельность, наконец, те ее виды, которые относят к «теневой», дают не только более «высокий», но, главное, более «быстрый» заработок. При отсутствии на предприятии факторов, компенсирующих более низкую сумму заработка, «достижительная мотивация» утверждается как ориентация на «денежный успех» с теми самыми последствиями для общества, на которые указывал Р. Мертон.

### **Перспективы исследования**

Определяя перспективы исследования мотивации труда, можно высказать ряд соображений, которые, с нашей точки зрения, окажутся полезными при дальнейшем исследовании мотивации труда.

Для изучения мотивации труда, понимаемой как сознательное побуждение к трудовой деятельности, целесообразнее всего использовать метод анализа взаимосвязей между показателями мотивации труда и трудовым поведением, результатами трудовой деятельности. Обязательно комплексное изучение мотивации труда (как ценностей труда и оценок возможностей, которые предоставляет работа, оценок удовлетворенности отдельными элементами рабочей ситуации и работой на предприятии в целом, так и показателей, характеризующих различные поведенческие компоненты трудовой деятельности)<sup>11</sup>.

При проведении исследований на конкретных предприятиях необходимо подключать всю имеющуюся информацию о рабочих местах, многообразных условиях и факторах, определяющих трудовое поведение рабочих (условия для повышения квалификации, проявления инициативы и самостоятельности, повышения эффективности труда, характер общения в рабочем коллективе и взаимоотношений с руководством). Целесообразно также привлечение информации об эффективности производственной деятельности структурных подразделений предприятия с целью дальнейшего анализа взаимосвязей между показателями мотивации труда рабочих и показателями производственной деятельности этих структурных подразделений. Для всего этого необходимо использование различных методов сбора ин-

---

<sup>11</sup> Вторичный анализ данных международного исследования отношения к труду показал, что на идентификацию с предприятием российских рабочих влияют в первую очередь существенные различия между ожиданиями и наличием высокого заработка и интересной работы, а также оценка отношений между администрацией и работниками [Бессокирная, Темницкий 2004, с. 452].

формации: не только массовых опросов, но и наблюдения, изучения статистики, а также глубинных интервью. Но все же особая роль в выявлении реальных побудительных мотивов остается за исследовательской интерпретацией, опирающейся на уже известные особенности функционирования ценностного сознания, его взаимодействия с потребностями и интересами, а также с объективными условиями жизнедеятельности. Обращая на это внимание, мы хотели бы выразить также нашу солидарность с заключением, сделанным А. Б. Гофманом в связи с его размышлением относительно интерпретации социальной реальности: «...нет никаких оснований полагать, что индивидуальные участники социальных процессов заведомо лучше, чем исследователи, понимают, что с ними происходит, и что если социолог сведет свое объяснение к мотивам индивидуальных акторов, оно будет удовлетворительным» [Гофман 2005, с. 23].

### *Литература*

*Авдошина Н. В.* Проблема состояния трудового потенциала промышленных предприятий в современных условиях (по материалам мониторинга социально-трудовой сферы промышленности Самарской области) // Социальные проблемы труда в современном обществе и вопросы совершенствования преподавания социологии труда в вузах. СПб.: СПбГУ, 1999.

*Алексеев А. Н.* Человек и его работа: вид изнутри (Из записок социолога-рабочего. 1982–1986 гг.) // Мир России. 1998. № 1–2.

*Беляева И. Ф.* Трудовая мотивация. Механизмы формирования и функционирования // Изменения в мотивации труда в новых условиях. М.: НИИ труда, 1992.

*Бессокирная Г. П.* Образование как ценность повседневной деятельности рабочих // Ценности повседневной деятельности горожан / Отв. ред. Т. М. Караханова. М.: Изд-во Института социологии РАН, 2004.

*Бессокирная Г. П., Темницкий А. Л.* Мотивация труда в трансформирующейся России (аннотированная библиография, 1990–2003 гг.). М.: Реглант, 2004.

*Бессокирная Г. П., Темницкий А. Л.* Социальные ресурсы рабочих и их отношение к труду // Социальная политика: реалии XXI века. Вып. 2. / Независимый институт социальной политики. М.: Поматур, 2004.

*Бессокирная Г. П., Темницкий А. Л.* Удовлетворенность работой на предприятии и удовлетворенность жизнью // Социологический журнал. 1999. № 1–2.

*Ванина О. М.* Социологический анализ представлений и стереотипов молодежи об успешной деятельности (Опыт исследования стереотипов и представлений методом фокусированного интервью) // Социальные проблемы

труда в современном обществе и вопросы совершенствования преподавания социологии труда в вузах. СПб.: СПбГУ, 1999.

*Витушкина И. Н.* Трансформация мотивов «достижения» трудовой деятельности персонала промышленного предприятия // Тезисы Первой Всероссийской научной конференции «Сорокинские чтения-2004: Российское общество и вызовы глобализации». М.: Альфа-М, 2004.

*Выготский Л. С.* Мышление и речь // Собр. соч. М.: Педагогика, 1982. Т. 2.

*Гимпельсон В. Е., Магун В. С.* В ожидании перемен (рабочие о ситуации на промышленных предприятиях) // Социологические исследования. 1990. № 1.

*Гордон Л. А., Клопов Э. В.* Потери и обретения в России девяностых. Историко-социологические очерки экономического положения народного большинства. М.: Эдиториал УРСС, 2001. Т. 2.

*Горяинов В. П.* Ценности и интересы социально-профессиональных групп: сравнительный анализ двух массовых опросов // Социологический журнал. 1997. № 3.

*Гофман А. Б.* Существует ли общество? От психологического редукционизма к эпифеноменализму в интерпретации социальной реальности // Социологические исследования. 2005. № 1.

*Здравомыслов А. Г.* Потребности. Интересы. Ценности. М.: Политиздат, 1986.

*Здравомыслов А. Г., Ядов В. А.* Человек и его работа в СССР и после. М.: Аспект Пресс, 2003.

*Катульский Е.* Мотивация на рынке труда // Вопросы экономики. 1997. № 2.

*Киссель А. А.* Ценностно-нормативный аспект отношения к труду // Социологические исследования. 1984. № 1.

*Кунявский М. Б., Моин В. Б.* Трудовая деятельность в контексте исследования мотивации труда // Мотивация и поведение человека в сфере труда. М.: НИИ труда, 1990.

*Куприянова З. В.* Трудовая мотивация работников // Мониторинг общественного мнения: Экономические и социальные перемены. 1998. № 2.

*Лапин Н. И.* Как чувствуют себя, к чему стремятся граждане России // Мир России. 2003. № 4.

*Лапыгин Ю. Н., Эйдельман Я. Л.* Мотивация экономической деятельности в условиях российской реформы. М.: Наука, 1996.

*Леонтьев А. Н.* Деятельность, сознание, личность. М.: Политиздат, 1975.

*Леонтьев А. Н.* Проблемы развития психики. М.: Изд-во МГУ, 1972.

*Лукиянова Т. Н., Убиенных Т. Н., Эйдельман Я. Л.* Культурные детерминанты отношения к труду // Россия реформирующаяся / Под ред. Л. М. Дробижевой. М.: Academia, 2002.

*Магун В. С.* Российские трудовые ценности в сравнительной перспективе // Социологические чтения. М.: Ин-т социологии РАН, 1997. Вып. 2.

*Магун В. С.* Смена диапазона (современные российские трудовые ценности и протестантская этика) // Отечественные записки. 2003. № 3.

*Магун В. С.* Структура и динамика трудовых ценностей российского населения // Россия: трансформирующееся общество / Под ред. В. А. Ядова. М.: Канон-Пресс-Ц, 2001.

*Мертон Р.* Социальная теория и социальная структура. Киев: Абрис, 1996.

*Моин В. Б.* Словесная информация как источник данных о субъективных факторах трудовой деятельности: Автореф. ... канд. филос. наук. Минск, 1978.

*Наумова Н. Ф.* Мотивация труда и стратегии в социальной политике // Социально-экономические проблемы интенсификации общественного производства. М.: ВНИИСИ, 1983. Вып. 2.

*Оксамитная С., Бродская С.* Социальный класс как фактор дифференциации жизненных шансов // Социология: теория, методы, маркетинг. 2004. № 4.

*Патрушев В. Д., Бессокирная Г. П.* Динамика основных ценностей повседневной деятельности и мотивов труда московских рабочих в 1990-е годы // Социологические исследования. 2003. № 5.

*Патрушев В. Д., Калмакан Н. А.* Удовлетворенность трудом: Социально-экономические аспекты. М.: Наука, 1993.

*Патрушев В. Д., Темницкий А. Л.* Собственность и отношение к труду // Социологические исследования. 1994. № 4.

*Попова И. М.* Повседневные идеологии. Как они живут, меняются и исчезают. Киев: Ин-т социологии НАНУ, 2000.

*Попова И. М.* Стимулирование трудовой деятельности как способ управления. Киев: Наукова думка, 1976.

Рабочий и инженер: Социальные факторы эффективности труда / Под ред. О. И. Шкаратана. М.: Мысль, 1985.

*Радаев В. В.* Хозяйственная мотивация и типы рациональности // Социологический журнал. 1997. № 1–2.

*Рикер П.* Конфликт интерпретаций. Очерки о герменевтике. М.: Academia-Центр «Медиум», 1995.

Саморегуляция и прогнозирования социального поведения личности / Под ред. В. А. Ядова. Л.: Наука, 1979.

*Сарно А. А.* Типы трудовой мотивации и их динамика // Социологические исследования. 1999. № 5.

Сознание и трудовая деятельность (ценностные аспекты сознания, вербальное и фактическое поведение в сфере труда). Киев; Одесса: Вища школа, 1985.

Становление трудовых отношений в постсоветской России. М.: Академический проект, 2004.

*Супоницкая И. М.* Успех и удача: отношение к труду в американском и российском обществе // Вопросы философии. 2003. № 5.



*Тевено А.* Какой дорогой идти. Моральная сложность обустроенного человечества // Журнал социологии и социальной антропологии. 2000. Т. 3. № 3.

*Темницкий А. Л.* Мотивация труда наемных работников // Экономические субъекты постсоветской России (институциональный анализ) / Под ред. Р. М. Нуреева. М.: МОНФ, 2001.

Трудовые отношения на новом частном предприятии / Отв. ред. А. Л. Темницкий. М.: Изд-во Института социологии РАН, 2000.

*Шанин Т.* Эксплолярные структуры и неформальная экономика современной России // Неформальная экономика / Под ред. Т. Шанина. М.: Логос, 1999.

*Шибутани Т.* Социальная психология. М.: Прогресс, 1969.

*Шкаратан О. И.* Русская культура труда и управления // Общественные науки и современность (ОНС). 2003. № 1.

*Шляпентох В. Э.* Проблемы достоверности статистической информации в социологических исследованиях. М.: Статистика, 1973.

*Шляпентох В.* Письмо в редакцию // Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены. 2001. № 2.

*Ядов В. А.* Мотивация труда: проблемы и пути развития исследований // Советская социология. М.: Наука, 1982. Т. 2.

*Ядов В. А.* Отношение к труду: концептуальная модель и реальные тенденции // Социологические исследования. 1983. № 3.

*Kolarska-Bobinska L.* Aspirations, Values and Interests. Poland. 1989–1994. Warsaw: IfiS Publishers, 1994.

## ЕЩЕ ОДИН УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ЗАКОН БЮРОКРАТИИ? (ВЗЯТОЧНИЧЕСТВО КАК ПОБОЧНЫЙ ПРОДУКТ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ВЛАСТИ И ГРАЖДАН)

Уж если нет на свете новизны,  
А есть лишь повторение былого,  
И понапрасну мы страдать должны,  
Давно рожденное рождая снова...

*В. Шекспир*

«Я брал, однако, это не влияло на решения, которые я принимал». Такое заявление сделал выдающийся английский философ-материалист XVII века, современник В. Шекспира, Френсис Бэкон на возбужденном против него судебном процессе. Разумеется, судили его не за создание методологии эмпирического естествознания и не за основополагающий вклад в разработку индуктивного метода. Френсис Бэкон, как известно, был одновременно и видным государственным деятелем своей эпохи — лорд-канцлером при короле Якове I. В возбужденном против Бэкона процессе его обвинили во взяточничестве. Бэкон признал свою вину и произнес свое знаменательное признание, которое приводит В. Виндельбанд в своей «Истории философии», описывая поведение Бэкона на процессе [1, с. 106].

Анализируя данные городского мониторинга 2003 и 2004 годов, мы обнаружили, что и поведение наших бюрократов подчиняется аналогичному правилу: *берут*, а решать или не решать проблему — это по своему усмотрению. Другими словами, решение вопроса не зависело от того, поощряет ли бюрократа проситель или нет. Однако так было и в XVII веке! Отсюда и возник вопрос: а не является ли это неким универсальным законом бюрократии? Ведь известны такие закономерности ее функционирования, как пресловутый «закон Паркинсона». Почему бы не признать наличие еще одного, назовем его условно «**законом несоответствия результата полученному поощрению**»? Однако более точная его формулировка, возможно, появится в результате анализа эмпирических данных. Придерживаясь принципа генерализации, одного из основных принципов научного исследова-

ния, следовало охватить как можно больше данных, в частности данные общеукраинского мониторинга, в котором присутствовали соответствующие блоки вопросов<sup>1</sup>.

Источником данных относительно интересующей нас проблемы были ответы на три вопроса: «Обращались ли Вы за последние 12 месяцев в указанные организации для решения Ваших личных проблем?», «Где была оказана помощь в решении Вашей проблемы?» и «Приходилось ли Вам последние 12 месяцев давать деньги, подарки, делать услуги должностным лицам, от которых зависело решение насущных вопросов Вашей жизни?» И сами вопросы, и перечень организаций, в которые могли обращаться люди, были в несколько видоизмененной форме заимствованы из общеукраинского мониторинга 2002 года [2, с. 42–43]. При анализе большинство перечисленных организаций были объединены в переменную «официальные инстанции» (милиция, прокуратура, адвокатура, суд, горисполком, депутат городского совета, райадминистрация, ДЭЗ). Из названного списка последние четыре организации выделялись также в отдельную переменную — «городские власти»<sup>2</sup>.

---

<sup>1</sup> Анализ данных и одесских мониторингов, и всеукраинского стал возможен благодаря поистине самоотверженной работе по осуществлению многообразных преобразований и различных распределений, которая была проделана М. Кунявским (Одесский информационно-аналитический социологический центр «Пульс»). Им были рассчитаны данные репрезентативных опросов взрослого населения г. Одессы 11–16 октября 2003 года (N= 599, погрешность выборки не превышает  $\pm 4,1$  %) и 15–19 октября 2004 года (N = 605, погрешность выборки не превышает  $\pm 3,2$  %). По некоторым позициям приводятся также данные репрезентативного для взрослого населения г. Одессы опроса, проведенного в феврале 2006 года (N = 634, погрешность выборки не превышает  $\pm 4,7$  %). Данные по Украине рассчитаны по результатам мониторингового репрезентативного опроса взрослого населения Украины, которое проводилось Институтом социологии НАН Украины с февраля 2002-го по март 2002 года (N= 1799). Сбор информации осуществлен «SOCIS-GALLUP». Данные любезно предоставлены авторами программы.

<sup>2</sup> Отбор организаций, включенных в список, определялся тем, что нас интересовало взаимодействие власти и граждан. «Городские власти» были выделены, так как заказчиком выступало Управление информации горисполкома, и данные об организациях местного самоуправления и непосредственно им подчиненных интересовали его прежде всего. После первого опроса (который охватывал множество сторон жизни города и проводился в 2003 году информационно-исследовательским центром «Пульс» совместно с кафедрой социологии Института социальных наук Одесского национального университета) мэр города Руслан Боделан провел оперативное совещание, на которое были приглашены руководители различных городских подразделений, а также представители городской прокуратуры, милиции, СМИ, с тем чтобы мы доложили результаты опроса. По блоку «Взаимодействие власти и граждан» был сделан по инициативе городского прокурора отдельный доклад на совещании сотрудников городской прокуратуры.

Итак, какова же ситуация с «поощрением» должностных лиц (в просторечии — «взятками»). Она выглядит не так уж плохо: 65 % респондентов в 2004 году и 63 % в 2003 выбрали вариант «Не приходилось ни разу». И только примерно треть указали на то, что им приходилось это делать либо неоднократно, либо один или два раза. Однако следует учесть, что в число «не дававших» попали и те, кто не имел непосредственного опыта обращения в официальные организации в соответствующие годы. Картина практически не меняется, если определить удельный вес «поощрявших» лиц среди тех, **кто обращался** в вышеуказанные организации. *Данный удельный вес был принят за «показатель поощрения» или «коэффициент взяточничества» — К.вз.* Данный показатель варьировал между 32 % (среди обращавшихся к представителям городских властей в 2003 году) и 49 % (среди обращавшихся во все «официальные инстанции» в 2004 году) (табл. 1).

Таблица 1

**Удельный вес «поощрявших» среди лиц, обращавшихся в официальные инстанции, в частности к городским властям, %**

Обращались:	"Поощряли"?			
	Нет		Да	
	2003	2004	2003	2004
В официальные инстанции	64	51	36	49
К городским властям	68	53	32	47

Как видим, одесситы в 2004 году несколько «подобрили» и более щедро, чем в 2003, поощряли официальных лиц. Возможно, это связано с тем, что в 2003 году спрашивали о поощрении руководящих лиц, а в 2004 — *должностных*. Но, как свидетельствуют наши данные, в 2004 году и число обращений было больше, чем в 2003 и 2006 годах. Не потому ли, что это был год, когда проходила избирательная кампания и была надежда, что на обращение откликнутся? И действительно, тех, кто не обращался в указанные организации потому, что не верил, что будет нужный результат, в 2004 году было меньше, чем в 2006-м, и значительно меньше, чем в 2003 году.

А как обстояло дело с «поощрением» за пределами Одессы? Оказалось, что в 2002 году в Украине (в целом) и в крупных городах (с населением более 500 тыс. чел.) примерно 1/3 обращавшихся в официальные инстанции для решения личных проблем «поощряли» чиновников. Чуть выше была доля «поощрявших» (*К.вз.*) на Юге

Украины (35 % в сравнении с 29 % по Украине в целом). Как видим, в 2003 году К.вз. в Одессе находился на уровне регионального.

Обратимся далее к данным в поисках аргументов в пользу универсального закона бюрократии. Судите сами. Оказалось, что *распределения* «поощрявших» и «непоощрявших» среди всех обращающихся в официальные инстанции (в том числе к городским властям) (табл. 1) практически очень близки к распределению «поощрявших» и «непоощрявших» среди тех, кому в соответствующих организациях *помогли* (табл. 2).

Таблица 2

**Удельный вес «поощрявших» и «непоощрявших» среди тех, кто получил помощь от всех официальных инстанций, в частности городских властей, %\***

Помогли:	"Поощряли"?			
	Нет		Да	
	2003	2004	2003	2004
В официальных организациях	61	47	39	53
Представители городской власти	69	52	31	48

\* Разность доли «поощрявших» и «непоощрявших» среди тех, кому помогли, для 2004 года незначима при вероятности погрешности  $\alpha = 0,05$ .

Как видим, К.вз. для всех «обращавшихся» в 2003 году равен 36 % (официальные организации) и 32 % (городские власти), а для тех, кому помогли, — 39 % и 31 %. В 2004 году этот показатель принял значения соответственно 49 % и 47 % в сравнении с 53 % и 48 % у тех, кому помогли. Эти данные свидетельствуют о том, что *«поощрение» практически не сказывается на «отзывчивости» чиновников.*

То же самое заключение можно сделать, если сравнить *доли* «поощрявших» и «непоощрявших» среди тех, кому помогли в различных организациях и кому не помогли. Среди тех и других практически одинаковое количество «поощрявших» и «непоощрявших» (табл. 3 и 4).

Таблица 3

**Доля граждан, получивших и не получивших помощь в официальных инстанциях, среди «поощрявших» и «непоощрявших», %**

Помогли?	"Поощряли"?			
	2003		2004	
	Нет	Да	Нет	Да
Нет	84	76	74	68
Да	16	24	26	32

Действительно, разность доли «поощрявших» и «непоощрявших» среди тех, кому в официальных инстанциях помогли и кому не помогли, незначима (при  $\alpha > 0,05$ ). Выходит, «поощрай» — «не поощрай» — результат практически тот же. При этом в наибольшей степени эту независимость эффективности от «поощрения» демонстрируют «городские власти»: «Коэффициенты взяточничества» и в 2003-м и в 2004 году как у тех, кому помогли, так и у тех, кто остался без помощи, оказались идентичными (табл. 4). Кстати, эти проценты любопытны сами по себе. Вдумайтесь: эффективность «поощрения» изменяется в диапазоне от 1/5 до 1/10. То есть из поощрявших подавляющее большинство помощи не получает!

Таблица 4

**Доля граждан, получивших и не получивших помощь у представителей городской власти, среди «поощрявших» и «непоощрявших», %**

Помогли?	"Поощряли"?			
	2003		2004	
	Нет	Да	Нет	Да
Нет	89	88	78	77
Да	11	12	22	23

Данные по Украине свидетельствуют о том, что этот диапазон изменяется, но нигде показатель эффективности взяточничества не превышает 1/4. Незначима, как правило, и разность доли получивших помощь среди «поощрявших» и «непоощрявших». Например, в крупных городах Украины эта разность составляет 5 % (26 % в сравнении с 21 % при  $\alpha = 0,05$ ) применительно к официальным организациям и 2 % (25 % в сравнении с 23 % при том же значении  $\alpha$ ) — к городским властям. Разность аналогичной доли применительно к городским властям незначима (при  $\alpha = 0,05$ ) и в Украине в целом, и на Юге Украины: 18 % против 15 % и 16 % против 10 %. Однако в двух случаях это различие доли (доли получивших помощь среди «поощрявших» и среди «непоощрявших») оказалось, хоть и в небольшой степени, значимым: применительно к официальным инстанциям для Украины в целом (при  $\alpha = 0,01$ ) и для Юга Украины (при  $\alpha = 0,05$ ) (табл. 5).

Запомним это отклонение. В дальнейшем это исключение из правила может «пролить свет» на само правило.

**Доля граждан, получивших и не получивших помощь в официальных инстанциях, среди «поощрявших» и «не поощрявших», %**

Помогли?	"Поощряли"?			
	Украина в целом		Юг Украины	
	Нет	Да	Нет	Да
Нет	82	75	87	74
Да	18	25	13	26

Вернемся, однако, к предложенной исторической аналогии и попытаемся разобраться, в какой степени правомерно использовать ее для объяснения ситуации, которая вроде бы противоречит здравому смыслу. Ведь известно, что «не подмажешь — не поедешь», а значит, когда «подмажешь, тогда и едешь». В этом, собственно говоря, и есть суть проблемы, ибо в основе любой проблемы содержится некое противоречие. Чтобы найти аргументы для объяснения противоречия между полученными данными и здравым смыслом, и пришлось обратиться к исторической аналогии. Хотя аргументация, как известно, еще не есть доказательство, она все же способствует продвижению к истине и в некоторых случаях помогает определить направление поиска.

Итак, что собой представляла Англия в период правления Якова I, когда происходили интересующие нас коллизии?

Ф. Бэкон был лорд-канцлером с 1618-го по 1621 год. Этому периоду предшествовали важные события, которые существенно изменили облик страны. Восхождение в 1603 году на королевский престол Якова I привело к чрезвычайному *ослаблению государства, социально-политической и экономической нестабильности, обострению культурно-религиозных противоречий*. Яков I (как впоследствии и его сын Карл I) постоянно конфронтировал с парламентом, существовавшим в Англии с XIII века, и пытался его распустить, вмешивался в конфессиональные дела и только способствовал обострению взаимоотношений между протестантами и католиками. Потрясения, изменившие общество, были обусловлены не столько сменой королевских династий (приход династии Стюартов, к которой принадлежал Яков I, на смену династии Тюдоров, представительницей которой была правившая ранее Елизавета I). Это потрясение характеризовалось тем, что Яков I, не обладая достаточной политической волей и умением, не смог сохранить сильное и дееспособное государство,

каким оно было в период правления Елизаветы I. Елизавета мудро вела себя, находя нужные формы взаимоотношений с парламентом, сумела смягчить противоречия между католиками и протестантами, создав англиканскую церковь, считающуюся чем-то средним между теми и другими и фактически ставшую государственным ведомством, во главе которого стоит король. Называя государство Елизаветы I «авторитарным» и даже «полицейским», обычно обращают внимание на то, что в период ее правления был создан обширный государственный аппарат, функционирующий на основе *жесткого контроля и ответственности*. Аппарат этот достался в «наследство» и Якову I. Но в новых политических условиях, как можно предположить, аппарат этот потерял свои качества, необходимые для эффективного государственного управления.

Обращение к этим историческим реалиям напомнило о той характеристике, которую дала французская исследовательница российской бюрократии постсоветского периода Мари Мендрас, отметив, что «в слабом государстве существует сильная бюрократия» [2]. Будучи фактически бесконтрольной и безответственной, такая бюрократия функционирует, *удовлетворяя преимущественно собственные интересы*.

На самом деле речь идет об очень сложной и мало изученной социологами проблеме взаимоотношения политической элиты и бюрократии (истэблшмента), *политиков и чиновников*. В Западной социологии направление решения данной проблемы связано с критическим подходом к концепции «легитимного господства» Макса Вебера и сформулированным им основным признакам «идеальной» бюрократии. В частности, речь идет о том, что в определенных условиях возможен дефицит таких признаков, как последовательное *служение должностному долгу, безличность*, когда работа производится в соответствии с правилами, исключающими произвол и фаворитизм и т. п. Кроме того, характер взаимоотношений политиков и чиновников, а также оценка эффективности бюрократии становятся наиболее актуальными тогда, «когда поднимается вопрос о выработке политического курса. В этот момент важное значение приобретает влияние на содержание политики самой административной системы — *ее структуры интересов и ценностей*» (курсив мой. — И. П.) [3, с. 167].

Возвращаясь к предложенной выше исторической аналогии, относящейся к Англии, следует признать также актуальность обсуждения и другого аспекта, связанного с веберовским наследием и формулируемого им самим как «проблема Англии». Эта тема обстоятельно



анализируется Н. Бусовой в статье «Макс Вебер о роли права в становлении рыночного капитализма» [4]. В основе проблемы лежит следующее противоречие: с одной стороны, предполагается целерациональное поведение капиталистического предпринимателя, для которого характерны определенность и предсказуемость результатов, основанных на «логической формальной рациональности права»; с другой стороны, констатируется, что в Англии — колыбели капитализма — в силу ряда исторических причин такое право отсутствовало, что отличало Англию от других европейских, континентальных стран.

Как пишет Н. Бусова, «споры по поводу интерпретации веберовского решения «проблемы Англии» порождены как неоднозначностью его оценок, так и неопределенностью в использовании понятия рациональности» [4, с. 133]. Вместе с тем в ходе обсуждения проблемы высказывалось мнение, что необходимы некоторый *минимум* предсказуемости права, наличие некоторых правил, *устанавливаемых эмпирическим путем* и обеспечивающих «игру по правилам», а также функционирование так называемого «прецедентного» судейства и т. п. [4, с. 132–133]. Это, как можно предположить, в значительной степени определяет «качество» бюрократии. Идеал веберовской бюрократии недостижим, а степень ее эффективности и коррумпированности зависят от конкретных политических, социокультурных, социально-экономических и организационно-технологических условий. Более того, бюрократия (призванная выполнять функции «штаба управления» для политиков) может препятствовать осуществлению эффективной политики, порождая «дисфункциональные эффекты». Характер административной системы влияет не только на результативность политики, но и на ее содержание. Как видим, речь идет о сложном взаимодействии, которое требует изучения, хотя рассмотрение многих вопросов, относящихся к сфере функционирования постсоветской политической элиты и бюрократии, связано с «острейшей нехваткой *эмпирического материала* и правдивой информации» (курсив мой. — *И. П.*) [5, с. 36].

Вернемся, однако, к нашим эмпирическим данным. Они свидетельствуют не столько о неэффективности «поощрения», сколько о *неэффективности функционирования чиновничьего аппарата вообще*. Действительно, более половины обратившихся в официальные инстанции помощи не получили — и это общая картина, характеризующая ситуацию по стране в целом, а не в отдельно взятом городе (табл. 6).

Таблица 6

**Эффективность обращений в официальные организации, в частности к городским властям, %**

Обращались:	Помогли?							
	Одесса, 2003 год		Крупные города Украины, 2002 год		Украина в целом, 2002 год		Юг Украины, 2002 год	
	Нет	Да	Нет	Да	Нет	Да	Нет	Да
в официальные организации	55	49	53	47	54	46	58	42
к городским властям	60	40	55	45	56	44	65	35

Сходство цифр не просто поражает. Оно свидетельствует о том, что дело не в *личных качествах* чиновников, а в характере самих структур, в неспособности государства создать такие условия, при которых люди, у которых возникают относящиеся к сфере компетенции власти проблемы, могли бы получить от нее необходимую помощь. Неэффективность деятельности властных структур, как можно предположить, *имеет системный характер*, и «поощрение» официальных лиц — это попытка преодолеть этот *порок сложившейся официальной структуры*.

В такой ситуации существенную роль начинают играть механизмы *неофициальных (неформальных)* отношений. О роли последних в постсоветских и, в частности, в украинском обществе писалось неоднократно, в том числе о том, что в условиях фактического отсутствия социальных институтов, которые защищали бы права индивидов, происходит постоянное расширение неформального сектора, образование гибких структур, функционирующих на основе «деформализации» правил [6; 7]. Неформальные правила, основанные на личном контакте, могут компенсировать ущербность формальной рациональности и повысить эффективность функционирования различных сфер общества.

Эта особенность «деформализации» сказалась и па эффективности «поощрения», о чем свидетельствуют «исключения», о которых речь шла выше. Напомню, что, по нашим данным, различие доли получивших помощь среди «поощрявших» и среди «непоощрявших» лишь в двух случаях оказалось (хоть и в небольшой степени) значимым: применительно к официальным инстанциям по Украине в целом и на Юге Украины, что отражено в таблице 5. Можно предпо-

ложить, что обусловлено это наличием в составе данных подмассивов населения, проживающего в сельской местности, где особую роль играют неформальные отношения, личные контакты. Возможно, что «поощрение» здесь «сработает» в силу рудиментов патриархальных отношений. Здесь «взять» и не «сделать» труднее. В некоторой степени это предположение подтвердилось, когда сравнивалась ситуация в крупных городах, в Украине в целом и в селах Украины (именно в такой последовательности в определенной мере увеличивалась степень зависимости результата от «стимулирования») (табл. 7).

Таблица 7

**Зависимость эффективности обращений в официальные организации от «стимулирования» лиц, от которых зависит решение проблем, %**

Помогли?	Поощряли должностных лиц?					
	Крупные города Украины		Украина в целом		Села Украины	
	Нет	Да	Нет	Да	Нет	Да
Нет	82	77	82	75	87	78
Да	18	23	18	25	13	22

Разность доли получивших и не получивших помощь в крупных городах Украины незначима (при  $\alpha = 0,05$ ), для Украины в целом значима при  $\alpha=0,01$ , а для сел Украины значима при  $\alpha = 0,02$ , хотя и там, и там связь довольно слабая. Но во всех случаях идентичны и эффективность поощрения (обращались — помогли), и доля «поощрявших» среди обращавшихся: везде более половины граждан помощи не получают (54 % — 58 %), и примерно треть обращавшихся «поощряют» должностных лиц (от 28 % до 30 %).

Далее рассмотрим на примере мониторинговых опросов в Одессе, по каким преимущественно проблемам и в какие инстанции обращались граждане.

По данным городских мониторингов (2003, 2004, 2006), среди проблем, по которым граждане обращались во все (не только «официальные») организации<sup>1</sup>, на первом месте находились проблемы

<sup>1</sup> На основе ответа на вопрос: «Если обращались в вышеуказанные организации, то по каким проблемам?». Кроме официальных организаций, именуемых в тексте чаще «официальными инстанциями» и включающих «городские власти», в списке организаций были также такие переменные, как «общественные организации и политические партии», «СМИ (газеты, радио, ТВ)», «профсоюз», «руководство предприятий, учреждения, фирмы, в которых работаете», «другие организации и учреждения».

жилищно-коммунального обслуживания. Количество обращений по данным вопросам было несколько больше, чем по всем другим проблемам, вместе взятым (трудоустройства, социальной защиты, произвола чиновников, трудовых конфликтов и конфликтов с соседями). Наибольшее (в сравнении с другими организациями) число обращений на всех массивах приходилось на ДЭЗы. При этом в 2004 году граждане адресовали свои запросы ДЭЗам в два раза чаще, чем в предыдущем (32 % и 16 %, соответственно). Сфера компетенции ДЭЗов в тот период была наиболее проблемной для населения, так как Одесса уже тогда стала полигоном для апробирования всевозможных «жилищно-коммунальных» реформаторских усилий: ЖЭКи преобразовывались в МЭПы, потом те и другие упразднились и создавались ДЭЗы. Последние тоже были упразднены, а потом восстановлены. Менялись городские чиновники, непосредственно отвечающие за этот «участок работы». Проводя опрос в 2004 году, мы подсчитали, что за истекшие 2 года уже пятый «реформатор» разъяснял, призывал и обещал! Социологи тоже включились в эту борьбу за жилищно-коммунальный комфорт: проводили опросы, организовывали круглый стол, формулировали свои рекомендации, выступали с газетными публикациями. Но нас, как всегда, чиновники не слышали, а точнее, не слушали. Сейчас, когда проводится очередная реформа ЖКХ, о прошлом опыте и не вспоминают!

На втором месте по частоте обращений у одесситов, как правило, милиция и руководство предприятия, учреждения, фирмы, где респондент работает (и там, и там максимальное число обращений не превышает 11 %). На третьем месте по количеству обращений — прокуратура, суд, адвокатура (не более 8 %). Опросы показали также, что для решения личных проблем одесситы *редко обращаются в общественные организации и к политическим партиям, а также в СМИ и профсоюзы* (1–3 % опрошенных). Как видно, популярность этих адресатов весьма незначительна, о чем свидетельствуют и общеукраинские данные [8, с. 43]. Например, для решения личных проблем к руководству предприятий (учреждений, фирм) обращаются значительно чаще, чем в профсоюзы. (Непопулярность общественных организаций, которых у нас невероятно большое количество, — вот еще одна проблема, которая требует социологического изучения.)

Анализ социально-демографических характеристик лиц, обратившихся для решения личных проблем в различные официальные

инстанции, противоречил расхожему мнению, что «жалобщики» — в основном пенсионеры. Оказалось, что «ходят по инстанциям», по крайней мере, не в меньшей степени, чем другие, люди трудоспособного возраста. Средний возраст обращающихся в официальные организации — 45 лет. Различие между долей обратившихся и не обратившихся в возрастных группах 30–49 лет и 50 лет и старше незначимо. Более того, в 2004 году доля первой группы среди «обращавшихся» превысила (хотя и незначительно) долю второй (43 % против 36 %).

Нет сколько-нибудь явных различий в уровне образования тех, кто обращался за помощью в различные официальные организации, и тех, кто не обращался. Как нет и видимого различия в частоте контактов с официальными инстанциями мужчин и женщин. Что касается материальной обеспеченности обратившихся и не обратившихся, то только в одном случае (по мониторингу 2003 года) различия по этому показателю оказались значимыми, хотя и незначительно (коэффициент  $\eta = 0,15$ ). Но все же тех, кому «не хватает на самые необходимые продукты питания», среди обратившихся было на 16 % больше, чем тех, у кого «покупка товаров длительного пользования не вызывает трудностей». Однако уже в 2004 году эти различия, как и различия в уровне доходов семей лиц, обратившихся и не обратившихся в официальные инстанции, в Одессе оказались незначимыми. Незначимым было и различие в материальном положении между этими категориями и в Украине в целом (по данным мониторинга 2002 года) (табл. 8).

Что касается «сдвига» к средним позициям шкалы<sup>1</sup> удельного веса обращающихся, то он обусловлен распределением в массиве групп, различным образом оценивающих свою материальную обеспеченность. Аналогичное распределение характерно и для Украины в целом, о чем свидетельствуют данные всеукраинского мониторинга [9, с. 44].

Характеристики обращающихся в официальные инстанции говорят о том, что «личные проблемы» являются *проблемами социальными, затрагивающими интересы самых различных групп населения*.

Неэффективность их решения свидетельствует о недееспособности государства, об отсутствии надежной социальной политики, которая не сводится к так называемой «социальной защите», понимаемой

---

<sup>1</sup> Следует заметить, что в наших опросах для оценки уровня материальной обеспеченности применялась другая, достаточно известная шкала: «Не хватает на самые необходимые продукты питания», «На еду в основном денег хватает, но покупка одежды или обуви создает для Вас серьезные трудности» и т. д.

**Материальное положение лиц, обращавшихся и не обращавшихся  
для решения личных проблем в официальные организации  
(в целом по Украине), %**

Показатели материального положения	Обращались в официальные организации?	
	Нет	Да
Часто не имели денег и еды — иногда нищенствуют	3	3
Не хватает продуктов питания — иногда голодают	9	11
Хватает только на продукты питания	49	51
Хватает в целом на проживание	25	22
Хватает на все необходимое, но нам не до сбережений	12	11
Хватает на все необходимое, делаем сбережения	2	2
Живем в полном достатке	< 1	< 1
Всего	100	100

как защита «сырых и убогих» и ставшей общим местом в политической демагогии. *Государство наше при непомерно раздутым чиновничьем аппарате не способно обеспечить решение насущных проблем жизнедеятельности основной массы населения.*

Позволю себе некоторое отклонение от стиля изложения и сошлюсь на примеры, которые свидетельствуют о бездеятельности и безответственности власти по отношению к населению, или, как у нас говорят, «территориальной громаде», ее неспособности решать элементарные проблемы, с которыми сталкиваемся в повседневной жизни. Не только в праздничные, но и в будние дни (а точнее, ночи) Одессу сотрясают взрывы петард и шумные фейерверки. При этом существует постановление, категорически запрещающее делать это вблизи жилых домов (да и шуметь после 22 часов запрещено), иначе нарушителям грозит штраф, если не ошибаюсь, в размере 225 грн. Интересно, пополнилась ли государственная казна и насколько за счет нарушителей этого постановления? Ведь этот «увеселительный террор», напоминающий пожилым людям о тяжком военном времени, продолжает преследовать нас и в час, и в два ночи! Кстати, это не просто издержки длительного праздника. В курортной зоне Одессы существует ряд ресторанов, в которых периодически устраивается ночная пальба из орудий и красочные шоу в связи с празднованием дня рождения очередного «гения бизнеса» с тугим кошельком. Кто на

это реагирует? Вспомним постановление о бесплатном входе на одесские пляжи (оплата предполагается только за предоставление услуг). Пройдите летом вдоль одесских пляжей, и вы воочию убедитесь, как оно выполняется. Таких примеров каждый из нас может привести бесконечное множество!

Но ведь не только наличие «хороших» законов и решений характеризует дееспособность государства. Последняя определяется тем, какова система контроля и ответственности за их выполнение, как эти законы и решения реализуются, как сказывается это на жизни миллионов наших граждан. Вот она — демократия! А для этого нужны и политическая воля, и ориентация политической элиты на решение общих, государственных проблем. Недостаток того и другого определяет и поведение чиновничьего аппарата (так называемого «истеблишмента»), который находится в тесной «связке» с политиками. Следует иметь в виду также, что неэффективность деятельности данных субъектов имеет в определенном смысле условный характер, ибо представители всех ветвей и уровней власти достаточно эффективно решают *свои личные проблемы, прямо либо опосредованно связанные с личным обогащением.*

Население это понимает, чем и определяется нелегитимность нашей власти, обнаруживаемая практически во всех социологических опросах. Недоверие побуждает к стимулированию должностных лиц в тех случаях, когда возникает необходимость к ним обращаться. *Вынужденность поощрения* — это то, на что чаще всего ссылаются обращающиеся и «поощрявшие», когда их спрашивают об оценке своего поступка: среди последних группа с такими ответами была модальной и в 2003, и в 2006 годах.

Следует учитывать и то, что о практике поощрения граждане знают не только по своему опыту, но и на основании опыта друзей и знакомых: об этом каждый раз нам сообщало более половины опрошенных (им известны либо «много случаев» поощрения знакомыми должностных лиц, либо «несколько», либо хотя бы «1–2 случая»). Ясно, что *именно совокупный общественный опыт определяет отношение населения к власти, его доверие к тем или иным властным структурам.* Сообщив об этих данных на оперативном совещании горисполкома, я сказала: «Помните, ваши соотечественники всё о вас знают. Вы как на подиуме, вас видно отовсюду». И привела пример: «Никогда не была в гостях у мэра, но знаю, из каких растений у него живая изгородь и как он ее стрижёт». Мэр, который вел совещание (тогда это был Руслан

Боделан), подтвердил мою характеристику ограды его усадьбы. Это произвело изрядное впечатление (как об этом говорил мне позже городской прокурор, когда аналогичное сообщение по результатам исследования нас попросили сделать в городской прокуратуре).

Интересны и другие, выявленные в опросах факты. Например, среди тех, кто не обращался в официальные инстанции,  $\frac{1}{3}$  не делали этого потому, что «не верили, что будет результат». Вынужденность подношений и неверие в то, что без них проблему будут решать, — лейтмотив подавляющего большинства ответов на открытый вопрос об оценке взяток официальным лицам, от которых зависело решение личных проблем. Однако на этот вопрос отвечали и те, кто сам поощрял чиновников, и те, кто этого не делал. И в основе всех ответов недоверие к власти. С одной стороны: «Иначе не получается», «Наша экономика работает именно так», «Не дашь, не поедешь», с другой: «Я давно решила, что это бесполезно», «У меня на это нет денег», «Кроме нас самих никто нам не поможет», «Бюрократия, коррупция», «Нервы и битье в глухую стену», «Нет результата», «Никто нигде не помогает». И наконец, формулировка: «Вынуждали»<sup>1</sup>. Был и такой ответ: «Не приходилось давать, но если бы надо было, наверное, дал».

О таких настроениях, свидетельствующих о том, что взяточничество является важным фактором, питающим недоверие населения к нашей власти, говорят и другие данные. Так, Н. Ходоривская, исследующая адаптивные ресурсы человека, ссылаясь на общеукраинские мониторинговые данные, пишет следующее: «Должностные лица... предстают скорее как взяточники, боящиеся начальства, нежели профессионально ответственные, с чувством долга специалисты» [11, с. 156]. Такое понимание мотивов поведения представителей власти обуславливает, как можно предположить, и оценку «поощряющих» поступков, с позиций самого населения.

Интерес представляет динамика данных оценок. В 2006 году в сравнении с 2003-м вдвое увеличилось число тех, кто «вынужден был так поступать», и почти втрое — число ответивших: «Ничего предосудительного в этом не вижу» (табл. 9). Показательно и то, что более чем в 2 раза сократилось количество тех, кто либо затруднялся ответить на этот вопрос, либо не считал нужным на него отвечать. И это

---

<sup>1</sup> Согласно данным российских социологов (ФОМ), около трети опрошенного населения в 2002-м, и в 2006-м оказывались в ситуации, когда должностные лица просили либо явно ожидали от них неофициальной платы или услуг за свою работу [10, с. 100].



Таблица 9

**Распределение ответов жителей Одессы на вопрос «Если Вам приходилось в течение последних 12 месяцев давать деньги, подарки, делать услуги должностным лицам, от которых зависело решение насущных вопросов Вашей жизни, то как Вы оцениваете свой поступок?»<sup>1</sup>, %**

Варианты ответа	Население	
	Октябрь 2003	Февраль 2006
Ничего предосудительного в этом не вижу	8	21
Отрицательно, но вынужден (-а) был (-а) так поступать	24	48
Вам неприятно, но все так делают	14	19
Другое	7	12
Затруднились ответить/Не ответили на вопрос	47	20

после почти двухлетней и весьма настойчивой риторики борьбы за «чистые руки»!

Есть основание предполагать, что данные эмпирических исследований свидетельствуют об активном процессе *институционализации и легитимации тени*. Процесс этот, как считает О. Яницкий, «является одновременно процессом деинституционализации государства. В самом деле, сначала чиновники создают дефицит легальных возможностей (бюрократическая волокита, так называемое разрешительное право), а затем эти самые законные права продаются за взятки» [12, с. 151].

Следует иметь в виду, что приведенные здесь данные и размышления не характеризуют проблему взяточничества в полном ее объеме. Во-первых, потому что массовые опросы практически не охватывают либо охватывают в незначительной степени основных взяткодателей, решающих *деловые проблемы* и прибегающих, *как правило*, к «поощрению» начальствующих лиц. В этой связи интерес представляют данные российского ФОМа, на который я уже ранее ссылалась [10, с. 100]. Оказалось, что чем «ресурснее» участник опроса, тем выше для него вероятность попасть в ситуацию, когда вынуждают дать взятку [10, с. 100]. Во-вторых, приведенный список организаций определенным образом ориентировал респондентов: в основном на взятки представителям *власти*. Очевидно, поэтому в графе «Другие

<sup>1</sup> Замечу, что в 2003 году мы спрашивали о «поощрении» официальных лиц, а в 2006 году — должностных. Однако это вряд ли повлияло на результаты, так как в повседневном сознании эти понятия практически не различаются.

организации, учреждения» «отмечались», как правило, 1–2 %. Уточнения насчет того, в какие именно «другие» инстанции обращались люди, были таковы: ОВИР, Бюро по трудоустройству, Горэнергосбыт, Собес. В этом перечне не было медицинских и образовательных учреждений, хотя, как известно, проблема взяточничества в массовом масштабе «не обходит их стороной».

Вообще взятки, если использовать выражение известного персонажа из кинофильма «Белое солнце пустыни», — «дело тонкое». Учитывая их повсеместное распространение практически во всех сферах нашей жизни, следует признать, что их порой трудно отличить от так называемых реципрокных отношений (отношений дарения), глубокий анализ которых дает С. Барсукова, ссылаясь при этом на исследования иностранных авторов, а также на изучение функционирования российских домохозяйств. В своей интересной и содержательной работе она характеризует сущность, функции и специфику «реципрокного взаимодействия» и его отличие от «патрон-клиентских» взаимоотношений [13, с. 330–378]. «Соскальзывание» к реципрокности обнаружили и мы (даже при том, что была ориентация на взаимодействие преимущественно с властными организациями). Так, среди ответов на открытый вопрос о мотивации «поощрения» встречались, например, и такие: «Если в благодарность после принятого решения — маленький подарок: конфеты или шампанское, то даже приятно порадовать человека. Это — не вымогательство», «Хочется отблагодарить» и т. д.

При анализе масштабов и характера функционирования взяточничества необходимо учитывать существование так называемой «двойной институционализации», сущность которой характеризуют Е. Головаха и Н. Панина в статье «Постсоветская деинституционализация и становление новых социальных институтов в украинском обществе» [14]. Речь идет, в частности, о том, что в рамках и на базе государственных учреждений, относящихся к различным сферам, оказываются частные услуги. Авторы считают, что распространение такой практики в образовательных и медицинских учреждениях обусловлено снижением качества бесплатного обслуживания, и оплатив услугу, люди стремятся его (качество) повысить. Однако существует и множество других факторов, которые обуславливают легитимацию такой (нелегальной) практики, с одной стороны, и нелегитимность легального частного обслуживания — с другой. Например, руководство госучреждений (и даже промышленных предприятий) может закрывать глаза на частную практику на базе вверенного ему учреж-

дения (иногда и в рабочее время) некоторых нужных, но низкооплачиваемых работников, чтобы удержать их. Хотя, несомненно, существуют и другие мотивы для такого «попустительства». Механизмов, обуславливающих амбивалентность наших институтов, бесконечное множество. И это *один из многих факторов*, влияющих на то, что уровень раскрываемости взяточничества и вымогательства является наиболее низким среди других уголовных деяний.

И. Рущенко, приводя данные о виктимизации населения и латентной преступности и показывая, что взяточничество и вымогательство имеют практически самый высокий коэффициент латентности, отмечает, что «наши криминологи-юристы крайне слабо используют широкие возможности эмпирической социологии» [15, с. 12]. Однако относительно возможностей социологии в изучении коррупции вообще и взяточничества в частности существуют различные точки зрения. Так, российский социолог Г. Сатаров, ссылаясь на пессимистическое заключение на этот счет одного из западных «классиков коррупции», считает, что ничего проблематичного в изучении коррупции социологическими методами не существует. «Вопрос сводится не к возможности или невозможности изучения коррупции инструментами социологии, — пишет он, — а к неизбежности такого изучения. Сетовать можно только на то, что мы, как обычно, запаздываем» [16, с. 25]. При этом он ссылается на опыт большой серии исследований бытовой и деловой коррупции, проводившихся в Фонде «ИНДЕМ».

Размышляя над тем, почему мы «запаздываем», я вспомнила такой эпизод. На совещании в мэрии, где мы докладывали о результатах мониторингового опроса, только мне (я сообщала результаты по блоку «Взаимодействие граждан и власти») не задали ни одного вопроса. Когда мы выходили, спросила у одной чиновницы: «Почему мне не задавали вопросы?» Она ответила: «Что вы! Все притихли, боялись, что вы начнете называть фамилии». Как видим, чиновничество не очень-то отличает «исследование» от «расследования». Возможно, в этом и есть резон. И может быть, поэтому наши исследования практически не финансируются? Кто же заинтересован в том, чтобы писать на себя донос?

А как же все-таки быть с «универсальным законом бюрократии»? Существует он или нет? Я склоняюсь к положительному ответу на этот вопрос и понимаю этот закон как *некоторый алгоритм поведения бюрократии, который утверждается тогда, когда имеется со-*

четание, определенная констелляция конкретных факторов: слабое государство, сильная бюрократия, становление капитализма на ранней стадии. Результат такого сочетания — коррумпированность бюрократии, ее недееспособность, неориентированность на решение государственных задач. Именно в период становления капитализма жажда обогащения оказывается особенно важным фактором, стимулирующим использование для этого всех имеющихся средств и, в частности, тех, которые дает должностной статус. Поэтому особое значение приобретает *государственный фактор*, определяющий те ограничения и рамки, которые влияют на характер функционирования «штаба управления», что сказывается, в свою очередь, и на облике того капитализма, который утверждается. Универсальный закон бюрократии, таким образом, можно сформулировать так: становление капитализма при слабом государстве и сильном административном аппарате неизбежно приводит к недееспособности и коррумпированности бюрократии.

Пример Англии в данном случае не единственный. Крупнейший историк современности Фернан Бродель, изучавший процессы становления капитализма в самых различных странах, большое внимание уделял роли государства в этих процессах. Интерес представляет, в частности, характеристика ситуации, которая сложилась во Франции во второй половине XVII века в эпоху правления Людовика XIV — в период, который ознаменовался рядом государственных побед и достижений. Людовик XIV был тем самым королем, которому приписывают крылатую фразу: «Государство — это я». Для укрепления государственного аппарата Людовик узаконил практику продажи должностей представителям нарождающейся буржуазии. Но даже эта практика не привела ни к коррупции, ни к катастрофическому ослаблению государственного аппарата, ибо «такой монарх, как Людовик XIV, продавая должности, изымал часть достояния буржуазии, то был своего рода эффективный налог; с другой же стороны, защищал низшие классы против возможного лихоимства. Должностных лиц достаточно крепко держали в руках. Однако после авторитарного правления Людовика XIV дела довольно быстро начинают ухудшаться» [17, с. 560]. Ф. Бродель показывает также, что в период правления Людовика XIV чиновничьи должности для нарождавшейся буржуазии не были средством наживы, а были тем, чем был двор для французского дворянства: способом удовлетворения самолюбия и показателем жизненного успеха.

Приведенные исторические примеры отнюдь не следует понимать так, что сильное государство — это непременно авторитаризм, авторитария «всемогущего» монарха, в каком бы облике он ни выступал. Государство может быть сильным *независимо от формы правления и государственного устройства*. Более того, сила или слабость государства не определяется однозначно его *социальной сущностью*, характеризующей *содержание государственного интереса*. Деятельность государства, декларирующего себя как *социальное*, должна быть направлена на защиту и обеспечение прав и интересов всех граждан, независимо от их социальной принадлежности. Его сила определяется наличием законодательной базы, создаваемой по определенным правилам и с учетом понимаемого таким образом государственного интереса, надежными механизмами контроля, направленного на неукоснительное выполнение принятых законов и норм, а также обеспечивающего *систему ответственности за их реализацию*. Дефицит (если не сказать больше) всего этого как раз характерен для современного украинского государства, что формирует облик и обуславливает способы функционирования нашей бюрократии.

Исследователи, изучающие деятельность современной украинской бюрократии, обращают внимание на то, что ее безответственность и коррупция существенным образом обусловлены неспособностью политической элиты управлять бюрократией. «Чиновники «приватизируют» зоны своей компетенции, умело выводя их из-под влияния нормативных актов и законов, контроля и прямых указаний элиты, используя при этом неразбериху с законодательством и тенденции к децентрализации власти и управления» [5, с. 33–34]. Следует подчеркнуть, однако, что *чиновникам это удастся потому, что политики заняты тем же самым — обогащением*. Более того, занимаясь этим, и те, и другие находятся в единой «связке». «Власть как самостоятельная ценность потеряла всякое значение, превратившись исключительно в средство обогащения» [5, с. 41].

Характеризуя универсальный закон бюрократии, необходимо учитывать, что все общественные законы, действующие в различных конкретно-исторических условиях, непременно имеют свои специфические формы проявления. Специфика проявления универсального закона бюрократии в наших условиях определена многими факторами, и в частности тем, что становление капитализма совпало у нас с процессом становления украинской государственности. Но, думаю, самым значимым фактором является следующий:

*соблазн обогащения*, действующий повсюду в период раннего капитализма, в постсоветских условиях, *где имеется много оставшейся от прошлого «ничейной» собственности, становится всепоглощающим*. В этих условиях и сама политика становится теневой, срачиваясь с теневым бизнесом [18]. Этот всепоглощающий соблазн парализует общественно полезную деятельность и политиков, и чиновников, понуждая «сильных мира сего» погружаться в омут обогащения с небывалым азартом и алчностью. Общественно полезная деятельность подменяется бесконечными пресс-конференциями, заявлениями и декларациями, постоянным мельканием на телеэкранах, призванных камуфлировать сущность происходящего. В наших условиях этому параличу способствует и нестабильность политической ситуации, постоянное «перетягивание канатов» представителями различных ветвей власти, отсутствие профессионализма чиновников, который *в данных обстоятельствах является излишним*. И поэтому каждый раз, когда в ходе исследования вникаешь в различные сферы жизни нашего общества, постоянно сталкиваешься с недееспособностью, корыстолюбием, а зачастую и просто скудоумием наших чиновников, которые бесконечно далеки от веберовской «идеальной» бюрократии.

В заключение сошлюсь на то, как комментирует В. Виндельбанд в своей «Истории философии» поведение Бэкона на процессе. По мнению Виндельбанда, Бэкон «беспрекословно подчинился учиненному над ним следствию и наказанию, чтобы обвинения и наказания не коснулись еще более высокого лица» [1, с. 8]. К слову, король Яков I отменил наказание, которое ожидало Бэкона.

### ***Литература***

1. *Виндельбанд В.* История новой философии в ее связи с общей культурой и отдельными науками. — СПб., 1908. — Т. 1.
2. *Мендрас М.* Слабое государство и сильная администрация: к оценке российской бюрократии // Куда пришла Россия? Итоги социетальной трансформации. — М., 2003. — С. 47–50.
3. *Битэм Д.* Бюрократия // Социологический журнал. — 1997. — № 4. — С. 165–185.
4. *Бусова Н.* Макс Вебер и становление рыночного капитализма // Социология: теория, методы, маркетинг. — 1999. — № 3. — С. 119–135.
5. *Мясников О. Г., Макушин Т. А.* Правящая элита в контексте общественного развития // Константы. Альманах социальных исследований. — 1998. — № 2 (9). — С. 33–44.

6. *Иващенко О.* Работа и практика в трансформирующемся обществе в поисках новых стандартов // Социология: теория, методы, маркетинг. — 2002. — № 2. — С. 60–70.
7. *Иващенко О.* Новый институционализм в экономической социологии: теоретические основания исследовательских возможностей // Социология: теория, методы, маркетинг. — 2003. — № 1. — С. 60–70.
8. *Українське суспільство 1992–2002.* Соціологічний моніторинг. — К., 2003.
9. *Українське суспільство 1994–2004.* Соціологічний моніторинг. — К., 2004.
10. *Коррупция и коррупционеры* // Социальная реальность. — 2006. — № 10. — С. 100–102.
11. *Ходоривская Н.* Ситуационные негативы повседневности и адаптационные ресурсы человека // Социология: теория, методы, маркетинг. — 2004. — № 4. — С. 140–157.
12. *Яницкий О. И.* Теневые отношения в современной России // Социологические исследования. — 2001. — № 5. — С. 148–153.
13. *Барсукова С. Ю.* Неформальная экономика. Экономико-социологический анализ. — М., 2004.
14. *Головаха Е., Папина П.* Постсоветская деинституционализация и становление новых социальных институтов в украинском обществе // Социология: теория, методы, маркетинг. — 2001. — № 4. — С. 5–22.
15. *Сатаров Г.* Измерение бытовой коррупции в массовых социологических опросах // Вестник общественного мнения: Диалог. Анализ. Дискуссии. — 2006. — № 3 (83). — С. 25–32.
16. *Рущенко И.* Диалог социолога и юриста о латентной преступности, и не только об этом... // Социология: теория, методы, маркетинг. — 2001. — № 2. — С. 8–16.
17. *Бродель Ф.* Игры обмена // Бродель Ф. Материальная цивилизация, экономика и капитализм. — М., 1988. — Т. 2.
18. *Барсукова С. Ю.* Сращивание теневой экономики и теневой политики // Мир России. — 2006. — № 3. — С. 158–178.

## **СОЦИАЛЬНАЯ СПРАВЕДЛИВОСТЬ: ПРЕДСТАВЛЕНИЯ И ОЦЕНКИ РАБОЧИХ (В СОВТ. С Г. П. БЕССОКИРНОЙ)**

В последние годы внимание обществоведов обращено к идее справедливости. В. А. Ядов неоднократно высказывал мнение, что именно идея социальной справедливости должна объединить граждан России [см., например: 1]. В. А. Кузнецов пишет о справедливости как о стратегической идее для России и всего мира [2]. В. А. Найшуль, директор Института национальной модели экономики, выдвинул тезис о том, что если лозунгом революции 1991 г. была свобода, то лозунгом наступающей революции должна стать справедливость [3]. Аналогичную позицию занимает президент Института национального проекта «Общественный договор» А. А. Аузан, выступивший с лекцией «Договор-2008: критерии справедливости». В ней он рассуждает о справедливости в терминах современной западной институциональной теории и выдвигает гипотезу, в соответствии с которой объясняет актуальность идеи справедливости в настоящий период реформирования России. По его мнению, Россия находится на этапе завершения второго пореформенного договора о правлении. «Первому договору о правлении соответствовало понятие свободы, идея свободы — это 1990-е годы. Центральным понятием второго договора о правлении является стабильность. Я предполагаю, что для третьего договора о правлении, который наступит после 2008 года, центральной задачей, проблемой, болью, вызовом станет справедливость» [4].

Данное объяснение актуальности идеи справедливости наводит на мысль, что российская идеология реформирования как бы в сжатом виде повторяет путь западного либерализма: его эволюция как раз и состояла в том, что в процессе развития капитализма произошел поворот от идеи «свободы и эффективности» к идеям «справедливости» и «равенства». Аузан ссылается на концепцию справедливости Джона Ролза, появление которой, а также повсеместная ее популярность на Западе, как раз и свидетельствуют об определенном «развороте» либерализма. При этом Аузан обращает внимание на нестандартность концепции Ролза, состоящей в том, что Ролз пошел *не от ценности*,



*не от нравственности, а от представления, что справедливость — это то, о чем люди договариваются.*

Попытаемся вкратце изложить суть этой концепции, воспользовавшись интерпретацией Поля Рикера<sup>1</sup>, с тем, чтобы *объяснить актуализацию проблемы справедливости, а также использовать эти рассуждения для определения своей позиции и анализа полученных эмпирических данных.*

Действительно, идея договора является центральной в концепции Дж. Ролза. Речь идет о договоренности рациональных, «вменяемых» субъектов о том, как жить в условиях «социальной кооперации», руководствуясь не только своими интересами, но и интересами «Другого». По мнению Ролза, «принцип эффективности не может служить единственной концепцией справедливости. Следовательно, он должен быть чем-то дополнен» [6, с. 74].

Дополнение принципа не только эффективности, но и свободы, связанных с достижением «естественного достояния», приводит к необходимости осуществлять «распределение» («перераспределение») последнего. Именно распределение связывается с представлением о справедливости. «Интуитивно, — пишет Ролз, — наиболее явная несправедливость системы естественной свободы выражается в том, что распределение (distributive shares) находится под влиянием совершенно неподходящих факторов, столь *произвольных с моральной точки зрения*» (курсив наш. — И. П., Г. Б.) [6, с. 75].

Распределение достояния, направленное на «предотвращение чрезмерного накопления собственности и богатства» и осуществляемое «вменяемыми» личностями, не означает деления достояния на равные доли, ибо следует руководствоваться, по мнению Ролза, и «принципом различия», сочетающимся с принципом «честного равенства возможностей». Принцип различия, выражающий «фундаментальное значение социальной справедливости», как считает Ролз, «соответствует естественному значению братства: а именно — идее нежелания иметь большие преимущества, если это не направлено на выгоды других, менее хорошо устроенных» [6, с. 101]. Иными словами, при наличии «лучше» и «хуже устроенных» справедливость общества возможна. Однако «базисная структура общества», «структура институтов», *требуемая свободой и честным равенством возмож-*

---

<sup>1</sup> Поль Рикер, разъясняя используемый Ролзом термин «вменяемость», пишет, что он обозначает «способность признавать нас дающими отчет за наши действия на правах их подлинных авторов» [5, с. 184].

ностей, делает высокие ожидания лучше устроенных справедливыми, «...если и только если они работают как часть схемы, которая улучшает ожидания наименее преуспевших членов общества... Интуитивная идея состоит в том, что социальный порядок не заключается в установлении и сохранении наиболее привлекательных перспектив лучше устроенных, если только это не делается ради преимуществ менее удачливых» [6, с. 77].

Приводя эти рассуждения, мы хотели бы обратить внимание на ту роль, которую играют в них категории «базисная структура», «социальные институты», «социальный порядок», «социальная система», «социальные условия». Эти категории, на наш взгляд, как бы обуславливают своеобразную «объективизацию» справедливости, понимаемую фактически как *некоторое общественное устройство*, которое достигается посредством договора, консенсуса относительно распределения многообразных благ, включающих признание, награды, почести, а также самоуважение. Заметим также, что, хотя свое понимание справедливости Дж. Ролз называет «либеральной интерпретацией», многие пассажи из его обширного труда о справедливости вполне согласуются с социалистической риторикой. Например, утверждение о том, что шансы в приобретении культурного знания и умения не должны зависеть от классового положения, а школьная система должна быть предназначена для устранения классовых барьеров. «Развитие и совершенствование естественных способностей, — пишет Ролз, — зависят от социальных условий и классовых установок. Даже желание совершить усилие, стараться и заслужить похвалу зависят от удачных семейных и социальных обстоятельств» [6, с. 76]. Рассуждения о том, что все люди должны иметь одинаковые шансы и перспективы успеха в реализации своих способностей и талантов, «независимо от своего исходного положения в социальной системе», осуждение неравенства начальных шансов при вхождении в жизнь (неравенства «стартовых позиций») вполне созвучны нашим дискуссиям 1960–1970-х гг., вдохновляемым желанием совершенствовать «реальный социализм» и определить пути преодоления «существенных различий» и тем самым реализовать «идею социализма».

Но реально ли устранение классовых барьеров и во всяких ли социальных обстоятельствах возможно установление желательного консенсуса для преодоления нежелательных неравенств? Поль Рикер, анализирующий концепцию Ролза и размышляющий над тем, можно ли вообще говорить о неравенствах «более справедливых или,

по крайней мере, менее несправедливых, чем другие», рассуждает «о неравенствах, сопряженных с разнообразием вкладов в развитие общества, о различиях в квалификации, в компетенции, в эффективности осуществляемой ответственности и т. д.; о тех неравенствах, *расстаться с которыми не смогло или не захотело ни одно общество*»<sup>1</sup> (курсив наш. — И. П., Г. Б.) [5, с. 74]. По мнению П. Рикера, также относящего теории Дж. Ролза к концепциям либеральной демократии, Ролз «недооценил проблематику господства», без учета которой невозможно преодолеть возражения в «нереальности его идей, выдвигаемых в пользу «хорошо упорядоченного общества» [5, с. 87]. Он обратил внимание и на то, что все же «остается большой разрыв между проектом, нацеленным на равенство, то есть на ограничение господства, и проектом, имеющим в виду оправдание, то есть разумное обращение с тяжбами» [5, с. 96]. В связи с этим возникает вопрос: не является ли проблема справедливости (несправедливости), собственно говоря, не проблемой равенства (неравенства), а *проблемой его оправдания (либо не оправдания, осуждения)*. Имеет смысл также учитывать следующее обстоятельство: выражая солидарность с позицией Люка Болтански и Лорана Тевено, Рикер связывает проблематику господства с *представлением о государстве* и считает, что общественный договор характеризует ситуацию, когда общее благо удается определить как «благо государства» и когда воля, заставляющая граждан действовать, «обращена к общему интересу» [5, с. 99]. Возможно, «справедливость» как раз характеризует то, в какой степени государству удастся установленный порядок вещей выдать за «общий интерес» и получить одобрение, что, как известно, важно для общества, декларирующего свою демократичность.

Еще одно соображение Рикера относительно теории справедливости кажется нам заслуживающим внимания. Ролз, формулируя принципы справедливости, указывает на то, что они направлены на «смягчение» социальных случайностей и «естественного везения». Рикер же обращает внимание на необходимость «взаимоналожения» «правил справедливости» и «фона верований», фактически разделяемых в обществе. Для консенсуса важны не только практические правила, но и «верования» (представления об их справедливости), обеспечивающие поддержку правил существенным большинством

---

<sup>1</sup> Это, кстати, также симптоматично, если иметь в виду популярность в западном мире идеологии «социального государства», а также тенденцию, обозначаемую как «социализация капитала» [7].

политически активных граждан. Именно это «наложение», собственно говоря, и «умеряет» (если использовать выражение Рикера) идею консенсуса. Выявление связи между «правилами справедливости» и «фоном верований», попытку реконструировать позитивную связь между ними Рикер относит к числу амбициозных целей, которые можно поставить перед собой. Не эта ли амбициозная цель стоит и перед социологами, когда они пытаются фиксировать и *интерпретировать представления о справедливости* и ее оценки?

Выясняя *причины актуализации проблемы справедливости*, следует обратить внимание также на следующее высказывание Рикера: «Идея консенсуса через «взаимоналожение» остается идеей прагматической, выдвинутой, по меньшей мере, двухсотлетним опытом демократической практики» [5, с. 86]. О практическом благоразумии западной буржуазии, которая к идее перераспределения и необходимости делать «уступки» пришла в течение длительного периода своего функционирования, пишет и И. Валлерстайн [8, с. 76].

В отличие от западной, наша буржуазия не имеет собственного длительного опыта, но, к сожалению, не учитывает и чужой (как известно, «история ничему не учит»). *Отчасти* отсутствием собственного опыта капиталистического функционирования следует объяснить тот факт, что российские реформаторы игнорировали проблему справедливости, что обусловило характер постсоветской практики реформирования и ее социальные последствия. На это обратил внимание В. Э. Шляпентох в статье о равенстве и справедливости в России и США в 1990-е гг. Он указал на то, что российские либералы просто выбросили из своего лексикона слово «справедливость» [9, с. 250]. Анализируя эмпирические данные, Шляпентох пришел к выводу, что «социальное неравенство, которое так возмущало россиян в советский период, не идет ни в какое сравнение с ситуацией в постсоветской России» [9, с. 253–254]. Еще 10 лет назад Шляпентох писал о том, что если проблемы равенства и справедливости не вернуться в официальную политику, то это может стать важным преимуществом оппозиции нынешнему режиму [9, с. 258].

В 2006 г. Александр Аузан «честно признался» в том, что, будучи экономистом, прежде категорически отказывавшимся употреблять слово «справедливость», стал вынужден об этом говорить. Отвечая на вопрос, почему ему приходится так делать, он сослался на экономические показатели, характеризующие чрезмерную социальную поляризацию, и на то, что на протяжении последних 15 лет все эти показате-

тели бурно растут. «Это как с давлением, — заключает он, — инсульт может случиться» [4].

Опасность «общественного инсульта» как раз и пробуждает интерес к идее справедливости на постсоветском пространстве. Не случайно в последние годы к этой идее обращаются не только ученые (Аузан, Прокофьев, Кочергин и др.), но и политики, широко использующие для названия партий, а также в политическом дискурсе понятие «справедливость». Не существует ли опасность того, что «справедливость» станет новым средством мифологизации, у которого вероятность прижиться в нашей социально-культурной среде большая, чем у «свободы» и «демократии»? Ведь практически общепризнано, что *социальная справедливость — фундаментальная ценность российской культуры*, в том числе и на современном этапе ее развития.

Ответ на вопрос, не может ли идея справедливости стать средством мифологизации, связан также с решением *исследовательской проблемы*, которую Рикер называет проблемой «наложения» практических<sup>1</sup> правил и «фоновых верований». Но в этом, очевидно, состоит уточнение «рользовской» концепции справедливости, специфика которой, как отмечалось, заключается в переводе ценностной проблематики в «договорную», или, как считает Рикер, в переходе от «деонтологической» точки зрения к рассуждениям в терминах «практических правил» и «практической мудрости» [5, с. 238]. На самом деле, решая проблему справедливости, налагая друг на друга «верования» и «практические правила», мы решаем вопрос о *взаимоотношении представлений* о справедливости с «*базисной структурой*», *характеризующей реальное распределение и перераспределение общественных благ*. При этом представления о справедливости — это не «реальные суждения», если использовать терминологию Э. Дюркгейма. Суждения справедливости, по Дюркгейму, — это «суждения ценности». Справедливость находится в плоскости рассуждений о ценности и оценочных отношений, *хотя и выходит за их границы*. Вопросы, которые в данном случае возникают, состоят в следующем: как формируются «верования», ценности — символы, способствующие «принятию» практических правил распределения, либо приводящие к их отторжению, и какую роль при этом играют практические отношения? Всегда ли соответствие между практическими правилами

---

<sup>1</sup> О демократии как средстве мифологизации и идентификации см.: [10].

и ценностями-символами способствует общественному развитию и личностному совершенствованию? Какая степень несоответствия допустима и имеются ли возможности у исследователя ее определить? Все это — *аспекты исследовательской проблемы применительно к социальной справедливости*. В ее основе лежит противоречие между тем, что, с одной стороны, соответствие «верований» «практическим правилам» есть благо, ибо оно — свидетельство консенсуса и относительной стабильности, с другой — неприятие практических правил и осознание их несправедливости, являющееся выражением кризиса общества, может стать необходимым условием совершенствования общества, его развития. Соответственно актуальной задачей для социологов в современных условиях представляется анализ *динамики оценок социальной справедливости, выявление тех сторон жизнедеятельности, которые расцениваются людьми как несправедливые*.

*Социальные проблемы труда* представляют собой особый аспект исследования представлений о социальной справедливости и их связи с «базисной структурой». Именно в результате исследования ценностей труда и трудовых ориентации В. С. Магун сделал заключение о том, что «общая установка на справедливость» является одним из «моральных императивов, легитимизировавших фундаментальные социальные перемены конца 1980-х — начала 1990-х гг. прошлого столетия и остающихся важным и в сегодняшней повестке дня» [12, с. 16].

Как влияют представления о социальной справедливости на трудовую мотивацию и отношение к труду рабочих? Существует ли связь между социальным самочувствием рабочих и их оценками социальной справедливости? Что понимается под справедливым вознаграждением за труд? Как связано осознание справедливости различных сторон трудовой деятельности с характером труда, в частности с его возможностью быть фактором развития личности? В настоящей статье предпринята попытка дать ответы на некоторые из поставленных вопросов. С этой целью используются результаты социологических исследований, проведенных в 1989 г. в Одессе и в 2007 г. в Пскове, Брянске и Кирове<sup>1</sup> при участии авторов данной статьи. В ряде случаев для сравнительного анализа привлекаются данные социологического

---

<sup>1</sup> Под «реальными» суждениями Э. Дюркгейм понимал суждения, которые выражают «то, что есть». А под «ценностными суждениями» — высказывания не о том, «чем вещи являются «сами по себе», а о том, «какую ценность они представляют по отношению к сознательному субъекту» [11, с. 106].

исследования, проведенного в Пскове, Брянске и Кирове в 2003 г. на тех же объектах, что и в 2007-м.

Мы руководствовались следующими соображениями:

– «социальная справедливость» — это ценностное отношение, характеризующее оценку принятых в обществе правил распределения многообразных благ и услуг, *не обязательно имеющих денежное выражение*;

– представления о справедливости / несправедливости являются *элементами общей системы ценностей* и определяются структурой последней;

– «справедливость» зависит не только от состояния объекта оценки (реального распределения благ), но и *от притязаний субъекта ценностного отношения*<sup>1</sup>;

– соответственно, *более остро будет переживаться (оцениваться как «несправедливое») недостаток тех благ, которые ценятся более, чем другие*<sup>2</sup>.

### **Социальная справедливость в 1989 году**

Кризисная ситуация, возникшая в советском обществе в конце 1980-х гг., стимулировала социологические исследования социальной справедливости. На Украине, например, в 1989 г. такое исследование, проводимое в разных регионах по сопоставимой методике, было инициировано ЦК КПУ, что давало возможность получить относительно обобщенные данные. Результаты этого исследования приведены в одном из разделов книги «1989—1991. Диагноз времени» [13]. Далее остановимся на основных, заслуживающих особого внимания выводах, которые были сделаны в результате данного исследования и которые учитывались в наших дальнейших проектах.

---

<sup>1</sup> В Одессе исследование проводилось по заданию ЦК КПУ социологической лабораторией Одесского университета под руководством И. М. Поповой по репрезентативной выборке занятого населения. Выборка трехступенчатая, на последнем этапе — квотная. Контролируемые переменные — отрасль народного хозяйства, пол, возраст, профессия (должность) трудящихся. Исследованием охвачено 20 предприятий, опрошено 909 человек, в том числе 246 рабочих промышленных предприятий.

<sup>2</sup> Это исследование проведено сектором изучения повседневной деятельности и бюджета времени Института социологии РАН под руководством В. Д. Патрушева. Выборка целевая. Осуществлен опрос всех присутствующих на рабочих местах в цехах основного производства на трех крупных машиностроительных предприятиях. Объем выборки 417 человек.

Прежде всего, укажем на то, что для подавляющего большинства наших соотечественников *представление о справедливости было значимо*: более 70 % опрошенных выбрали позицию «Лично для меня социальная справедливость имеет очень большое значение» и отметили, что они *глубоко переживают любые проявления несправедливости даже тогда, когда лично их это не касается*. Судя по данным опроса, страна в тот период переживала острый кризис справедливости: подавляющее большинство респондентов говорили, что нарушения справедливости в обществе носят массовый характер и встречаются на разных уровнях. Большинство считало также, что после пяти лет перестройки положение дел в этой сфере либо не изменилось, либо ухудшилось.

Не вызывает сомнений *ценностная природа представлений о социальной справедливости, их зависимость от господствовавшей в массовом сознании того периода системы ценностей*. Это выразилось, во-первых, в известной «унификации» представлений о справедливости и ее оценках, относительной независимости их от социально-демографических характеристик (включая этнические) опрошенных. Во-вторых, массовое сознание транслировало представления о справедливости, заложенные в «социалистической системе ценностей».

Ответы на вопрос «Какое общество является справедливым?» свидетельствовали, что представления рабочих промышленных предприятий не отличались от представлений других групп трудящихся. Абсолютное большинство рабочих считали справедливым общество, в котором:

- каждый может участвовать в обсуждении, выработке и принятии решений по важнейшим вопросам (75 %);
- все имеют равные возможности для реализации своих способностей, одинаковые возможности добиться успеха в жизни (73 %);
- справедливо все то, что соответствует общечеловеческой морали, нравственно (70 %);
- различия в уровне жизни, благосостоянии людей могут быть существенными, но они зависят только от трудового вклада (68 %).

Немного более половины опрошенных считали справедливым общество, в котором всем людям предоставляется возможность удовлетворять свои насущные потребности независимо от величины трудового вклада (53 %). Менее половины разделяли мнение, что справедливо все то, что не противоречит принятым законам, (44 %) и что справедливо то общество, в котором отсутствуют существенные различия в уровне жизни, благосостоянии людей (42 %).



Факторный анализ суждений о справедливом обществе выявил три фактора, которые можно условно обозначить как три модели справедливого общества: *первый фактор* — «*Обновленный социализм*» (с наибольшими нагрузками в него вошли суждения «Справедливо то общество, в котором все имеют равные условия для реализации своих способностей, одинаковые возможности добиться успеха в жизни», «В справедливом обществе каждый может участвовать в обсуждении, выработке и принятии решений по важнейшим вопросам», «Справедливо все то, что соответствует общечеловеческой морали, нравственности»); *второй фактор* — «*Реальный социализм*» (в него входят с наибольшими нагрузками суждения «Справедливо все то, что не противоречит принятым законам» и «Различия в уровне жизни, благосостоянии людей могут быть существенными, но в справедливом обществе они зависят только от трудового вклада»); *третий фактор* — «*Наивный коммунизм*» (в него входят с наибольшими нагрузками суждения «Справедливое общество должно предоставить всем людям возможность удовлетворять свои насущные потребности (в жилье, питании и т. п.) независимо от величины трудового вклада» и «Справедливо то общество, в котором отсутствуют существенные различия в уровне жизни, благосостоянии людей»). Выяснилось, что *распространенность трех моделей справедливого общества не связана не только с социально-демографическими (пол, возраст, образование) характеристиками рабочих, но и с их принадлежностью к КПСС и ВЛКСМ.*

Рассматривая *справедливость в аспекте проблем труда*, отметим то, что при общем преобладании оценок, указывающих на несправедливое положение дел, справедливость в трудовом коллективе оценивалась выше, чем в обществе в целом. В то же время большинство рабочих считали, что нарушения социальной справедливости в коллективе встречаются «не так уж редко» (60 %). При этом, однако, только каждый пятый рабочий отметил, что они «широко распространены» и чуть меньше было тех рабочих, которые выбрали вариант ответа «практически не бывают». О *характере нарушений социальной справедливости в трудовых коллективах* свидетельствуют ее оценки в разных сферах их производственной и внепроизводственной деятельности. Рабочие отмечали нарушение справедливости в самых разных вопросах — при распределении жилья и путевок в санатории и дома отдыха, при повышении квалификационного разряда, при обсуждении, выработке и принятии решений по наиболее

важным вопросам жизни коллектива, однако в 1989 г. чаще всего они говорили о том, что *несправедливость допускается в первую очередь в оплате труда* (на это указали более половины опрошенных). Эти ответы, с нашей точки зрения, демонстрировали, какое место среди ценностей труда в этот период времени занимало материальное вознаграждение.

К этому времени (в сравнении с 1970-ми гг.) в системе ценностей труда явно повысилось значение заработка (денежного вознаграждения) и, соответственно, это повышение сказалось и на оценках справедливости различных сторон трудовой деятельности: именно оплату труда считали наименее справедливой. О повышении значимости материального вознаграждения в сознании рабочих свидетельствуют и другие данные. Так, наряду с общими оценками социальной справедливости в трудовом коллективе нами фиксировались и две индивидуальные оценки оплаты труда («Считаете ли Вы справедливой оплату Вашего труда?» и «Соответствуют ли Ваши заработки величине Вашего трудового вклада?»). В 1989 г. только 15 % рабочих считали оплату своего труда справедливой. Большинство рабочих (65 %) ответили, что они получают меньше, чем заслуживают. В представлениях о справедливости вполне определенно, таким образом, *выражен сдвиг ценностей труда в сторону прагматизации*, который проявился также и в мотивации труда (мотивах-суждениях, имеющих также ценностную природу).

Этот «сдвиг», однако, *сочетался с признанием рабочими большого значения возможности проявить себя, реализовать свои способности*, что обнаружилось, как отмечалось выше, в понимании ими того, какое общество является справедливым. Это сочетание вполне соответствовало особенностям определенного периода развития советского общества. Не случайно в социологической литературе к этому времени был поднят вопрос о необходимости переосмысления формулы социализма — «от каждого по способностям, каждому по труду» с тем, чтобы обратить внимание на первую ее часть. Именно *в создании условий для реализации способностей видели социальные резервы совершенствования труда, а соответственно, и возможности повышения уровня вознаграждения за труд* [15]. В ряде публикаций обращалось внимание на то, что при практически неограниченном наличии рабочих мест и отсутствии «явной» безработицы существует безработица «скрытая», означающая недостаток рабочих мест, соответствующих профессиональной подготовке и способностям работников. Эта

*реальная ситуация и трансляция идей, соответствующих<sup>1</sup> распространенной в тот период модели социализма, обусловила функционировавшие в массовом сознании представления о справедливости и ее оценки.*

Следует иметь в виду и то, что к представлениям о справедливости общества, предоставляющего равные возможности для реализации способностей, близко примыкали представления о справедливости общества, в котором различия в благосостоянии могут быть существенными, но при этом они *должны зависеть только от трудового вклада*. Впоследствии наши данные, свидетельствующие о распространенности понимания труда как ценности и единственного средства достижения «заработанного благосостояния», позволили отнести такое понимание справедливости к «самоочевидным представлениям» [16, с. 129]. Есть основание также квалифицировать данное представление как «*трудовую интерпретацию справедливости*», что и сделала Н. Ф. Наумова, опираясь на результаты повторных телефонных опросов москвичей в 1990, 1991 и 1993 гг. Она заключила также, что трудовая интерпретация справедливости остается «ведущим элементом системы ценностных ориентации в переходном обществе» [17, с. 15].

Отметим, что наши данные противоречили распространенному в тот период в научной среде мнению, что для советского массового сознания характерна идея «уравнительности», которая якобы является препятствием для повышения производительности труда. Интересно, что отправленная нами в те годы в редакцию «Социологических исследований» статья под названием «Уравнительность — иллюзия массового сознания?», в которой приводились результаты исследований, свидетельствовавшие об отсутствии «уравнительных представлений» в массовом сознании, была опубликована без вопросительного знака. «Новое» название, не согласованное с автором, не соответствовало основному смыслу содержащихся в статье материалов, которые свидетельствовали, что «уравнительность» — это иллюзия совсем не массового сознания, ибо в иерархии массовых представлений о справедливом обществе уравнительные представления занимают одно из последних мест [18].

Далее остановимся вкратце на характеристике связи представлений рабочих о справедливости с их оценками социального самочувствия. В 1989 г. социальное самочувствие фиксировалось как оценки

---

<sup>1</sup> Подробнее о ценностной природе вербально выраженных мотивах-суждениях см.: [14].

удовлетворенности работой на предприятии, уровнем жизни, жизнью в целом и уверенность в завтрашнем дне. Оказалось, что оценки удовлетворенности уровнем жизни и жизнью в целом тесно связаны только с двумя индивидуальными оценками оплаты труда, при этом в большей степени — с оценкой соответствия зарплаток трудовому вкладу и в меньшей — с оценкой справедливости оплаты собственного труда. На основании полученных данных можно было говорить о *существенном влиянии оценки соответствия зарплаток трудовому вкладу на оценку удовлетворенности уровнем жизни* ( $\lambda = 0,177$ ) и о *незначительном влиянии оценки соответствия зарплаток трудовому вкладу и оценки справедливости оплаты труда на оценку удовлетворенности жизнью в целом*.

В то же время оценки удовлетворенности работой на предприятии и уверенности в завтрашнем дне были теснее связаны с *оценками общей ситуации в трудовом коллективе, чем с оценкой справедливости оплаты своего труда*. Между оценками социального самочувствия и оценкой соответствия зарплаток трудовому вкладу статистически значимых связей зафиксировано не было. Общая оценка социальной справедливости в трудовом коллективе влияла на удовлетворенность работой на предприятии ( $\lambda = 0,248$ ) и даже на уверенность в завтрашнем дне ( $X = 0,117$ ). На удовлетворенность работой на предприятии также существенно влияла оценка справедливости оплаты труда в трудовом коллективе ( $\lambda = 0,152$ ) и в меньшей степени — оценка справедливости оплаты собственного труда ( $\lambda = 0,113$ ). Выходит, что *при выражении удовлетворенности работой на предприятии общая ситуация в трудовом коллективе заботила рабочих более, чем оценка своего собственного положения*.

Возвращаясь к моделям справедливого общества и рассматривая их в аспекте оценок справедливости различных сторон трудовой деятельности, укажем на наличие взаимосвязи между выбором той или иной модели справедливого общества и названными оценками. Например, рабочие, выбиравшие в качестве справедливого общества «реальный социализм», оценивали существующую ситуацию в трудовом коллективе как более благоприятную. Треть из них считали, что нарушений справедливости в трудовом коллективе практически не бывает (в среднем — каждый пятый), а четверть — что и в оплате труда справедливость в трудовом коллективе никогда не нарушается (в среднем — только 14 %). Треть (35 %) тех рабочих, кто выбрал в качестве справедливого общества «наивный коммунизм», также

полагали, что нарушений социальной справедливости в трудовом коллективе практически не бывает. Напротив, рабочие, выбиравшие в качестве справедливого общества «обновленный социализм», оценивали существующую ситуацию более критично: только 15 % из них полагали, что нарушений справедливости в трудовом коллективе практически не бывает, и лишь 11 % считали справедливой оплату своего труда. *Эти данные свидетельствовали о том, что общая социальная установка была связана с оценками справедливости в трудовом коллективе.*

В 1989 г. были получены интересные данные при изучении *взаимосвязей между оценками социальной справедливости и экономическими показателями деятельности трудовых коллективов*<sup>1</sup>. Оказалось, что существует тесная прямая связь между темпами роста производительности труда и такими переменными, как оценка социальной справедливости при обсуждении, выработке и принятии решений по наиболее важным вопросам жизни коллектива и оценка справедливости оплаты труда в трудовом коллективе. Заметим, что это не вполне соответствовало представлению, согласно которому определяющим фактором повышения производительности труда является, главным образом, денежное вознаграждение. Связь между оценками социальной справедливости и экономическими показателями носила в целом довольно сложный характер<sup>2</sup>. Например, было установлено, что более низкие оценки социальной справедливости сопряжены с большим размером прибыли, направляемой в фонды предприятия (в том числе в фонд материального поощрения). Мы считали, что это объяснялось отсутствием эффективного механизма оценки вклада каждого работника в конечные результаты деятельности трудового коллектива.

Важное заключение, сделанное в тот период, состояло в следующем: *оценки социальной справедливости достаточно адекватно отражали реальное состояние социальной сферы.* Это выразилось, в частности, в том, что большему размеру прибыли, направляемой в фонд социального развития, соответствовали относительно высокие оценки социальной справедливости отдельных сторон внепроизводственной деятельности и общая оценка социальной справедливости.

---

<sup>1</sup> Методика сбора объективных данных о деятельности трудовых коллективов, составленная Г. П. Бессокирной, описана в: [13, с. 195–202].

<sup>2</sup> Подробнее об этом см.: [13, с. 66–70].

Впоследствии для лучшего понимания взаимосвязей между оценками социальной справедливости и экономическими показателями работы промышленных предприятий в качестве вторичного анализа был осуществлен дискриминантный анализ, позволивший сделать ряд дополнительных выводов. Выяснилось, что для прогноза общей оценки социальной справедливости и справедливости в оплате труда в трудовом коллективе информативными являлись, в первую очередь, прибыль, направляемая в фонд социального развития, и прибыль, направляемая в фонды предприятия, и только во вторую — темпы роста производительности труда и прибыль. Для прогноза оценки соответствия зарплаток трудовому вкладу наиболее информативными переменными были прибыль, направляемая в фонды предприятия, прибыль и среднемесячная зарплата промышленно-производственного персонала. Как видим, наряду с экономическими показателями *для достижения социальной справедливости необходимы соответствующие механизмы перераспределения прибыли*. Возможно, поэтому для прогноза оценки справедливости оплаты собственного труда экономические показатели не являлись информативными.

### **Социальная справедливость в 2007 году**

Какова ситуация в России в 2000-х гг.? Как изменились представления людей о социальной справедливости в период стабилизации?

Всероссийский опрос, проведенный в апреле—мае 2006 г., показал, что лишь 9 % россиян не ощущали за последний год несправедливости происходящего, 44 % россиян эта мысль посещала «часто», а 45 % переживали из-за нее «иногда» [19, с. 180]. Оценивая изменение положения дел за период стабилизации, только 11 % россиян отметили, что ситуация с социальной справедливостью улучшилась. Почти втрое больше было тех, кто выбрал вариант ответа «ситуация ухудшилась» (30 %). Большинство (58 %) полагали, что ситуация осталась прежней [19, с. 330]. Эти данные тем более тревожны, если исходить из концепции справедливости Дж. Александера, связывающего справедливость с солидарностью и гражданственностью [20].

Как обстоит дело в трудовых коллективах? Каковы представления рабочих о социальной справедливости? Как связано решение общесоциальных задач с проблемами трудовой мотивации? А. Л. Темницкий, исследовавший оценки справедливости работниками промышлен-

ленных предприятий России в 1996–2004 г., пришел, в частности, к такому заключению: «Справедливость как ценностная ориентация предполагает прежде всего соответствие вознаграждения трудовому вкладу работника и, как правило, связывается с решением не общесоциальных, а локальных проблем (на уровне отдельного предприятия, отрасли)... Поведение людей регулируется не столько объективным уровнем, сколько субъективным восприятием социальной справедливости политики руководства» [21, с. 82]. Характеризуя динамику оценок справедливости оплаты труда за указанный период, Темницкий, в частности, обращает внимание на значительное увеличение количества тех, кто считает оплату своего труда «определенно несправедливой» (с 36 % до 58 %) [21, с. 83].

Как рабочие оценивают социальную справедливость в трудовых коллективах в настоящее время? Отвечая на вопрос о распространенности нарушений социальной справедливости в трудовых коллективах, большинство рабочих (61 %) выбрали ответ «иногда встречаются», каждый пятый — ответ «довольно часто» и чуть меньше — «практически не бывают». Оценивая изменения в ситуации за последние годы, большинство рабочих (71 %) сказали, что число нарушений социальной справедливости не изменилось.

В каких сферах наиболее распространены случаи нарушения социальной справедливости в трудовых коллективах? По мнению рабочих, социальная справедливость нарушается при предоставлении обязательных социальных гарантий, повышении квалификационного разряда, обсуждении, выработке и принятии решений по наиболее важным вопросам жизни коллектива, при устройстве на работу, увольнении с работы, при предоставлении дополнительных социальных льгот и, главное, *в оплате труда* (48 % рабочих выбрали вариант ответа «часто»).

В 2007 г. только 7 % рабочих считали оплату своего труда справедливой. Большинство рабочих (74 %) получают, по их мнению, меньше, чем заслуживают. Нельзя не отметить, что в 2003 г. таких рабочих было еще больше (84 %). Число рабочих, в той или иной степени удовлетворенных заработком, увеличилось за период 2003–2007 гг. с 12 до 33 %. Однако большинство рабочих размер их заработка не удовлетворяет: 88 % в 2003 г., 67 % в 2007 г. Наши данные еще раз подтверждают, что уровень оплаты труда занятых, как будто бы нормально работающих и получающих зарплату людей остается главной и острой проблемой [22]. В исследовании 2007 г. изучалось мнение рабочих о

факторах, которые влияют на размер зарплаты. Установлено, что не менее половины рабочих считают, что *размер зарплаты «значительно зависит» не только от результатов работы участка, цеха и личного трудового вклада, но и от взаимоотношений с руководством. В гораздо меньшей степени размер зарплаты «значительно зависит», по мнению рабочих, от конечных результатов работы предприятия (40 %) и уровня квалификации (39 %).* Выяснилось, что оценки справедливости оплаты собственного труда и соответствия заработков трудовому вкладу выше у тех респондентов, которые считают, что размер зарплаты *«значительно зависит»* от конечных результатов работы предприятия и уровня квалификации рабочих и *«не зависит»* от взаимоотношений с руководством (табл. 1).

Таблица 1

**Взаимосвязь оценок факторов, определяющих размер зарплаты, с оценками справедливости оплаты своего труда и соответствия заработков трудовому вкладу, % от числа ответивших\***

Оценки факторов, определяющих размер зарплаты	Считаете ли Вы справедливой оплату Вашего труда?		Соответствуют ли, по Вашему мнению, Ваш среднемесячный заработок величине личного трудового вклада?	
	Нет	Да	Получаю меньше	Получаю примерно столько, сколько заслуживаю
Размер зарплаты зависит от конечных результатов работы предприятия:				
значительно	48	10	65	35
не зависит	74	1	87	12
Размер зарплаты зависит от квалификации:				
значительно	45	11	62	37
не зависит	68	7	79	19
Размер зарплаты зависит от взаимоотношений с руководством:				
значительно	72	1	87	12
не зависит	49	18	59	40

\*Примечание: Сумма ответов не равна 100 %, так как в вопроснике был вариант ответа на первый вопрос «иногда да, иногда нет», а на второй — «получаю больше».

Приведенные данные, с нашей точки зрения, свидетельствуют о том, что эффективный механизм оценки вклада каждого работника в конечные результаты деятельности трудового коллектива по-прежнему отсутствует.



*Оценки справедливости и социальное самочувствие.* Анализ динамики социального самочувствия рабочих Пскова за 1986–2007 гг. показал, что по важнейшим аспектам повседневной жизни до сих пор не достигнут уровень 1980-х гг. [23]. Особенно резко за годы реформ снизились удовлетворенность материальным положением и удовлетворенность работой на предприятии. На обследованных машиностроительных заводах в 2007 г. большинство рабочих были в той или иной степени не удовлетворены своим материальным положением. Индекс удовлетворенности материальным положением, рассчитанный по 5-балльной шкале, составил всего 2,25 балла. В сложившихся условиях большинству рабочих хватает денежных доходов только на самое необходимое: питание, оплату коммунальных услуг, недорогую одежду, обувь. Только одному из трех рабочих денежные доходы позволяют нормально питаться, одеваться, но и у них покупка вещей длительного пользования вызывает затруднения. Неудивительно, что в 2003 г. 37 %, а в 2007 г. 39 % рабочих отнесли себя и свои семьи к бедным людям. Несколько выше оценки удовлетворенности работой на предприятии и жизнью в целом. Удовлетворенность работой на предприятии — 3,23 балла, а удовлетворенность жизнью в целом — 3,28 балла.

В таблице 2 представлены результаты анализа взаимосвязей между оценками социальной справедливости и показателями социального самочувствия.

Выяснилось, что удовлетворенность материальным положением тесно связана не только с оценками справедливости оплаты своего труда и соответствия заработков трудовому вкладу, но и, в не меньшей степени, с оценкой справедливости оплаты труда в коллективе. Теснота связи между индивидуальными оценками справедливости оплаты труда и удовлетворенностью уровнем жизни (материальным положением) увеличилась. Удовлетворенность жизнью в целом тесно связана со всеми четырьмя оценками социальной справедливости. Вспомним, что в 1989 г. удовлетворенность уровнем жизни и удовлетворенность жизнью в целом были связаны только с индивидуальными оценками справедливости оплаты труда. Эти данные, по-видимому, свидетельствуют о *росте влияния общей ситуации на предприятии на показатели социального самочувствия.*

Требуется специальное объяснение и выявленные изменения тесноты взаимосвязей между оценками социальной справедливости и удовлетворенностью работой на предприятии. Если в 1989 г. удовлетворенность работой на предприятии была теснее связана с об-

щими, чем индивидуальными оценками социальной справедливости, то в 2007 г. теснее стали связи с индивидуальными оценками справедливости оплаты труда, а связь с общей оценкой социальной справедливости в трудовом коллективе вообще отсутствует. При этом

Таблица 2

**Взаимосвязь оценок социальной справедливости и показателей социального самочувствия\***

Оценки социальной справедливости	Удовлетворенность работой на предприятии		Удовлетворенность уровнем жизни (материальным положением)		Удовлетворенность жизнью в целом	
	V	$\lambda$	V	$\lambda$	V	$\lambda$
Справедливость оплаты своего труда						
1989	0.199	0.113	0.182		0.235	0.48
2007	0.266		0.358		0.168	
Соответствие заработков трудовому вкладу						
1989			0.312	0.177	0.311	0.049
2007	0.275		0.383	0.123	0.186	
Справедливость оплаты труда в коллективе						
1989	0.294	0.152				
2007	0.199		0.301		0.231	
Общая оценка социальной справедливости в трудовом коллективе						
1989	0.402	0.248				
2007					0.189	

*\*Примечание:* Приведены коэффициенты Крамера V, значимые на уровне  $<0,05$ . Коэффициенты  $\lambda$  свидетельствуют о «влиянии» оценок социальной справедливости на показатели социального самочувствия. Если присутствует коэффициент V, а коэффициент X отсутствует, то это значит, что обратное влияние показателя социального самочувствия на оценку социальной справедливости не меньше, а то и больше.

все оценки социальной справедливости перестали «влиять» на удовлетворенность работой на предприятии. Можно предположить, что зафиксированный факт связан с гипертрофированным ростом заработка среди мотивов труда, с одной стороны, и низкими оценками удовлетворенности размером заработка и удовлетворенности материальным положением — с другой, следствием чего стало *снижение для рабочих ценности труда на предприятии*<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> Подробнее об этом см.: [24].

Нельзя не упомянуть и о том, что если в 1989 г. значительное число рабочих отмечали случаи несправедливости при повышении квалификационного разряда и при обсуждении, выработке и принятии решений по наиболее важным вопросам жизни коллектива, то в 2007 г. таких рабочих стало существенно меньше. Как выяснилось, мотивы «постоянное повышение квалификации» и «участие в обсуждении, выработке и принятии решений о жизни коллектива» находятся в настоящее время на последних местах в иерархии мотивов-суждений.

Взаимосвязь оценок социальной справедливости и показателей социального самочувствия рабочих требует, безусловно, более глубокого анализа. Несмотря на отсутствие «влияния» оценок социальной справедливости на показатели социального самочувствия, связь между феноменами, стоящими за этими переменными, несомненно, существует. Необходим поиск дополнительных переменных, которые позволили бы эту связь выявить. Одной из таких переменных может быть, по нашему мнению, успешность / неуспешность экономической деятельности трудового коллектива.

Требует дальнейшего изучения и «влияние» оценок социальной справедливости на трудовое поведение. В пользу этого говорят, в частности, ответы респондентов на вопрос «Стали бы Вы работать больше и лучше, если бы оплата труда соответствовала личному трудовому вкладу?». По словам 29 % рабочих, в этом случае они стали бы работать *гораздо интенсивнее* (опрос 2007 г., в 2003 г. подобный ответ дали 22 % рабочих), а 51 % рабочих — *несколько интенсивнее*. Как видим, абсолютное большинство (80 %) рабочих в настоящее время могли бы увеличить эффективность своего труда, если бы оплата труда соответствовала их трудовому вкладу.

Приведенные результаты исследования, надеемся, помогут понять работодателям, что право рабочего «на справедливую заработную плату, обеспечивающую достойное человека существование для него самого и его семьи», зафиксированное в Трудовом кодексе, должно реализоваться не только для улучшения социального самочувствия рабочих, но и для повышения эффективности работы предприятия.

Не менее важным, с нашей точки зрения, является и изменение отношения наемных работников к нарушениям социальной справедливости в трудовых коллективах.

### **Отношение людей к нарушениям социальной справедливости в трудовых коллективах и успехи в борьбе с ними**

В 1989 г. в трудовых коллективах было широко распространено безразличное отношение к нарушениям социальной справедливости: 38 % опрошенных говорили, что члены их трудовых коллективов «осуждают несправедливость лишь в разговорах с товарищами, открыто против нее не выступают», «равнодушно, безразлично относятся к происходящему» и даже «пытаются оправдать несправедливость». Почти треть респондентов сказали, что их товарищи по работе «выступают против несправедливости только в том случае, если затронуты личные интересы». Впрочем, не меньше было и тех, кто при ответе на вопрос об отношении людей к несправедливости выбирал<sup>1</sup> варианты ответа «активно выступают против любых проявлений несправедливости» и «пытаются противостоять лишь наиболее вопиющим фактам нарушения справедливости» (табл. 3).

Таблица 3

**Распределение ответов на вопрос: «С каким отношением людей к нарушениям социальной справедливости в коллективе Вам чаще всего приходилось сталкиваться за последние годы?», % ответивших**

Варианты ответов	1989	2007
Как правило, активно борются против любых проявлений социальной несправедливости	11,2	6,7
Обычно пытаются противодействовать лишь наиболее вопиющим фактам нарушения справедливости	20,5	14,4
Выступают против несправедливости только в том случае, если затронуты их личные интересы	30,8	39,3
Осуждают несправедливость лишь в разговорах с товарищами, открыто против нее не выступают	28,1	32,6
Равнодушное, безразличное отношение к происходящему	5,8	3,9
Пытаются оправдать случаи социальной несправедливости	3,6	3,1

Как относятся сегодня в трудовых коллективах к нарушениям социальной справедливости? Судя по ответам, открыто выступает против несправедливости только каждый пятый, выступают лишь в том случае,

<sup>1</sup> Единственное исключение: «влияние» оценки соответствия заработков трудовому вкладу на удовлетворенность материальным положением.

если затронуты их личные интересы, — четверо из десяти, примерно столько же проявляют безразличное отношение к происходящему.

Успешны ли действия тех, кто выступает против несправедливости в трудовом коллективе? В 1989 г. отрицательно на этот вопрос ответили 36 % рабочих, в 2007 г. — уже более половины (53 %).

Таким образом, борьба с несправедливостью в трудовых коллективах приобрела более индивидуальный характер и стала менее успешной.

### **Некоторые итоги**

Сложившаяся в 2007 г. ситуация в трудовых коллективах во многом напоминает ситуацию 1989 года. Главная сфера нарушений социальной справедливости — это по-прежнему оплата труда. При этом вдвое меньше стало тех рабочих, кто считает оплату своего труда справедливой. Соответственно, стало больше тех, кто получает, по их мнению, меньше заслуженного.

Ситуация в борьбе с несправедливостью в трудовых коллективах в настоящее время хуже, чем в 1989 г. Меньше стало людей, которые открыто выступают против несправедливости. Больше стало тех, кто выступает против несправедливости только в том случае, если затронуты их личные интересы. Снизилась и успешность действий против несправедливости.

Укрепление социальной справедливости в трудовых коллективах следует начать с устранения самой вопиющей несправедливости — в оплате труда рабочих. Надо стремиться к тому, чтобы размер заработка рабочих был связан с их квалификацией и результатами работы предприятия в целом, а не с взаимоотношениями с руководством.

Общие оценки социальной справедливости в трудовом коллективе влияют на социальное самочувствие рабочих в не меньшей степени, чем индивидуальные оценки справедливости оплаты труда.

Общая оценка социальной справедливости в трудовом коллективе может выступать, по-видимому, в качестве самостоятельного показателя социального самочувствия рабочих. Она свидетельствует о степени социальной солидарности работодателя и наемных работников.

### ***Литература***

1. Ядов В. А. Труд в системе жизненных ценностей // Человек и труд. 2000. № 1. С. 43.

2. Кузнецов В. Н. Социология мироустройства XXI века (Проект России): традиции и новизна. М: Изд-во журнала «Безопасность Евразии», 2007. С. 35.
3. Найшуль В. А. Революция и справедливость. М.: ОГИ, 2005. С. 7.
4. Аузан А. А. Договор-2008: критерии справедливости [on line]. Дата обращения: 03.03.2008. URL: <<http://www.polit.ru/lectures/2006/05/18/auzan.html>>.
5. Рикер П. Справедливое. М.: Гнозис-Логос, 2005.
6. Ролз Дж. Теория справедливости. Новосибирск: Новосибирск. ун-т, 1995.
7. Плетников Ю. К. Социализация капитала: проблема и перспективы // Социологические исследования. 2007. № 12.
8. Валлерстайн И. Демократия, капитализм и трансформация // Социология: теория, методы, маркетинг. 2002. № 2.
9. Шляпентох В. Э. Равенство и справедливость в России и США // Социологический журнал. 1998. № 3/4.
10. Попова И. М. «Демократия» как средство идентификации и мифологизации // Вісник Одеського національного університету. Т. 12. Вып. 6. Соціологія і політичні науки, 2007. С. 13–20.
11. Дюркгейм Э. Ценности и «реальные» суждения // Социологические исследования. 1991. № 2.
12. Магун В. С. Динамика трудовых ценностей экономически активного населения России, 1991–2004 гг. Препринт WPS / 2006/09. М: ГУ-ВШЭ, 2006.
13. Попова И. М. 1989–1991. Диагноз времени (одесситы о себе и переменах в обществе): Историко-социологические очерки. Одесса: Астропринт, 2006.
14. Попова И. М., Бессокирная Г. П. Изменилась ли мотивация труда рабочих в 1990-е годы? Методология и методы изучения, результаты и перспективы исследования // Мир России. 2005. № 4.
15. Заславская Т. И. Творческая активность масс: социальные резервы роста // ЭКО. Новосибирск. 1986. № 3.
16. Попова И. М. Повседневные идеологии. Как они живут, меняются и исчезают. Киев: Институт социологии НАНУ, 2000.
17. Наумова И. Ф. Жизненная стратегия человека в переходном обществе // Социологический журнал. 1995. № 2.
18. Попова И. М. Уравнительность — иллюзия массового сознания? // Социологические исследования. 1992. № 3.
19. Свобода. Неравенство. Братство: Социологический портрет современной России / Ав.-сост. Е. П. Добрынина; Под общ. ред. М. К. Горшкова. М: ИИК «Российская газета», 2007.
20. Титаренко Л. Г. Александер Дж. Гражданская сфера. Нью-Йорк. 2006 [Рец.] // Социологические исследования. 2008. № 2. С. 152–153.
21. Темницкий А. Л. Справедливость в оплате труда как ценностная ориентация и фактор трудовой мотивации // Социологические исследования. 2005. № 5.

22. *Максимов Б. И.* Трансформации в социально-трудовой сфере // Проблемы труда, трудовых отношений и качества жизни: Сборник научных материалов Всероссийской научно-практической конференции, Самара, 11–12 октября 2007 года. Самара: Изд-во «Универс групп», 2007. С. 164–165.

23. *Бессокирная Г. П.* Социальное самочувствие рабочих // Социологические исследования. 2008. № 3. С. 37.

24. *Патрушев В. Д., Бессокирная Г. П.* Основные жизненные ценности, мотивы труда рабочих в период 1990–2003 гг. и их изменения // Ценности повседневной деятельности горожан / Отв. ред. Т. М. Караханова. М.: Изд-во Института социологии РАН, 2004. С. 29–45.

## **ПРОБЛЕМА СОЦИАЛЬНОГО СИРОТСТВА В Г. ОДЕССЕ (В СОВАВТОРСТВЕ С Е. В. КНЯЗЕВОЙ)**

**Проблема «социального сиротства»** (когда ребенок фактически является сиротой при живых родителях) и детской беспризорности уже в течение нескольких лет находится в поле зрения кафедры социологии Института социальных наук Одесского национального университета. Мы обратили внимание на то, что систематических обследований, имеющих научно обоснованную базу для изучения данного социального явления, в масштабах Украины или крупных регионов не проводилось. Причина — отсутствие необходимых средств для проведения исследований. Поэтому анализ состояния беспризорности в Украине, как правило, проводился на основе официальных данных, которые, как мы считаем, не вполне надежны. А главное — имеющаяся информация не дает возможности охарактеризовать специфику различных групп детей, находящихся «в неблагоприятных жизненных обстоятельствах», и, соответственно, определить эффективные меры, которые следует применять к различным категориям неблагополучных детей. Основанием для такого заключения является знакомство с системой учета беспризорных детей, а также предпринятый нами анализ информации, содержащейся в личных делах детей, прошедших через приюты г. Одессы в течение 2002–2007 годов. Таким образом, актуальность исследования проблем детской беспризорности в г. Одессе обусловлена:

- остротой и масштабами этого социально-опасного явления и важностью поисков более эффективных средств его преодоления;
- необходимостью привлечения внимания государственных и местных властей, а также общественности к решению данной проблемы.

Цель исследования: выявить реальное состояние и специфику феномена детской беспризорности и безнадзорности в современных условиях, дать комплексную оценку состояния и конкретных проблем, сопутствующих данному явлению в Одессе, а также попытаться



сформулировать рекомендации, направленные на решение данных проблем.

Данная статья представляет собой краткое описание и анализ информации, перенесенной на электронные носители и содержащейся в электронной базе данных. Последняя была сформирована на основании анализа 3326 личных дел детей, находящихся в одесских городских приютах: приюте № 1 (всего 1306 дел) и приюте № 2 (1930 дел) за период с 2002 по май 2007 года<sup>1</sup>. Исследование проведено методом сплошного обследования всех личных дел, находящихся в архивах городских приютов для несовершеннолетних за указанный период. Информационная база данных была создана по инициативе и на средства сотрудников кафедры социологии Института социальных наук Одесского национального университета имени И. И. Мечникова при активном участии студентов. Руководили исследованием профессор И. М. Попова и доцент Е. В. Князева. Участие в исследовании принимали также студенты разных курсов, переносившие информацию на кодировочные карточки и электронные носители.

В Государственной программе по преодолению детской беспризорности и безнадзорности, предложенной Министерством по делам семьи, молодежи и спорта в декабре 2005 года и рассчитанной на 2006–2010 годы, указывалось, что на профилактическом учете служб по делам несовершеннолетних находится почти 150 тыс. детей, которые бродяжничают и нищенствуют, склонны к правонарушениям, употребляют наркотические и психотропные вещества, алкогольные напитки. Отмечалось, что эти дети часто становятся жертвами сексуальных преступлений, вовлекаются взрослыми в преступную деятельность. По данным службы по делам детей Одесской областной государственной администрации, общая численность в нашей области детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, внесенных в 2007 году в «Единый банк данных детей, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах», составляет 7149 человек. Но эти данные не дают представления о собственно беспризорных детях, живущих на улице. В разных источниках, относящихся к Украине в целом или к тому или иному региону, при обсуждении проблемы беспризорности

---

<sup>1</sup> К сожалению, в начале 2008 года исследование было прервано, т. к. после публикации результатов исследования в одесской общественно-политической газете «Вечерняя Одесса» (23.02.2008) областные чиновники, курировавшие вопросы детской беспризорности в Одесском регионе, запретили доступ к личным делам детей, содержащихся в приютах.

называют разные цифры. Найти ответ на этот вопрос пытался депутат городского совета, председатель комиссии по делам молодежи и спорта Геннадий Труханов. По его словам, в ответ на запрос о количестве беспризорных в Одессе разные службы дали разные показатели. Депутат полагает, что беспризорных в городе меньше, чем принято считать. По его мнению, это связано с тем, что «под это нужно получать деньги». Труханов убежден, что «никто серьезно этой проблемой не занимается, потому что начинать работу нужно с учета» [1].

Следует отметить, что в Государственной программе ставилась задача сократить детскую беспризорность на 50 %. Уже сейчас можно сказать, что эти благие пожелания останутся на бумаге, ибо вызывает сомнение эффективность мер, предлагаемых для решения проблемы: сосредоточение внимания преимущественно на расширении сети детских домов семейного типа, увеличении количества приемных семей и соответствующих льгот. Все это важные и необходимые меры для профилактики детской беспризорности. Они, однако, не решают проблемы собственно беспризорных детей, «детей улицы», особенно тех, которые уже имеют солидный опыт пребывания там. Сформировался особый социальный слой, особая среда, которая, как трясина, затягивает детей, оказавшихся по тем или иным причинам вне семьи. Общение с этими детьми, изучение их образа жизни и личностных особенностей свидетельствует о том, что в данном случае требуется длительная социально-психологическая реабилитация и одновременно медицинское лечение. К сожалению, для совмещения этих функций отсутствуют необходимые условия, несмотря на множество всевозможных организаций и разного рода фондов. Мы считаем, что определение эффективных мер, направленных на реабилитацию именно этой категории детей, предполагает сотрудничество государственных и общественных организаций с научными группами, занимающимися исследованием данной проблемы, а также координацию работы различных ведомств: Министерства внутренних дел, Министерства образования и науки, Министерства по делам семьи, молодежи и спорта, Министерства здравоохранения.

Прежде всего приведем данные, свидетельствующие о характере учета беспризорных детей, определяемом централизованно в соответствии с документами, направленными из центральных ведомств. Выяснилось, например, что из 3326 дел, перенесенных нами на электронные носители, на 226 детей заведено по два дела, 115 детей имеют по три дела, по четыре личных дела имеют 74 ребенка, на 28 детей

заведено по 5 дел и т. д. 8 детей имеют более чем по 10 личных дел! Иными словами, 50 % детей, внесенных на основании данных учета приютов в исследуемый нами массив, упоминаются в нем два и более раз. Разумеется, дать качественный анализ такого рода данных очень сложно, поэтому пришлось вначале идентифицировать личные дела, ликвидировать дублирование, а затем переходить к анализу характеристик побывавших в приютах детей. Такой способ учета, с нашей точки зрения, не является корректным, т. к. реабилитация беспризорного ребенка предполагает индивидуальную работу с ним и понимание истории его небольшого жизненного пути, возможность иметь в поле зрения особенности его поведения в различные периоды жизни вплоть до совершеннолетия. Это так же необходимо, как и знакомство с историей болезни при лечении больного.

Но почему ребенок попадает в приют во второй, третий и более раз? Оказалось, что основной причиной выбытия из приюта и характеристикой направления выбытия является «самовольный уход». Из 55 пунктов (!), характеризующих направления выбытия (переданы родителям или родственникам, другим приютам, интернатам, детским домам и т. д.), на «самовольный уход» приходится от 60 % до 70 % всех поступивших в приюты в разные годы. Улица, таким образом, постоянно воспроизводит себя, причем положительной динамики в этом отношении не наблюдается. Парадокс состоит в том, что, несмотря на все тяготы уличной жизни, она, несомненно, привлекает детей, которые там уже побывали. Она полна приключений и порождает иллюзию свободы, отсутствия каких-либо обязанностей.

Приведем далее данные, свидетельствующие о крайней серьезности сложившейся ситуации. Информация о времени нахождения на улице (до поступления в приют) свидетельствует, что больше всего детей пробыли на улице от года до 3 лет: их количество составляет более трети всех поступивших в приюты детей! Почти треть составляют те, кто находился на улице более 3 лет. Обращает на себя внимание и следующее обстоятельство: сравнение данных о времени нахождения на улице с данными о том, какова доля прибывших в первый раз, свидетельствует о том, что среди попавших в приют впервые много тех, кто имеет большой стаж пребывания на улице, но, тем не менее, не попадал в поле зрения соответствующих служб. Это может быть следствием различных обстоятельств: либо задерживающие службы работают неэффективно, либо не все задержанные дети регистрируются и «неопознанными» снова попадают на улицу, либо ребенок, уже

бывший в приюте, регистрируется как прибывший впервые. В любом случае вышеприведенные данные свидетельствуют о значительных погрешностях в работе по преодолению беспризорности, о том, что нет достаточно серьезной системы учета беспризорных детей и эффективных мер борьбы с этим социальным недугом.

Целесообразно указать также на следующее: когда соотношение находящихся в приюте «многоопытных» бродяжек с малоопытными или совсем неопытными равно 2 к 1, приюты могут становиться одним из источников пополнения улиц беспризорными детьми. При этом подчеркнем, что персонал приютов делает вроде бы все от него зависящее, чтобы нормальная, «цивилизованная», жизнь ребенку понравилась, и, тем не менее, дети самовольно покидают приют. Практически каждый третий, упомянутый в массиве данных, ребенок не задерживался в приютах более суток! Еще треть находилась в приютах менее недели. Очевидно, что за столь короткие сроки невозможно собрать не только полноценную информацию о ребенке, но и оказать ему необходимую помощь, повлиять на его судьбу. Иными словами, 2/3 детей, прошедших через приюты, возвращаются к своей прежней жизни.

Преимущественный возрастной диапазон поступающих в приюты — дети от 11 до 16 лет (включительно). В большей степени склонность к бродяжничеству выражена в возрасте 13–16 лет, о чем свидетельствует, в частности, сравнение контингента приютов и данных статистики. Соотношение мальчиков и девочек составляет 3 к 1: мальчики попадали в приюты в три раза чаще, чем девочки. Следует отметить, что такое соотношение не соответствует долям мальчиков и девочек указанного возраста в структуре населения в целом. Например, по данным статистики, на начало 2005 года соотношение мальчиков и девочек было 51 % и 49 %, соответственно, тогда как соотношение поступивших в приюты детей выглядело как 75 % мальчиков и 25 % девочек. С полным основанием, таким образом, можно заключить, что склонность к бродяжничеству в большей степени выражена у мальчиков. Заметим также, что пропорции поступивших в приюты мальчиков и девочек в течение пяти лет примерно одни и те же.

По **национальному составу** отметим следующее: поступившие дети преимущественно — украинцы. Немного среди них молдаван и совсем мало русских. Однако сопоставление данных о национальности с данными о месте рождения детей свидетельствует о том, что соци-

альные работники приютов записывали всех родившихся в Украине как «украинцев» и только родившихся в России (таких около 2 %) обозначили как «русских». Специфической особенностью Одесской области является географическая близость с Республикой Молдова и самопровозглашенной Приднестровской республикой. Службы по делам детей Одесской области отмечают высокий уровень нелегальной миграции подростков из этих стран, что существенно влияет на ухудшение криминальной ситуации в Одесской области [2, с. 11]. Однако не подтвердилось и мнение о том, что в одесские приюты поступает много детей из Молдовы. Данные о государстве, где родился ребенок, свидетельствуют: Молдова является местом рождения лишь десятой доли поступивших. Более половины поступивших в приюты родились в городах (41 % в областных центрах Украины и 14 % в городах областного подчинения). Местом рождения 38 % детей являются села и поселки городского типа.

Большинство детей, поступивших в приюты, имеют родителей: чаще — мать и реже — отца. При этом в 78 % случаев место проживания родителей или лиц, их заменяющих, указывается в документах, а в 22 % — место их проживания неизвестно. В большинстве дел отсутствуют сведения о возрасте матери и отца и об их занятиях (о занятии отца нет сведений в 67 % дел, а о занятии матери — в 47 %). Это можно считать естественным, т. к. информацию получают со слов ребенка, которому эти данные могут быть неизвестны.

В тех случаях, когда возраст родителей указывался, он был в диапазоне от 30 до 39 лет. Из того, что известно о занятиях родителей, можно отметить следующее: 43 % детей указали, что не работает отец, и 55 % сослались на неработающую мать. Неработающие родители — наиболее наполненная из всех других, распределенных по характеру деятельности, групп родителей. У четверти (26 %) детей отцы — рабочие (12 % — неквалифицированные и 14 % — квалифицированные). Среди матерей большинство — неквалифицированные рабочие. Работников торговли среди матерей — 3 %. Но есть и руководители: и среди матерей и среди отцов их одинаковое количество — 0,3 %, что означает, что примерно у 10 детей мать — руководитель и у такого же количества детей — руководитель отец. Примерно у троих детей занятие отца определено как «заместитель, начальник отдела». В местах лишения свободы находились 3,3 % матерей и 4,6 % отцов. Матерей, занимающихся бродяжничеством и проституцией, около 20 человек (0,6 % по всему массиву).

На момент поступления в приют **более половины детей не учились**. 13 % составляют те, кто «не учился никогда», — это несколько больше доли детей (во всем массиве), не достигших 8 лет. Основные причины непосещения учебных заведений — «бродяжничество» (46 %) и «плохие условия проживания, отсутствие жилья» (33 %). Сведения о наличии у ребенка собственности говорят о том, что 38 % детей имеют квартиру (дом) или часть квартиры (дома), а 48 % — собственности не имеют. Другие неблагоприятные условия, свидетельствующие о неблагополучии семьи и указанные в числе причин непосещения учебных заведений (алкоголизм, наркомания родителей; невыполнение родительских обязанностей, лишение родительских прав; конфликты и насилие в семье; смерть обоих или одного из родителей; родители выгнали из дома; родители в МЛС), составляют все вместе 17,5 %.

Среди причин направления в приют основное место занимает «бродяжничество» — 74%! Возможно, к этой же категории следует отнести и тех детей, кого называют «бомжами» (2 %) и «попрошайками» (2 %).

Т. е. около 80 % — это так называемые «уличные дети». В соответствии с этим сомнение вызывают данные о состоянии здоровья детей: более 68 % квалифицируются как «здоровые». Тогда как из опыта общения с беспризорными детьми известно, что они, как правило, чем-либо больны. Зачастую это целый «букет» различных болезней, которые сопровождаются потреблением наркотиков и токсических веществ. Поэтому есть сомнения и относительно данных, содержащихся в документе из «Личного дела», называемом «Особенности поведения ребенка»: лишь у незначительной доли (от 0,5 % до 2 %) указано курение, употребление токсических веществ и наркотиков. На самом деле среди пришедших «с улицы» детей, тем более имеющих некоторый стаж пребывания там, скорее непотребление различных «токсических веществ» (так же, впрочем, как и некурение) является исключением и в этом смысле — «особенностью». Такие дети требуют длительного лечения и одновременно специального воспитания, обучения и содержания. С полным основанием можно утверждать, что функционирующие детские лечебные и другие учреждения не имеют условий для содержания таких детей и для работы с ними.

Мы неоднократно обращали внимание на необходимость создания в нашем регионе специализированного центра медико-социальной реабилитации для беспризорных детей, в котором совмещались бы функции социальной и медицинской реабилитации. Но никаких ре-

альных шагов для его создания не делается. Те же детские учреждения, которые порой растут, как «грибы после дождя», о которых пишут в газетах и которые показывают на экранах телевизоров, даже при самоотверженном труде работающего с детьми персонала, свидетелями чего мы неоднократно являлись, не могут решить проблему беспризорных детей достаточно эффективно. Объясняется это в частности тем, что при создании их и не предполагается соединение функций воспитания и лечения. Где же выход? Как не только совместить функции лечения, воспитания и обучения, но и задержать ребенка в таком учреждении на относительно продолжительный период, чтобы иметь время, необходимое на реабилитацию? Соответственно, должны быть предусмотрены меры для удержания ребенка в данном заведении в течение этого периода. Подходит ли зарубежный опыт решения аналогичных проблем, который мы охотно заимствуем благодаря использованию всевозможных грантов? И детские дома семейного типа (ДДСТ), и различные благотворительные организации — все это «оттуда». Но «наши» проблемы, когда «уличная жизнь» определенной категории детей постоянно воспроизводится в угрожающих обществу масштабах, такого рода организации решать эффективно не в состоянии.

В странах Запада в настоящее время вообще стремятся следовать принципу «передать решение этих проблем благотворительным фондам и общественным организациям». Однако там совершенно другая ситуация: беспризорности детей, как относительно массового явления, там не существует. Может, обратиться к отечественному опыту и разобраться с тем, почему так быстро смогли преодолеть беспризорность после гражданской и Великой Отечественной войн и военной разрухи? И вот здесь мы подходим, с нашей точки зрения, к самому главному — тому, что свидетельствует о нашей демагогии и ханжестве, а в конечном счете о нашей безответственности. Оказывается, все дело в том, что «тогда» использовались репрессивные меры, пригодные лишь для тоталитарного советского общества, а для нашего, демократического, общества, подписавшего к тому же Декларацию ООН о ненасилии над детьми, такие методы не годятся. А как быть с опытом Макаренко, система воспитания которого вернула к полноценной жизни десятки тысяч беспризорных детей, многие из которых впоследствии стали учителями, врачами, специалистами в разных областях народного хозяйства? Все это не годится? От всего нашего прошлого мы должны полностью отказаться? Может, согласиться с

тем, что во всех жизненных ситуациях дети сами вольны выбирать свой образ жизни без подсказки взрослых и любые способы ограничения их безудержных желаний и влечений являются незаконными и безнравственными?!

Разумеется, мы отдаем себе отчет в том, что радикальное решение проблем беспризорных детей — это ликвидация нищеты и бедности. Согласно информации, полученной из личных дел воспитанников приютов, среди причин беспризорности 81 % составляют различного рода материальные трудности (включая плохое жилье либо его отсутствие) и только 19 % — смерть родителей. Тюремное заключение родителей, их алкоголизм и наркомания, насилие со стороны родителей, конфликты с матерью или отцом — все это вместе набирает лишь 40 %. Ясно, что решение проблем бедности и нищеты — это задачи на годы. Точно так же, как и создание различного рода условий, способствующих нормальному развитию ребенка: повышение уровня и качества школьного образования и воспитания; использование многообразных и доступных для различных групп детей форм проведения внеучебного времени и содержательного досуга; повышение престижа и заработной платы персонала детских учреждений, а особенно тех, кто работает с беспризорными детьми.

Безусловно, только система мер (среди которых, в частности, и своевременное выявление «неблагополучных семей», являющихся резервом детской беспризорности) может радикально изменить ситуацию. Однако первоочередная задача, которую необходимо решать срочно, — убрать детей с улицы, создать такие способы и формы реабилитации, которые были бы эффективны и которые давали бы ребенку шансы на выживание и достойную жизнь. С нашей точки зрения, ссылки на недопустимость какого-либо принуждения в данном случае — лишь оправдание нашего нежелания напрячься и приложить усилия, которые действительно необходимы. В конце концов, рейды различных служб по местам пребывания «уличных детей» и задержание последних, привод их в приюты — это тоже принуждение, насилие. Но насилие бессмысленное, потому что через непродолжительное время дети опять оказываются на улице, что дает возможность представителям служб задерживать их снова и снова и тем самым увеличивать количество «задержаний», демонстрируя активную деятельность.

Таким образом, с нашей точки зрения, сегодня крайне необходимо прежде всего на законодательном уровне перестроить всю систе-



му мер, направленных на преодоление беспризорности, и в первую очередь:

– создать централизованную, научно обоснованную электронную систему учета беспризорных и безнадзорных детей, на основании которой можно было бы определить местонахождение ребенка, проследить изменение его состояния, динамику поведения;

– разработать критерии и определить управленческие механизмы, позволяющие дифференцировать (стратифицировать) безнадзорных и беспризорных детей на группы для их дальнейшей реабилитации в местах, соответствующих степени дезадаптации детей и имеющих необходимые условия для оказания персональной (адресной) помощи;

– перепрофилировать имеющиеся учреждения в различные центры реабилитации, соответствующие разным категориям детей, предусмотрев создание специального центра медико-социальной реабилитации, в котором были бы совмещены функции лечения, психологической реабилитации, обучения и воспитания.

#### ***Список использованных источников***

1. Сколько в Одессе беспризорных? // Порто-франко. — 2009. — № 21 (966). — 5 июня.

2. Семікоп Т. Є., Труханов Г. Л., Костюк О. Й., Запорожцева Г. Є., Фомін Є. В., Тимчик І. А. Дитяча безпритульність та бездоглядність. Стан. Причини та майбутні перспективи. — Одеса: СПД Кіров В. І., 2008. — 95 с.